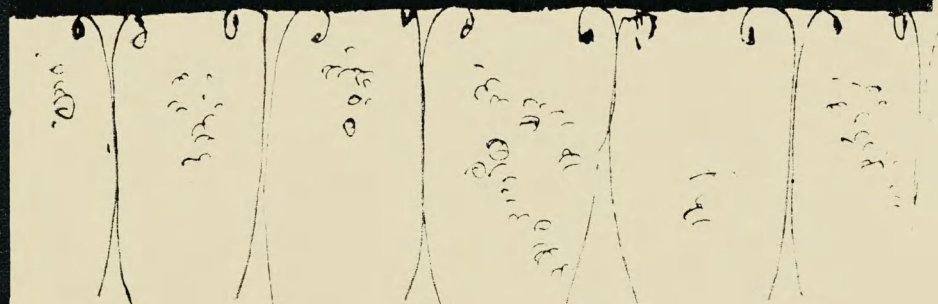


ИТАЛО КАЛЬВИНО

КОТ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1964**



ИТАЛО КАЛЬВИНО

КОТ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗБРАННОЕ



И(Итал.)
К17

Перевод с итальянского А. С. КОРОТКОВА

Редактор переводов и автор предисловия С. А. ОШЕРОВ

Художник В. ВОРОБЬЕВ

О РАССКАЗАХ ИТАЛО КАЛЬВИНО

Вскоре после войны в итальянскую литературу вошло новое поколение писателей. Закалившие свое мужество в боях с фашизмом, верящие в свой народ и ненавидящие произвол и угнетение, они посвятили свое творчество самым острым проблемам эпохи. Одним из самых талантливых в этой плеяде — в Италии ее именуют теперь средним поколением — был Итало Кальвино. Он родился в 1923 году, был участником Сопротивления. Сопротивлению посвящена и первая его книга — небольшой роман «Тропинка к паучьим гнездам», выпущенный в свет в 1946 году. С тех пор он опубликовал несколько десятков рассказов, три маленькие повести и трилогию «Наши предки», включающую остроумнейшие произведения, в равной мере заслуживающие названия философских сказок и исторических романов: «Рыцарь, которого не существовало», «Виконт, которого разорвало пополам» и «Барон на дереве». Кроме того, Кальвино принадлежит обработка более чем двух сотен итальянских народных сказок. Совсем недавно вышла его новая повесть «День на избирательном участке».

Теперь Кальвино вместе с другим крупнейшим писателем Италии, Элио Витторини, редактирует прогрессивный литературно-художественный журнал «Менабб». По своим взглядам он принадлежит к той левой интеллигенции, которая не приемлет капиталистический строй и стоит на позициях борьбы за мир и социальный прогресс.

Составляя сборник (вышедший в 1958 году и положенный в основу этой книги), Кальвино отказался от хронологического расположения и объединил рассказы по темам. Рассказы разных лет, связанные между собой общностью темы, дополняют и продолжают друг друга, из них, словно мозаика из отдельных камешков смальты, складывается единая картина «трудной жизни» (так сам Кальвино назвал один из разделов сборника) — жизни современной Италии, современного капиталистического мира.

Первым в сборнике Кальвино помещает ряд рассказов, посвященных детям. И в первом же рассказе — «Ловись, рыбка, большая и маленькая» — мы видим, какой поворот темы особенно интересует его. У маленького Цеффирино есть свой мир, мир особенный и сказочно-прекрасный — глубины моря (мальчик увлекается подводной охотой). В большинстве произведений Кальвино каждый образ, помимо своего конкретного, вполне реального значения, обладает значением общим, почти символическим: так и в этом рассказе море — это особый радостный мир ребенка, мир игры, в котором пребывают дети до того, как столкнутся

с жестокостью подлинной жизни. И вот в этом своем море — своем мире — Цеффирино видит плачущую женщину; впервые он так близко встречает чужое горе, чужую беду — «трудную жизнь». Он пытается увлечь незнакомку в свой мир, но там, где он находит радость, она видит лишь боль и гибель. И пусть немножко смешна толстая слезливая героиня, — уже в этом рассказе четко поставлена главная тема всего цикла рассказов о детях — тема первого столкновения с жизнью.

Маленькие Джованнино и Серенелла попадают в сад богатой виллы, где каждое желание исполняется как будто бы само собой, и ни в чем не находят радости. Не знает ее и печальный бледный мальчик — владелец всех этих богатств. Прост вывед из этой простой истории: не в богатстве счастье! Но не в этом наивно-назидательном выводе прелесть рассказа, где автор ничего не объясняет нам, не рассказывает в своем авторском всведении о владельцах сада и обстоятельствах их жизни, представляя нам самим найти жизненную мотивировку всего, что происходит в «заколдованном саду». И как раз этот прием позволяет нам увидеть все глазами героев рассказа, малышей, и потому сад сохраняет обаяние волшебной, сказочной необъяснимости.

Так и создается особый взгляд на мир, который Элио Витторини еще десять лет назад, характеризуя творчество Кальвино, назвал «реализмом со сказочным уклоном». Эту «сказочность» многие итальянские критики считают основной чертой рассказов Кальвино.

К таким «реалистическим сказкам» принадлежит и волшебный рассказ о том, как маленькая кухарка, знавшая лишь «трудную жизнь» — нищету, грязную работу, крики хозяйки, — встречает юного садовника — хозяйина расцветающей природы, подобного только что сотворенному Адаму в райском саду, и как он впервые вводит ее в иной, прекрасный мир.

Мир детства и реальная жизнь не всегда противостоят друг другу, жизнь по-своему отражается в нем. Кончилась война, но продолжают играть в войну ребятишки с площади Ден Долори («Корабль, груженный крабами»). Но среди следов отгремевших боев они ведут битвы по-своему, так, как положено в мире детства: сражаясь по-рыцарски, свято почитая все законы чести. Конечно, настоящая война не такова, в этом убедились Джованнино и Серенелла: настоящая война — это уничтожение, гибель («Хороша игра, коротка пора»). И вот малыши теряют вкус к игре в войну и увлекаются игрой новой, куда более приятной: они просто-напросто войну уничтожают! Так входит в «сказку» антивоенная тема.

Однако Кальвино рисует и иную, справедливую и героическую, борьбу с оружием в руках — Сопротивление. Кальвино не скрывает и здесь жесткой стороны войны: грозным символом становится тропинка через минное поле, по которой бредет затравленный, гонимый ужасом человек («Минное поле»). С тончайшим мастерством раскрывает Кальвино психологию страха и обреченности; но не здесь сосредоточен для него главный интерес рассказов о войне. Не страх, а преодоление страха — тема рассказа «Страх на тропинке»: Бинда, тоже идущий в окружении смертельных опасностей, рискует ради общего дела, ради спасения жизни товарищей по отряду, он сознательно допускает все жуткие фантазии только потому, что уверен в победе над ними, в том, что у него хватит сил дойти и предупредить партизан. И обреченность может не вызвать

сочувствия, если это обреченность предателя, которого ждет справедливое наказание, если чувство обреченности только выявляет его трусость и подлость («По пути в штаб»). Зато для мужества нет обреченности: даже в отчаянном положении, среди предателей раненый Том, превозмогая боль и слабость, находит спасение («Предательская деревня»).

Среди рассказов о Сопротивлении мы тоже встречаем такие, которые не назовешь иначе как сказками. Разве не из сказки вышел чудесный стрелок в рассказе «Последним прилетает ворон»? Еще легче узнать сказку в рассказе «Домашние животные в лесу»: гитлеровский солдат, угнавший корову, — прямой потомок того крестьянина, что менял золото на корову, корову на овцу и так без конца, а его противник — удачливый горе-охотник — лишь новое воплощение сказочного «дурака».

За рассказами о войне идет группа ранних рассказов Кальвино. Сам он так характеризует их: «Я писал сперва рассказы «неореалистические», как тогда принято было говорить. То есть я рассказывал истории, которые случились не со мной, а с другими — или представлялись мне случившимися, или могли случиться, — и эти другие были люди, как говорится, «из народа». Но всегда немножко необычные, несколько странные, которых можно было бы показать только с помощью слов, произносимых ими, или поступков, совершаемых ими, не теряя времени на их чувства и мысли...» * Действительно, бросается в глаза, что в рассказах этой группы есть черты неореализма, которые наш читатель знает и по литературе и особенно по кино. Знакомым кажется сам мир людей, которые действуют в этих рассказах, — мир безработных, воров, бродяг, проституток: мы неоднократно видели его на экране в хорошо всем памятных фильмах. Жизнь сама указывала писателю на этих героев: война, оккупация, связанные с ней обнищание и безработица в первые послевоенные годы сорвали людей с насиженных мест, выбили почву у них из-под ног, деклассировали, выбросили на дно, зачастую искалечив морально... Внешне спокойно, как бы совершенно объективно рисует таких людей Кальвино: перед нами и в самом деле одни лишь их слова и поступки. Со всего города мчатся в порт алчные проститутки, привлекаемые магическим словом «доллары» («Доллары»). Один за другим проходят перед незадачливым и глуповатым полицейским полунисшие обитатели большого дома на окраине («Кот и полицейский»). В этих рассказах снова звучит одна из любимых тем Кальвино — тема несовместимости «мечты» (как продолжение «мира детства») и «трудной жизни»; причем, и сама «мечта» здесь уже искажена, искалечена, как и сами герои. Вот девушка в рассказе «Кот и полицейский»: она забилась на чердак, чтобы никто не мешал ей хотя бы почитать про «красивую жизнь», описанную в дешевом журнальчике. В рассказе «Ограбление кондитерской» перед нашими глазами проходит трагический фарс осуществления детской мечты у потрепанного жизнью обитателя «дна», в котором это мимолетное изобилие среди вечной нищеты будит такую алчность, что он превращается чуть ли не в животное. Боль за человека, искалеченного нечеловеческими условиями капиталистической действительности, встает в ироничных и злых рассказах этого цикла.

Но есть у Кальвино герой, который сумел и в зрелые годы в тех же нечеловеческих условиях сохранить ясный взгляд ребенка, сохранить

* Предисловие к трилогии «Наши предки». Июнь 1960 г.

мечту. Это Марковальдо, рабочий без квалификации, герой следующей группы рассказов. Из безысходной нищеты Марковальдо пытается вырваться к иным, человеческим условиям, которые его наивный разум представляет себе как «естественное существование» на лоне природы. Марковальдо хочет охотиться («Городской голубь»), собирать грибы («Грибы в городе») и спать на чистом воздухе («Скамейка»); короче, Марковальдо хочет идиллии, в простоте душевной идеализируя сельскую жизнь. Марковальдо оказывается наивнее своего двенадцатилетнего сынишки, очутившегося в деревне и там тоже увидевшего лишь изнурительный труд («Путешествие с коровами»). Идиллия немислима ни в деревне, ни в капиталистическом городе, она рушится при столкновении с «трудной жизнью». Не случайно иронический заголовок «Трудные идиллии», непосредственно относящийся к циклу о Марковальдо, Кальвино предпослал всему первому разделу своей книги: он явно сам считает «тему Марковальдо» главной темой рассказов.

В своей недавней статье «Вызов лабиринту» Кальвино писал: «Что касается самого великого и всеохватывающего предвидения будущего — предвидения Маркса, то мы видим, что его негативное пророчество (о развитии капитализма) подтвердилось... в сути своей: никто не избежит зубчатых колес индустрии ни на единый миг в своей общественной или частной жизни». Именно этот тезис и подтверждает писатель всей образностью рассказов о Марковальдо. Неумолимая логика бытия капиталистического города подсовывает Марковальдо ос вместо пчел, сад туберкулезного санатория вместо загородного парка, рекламные щиты вместо деревьев зимнего леса, гонит его из одной нелепой ситуации в другую, уподобляет другому «естественному существу», затравленному и погубленному непонятным и чуждым для него миром, — подопытному кролику, унесенному Марковальдо из клиники. А если один-единственный раз интересы Марковальдо совпали с чьими-то интересами в борьбе конкурирующих компаний, то и это обернулось для него в худшую сторону, и светящаяся реклама новой фирмы навсегда заслонила от его глаз звездное небо («Луна и Ньяк»).

В рассказах о Марковальдо «сказочность» и реализм Кальвино достигают полного и органического синтеза. «Сказочна» не только вся интонация рассказов, «сказочен», фольклорен и сам их герой, все делающий не попад. И вместе с тем он глубоко человекен и трогателен — так же как его родной брат с экрана неудачливый Чарли, наделенный тем же «волшебным глазом» и так же захваченный «зубчатыми колесами» капитализма (читатель помнит эти кадры в «Новых временах» Чаплина).

Зато когда Кальвино пишет о хозяевах «трудной жизни», ее виновниках, злым и едким сатириком предстает он перед нами. В раннем рассказе «Курица в цехе» за издевательски нарисованными образами шипика и доносчика Джованнини Вонючки и заводских охранников встают образы нанявших их фабрикантов, перепуганных нарастающим протестом рабочих, боящихся малейшего проявления их солидарности и в погоне за прибылью загнавших мастера-виртуоза Пьетро в безвыходную «тюрьму» нервного напряжения, автоматизма и усталости.

«Власть чистогана», о которой писали основоположники научного коммунизма в «Коммунистическом манифесте», давно стала предметом изображения в литературе. Страшная власть золота запечатлелась

в грандиозных и трагических образах Гобсека и Скупого рыцаря; однако в наши дни в капиталистическом обороте золото вытеснено банкнотами, чеками — бумажками с написанными на них цифрами, цифрами, цифрами... С ними и столкнулся маленький Паолино — герой рассказа «Ночь, полная цифр». Цифры заполнили все: они искажают человеческие отношения, отталкивая друг от друга юношу и девушку, цифрам скоро вообще не нужны будут люди, которых заменят счетные машины. Писатель находит удивительно острые, точные образы, чтобы показать обесчеловечивающую силу цифр — денег. Мальчик встречается и со Скупым рыцарем цифр — старым бухгалтером, вместе с ним спускается в заветный подвал. И оказывается, весь мир цифр держится на ошибке, символической ошибке, ибо в ней писатель обобщил свою мысль о притивостественности этого страшного мира.

Особенного сатирического блеска достигает Кальвино в рассказе «Синьора Паулатим». По форме это маленький киносценарий. Мелькают предметы, показанные «крупным планом». Одни вещи. Какое странное безлюдье! Нет, люди есть; но ведь «объектив» — это взгляд хозяйки, синьоры Паулатим. А где уж ей замечать людей, работающих на нее: она занята своими «переживаниями». И вот на фоне лихорадочной работы те, кто распоряжается ее плодами, разыгрывают пошлейшую «драму», благополучно завершающуюся «роковой» фразой из анекдота: «Посмей только застрелиться — убью!» Ничтожные, пошлые паразиты — вот они, хозяева жизни, пригвожденные пером Кальвино-сатирика.

Время действия рассказов, составляющих второй раздел книги («Трудные воспоминания»), — последние годы фашистского режима. Они написаны от первого лица и носят как бы автобиографический характер; это впечатление подтверждается и общностью отдельных деталей, переходящих из рассказа в рассказ. Однако «я» рассказчика, вспоминающего о днях своего отрочества, скрывает всякий раз иной образ. Если в ранних рассказах «Человек среди полыни» и «Хозяйский глаз» мы видим героя, чье неприятие жизни выразилось в никчемности, в полной оторванности от окружающих людей труда, то в таких зрелых произведениях, как «Вступление в войну», «Авангардисты в Ментоне» и «Ночь дружинника ПВО», и тема и герой совершенно иные. Собственно, тема этих рассказов уже знакома нам: это первое столкновение с жизнью; но решается она уже не в условнообобщенном, «сказочном», а в остро-психологическом плане. Юным героям необходимо сделать выбор, определить свою позицию, и Кальвино с редкой психологической точностью показывает те факторы, которыми этот выбор обусловлен.

Герой рассказа «Вступление в войну», член фашистской молодежной организации, относится к фашизму скептически и в общем остается довольно равнодушным к происходящему до тех пор, пока бедствия, обрушенные на людей войною, не пробуждают в нем высокое чувство моральной ответственности перед ними. Это чувство гонит его на эвакопункт, к тем, кто более всех пострадал от войны, рождает желание помочь им. И когда перед его глазами мелькает виновник всех бед — дуче, юноша скорее сердцем, чем умом, понимает, что этим человеком, упорным сознанием своей мнимой исторической миссии, руководят чувства, противоположные его собственным, что до людей ему нет дела.

Рассказ «Авангардисты в Ментоне» является как бы прямым продолжением «Вступления в войну». Но здесь герой сталкивается уже не

с бедствиями войны, а с результатами фашистского «воспитания». И внутренний протест против поощряемых фашистскими главарями неприглядных действий товарищей на сей раз выливается в действие — пусть нелепое, никому не причиняющее ущерба, но знаменующее новый шаг в развитии героя.

К смутному ощущению неблагополучия и несправедливости, царящей в стране, приходит и герой последнего рассказа этого цикла — «Ночь дружинника ПВО». Обстановка в нем почти та же, что и в первых двух, почти те же и внешние приметы героя, лишенного, однако, того чувства моральной ответственности, которое определяло поступки героя предыдущих рассказов. Более того, герой легко поддается влиянию более «опытного» товарища. Но вот он впервые сталкивается с жизнью ночного города, и при виде грязи и мерзости с него быстро слетает скороспелый мальчишеский цинизм. И в душу его проникают новые чувства: омерзение при виде горланящего отряда фашистских ополченцев, жадное любопытство при встрече со старым рабочим-коммунистом, уважение и сочувствие к людям труда. И в конце рассказа герой вдруг ощущает внутреннюю близость с отцом, давно уже живущим «в соре со всем миром». Так смутно пробивается в юноше неприятие того мира и той жизни, с которой он впервые столкнулся.

«Трудная любовь» — так называется третий цикл рассказов. Но странно: в нем нет любовных историй в обычном понимании этого слова. Более того, в первом же рассказе «Случай из жизни близорукого» любовь присутствует лишь в виде далекого намека. Человек самый заурядный, вовсе не неврастеник, вынужден начать носить очки, и вот это незначительное обстоятельство вдруг открывает ему, как он одинок, как оторван от других людей. В этом рассказе писатель на первый взгляд отдает дань широко распространенной среди буржуазных писателей Запада, особенно Италии, теме «отчужденности» — якобы извечной и неизбежной разобщенности всех людей, невозможности подлинного общения, слияния. Однако Кальвино обращается к этому пессимистическому мифу только для того, чтобы вступить с ним в спор и показать, как живая жизнь, живая душа человека на каждом шагу опровергает эту мертвенную и мертвящую схему. Великолепная миниатюра «Случай из жизни супругов» каждой своей поднятой до символа деталью отрицает «отчужденность»: любовь помогает преодолеть разобщение, вызванное, в сущности, теми же тяжкими условиями «трудной жизни». Не извечное и «естественное», а социально обусловленное, не роковое и непреодолимое, а преодолеваемое силой самого простого чувства — таково «разобщение», говорит Кальвино в этом рассказе. И путешествие Федерико В. — это преодоление разобщенности, разлуки, потому радостной поэзией полно описание самых прозаических деталей поездки («Случай с пассажиром»). Даже потребность любви и потребность приблизиться к людям, выйти из своего замкнутого мирка неотличимы друг от друга: именно в общении с людьми находит Стефания Р. разрешение мучившего ее чувства неполноценности, томления, которое она принимала за тоску по любви («Случай из жизни молодой женщины»). Теплота человечности, преодолевающая отчужденность, — вот что такое «трудная любовь» Кальвино.

Особняком стоит последний рассказ цикла — «Случай с поэтом». Он тоже символичен и тоже полемичен, и спор идет также с литературой

буржуазного декаданса, но предмет спора иной. В статье «Вызов лабиринту» Кальвино писал об эстетстве в литературе: «Эстетизм не ставит себе цели искупить в историческом плане уродство капитализма; его задача — создавать образы, которые были бы вне его, которые были бы иными». Эстетизм — бегство от действительности в условный мир красоты. Именно с этим бегством спорит Кальвино в рассказе, и спор идет по линии наибольшего сопротивления. Поэт Узнелли созерцает отнюдь не выдуманную, не мнимую красоту, а подлинную, вечную красоту природы, красоту женщины, любимой им, но он нем перед этой красотой. Зато картина нищеты, горя, картина «трудной жизни» вызывает в его душе бурю слов. «Трудной жизни», а не равнодушной красоте отдает свое творчество настоящий художник — вот вывод Кальвино.

Но какова должна быть общественная позиция человека по отношению к «трудной жизни»? Ответа на этот вопрос ищет герой повести «Облако смога». В центре ее стоит вполне реальная для каждого капиталистического города проблема — проблема загрязнения воздуха. Вся жизнь людей погружена в облако ядовитого тумана, и он становится символом всех нечеловеческих условий, в которые поставил людей капитализм, — символом «трудной жизни». Облако смога душит героя, он не мыслит себе жизни вне его, не хочет буржуазного благополучия, но не находит и пути борьбы. И вот перед глазами героя-созерцателя, наделенного обостренной чувствительностью, проходят люди, каждый из которых знаменует определенное отношение к смогу, к «трудной жизни».

Герой поступает на службу в компанию, занимающуюся проблемами борьбы со смогом. Ею руководит инженер Кордэ, с лафосом ораторствующий о высоких целях компании, об идейных соображениях, заставляющих его самого работать там. Но странно: на всех бумагах, касающихся борьбы с копотью и пылью, лежит... слой пыли. Одна лишь деталь сводит на нет все высокопарные речи инженера Кордэ, крупного промышленника и дельца. А когда герой попадает на один из заводов, руководимых Кордэ, ему становится ясно: «инженер Кордэ — хозяин смога, это он ежеминутно выдыхает его на город». Страницы, посвященные инженеру Кордэ, принадлежат к лучшим созданиям Кальвино-сатирика. С мифов о «народном капитализме», о «новой роли предпринимателя» сорвана маска, они предстают в своем подлинном виде — как обман трудящихся, как средство укрепления «власти смога».

Подобно поэту Узнелли, герой подвергается «искушению красотой». Его возлюбленная Клаудия живет в своем, особом мире, смог даже не затрагивает ее, она прекрасна сама, и лишь прекрасное интересует ее (правда, мы можем понять, что такая жизненная позиция обеспечивается немалым состоянием). Герой не может пойти за Клаудией в ее мир, тем более что в мире этом он встречает прежде всего инженера Кордэ, и он вступает в спор с возлюбленной. Бегство от смога к «красоте» неприемлемо для героя, как одна из форм равнодушия, а следовательно, и приспособления к существующему порядку, к смогу.

Прямой противоположностью Клаудии выступает синьорина Маргарити, квартирохозяйка героя. Она живет в грязи, оставляемой смогом, и не замечает ее, и лишь бесцельная, бессмысленная забота о чистоте комнат, в которых никто не живет, говорит о том, что и она сохранила какое-то слабое, искаженное представление о жизни вне смога. Зато сослуживец героя, Авандеро, испытывает живейшую потребность вы-

рваться из душного облака — вырваться самому, не заботясь и не думая о других. И ради своей эгонистической цели он готов служить чему угодно — и смогу и мнимой борьбе с ним.

Но вот герой сталкивается с людьми, которые, как и он сам, не бегут от смога и не мирятся с ним, которые вступают в борьбу с капитализмом, зная, что вопрос смога есть «вопрос социального строя». Это деятели рабочего движения, которых представляет в повести Омар Базалуцци. Они симпатичны герою, потому что смог — «трудная жизнь» — определяет все их поведение, их устремления и цели: «Такие, как Омар Базалуцци, не ищут случая убежать от продыmlенной серости, окружающей их: она создает для них особые ценности, диктует новые внутренние нормы поведения». Однако герою кажется, что Омар и его товарищи сами не верят в свою победу, да и идеалы их представляются ему наивными. Интеллигентский скепсис привел героя-созерцателя к ошибке, к слепоте, не позволившей ему поверить в тот единственный путь борьбы со смогом, который является истинным и который он сумел все же увидеть и выделить в путанице дорог, ведущих в разные стороны персонажей повести.

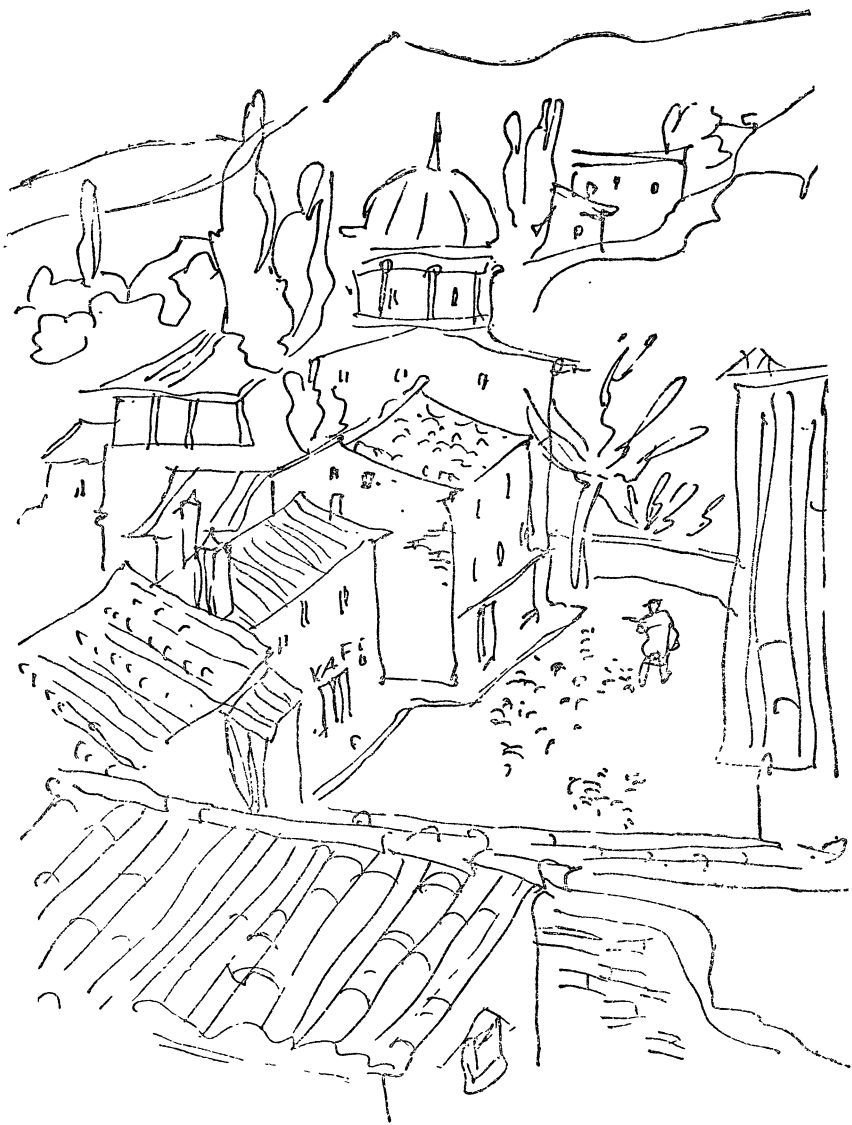
В конце концов герой все же находит тех, кого считает истинными борцами со смогом. Это простые люди труда, прачки, которые день за днем смывают грязные следы смога и доставляют людям радость чистоты — для того чтобы дым и копоть снова вторглись в их жизнь и загрязнили ее и прачкам снова пришлось начать свой необходимый, но бесконечный и безысходный труд.

В повести, созданной в трудный момент сомнений, Кальвино, казалось бы, приходит к пессимистическому выводу. Но весь смысл его творчества, полного веры в людей и горячего стремления к новым, справедливым человеческим отношениям, говорит об оптимизме писателя. А его недавнее заявление о том, что «сегодня в Италии главная и, пожалуй, единственная гарантия против возврата к реакционной диктатуре, гарантия продвижения к демократической перестройке государственного аппарата — это по-прежнему существование сильной левой рабочей оппозиции» и что «всей своей силой эта оппозиция обязана прежде всего коммунистам»*, показывает, что оптимизм его основан на правильном понимании тех сил, которые способны победить «царство смога». И сам Кальвино каждым своим произведением содействует этой победе.

Сергей ОШЕРОВ

* См. журнал «За рубежом» № 13, апрель 1963 г.

Из цикла „ТРУДНЫЕ ИДИЛЛИИ“



ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Отец маленького Цеффирино не признавал трусов. Зака-
тав повыше брюки, в одной майке и в белой полотняной па-
наме целый день пропадал он на прибрежных скалах. Его
страстью были пателемы, слизняки в плоских твердых
раковинах, накрепко прираставшие к прибрежным кам-
ням.

Чтобы оторвать их, отцу маленького Цеффирино прихо-
дилось действовать ножом. Каждое воскресенье он отпра-
влялся на мыс и, надев очки, принимался внимательно об-
следовать утесы, обходя их один за другим до тех пор, пока
его маленькая корзинка не наполнялась доверху пателема-
ми; несколько штук он съедал туг же, на месте, высасывая
из раковины, словно из ложки, влажную, острую на вкус
мякоть, остальные складывал в корзинку. Время от времени
он поднимал глаза, рассеянно оглядывал спокойную гладь
моря и кричал:

— Цеффирино! Где ты?

Цеффирино проводил в воде весь день, до самого вече-
ра. Они вдвоем приходили на мыс, отец оставлял Цеффири-
но на берегу, а сам тотчас же принимался за своих слизня-
ков. В пателемах Цеффирино не находил ничего привлека-
тельного — они были слишком твердыми, неподвижными и
упрямыми. Сперва его заинтересовали крабы, затем осьми-
ноги и медузы, а потом постепенно рыбы всех видов.
С каждым летом его охотничьи приемы становились все
сложнее и хитроумнее, и теперь уже никто из мальчишек его
возраста не мог так ловко управляться с подводным ружь-
ем. В воде легче всего людям плотным, как бы целиком со-
стоящим из дыхания и мускулов. Именно таким и рос Цеф-
фирино. На суше рядом с отцом, тянувшим его за руку,
он казался обыкновенным стриженным мальчуганом, одним

из тех разинь, которых приходится то и дело подгонять подзатыльниками, зато в воде он мог кого угодно за пояс заткнуть, а под водой — и подавно.

В тот день Цеффирино удалось подобрать себе все, что нужно для подводной охоты. Маска — бабушкин подарок — хранилась у него еще с прошлого года, ласты одолжила ему двоюродная сестра, у которой была маленькая нога, а ружье для подводной охоты он потихоньку стянул из дома своего дяди. Правда, отцу он сказал, что ружье ему дали на время. Впрочем, он был мальчик аккуратный, умел беречь вещи.

Море было чудо до чего прозрачное. На все наставления отца Цеффирино ответил: «Да, папа», — и вошел в воду. Теперь он совсем не был похож на человеческое существо: стеклянная морда, трубка для дыхания — как шупальце, ноги заканчиваются плавниками, как у рыбы, в руках какой-то снаряд, немного смахивающий на копье, немного на ружье, немного на вилку. Но это только казалось, что он перестал быть человеком. На самом деле, очутившись в воде, даже погрузившись в нее только наполовину, Цеффирино сразу почувствовал себя самым собой. Он узнавал себя в каждом движении ластов, в той сноровке, с которой сжимал под мышкой ружье, в том усердии, с каким он плыл все дальше, погрузив лицо в воду.

Сначала дно было усыпано камнями, потом стало скалистым. Иные скалы были голые, иные бородатые, густо обросшие бурыми водорослями. За каждым выступом скалы или между трепещущими, колеблемыми течением бородами могла внезапно появиться большая рыба. Через стекло своей маски Цеффирино с замиранием сердца внимательно смотрел вокруг.

Красота подводного царства поражает с первого взгляда, но самое прекрасное, так же как и всюду, видишь позже, когда примешься изучать его фут за футом. Ты



словно впитываешь в себя эти подводные пейзажи: плывешь, плывешь, и кажется, нет им конца. Стекло маски — будто один огромный глаз, который жадно поглощает тени и краски. Но вот тень кончается, и ты оказываешься за пределами мира скал; на песчаном дне ясно различимы мелкие волнистые морщинки — следы приливов и волн, лучи солнца спускаются до самой глубины вместе со стайками мелькающих, словно язычки пламени, крошечных рыбок, которые скользят друг за другом, прямые как стрелки, и вдруг все разом бросаются в сторону.

Вот взметнулось маленькое облако песка, и где-то глубоко послышался всплеск. Это ударил хвостом сарган. Он не заметил, что в него нацелена острога. Теперь уже Цеффирино плыл под водой. Сарган, лениво повернувшись несколько раз и показав свои полосатые бока, внезапно бросился в сторону. И рыба и охотник поплыли между камнями, ошестинившимися во все стороны водорослями к углублению в пористой и почти совершенно голой скале. «Ну, здесь уж ты от меня не уйдешь!» — подумал Цеффирино, но в ту же секунду сарган исчез. Из щелей и углублений вырывались пузырьки воздуха; некоторое время они вереницей летели кверху, потом все замирало, но вот уже в другом месте вверх летела новая вереница пузырьков. В ожидании добычи колыхались морские анемоны. Сарган высунулся из одной расселины, тотчас же скрылся в другой, затем снова показался из щели далеко в стороне. Обогнув выступ скалы, он нырнул в глубину, и Цеффирино увидел возле самого дна полосу светящейся зелени. Рыба скрылась в этом зеленом сиянии. Цеффирино бросился вдогонку.

Миновав низкую арку у подножия утеса, он снова увидел над собой толщу воды и небо. Со всех сторон дно бухты было исчерчено тенями редких скал; там, где тени понижались, бухта отделялась от моря грядой этих скал, торчавших над водой.

Изогнувшись всем телом и оттолкнувшись ластами, Цеффирино всплыл, чтобы перевести дыхание. Вот воздушная трубка выскочила на поверхность, и из нее брызнуло несколько капель воды, просочившихся в маску, однако голова мальчика все время оставалась под водой. Вдруг он снова увидел саргана, даже не одного, а сразу двух. Не успел он прицелиться в них, как показалась целая флотилия сар-

гапов, спокойно плывущих слева от него, потом такая же стая засверкала справа. Место было на редкость богатое рыбой, прямо-таки пруд, а не открытое море! Куда бы Цеффирино ни посмотрел, всюду шевелились тонкие плавники, блестя чешуя. Мальчик был так поражен и очарован этой картиной, что ему даже в голову не пришло выстрелить из своего ружья.

Сейчас важнее всего было не спеша присмотреться, как лучше выстрелить, чтобы не распугать остальную рыбу. По-прежнему держа голову под водой, Цеффирино направился к ближайшему утесу и вдруг прямо перед собой увидел в воде белую руку, безвольно повисшую вдоль стены, уходящей в глубину. Море было совершенно неподвижно, но на его поверхности, натянутой и прозрачной, то и дело расходились концентрические круги, словно в этом месте одна за другой падали дождевые капли. Мальчик поднял голову и огляделся. На самом краю утеса ничком лежала толстая женщина в купальном костюме. Женщина загорала и плакала. Слезы одна за другой бежали по ее щекам и капали в море.

Цеффирино поднял маску на лоб и сказал:

— Простите, пожалуйста.

— Ничего, мальчик, — ответила толстуха, всхлипывая. — Лови себе рыбу.

— Здесь очень рыбное место, — объяснил он. — Вы видите, сколько тут рыбы?

Толстая женщина продолжала лежать не шевелясь, приподняв голову и уставившись перед собой полными слез глазами.

— Ничего я не видела. Да и как я могу увидеть? Вот плачу, плачу, никак не успокоюсь.

Когда дело касалось моря и рыб, Цеффирино мог кого угодно за пояс заткнуть, но в присутствии посторонних он снова становился разиней, заикающимся на каждом слове.

— Мне очень жалко, синьора... — пролепетал он, собираясь снова отправиться к своим сарганам. Но такая толстая женщина, да еще в слезах — это было так необычайно, что Цеффирино помимо воли остался на месте и уставился на нее, словно зачарованный.

— Я вовсе не синьора, мальчик, — снова заговорила толстуха своим звучным, немного гнусавым голосом. — Зо-

ви меня синьорина. Синьорина Де Маджистрис. А тебя как зовут?

— Цеффирино.

— Прекрасно, Цеффирино. Хороший улов? Или хорошая охота, как у вас говорят?

— Не знаю, как говорят. Я еще ничего не поймал. Но место тут — что надо!

— Будь осторожен со своим ружьем. Я не за себя беспокоюсь, что мне, несчастной! Я из-за тебя, чтобы ты как-нибудь не поранился.

Цеффирино ответил, что она может не беспокоиться. Присев на камень рядом с женщиной, он некоторое время смотрел, как она плачет. Иногда казалось, что она уже успокаивается: в эти минуты она прерывисто вздыхала покрасневшим носом и поднимала вздрагивающую голову. Но почти тотчас же в уголках ее глаз под веками появлялись слезинки, набухали и в конце концов переливались через край.

Цеффирино не знал, что и подумать. При виде плачущей синьорины просто сердце сжималось. Но как можно быть такой печальной, когда вокруг море, а в нем кишмя кишит всякая рыба и ото всего этого сердце наполняется радостью и решимостью? Снова броситься в зеленую глубину и, как прежде, гоняться за рыбами? Но как же он может это сделать, когда рядом сидит взрослая тетя и обливается слезами? Получалось, что в одно и то же время, в одном и том же месте можно испытывать прямо противоположные и совершенно несовместимые желания! Вместе они не укладывались в сознании Цеффирино, и он никак не мог отжаться ни тому, ни другому.

— Синьорина, — проговорил он.

— Что тебе?

— Отчего вы плачете?

— От несчастной любви.

— А-а...

— Тебе этого не понять. Ты еще маленький.

— Хотите попробовать поплавать в маске?

— Спасибо, с удовольствием. А это хорошо?

— О! Это лучше всего на свете!

Синьорина Де Маджистрис встала и застегнула на спине бретельки купальника. Цеффирино подал ей маску и подробно объяснил, как ее надевать. Когда маска была надета,

синьорина полушутливо, полусмущенно покрутила головой, однако сквозь стекло было видно, что глаза ее продолжают плакать. Неуклюже, как тюлень, она бултыхнулась в море, опустила лицо в воду и принялась барахтаться.

С ружьем под мышкой Цеффирино прыгнул следом за ней и поплыл.

— Как только увидите рыбу, подайте мне знак! — крикнул он синьорине Де Маджистрис.

В воде он не признавал шуток. Редко кому выпадала честь отправиться с ним на рыбную ловлю.

Но синьорина высунула лицо из воды и отрицательно замотала головой. Стекло маски стало мутным, и теперь сквозь него уже нельзя было разглядеть ее лица.

— Я ничего не вижу, — пожаловалась она, содрав маску. — От слез все стекло запотело. Нет, я не могу. Мне очень жаль, но...

Она была вся в слезах, но из воды не вылезала.

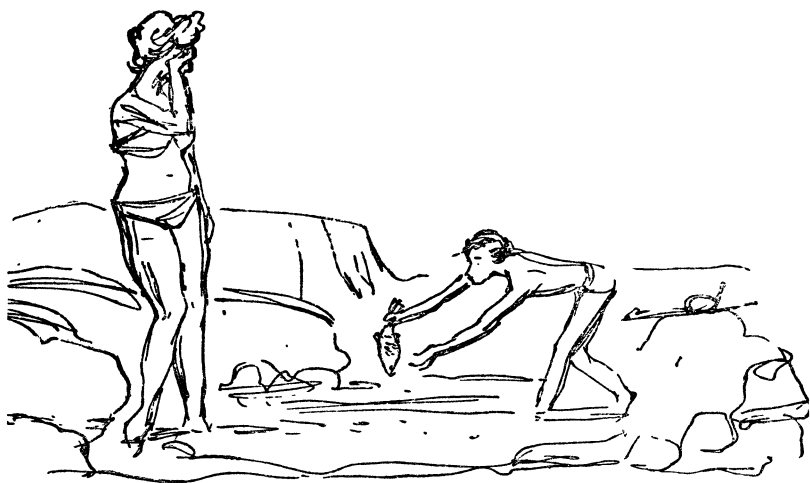
— Вот ведь беда, — пробормотал Цеффирино.

У него не было с собой половинки сырой картофелины, которой обычно протирают стекло маски, чтобы вернуть ему прозрачность, но он устроил все как нельзя лучше, заменив картофелину собственной слюной, и надел маску.

— Смотрите, как я делаю, — сказал он толстухе.

И они вместе поплыли в море. Цеффирино, отталкиваясь ластами, плавно скользил, опустив лицо в воду, синьорина плыла на боку, вытягивая одну руку и подогнув другую, горестно поднимая голову и не переставая плакать.

Плавала она плохо, эта синьорина Де Маджистрис, все время на боку, неловко хлопая по воде руками. Под ней на многие метры вглубь опротивею бросались в разные стороны рыбы, спешили убраться подальше морские звезды и каракатицы, раскрывали свои рты актинии. Поэтому перед глазами Цеффирино потянулись теперь такие пустынные пейзажи, что он даже растерялся. Здесь было уже довольно глубоко. Песчаное дно сплошь усеивали маленькие обломки камней, между которыми слабо колыхались в такт еле заметным движениям моря перепуганные водоросли. Но сверху казалось, что это камни плавно скользят по однообразному фону песчаного дна среди неподвижной воды и густых зарослей морской травы.



Вдруг Де Маджистрис увидела, что мальчик вниз головой уходит под воду. На секунду мелькнула его спина, потом ласты, и вот уже его тень, отчетливо различимая в прозрачной воде, скользнула вниз, на дно. Люпаччо слишком поздно заметил грозившую ему опасность, с силой пущенная острога догнала и ударила его наискось, ее средний зуб впился в хвост рыбы, пронзив его насквозь. Люпаччо напряг свои колючие плавники и стал метаться в разные стороны, взбаламучивая воду. В его теле сидел только один из трех зубьев остроги, поэтому он еще надеялся вырваться, пусть даже лишившись хвоста. Но он добился только того, что зацепился плавником за другой зуб остроги. Люпаччо был пойман. Натянулась леска, наматываясь на катушку, и скоро над рыбой закачалась розовая тень довольного собой Цеффирино.

Через несколько секунд из воды вынырнула острога с насаженной на ней рыбой, потом появилась рука мальчика, наконец, показалась голова в маске и послышался клекот воды в дыхательной трубке.

— Посмотрите, какая красивая! — воскликнул Цеффирино, подняв маску. — Смотрите, синьорина!

На остроге торчал большой, черный, с серебром люпаччо. Однако женщина продолжала плакать.

Цеффирино взобрался на вершину утеса. Де Маджистрис с трудом вскарабкалась следом за ним. Мальчик нашел неподалеку небольшую выбоину в камне, до краев наполненную водой, и опустил туда рыбу, чтобы она не испортилась. Оба присели рядом с ней на корточки, и Цеффирино, с интересом наблюдая, как тело рыбы меняет цвет, и поглаживая ее по чешуе, то и дело предлагал Де Маджистрис последовать его примеру.

— Посмотрите только, какой он красивый! — повторял мальчик. — Видите, как бьется?

Когда ему показалось, что к унынию, не покидавшему толстуху, начинает примешиваться какой-то интерес к пойманной им рыбе, он сказал:

— Я на минутку отлучусь, погляжу, может, еще одну удастся поймать.

И, нарядившись в свои доспехи, бросился в воду.

Женщина осталась сидеть возле рыбы. Неожиданно она обнаружила, что никогда еще не видела рыбы более несчастной, чем эта. Она водила пальцем по круглому, как колечко, рыбьему рту, по жабрам, по хвосту, потом вдруг увидела, как на красивом серебряном теле рыбы открылось множество микроскопических дырочек. Это вылезали водяные блохи, крошечные паразиты, живущие на рыбах. Уже давно, очень давно владели они этим люпаччо, прогрызая себе путь в его плоти.

А между тем Цеффирино, не ведавший обо всем этом, уже влезал на утес с торчавшей на остроге золотистой омбриной, которую он протянул Де Маджистрис. Таким образом теперь они словно разделили обязанности: женщина снимала рыбу с остроги и клала ее в выбоину, а Цеффирино снова кидался вниз головой в море — охотиться за новой добычей. Однако каждый раз, прежде чем нырнуть, он оглядывался на Де Маджистрис, чтобы проверить, перестала ли она плакать. Но она плакала, даже глядя на люпаччо и омбрину, и Цеффирино не знал, что же может ее утешить.

Бока омбрины были украшены золотистыми полосками, вдоль всей спины один за другим тянулись два плавника. И вот между этими плавниками синьорина разглядела глубокую узкую рану. Рана была старая, гораздо старше тех,

что нанесла острога Цеффирино. Должно быть, ее ударила своим клювом чайка, и ударила с такой силой, что непонятно было, как после такого удара рыба могла остаться в живых. Да, кто знает, сколько времени эта омбрина носила в своем теле такую боль...

Опередив острогу Цеффирино, на стайку маленьких и нерешительных церли бросился верезуб и на лету проглотил одного церли, но в ту же минуту ему в горло впился трезубец. Никогда еще Цеффирино не делал более удачного выстрела.

— Мировой верезуб! — закричал мальчик, стаскивая маску. — Понимаете, я гнался за церли. А он — раз! — и проглотил одного! Ну тут я... — И он, заикаясь от волнения, принялся рассказывать, как все случилось.

Поймать рыбу крупнее и красивее этой было просто невозможно, и Цеффирино хотелось, чтобы Де Маджистрис порадовалась, наконец, вместе с ним. Но она смотрела на жирное серебристое тело рыбы, на ее горло, которое совсем еще недавно заглатывало зеленоватую рыбку, а теперь, в свою очередь, было растерзано стальными зубами остроги. «Да, вот так они и живут там, в море!..»

Потом Цеффирино поймал еще серого рокке и красного рокке, саргана с желтыми полосками на боках, толстенькую золотую рыбку, плоскую богу, а под конец даже усатую, ошетилившуюся колючками летучую рыбу. Но у каждой из этих рыб синьорина Де Маджистрис обнаруживала, кроме ран от остроги, то крошечные, словно уколы, отверстия, которые прогрызли водяные блохи, то пятно от какой-то непонятной болезни, то рыболовный крючок, с давних пор застрявший в глотке. Что, если эта мелкая бухточка, обнаруженная мальчуганом, — место сбора разных увечных рыб, убежище для несчастных, осужденных на долгие страдания, их подводный лазарет или арена смертельных поединков?

Между тем Цеффирино сражался между скал. Осьминоги! Он открыл здесь целую колонию этих моллюсков, обосновавшихся у подножия массивного утеса. Скоро на его остроге красовался большой фиолетовый осьминог, выпускавший из раны жидкость, похожую на разбавленные чернила. При виде его синьориной Де Маджистрис овладела непонятная грусть. Для осьминога нашли отдельную выбоину, и Цеффирино с удовольствием остался бы возле нее,

чтобы полюбоваться, как медленно меняет оттенки серо-розовая кожа моллюска. Было уже поздно. От долгого купания в воде все тело мальчика покрылось гусиной кожей. Но он не был бы Цеффирино, если бы не захотел переловить всю найденную им семью осьминогов.

Синьорина принялась разглядывать осьминога, его скользкое тело, отверстия в присосках, почти совсем жидкий красноватый глаз. И ей казалось, что из всех живых существ, пойманных Цеффирино, только на осьминоге нет ни пятнышка, ни раны, причиняющей страдания. Его щупальца, розоватые, почти как человеческое тело, такие податливые, извилистые, со множеством невидимых сочленений, вызвали мысли о здоровье и жизни. В животном еще чувствовалось какое-то оцепеневшее напряжение, от которого чуть заметно извивались щупальца и растягивались присоски. Синьорина Де Маджистрис ласково водила рукой вдоль извилины тела осьминога, не решаясь, однако, до него дотронуться, при этом ее пальцы шевелились, как бы подражая извивавшимся щупальцам. Постепенно рука ее стала опускаться все ниже и ниже и, наконец, коснулась осьминога.

Щупальца осьминога взвились в воздухе, словно гибкие плети, и в одно мгновение с силой оплели руку синьорины Де Маджистрис. Она вскочила на ноги, как будто стараясь убежать от своей собственной руки, зажатой осьминогом, и пронзительно закричала:

— Ой, осьминог! Ой, растерзает!

Цеффирино, которому именно в эту минуту удалось выкурить из норы очередного осьминога, высунул голову из воды и увидел, что осьминог, опутавший руку толстой синьорины, уже добирается щупальцами до ее шеи. Он услышал и ее голос, ее долгий пронзительный визг, в котором, как показалось теперь мальчику, уже не звучали слезы.

В ту же минуту к толстухе подбежал мужчина, вооруженный ножом, и начал наносить ожесточенные удары, целясь в глаза чудовища. Это был отец Цеффирино. Наполнив свою корзинку пателемами, он отправился на поиски сына и уже подходил к утесам, как вдруг услышал вопли. Вглядевшись как следует через очки, он увидел женщину и немедленно бросился к ней на помощь, не выпуская из рук ножа, которым отдирал своих слизняков. Вскоре ему удалось почти обезглавить осьминога. Щупальца тотчас же

бессильно разжались, а синьорина Де Маджистрис лишилась чувств.

Когда она пришла в себя, осьминог был уже разрезан на части. Цеффирино подарил его толстухе и посоветовал изжарить; отец подробно объяснил ей, как приготовить вкусное жаркое из осьминога. Цеффирино, не спускаясь с синьорины глаз, несколько раз показалось, что она вот-вот снова заплачет, но нет, она не пролила больше ни одной слезинки.

ОДНАЖДЫ АДАМ...

Новый садовник был длинноволосый паренек в шапочке из сшитых крест-накрест матерчатых полос, которая не давала волосам рассыпаться и падать на глаза. Сейчас он шел вверх по аллее, неся в одной руке полную до краев лейку, а другую для равновесия отставив в сторону. Паренек поливал настурции. Он потихонечку, осторожно наклонял лейку, словно разливал по чашечкам кофе. На земле вокруг стебля растения расплывалось темное пятно; когда пятно становилось большим и мягким, он поднимал лейку и направлялся к другому кусту. Как видно, садовник был мастером своего дела, раз мог так спокойно, не торопясь делать свою работу. Мария Нунциата смотрела на него из окна кухни. Он был уже совсем большой мальчик, хотя и ходил еще в коротких штанишках. А длинные волосы делали его очень похожим на девочку. Мария Нунциата перестала вытирать тарелки и постучала в стекло.

— Мальчик! — позвала она.

Садовник поднял голову, увидел Марию Нунциату и улыбнулся. В ответ Мария Нунциата прыснула со смеху, потому что никогда в жизни не встречала мальчика с такими длинными волосами и в такой шапочке. Тогда садовник поймал ее рукой, а Мария Нунциата, продолжая смеяться — уж очень чудно он махал рукой, маня ее, — тоже жестами стала объяснять ему, что должна перемыть посуду. Но садовник, маня ее одной рукой, другой показывал на горшки с георгинами. Почему он показывал на горшки с георгинами? Мария Нунциата приоткрыла рамы и выглянула во двор.

— Что там? — спросила она и опять засмеялась.



— Хочешь, покажу одну замечательную штуку?

— Какую?

— Одну замечательную штуку покажу. Иди посмотри. Иди скорей!

— А ты скажи что.

— Я тебе ее подарю. Я тебе подарю замечательную вещь.

— У меня еще не вся посуда перемыта. И вдруг синьора зайдет, а меня нет.

— Хочешь, чтобы я подарил, или не хочешь? Ну, иди!

— Подожди там, — сказала Мария Нунциата и закрыла окно.

Когда она вышла с черного крыльца, садовник стоял на прежнем месте и поливал настурции.

— Привет! — сказала Мария Нунциата.

Мария Нунциата казалась выше, чем была на самом деле, потому что носила туфли на толстой подошве из микропорки, такие красивые, что их грех было таскать на работе, как она это делала. У нее было совсем детское лицо, терявшееся среди черных курчавых локонов, и тоненькие, как у девочки, ноги, между тем как тело, упругими холмиками обозначавшееся под передником, было уже совсем созревшим. И она всегда смеялась. Что бы ни сказали другие или она сама, она тотчас же прыскала со смеху.

— Привет! — сказал садовник. Его лицо и шея были покрыты бронзовым загаром. Даже грудь была темно-коричневого цвета, может быть, потому, что он всегда ходил так же, как сейчас, полуголым.

— Как тебя зовут? — спросила Мария Нунциата.

— Либерезо, — ответил садовник.

Мария Нунциата залилась смехом.

— Либерезо, — повторила она. — Либерезо... Что это за имя — Либерезо!

— Это имя на эсперанто, — сказал мальчик. — Оно значит «свобода» на эсперанто.

— Эсперанто? — сказала Мария Нунциата. — Значит, ты из Эсперанто?

— Эсперанто — это язык, — объяснил Либерецо. — Мой отец говорит на эсперанто.

— А я из Калабрии, — сказала Мария Нунциата.

— А как тебя зовут?

— Мария Нунциата. — И она засмеялась.

— Почему ты всегда смеешься?

— А почему тебя зовут Эсперанто?

— Не эсперанто — Либерецо.

— А почему?

— А почему тебя зовут Мария Нунциата?

— Это имя мадонны. Меня зовут как мадонну, а моего брата — как Сан-Джузеппе.

— Санджузеппе?

Мария Нунциата покати́лась со смеху.

— Санджузеппе! Джузеппе, а не Санджузеппе! Либерецо!

— А моего брата зовут Жерминаль, а сестру — Омния, — сказал Либерецо.

— Что ты хотел мне показать? — сказала Мария Нунциата. — Покажи, что хотел показать.

— Идем, — сказал Либерецо. Он поставил лейку на землю и взял девочку за руку.

Мария Нунциата уперлась.

— Сперва скажи что.

— Сама увидишь, — сказал он. — Только пообещай, что будешь ее беречь.

— А ты мне ее подаришь?

— Подарю, подарю.

Он повел ее в сторону от аллеи, почти к самой стене, окружавшей сад. Там стояли горшки с высокими, чуть ли не в их рост, кустами георгинов.

— Это там.

— Что?

— Подожди.

Мария Нунциата выглядывала у него из-за плеча. Либерецо наклонился, передвинул один горшок, потом поднял другой, стоявший у самой стены, и показал вниз, на землю.

— Вон там, — сказал он.

— Что? — спросила Мария Нунциата. Она ничего не видела: этот угол тонул в тени, и там ничего не было, кроме влажных листьев и перегноя.

— Смотри, вон шевелится, — сказал мальчик.

И тут она увидела между листьями камень, который шевелился, что-то мокрое, с глазами и лапами — жабу.

— Мамочка родная!

Мария Нунциата отскочила и, прыгая между горшками георгинов в своих прекрасных туфлях на микропорке, отбежала в сторону. А Либерецо сидел на корточках рядом с жабой и смеялся, показывая белые зубы, сверкавшие на его бронзовом лице.

— Боится... Ведь это жаба! Чего же ты боишься?

— Да! Это жаба! — жалобно проговорила Мария Нунциата.

— Это жаба. Ну подойди поближе! — сказал он.

Она ткнула пальцем в сторону жабы.

— Убей ее!

Мальчик протянул вперед руки, будто защищая ее.

— Не хочу. Она хорошая.

— Это жаба-то хорошая?

— Они все хорошие. Они червей едят.

— А-а!.. — сказала Мария Нунциата, но так и не подошла. Покусывая кончик передника, она косилась на жабу, стараясь разглядеть ее издали.

— Смотри, какая красивая, — сказал Либерецо и протянул к ней руку.

Мария Нунциата подошла поближе. Теперь она уже не смеялась — она смотрела, открыв рот.

— Нет! Не трогай ее!

Либерецо одним пальцем стал тихонько поглаживать жабу по серо-зеленой спине, усеянной слюнявыми бородавками.

— Ты с ума сошел? Не знаешь, что ли, как она жжется, если ее тронешь? Теперь у тебя вся рука распухнет.

Мальчик показал свои большие коричневые руки с твердыми мозолями, закрывавшими чуть ли не всю ладонь.

— Мне ничего не будет, — сказал он. — Смотри, какая красавица!

Он поднял жабу, как котенка, за шиворот и посадил се-



бе на ладонь. Мария Нунциата, покусывая шлейку передника, подошла поближе и присела рядом.

— Мамочка родная, ну и чудело! — воскликнула она.

Они сидели на корточках за высокими кустами георгинов, и розовые коленки Марии Нунциаты касались коричневых покрытых ссадинами колен Либерецо. Либерецо поглаживал жабу по спине то ладонью, то тыльной стороной руки, прикрывая ее каждый раз, когда она обнаруживала намерение прыгнуть вниз.

— Ты тоже погладь ее, Мария Нунциата, — сказал он. Девочка спрятала руки под передник.

— Нет, — сказала она.

— Что? — спросил он. — Ты не хочешь?

Мария Нунциата опустила глаза, потом опять взглянула на жабу и снова опустила ресницы.

— Нет, — сказала она.

— Она твоя. Я тебе ее дарю, — сказал Либерецо.

Теперь Мария Нунциата чуть не плакала. Ей грустно было отказываться от подарка, никто никогда не делал ей подарков, но жаба вызывала у нее отвращение.

— Ты можешь взять ее домой, если хочешь. Она будет жить с тобой.

— Нет, — сказала она.

Либерецо опустил жабу на землю, и она тотчас же спряталась в листе.

— Пока, Либерецо.

— Подожди!

— Мне еще посуду домывать. Синьора не любит, когда я выхожу в сад.

— Подожди. Мне хочется что-нибудь тебе подарить. Что-нибудь действительно красивое. Идем!

Она пошла за ним по узеньким аллеям, засыпанным гравием. Станный все-таки мальчик этот Либерецо: носит длинные волосы, берет в руки жаб...

— Сколько тебе лет, Либерецо?

— Пятнадцать. А тебе?

— Четырнадцать.

— Уже исполнилось или будет?

— Исполнилось на благовещение.

— А оно уже было?

— Как, ты не знаешь, когда благовещение?

Она опять смеялась.

— Нет.

— Благовещение, когда бывает крестный ход. Ты никогда не ходил с крестным ходом?

— Нет.

— А вот у нас в деревне такой красивый крестный ход! У нас совсем не так, как здесь. У нас поля — большие поля, и на всех полях бергамотовые деревья, ничего больше нет, только бергамотовые деревья. И у всех только одно дело — собирать бергамоты с утра до вечера. Нас в семье было четырнадцать братьев и сестер, и все собирали бергамоты, и пятеро умерли еще маленькими, а потом маму хватил столбняк, и мы ехали в поезде целую неделю к дяде Кармело и у него спали в гараже ввосьмером, вповалку... А почему у тебя такие длинные волосы?

Они остановились у газона, на котором росли каллы.

— Длинные, и все. У тебя вот тоже длинные.

— Я девочка. А если ты ходишь с длинными волосами, то тоже как девочка.

— Я не как девочка. Мальчик или девочка, это не по волосам видно.

— Как не по волосам?

— Не по волосам.

— Почему не по волосам?

— Хочешь, подарю тебе красивую штуку?

— Хочу.

Либерезо стал ходить между каллами. Они все уже распустились — белые трубы, устремленные в небо. Либерезо заглядывал в каждый цветок, шарил в нем двумя пальцами и прятал что-то себе в кулак. Мария Нунциата не пошла на газон. Стоя в стороне, она смотрела на Либерезо и молча смеялась. Что он там делал, этот Либерезо? Но вот он пересмотрел все каллы и подошел к Марии Нунциате, держа перед собой руки, сжатые в одну горсть.

— Подставляй руки, — сказал он.

Мария Нунциата сложила ладони лодочкой, но подставить под руки Либерезо не решалась.

— Что там у тебя?

— Очень красивое. Подставляй руки, увидишь.

— Дай сперва посмотреть.

Либерезо разжал кулак, и Мария Нунциата увидела, что он держит полную пригоршню бронзовых жуков всех оттенков. Самыми красивыми были зеленые, но попадались и красноватые, и черные, и даже один синий. Они жужжали, терлись друг о друга жесткими надкрыльями и перебирали в воздухе черными ножками. Мария Нунциата спрятала руки под передник.

— На, держи, — сказал Либерезо. — Они тебе не нравятся?

— Нравятся, — сказала Мария Нунциата, не вынимая рук из-под передника.

— Когда их держишь в руке, они щекочут. Хочешь попробовать?

Мария Нунциата робко протянула руки, и ей в ладони полился водопадик разноцветных насекомых.

— Не бойся! Они не кусаются.

— Мамочка!

Она совсем не подумала, что они могут кусаться. Девочка разжала руки: жучки, оказавшись в воздухе, распустили крылышки, красивые краски исчезли, остался только рой жесткокрылых, которые летели обратно к каллам.

— Жалко. Мне хочется сделать тебе подарок, а ты ничего не хочешь.

— Мне надо идти домывать посуду. Если синьора увидит, что я ушла, она опять будет кричать на меня.

— Ты не хочешь, чтобы я тебе что-то подарил?

— А что ты мне подаришь?

— Пойдем.

И, взявшись за руки, они снова пошли по дорожкам.

— Мне нужно скорей на кухню, Либерезо. Я еще курицу не ощидала.

— Фу!

— Почему «фу»?

— Мы не едим мяса мертвых животных.

— Значит, все время поститесь?

— Как ты сказала?

— Что же вы едите?

— Да много чего: артишоки, салат, помидоры. Мой отец не хочет, чтобы мы ели мясо убитых животных. Мы и кофе не пьем и сахар не едим.

— А сахар по карточкам?

— Мы его продаем на черном рынке.

Они подошли к зарослям мясистых растений, усеянных красными цветами.

— Какие красивые цветы! — сказала Мария Нунциата. — Ты никогда их не рвешь?

— А зачем?

— Чтобы относить мадонне. Зачем же еще цветы, если не относить их мадонне?

— Месембриантемум.

— Чего?

— Их зовут месембриантемум, эти цветы. По-латыни. Все растения называют по-латыни.

— Мессу тоже служат на латыни.

— Не знаю.

Прищурясь, Либерезо смотрел сквозь ветви на стену, огораживающую сад.

— Ага, вон она! — сказал он.

— Кто там?

На стене, греясь на солнце, сидела зеленая, разрисованная черными узорами ящерица.

— Сейчас я ее поймаю.

— Не надо.

Но Либерезо уже подкрадывался к ящерице. Он приближался к ней с поднятыми руками, медленно-медленно, потом вдруг рванулся вперед и прижал ящерицу к стене. На брон-

зовом лице Либерецо вспыхнула белозубая улыбка — он смеялся, довольный.

— Смотри, как вырывается!

Из зажатых рук мальчика высовывалась то растерянная головка ящерицы, то ее хвост. Мария Нунциата тоже смеялась, но всякий раз, как ящерица высовывала голову, она отскакивала назад, зажимая юбку между коленями.

— Значит, ты совсем не хочешь, чтобы я тебе что-нибудь подарил? — сказал немного обиженный Либерецо.

Он осторожно-осторожно посадил обратно на стену ящерицу, которая тотчас же метнулась прочь. Мария Нунциата стояла, опустив глаза.

— Пойдем со мной, — сказал Либерецо и взял ее за руку.

— Мне хочется губную помаду. Накрасить в воскресенье губы и чтобы пойти на танцы... И еще черную вуаль, не сейчас, а потом, накинуть на голову, когда идти под благословенье.

— В воскресенье, — сказал Либерецо, — я с братом хожу в лес, и мы набираем по мешку шишек. А потом, вечером, отец читает вслух книжки Элизе Реклю *. У моего отца вот такие длинные волосы, до плеч, и борода вот такая, до груди. И он всегда ходит в коротких штанах — и летом и зимой. А я делаю рекламные рисунки для витрины авиационной компании. Рисую разных людей, финансистов — в цилиндрах, генералов — в кепи, священников — в круглых шляпах. А потом раскрашиваю акварелью.

Перед ними был бассейн, в котором плавали круглые листья кувшинок.

— Тише, — шепнул Либерецо.

Под водой виднелась лягушка, которая плыла наверх, отталкиваясь время от времени зелеными лапками. Всплыв на поверхность, она вспрыгнула на лист кувшинки и уселась посередине.

— Вот, — пробормотал Либерецо и потянулся, чтобы схватить ее, но Мария Нунциата крикнула: «Ой!», и лягушка прыгнула в воду. Либерецо, склонившись лицом к самой воде, принялся высматривать еще одну лягушку.

— Вон, внизу.

* Жан Жак Элизе Реклю (1830—1905) — французский географ, социалист. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Он сунул в воду руку и вытащил что-то зажатое в кулаке.
— Сразу две, — сказал он. — Смотри! Одна на другой.
— Почему? — спросила Мария Нунциата.

— Самец и самка слепились, — ответил Либерецо. — Смотри, что они делают.

И он хотел посадить лягушек ей на ладонь. Мария Нунциата сама не знала, чего она испугалась, того ли, что это были лягушки, или того, что это были слепившиеся самец и самка.

— Оставь, — сказала она, — не надо их трогать.

— Самец и самка, — повторил Либерецо. — Потом ведутся головастики.

Облачко на миг закрыло солнце. Неожиданно Мария Нунциата в отчаянии воскликнула:

— Ой, как поздно! Конечно, синьора давно уже хватилась меня!

Однако она не ушла. Они продолжали бродить по саду. Солнце скрылось совсем. Показалась головка змеи. Она ползла в зарослях бамбука, маленькая змейка, медянка. Либерецо заставил ее обвиться вокруг своей руки и гладил по голове.

— Однажды я дрессировал змей, у меня была целая дюжина, одна — длинная-длинная и желтая, водяная. Потом она сменила кожу и удрала. А эта, посмотри, рот открывает, смотри, какой у нее раздвоенный язык. Погладь ее, она не кусается.

Но Мария Нунциата боялась змей. Тогда они направились к фонтану с искусственными скалами. Прежде всего Либерецо открыл у фонтана все краны и показал ей, как он бьет. Мария Нунциата была очень довольна. Потом он показал ей золотую рыбку. Это была старая одинокая рыбка, чешуя у нее уже начала белеть. Вот золотая рыбка Марии Нунциате понравилась. Либерецо принялся шарить в воде руками, стараясь поймать ее. Поймать рыбу было трудно, но зато потом Мария Нунциата могла посадить ее в банку и держать где угодно, даже в кухне. Наконец он поймал ее, но не стал вытаскивать из воды, чтобы она не задыхнулась.

— Опусть руки, погладь ее, — сказал Либерецо. — Можно даже почувствовать, как она дышит. Плавники у нее, как из бумаги, а чешуйки колются, только не сильно, а чуть-чуть.

Но Мария Нунциата не хотела погладить даже рыбку.

На грядке с петуниями земля была рыхлая, и Либерецо, расковыряв ее пальцем, вытащил несколько дождевых червей, длинных-предлинных и очень-очень мягких.

Мария Нунциата, тихонько взвизгивая, отбежала в сторону.

— Положи сюда руку, — сказал Либерецо, показывая на ствол старого персикового дерева. Мария Нунциата, не понимая, зачем это нужно, все-таки приложила руку к стволу. Вдруг она закричала, бросилась к фонтану и сунула руку в воду: когда она отняла ее от ствола, вся кисть была усеяна муравьями. Кора персикового дерева сверху донизу была усыпана маленькими «аргентинскими» муравьями, бегавшими взад и вперед.

— Смотри, — сказал Либерецо и положил руку на ствол. По ней тотчас же забегали муравьи, но мальчик стоял как ни в чем не бывало.

— Ты что? — воскликнула Мария Нунциата. — Почему ты их не стряхнешь?

Пальцы у него стали совсем черными от муравьев, которые ползли дальше, к запястью.

— Отними руку! — умоляюще твердила Мария Нунциата. — Отними! Они же все на тебя переползут!

Муравьи между тем, бегая по голой руке мальчика, добрались до локтя. Вот уже вся рука Либерецо покрылась, словно вуалью, черными движущимися точками, вот уже муравьи добрались до плеча, но Либерецо все не отнимал руки.

— Отойди от дерева, Либерецо, опусти руку в воду!

Либерецо смеялся. Несколько муравьев, побегав по шее, перебрались ему на лицо.

— Либерецо! Все что хочешь! Все твои подарки возьму, какие угодно!

Она кинулась к нему и стала сбрасывать муравьев, ползавших у него по лицу и по шее.

Тогда Либерецо снял руку с дерева. Лицо его светилось бело-бронзовой улыбкой. Он небрежно смахнул муравьев, но видно было, что он взволнован.

— Ладно, я решил: сделаю тебе настоящий подарок. Самый дорогой, какой только могу.

- Какой? Что ты мне подаришь?
- Дикобраза.
- Мамочки!.. Ой, синьора! Синьора зовет!

Мария Нунциата кончала мыть последнюю тарелку, когда в стекло стукнул камешек. Под окном стоял Либерецо с большой корзиной в руках.

— Мария Нунциата,пусти меня! У меня для тебя сюрприз.

— Тебе нельзя заходить. А что у тебя там, в корзинке?

Однако в этот момент синьора позвонила, и Мария Нунциата исчезла.

Когда она вернулась в кухню, Либерецо уже не было. Ни в кухне, ни под окном. Мария Нунциата подошла к раковине и... увидела сюрприз.

В каждой тарелке, поставленной сушиться, прыгало по лягушонку; в кастрюле свернулась змея; суповая миска была полна ящериц, а слюнявые улитки оставляли разводы на прозрачном хрустале рюмок. В кадке с водой одиноко плавала старая золотая рыбка.

Мария Нунциата отступила на шаг, но тут у самых своих ног увидела жабу. Жаба, должно быть, была самкой, потому что с ней был весь выводок — пять крошечных жабят, которые маленькими прыжками скакали гуськом по черным и белым плиткам кафельного пола.

КОРАБЛЬ, ГРУЖЕННЫЙ КРАБАМИ

В погожее апрельское воскресенье ребята с площади Деи Долори впервые в этом году отправились купаться. На голубом, по-весеннему новом небе сверкало веселое, молодое солнце. Заплатанные фуфайки трепыхались на ветру — мальчишки бежали по переулкам, круто спускавшимся вниз. Кое-кого уже обрядили в ботинки на деревянной подошве, которые громко стучали по булыжной мостовой. Почти все ребята были без чулок, потому что никому не хотелось возиться, натягивая их после купанья на мокрые ноги. Перепрыгивая через сети, расстеленные на земле, наступая на

голые, с заскорузлыми мозолями ноги рыбаков, сидя чинивших порванные ячеи, ребята побежали на мол и быстро сбросили одежду на булыжники, которыми были вымощены его откосы. Все здесь радовало их: и терпкий запах гниющих водорослей и чайки, которые парили в небе, словно желая заполнить собою его необъятную ширь. Ребята спрятали одежду и башмаки в выбоинах между булыжниками, распугав при этом ютившихся там маленьких крабов, и принялись скакать нагишом с одного камня на другой, дожидаясь, чтобы кто-нибудь первым решился прыгнуть в воду.



Море было спокойное, но не прозрачное, а темно-синее, с ярко-зелеными бликами. Джан Мария, по кличке Марьяска, взобрался на высокий камень и шумно вздохнул, проводя большим пальцем под носом (это был его излюбленный жест, который он перенял у боксеров).

— Айда! — крикнул он и, вытянув вперед руки, бросился в море.

Проплыв несколько метров под водой, он, фыркая и от-



плевываясь, вынырнул на поверхность и перевернулся на спину.

— Холодная? — крикнули с берега.

— Кипяток! — ответил Марьяска и, чтобы окончательно не заколечеть, принялся с ожесточением загребать воду руками.

— Шайка! За мной! — заорал Чичин, считавший себя вожаком, несмотря на то, что его никто никогда не слушался.

Все попрыгали в воду: и Пьер Линжера, кувырком слетевший с камня, и Пузан, который плюхнулся в воду плашмя, животом вперед, и Пауло, и Карруба. Последним нырнул Менин, боявшийся воды как черт ладана. Он прыгал солдатиком, старательно зажимая нос двумя пальцами.

В воде Пьер Линжера, который был самым сильным из ребят, принялся в шутку топить одного за другим всех своих приятелей. Потом ребята, сговорившись, окунули с головой самого Пьера Линжера.

И тут Джан Мария, по кличке Марьяска, предложил:

— На корабль! Айда на корабль!

В самой середине бухты торчал из воды пароход, который еще во время войны потопили немцы, чтобы закрыть проход в порт. Там был даже не один, а целых два парохода — один над другим.

— Айда! — дружно ответили ребята.

— А разве можно на него подниматься? — спросил Менин. — Он же заминирован.

— На-ко вот, заминирован! — возразил Пузан. — Ребята из Аренеллы* влезают на него, когда хотят, и даже в войну там играют.

Все поплыли к пароходу.

— Шайка! За мной! — крикнул Чичин, который хотел быть вожаком.

Однако он не мог плыть так быстро, как остальные ребята, и плелся самым последним, если не считать Менина, который плавал по-лягушечьи и всегда был сзади всех.

Вскоре они оказались под самым кораблем, вздымавшим над ними свои голые, покрытые плесенью и почерневшей от времени смолой борта, над которыми, упираясь в весеннюю голубизну неба, торчали разрушенные корабельные надстрой-

* Аренелла — приморский квартал Неаполя.

ки. От киля вверх по бортам, покрытым огромными стружьями старой краски, словно стремясь целиком затянуть их, взбирались мохнатые бороды гниющих водорослей.

Ребята оплыли судно кругом и задержались под кормой, чтобы прочесть полустертую надпись: «Абукир, Египет». Рядом косо спускалась в море туго натянута якорная цепь. От каждой волны прилива она вздрагивала и жалобно скрипела огромными ржавыми кольцами.

— Не влезем, — заметил Пузан.

— А ну тебя! — отмахнулся Пьер Линжера и, ухватившись за цепь руками и ногами, как обезьяна, вскарабкался наверх.

Остальные последовали за ним. Пузан, добравшись до середины, не удержался и снова плюхнулся в воду животом вниз. А Менин вовсе не смог подняться, и пришлось волоком втаскивать его на корабль.

Очутившись на палубе, притихшие ребята отправились бродить по разрушенному судну. Они искали рулевое колесо, сирену, люки, шлюпки — словом, все, что обязательно должно быть на любом судне. Однако этот корабль больше походил на ободранный паром. Единственное, что имелось на нем в изобилии, — это помет чаек, который белел всюду. Когда ребята поднялись на палубу, они увидели там штук пять этих птиц, которые отдыхали, примостившись в тени борта. Заслышав топот босоногой ватаги, чайки, шумно хлопая крыльями, одна за другой взмыли в воздух.

— Кш-ш! — крикнул Пауло и, подняв с палубы большой болт, швырнул его вслед улетающим птицам.

— Шайка! Айда к машинам! — предложил Чичин.

А ведь и правда, куда интереснее играть в трюме или в машинном отделении!

— А можно спуститься в тот пароход, что под водой? — спросил Карруба.

О, вот это было бы действительно здорово — очутиться взаперти глубоко под водой, чтобы вокруг — и слева, и справа, и сверху — было море, как будто ты в подводной лодке!..

— Нижний пароход заминирован, — пропищал Менин.

— Сам ты заминирован! — с жаром возразило ему сразу несколько голосов.

Ребята двинулись вниз по трапу, но, спустившись на несколько ступеней, внезапно остановились. У самых их ног

глухо плескалась между тесными стенками черная вода. Столпившись на лестнице, ребята с площади Деи Долори молча смотрели на эту воду, полную блестящих черных игло-лок. Там, в глубине, жили целые колонии морских ежей, которые лениво щетинились своими острыми колючками. Стены вокруг были сплошь покрыты пателемами. Их раковины, украшенные гирляндами зеленых водорослей, прочно прилепились к железным стенам трюма, которые казались розовыми. А по краям, у стен, вода кишмя кишела крабами всех видов и размеров: они кружили на своих кривых паучьих лапах, растопыривали клешни и бессмысленно таращили глаза. Море глухо плескалось в тесном квадрате железных стен, ласково лизало плоские брюшки крабов. А кто знает, ведь, может быть, все трюмы этого корабля набиты крабами, которые вот так же ощупью тычутся во все стороны, и может статься, что в один прекрасный день кривые ножки крабов сдвинут этот корабль с места, и он зашагает по морским просторам.

Ребята поднялись на верхнюю палубу, прошли на нос корабля и вдруг увидели девочку. Сразу они ее почему-то не заметили, хотя по всему было видно, что она здесь уже давно. Девочке было лет шесть; толстенная, загорелая, с густыми вьющимися волосами, она была одета только в белые трусики. Откуда она могла здесь появиться? На ребят она даже не взглянула. Все ее внимание было поглощено медузой, лежавшей на дощатой палубе вверх брюхом, окруженным мягкими фестонами щупалец. Девочка старалась палкой перевернуть медузу куполом вверх.

Ребята с площади Деи Долори столпились вокруг нее, изумленно разинув рты. Первым пришел в себя Марьяска. Он выступил вперед, шмыгнул носом и спросил:

— Ты кто?

Девочка подняла на ребят свои голубые глаза, блеснувшие на пухлом загорелом лице, и снова принялась подсовывать палку под круглую спину медузы.

— Она, наверно, с Ареллы, из их шайки, — заметил Карруба, очень сведущий в подобных делах.

Действительно, мальчишки с Ареллы частенько брали с собой девочек, которые плавали с ними в море, играли в мяч и даже, вооружившись палками, помогали в сражениях.

— Ты наша пленница, — важно сказал Марьяска.

— Шайка! — сейчас же вмешался Чичин. — Взять ее живьем!

Девочка продолжала возиться с медузой.

— Тревога! — закричал вдруг Пауло, который случайно оглянулся назад. — Шайка с Аренеллы!

Пока ребята с площади Деи Долори занимались девочкой, мальчишки с Аренеллы, привыкшие по целым дням плескаться в море, под водой подплыли к кораблю, без единого звука поднялись по якорной цепи и, бесшумно перебравшись через борт, внезапно появились на палубе. Они были небольшого роста, но коренастые и упругие, как котята, все, как один, бритоголовые и черные от загара. Они не носили длинных, поминутно спадавших черных трусов, как ребята с площади Деи Долори, вся их одежда состояла из узкой полоски белой материи.

Началась драка. Ребята с площади Деи Долори были худые и поджарые, если не считать Пузана, который выделялся своим круглым животом. Но когда доходило до драки, они сражались яростно, словно одержимые: сказывалась закалка, полученная ими в битвах с ребятами из Сан-Сиро и с Бульваров, битвах, никогда не прекращавшихся на узких и крутых улочках старого города. Сначала мальчишки с Аренеллы взяли верх благодаря внезапности нападения, но потом ребята с площади Деи Долори прочно укрепились на трапах, и не было никакой возможности прогнать их оттуда, потому что они знали, что если их оттеснят к бортам, то там трудно будет удержаться и ничего не стоит слететь в воду. Под конец Пьеру Линжеру, который был сильнее и старше своих товарищей и водился с ними только потому, что был второгодником, удалось отогнать одного из противников к самому борту и столкнуть в море.

После этого ребята с площади Деи Долори пошли в атаку, а мальчишки с Аренеллы, которые чувствовали себя в воде не в пример увереннее, чем на суше, и были к тому же людьми практичными и не слишком щепетильными в вопросах чести, один за другим, увернувшись от своих противников, попрыгали за борт.

— А ну-ка, достаньте нас здесь! Бойтесь, да? — кричали они из воды.

— Шайка! За мной! — заорал Чичин и полез через борт.

— Ты что, сдурел? В воде они с нами расправятся как захотят, — отталкивая его, проговорил Марьяска и принялся осыпать беглецов самыми обидными насмешками, какие только мог придумать.

В ответ мальчишки с Аренеллы начали брызгаться водой и делали это с таким усердием и так ловко, что на всем корабле не осталось ни единого сухого местечка. Наконец это занятие им надоело, и они направились далеко в открытое море. Они плыли, быстро взмахивая полусогнутыми руками и опустив в воду голову, лишь время от времени подымая ее, чтобы сделать короткий вдох.

Поле битвы осталось за ребятами с площади Деи Долори, которые снова перешли на нос корабля. Девочка все еще стояла на прежнем месте. Ей удалось перевернуть медузу, и теперь она старалась поднять ее палкой.

— Нам оставили заложника! — воскликнул Марьяска.

— Шайка! Заложник! — радостно подхватил Чичин.

— Подлые трусы! — заорал вслед беглецам Карруба. — Оставить женщину в руках врага!

На площади Деи Долори честь ставили превыше всего.

— Идем с нами, — сказал Марьяска и хотел было положить руку на плечо девочки, но та сделала ему знак не шевелиться. Ей уже почти удалось приподнять медузу.

Марьяска наклонился, чтобы посмотреть, что у нее получается. Девочка немного приподняла палку, на конце которой, покачиваясь, но не падая, висела медуза. Девочка поднимала палку все выше и выше и вдруг подбросила медузу, угодив прямо в лицо Марьяске.

— Свинья! — взвизгнул тот, отплевываясь и хватаясь за лицо руками.

А девочка смотрела на ребят и смеялась. Потом она повернулась и направилась к самому носу корабля. Там она остановилась, подняла руки, сложив вместе кончики пальцев, и ласточкой полетела в воду. Вынырнув, она поплыла прочь, ни разу не оглянувшись. Ребята с площади Деи Долори, не шевелясь, смотрели ей вслед.

— Слушайте-ка, — заговорил Марьяска, ощупывая щеки, — а правда, что медуза обжигает кожу?

— Вот подожди немного, сам увидишь, — ответил Пьер Линжера. — А пока тебе лучше все-таки окунуться в воду.

— Айда! — крикнул Марьяска, поворачиваясь к товари-

щам. Потом остановился и сказал: — С сегодняшнего дня в нашей шайке тоже должна быть женщина. Менин! Ты приведишь свою сестру.

— Моя сестра — дура, — возразил Менин.

— Неважно! — весело воскликнул Марьяска и с криком «Айда!» толкнул Менина за борт, потому что без этого тот наверняка не решился бы прыгнуть.

А следом за ним попрыгали и все остальные.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ САД

Джованнино и Серенелла шли по путям железной дороги. Внизу раскинулось море, покрытое рябью, словно голубой переливчатой чешуей. А над ним голубое небо, кое-где изоброжденное длинными белыми облачками. Рельсы сверкали на солнце и до того нагрелись, что больно было к ним прикоснуться. По путям шагается легко, к тому же можно придумать много занятных игр. Можно идти каждый по своему рельсу, держась за руки и стараясь сохранить равновесие, можно перескакивать со шпалы на шпалу, стараясь ни разу не ступить на гравий.

Джованнино и Серенелла сегодня ловили крабов, а теперь решили разведать железную дорогу до самого тоннеля. С Серенеллой дружить хорошо, она не такая, как все девочки, которые всего на свете боятся и чуть что принимают хныкать. Нет, стоит Джованнино сказать «Пошли туда!» — и Серенелла следует за ним без возражений.

Дзинь! Ребята вздрогнули и задрали нос кверху. Кто-то перевел стрелку, и диск семафора подскочил вверх на своей штанге. Казалось, железный аист вдруг захлопнул свой клюв. Они постояли, задрав носы: жалко, не пришлось увидеть. Но диск больше не трогался с места.

— Поезд идет, — сказал Джованнино.

Но Серенелла и не подумала сойти с рельсов.

— Откуда? — спросила она.

Джованнино с видом понимающего человека огляделся по сторонам, а затем указал на черную дыру тоннеля, которая то виднелась отчетливо, то пропадала в мареве, подымавшемся от раскаленных на солнце камней.

— Оттуда, — сказал он.

Казалось, уже можно было расслышать глухое рычание паровоза, который вот-вот появится перед ними, изрыгая огонь и дым и безжалостно подминая рельсы под колеса.

— Куда мы пойдем, Джованнино?

Со стороны моря росли большие серые агавы, выставив свои колючки: не проберешься. А по другую сторону колеи тянулась изгородь, увитая ипомеей, — только зелень и ни единого цветка. Поезда все еще не было слышно: наверно, паровоз идет, спустив пары, и теперь неожиданно на них наскочит! Но Джованнино уже обнаружил в изгороди проход и сказал:

— Вон туда!

Металлическая сетка изгороди под згрослями держалась непрочно. В одном месте она загнулась, как угол страницы. Голова и плечи мальчика исчезли в щели.

— Помоги мне, Джованнино!

Встретились они уже в саду, стоя на четвереньках посреди газона, с волосами, полными сухих листьев и комков земли. Вокруг все было тихо — листочек не шелохнется.

— Пошли, — сказал Джованнино, и Серенелла ответила:

— Идем!

Здесь росли старые высокие эвкалипты со стволами темно-красного цвета, дорожки были посыпаны гравием. Джованнино и Серенелла шли на цыпочках, прислушиваясь к шороху своих шагов. А что, если прибегут хозяева?

Все здесь было так красиво: высокие своды густой листвы, яркие клочки неба между ветвей. И только на душе тревожно: сад чужой, и в любую минуту могут выгнать. Но вокруг все тихо. Только за поворотом воробьи с шумом вспорхнули с куста ежевики. И снова тишина. Может быть, сад заброшен?

Тень от больших деревьев скоро кончилась, они очутились на солнечной лужайке, а перед ними были газоны с аккуратными рядами петуний и выюнков, шпалеры кустов вдоль дорожек. Чуть дальше, сверкая зеркальными окнами с оранжевыми занавесями, высилась большая вилла.

Ни души вокруг. Ребята осторожно шли вперед, ступая по гравию. Вдруг распахнутся стеклянные двери и на балконы выйдут строгие-престрогие господа и дамы да велят спустить с цепи собак, которые помчатся по аллеям. Возле канавы ребята наткнулись на тачку. Джованнино взялся за

ручки и принялся ее толкать, но при каждом повороте колеса отчаянно скрипели. Серенелла все же в нее забралась, и они молча поехали. Серенелла — сидя в кузове, Джованнино — толкая тачку вперед.

— Вот этот, — шепотом говорила Серенелла, показывая на цветок, и Джованнино останавливался и шел сорвать его для Серенеллы. Так набрался красивый букет. Но ведь если надо будет убегать и поскорее перелезть через изгородь, придется его выбросить!



Так они добрались до площадки, где кончался гравий и начинались бетонные плиты. На самой середине виднелась большая четырехугольная яма: бассейн. Они подошли к краю. Бассейн был выложен голубыми плитками и доверху наполнен прозрачной водой.

— Нырнем? — спросил Джованнино. Уж раз Джованнино спрашивал, вместо того чтобы просто сказать: «Прыгай!», значит, это было очень опасно.

Но вода здесь голубая и прозрачная, а Серенелла никогда ничего не боялась. Она слезла с тачки и положила в нее букетик. Джованнино нырнул — только не с трамплина, чтоб не наделать шума, а прямо с края. Пошел вниз с открытыми глазами и увидел вокруг лишь голубизну воды да собственные руки, похожие на розовых рыб: здесь не то, что в море, где вода полна бесформенными темно-зелеными тенями. Розовая тень над ним — Серенелла! Они взялись за руки и не без опаски вынырнули у другого края бассейна. Нет, их никто не заметил. И все же здесь не было так хорошо, как хотелось, все время тревожил какой-то осадок обиды и боязни: все здесь чужое, и каждую минуту их могли прогнать.

Они вылезли из воды. Тут же, рядом с бассейном, стоял столик для игры в пинг-понг. Джованнино ударил ракеткой по шарiku. Серенелла живо послала шарик обратно. Били только слегка, чтобы не слышали там, на вилле. Вдруг ша-

рик подскочил высоко, и Джованнино, чтобы взять его, ударил сильно и послал в сторону, где на шесте меж двух столбов висел гонг. Шарик ударился в него, раздался приглушенный долгий звук. Ребята прижались к земле за клумбой. Тотчас же появились два лакея в белых куртках с подносами в руках. Они поставили подносы на круглый столик под большим зонтом с желтыми и оранжевыми полосами и ушли.

Джованнино и Серенелла подошли к столику. Чай, молоко и печенье. Садись и ешь. Налили себе по чашке, взяли по кусочку печенья. Но никак не могли поудобней усесться, ерзали по краю стула, перебирая ногами. Чай с молоком казался невкусным, печенье несладким. Так и все в этом саду: красиво, но никакого удовольствия не доставляет — из-за этой тревоги и боязни, что судьба только по рассеянности на минуту послала им все это и сейчас придется держать ответ.

На цыпочках подошли они к вилле. Сквозь решетчатую



ставню была видна красивая тенистая комната, на стенах висели бабочки под стеклом. И в этой комнате сидел мальчик с бледным лицом. Должно быть, это и был счастливчик — хозяин дома и сада. Он сидел в шезлонге, перелистывая своими тонкими белыми руками большую книгу с картинками. На нем, несмотря на летнее время, была доверху застегнутая куртка. И пока ребята глядели на него, сердца у них стали биться ровнее и тише. Казалось, этому богатому мальчику, который сидел и перелистывал книгу, было еще тревожней и беспокойней, чем им. Он тоже ходил по комнате на цыпочках, как будто боялся, что кто-нибудь может войти и прогнать его, как будто и эта книга, и этот шезлонг, и эти бабочки под стеклом на стенах, и сад с фонтанами, и сладкое печенье, и бассейн, и красивые дорожки — все это ему дали только по ошибке, так что он ничем здесь не мог насладиться, а только испытывал горечь, словно в этой огромной ошибке была и его вина.

Мальчик с бледным лицом неслышными шагами ходил по своей прохладной комнате, поглаживал белыми пальцами стекло, под которым были наколоты бабочки, и то и дело к чему-то прислушивался. С новой силой забились сердца у Джованнини и Серенеллы. Теперь они боялись колдовства, которое, словно в отместку за чью-то давнюю несправедливость, тяготело над этой виллой и садом, над всеми этими красивыми и удобными вещами.

Небо покрылось тучами. Молча направились ребята в обратный путь. Они шли теми же аллеями, шли быстро, но ни разу не пустились бежать. Проползли под изгородью. А потом по каменистой тропинке, которую они обнаружили среди зарослей агав, вышли к пляжу. Здесь по линии прибоя кучками лежала морская трава. И они придумали чудесную игру: стали кидать друг другу в лицо пригоршни этой травы. Так они сражались до вечера. Хорошо, что Серенелла никогда не плачет.

ХОРОША ИГРА — КОРОТКА ПОРА

Джованнини и Серенелла играли в войну. Они шли по устланному серыми и желтыми камнями руслу высохшего ручья, между берегами, сплошь заросшими камышом. Не было ни врагов, ни настоящих битв, имеющих начало и ко-

нец. Они просто шли с тростинками в руках по сухому ложу ручья и делали все, что придет в голову, лишь бы только было похоже на войну.

Тростинка становилась в их руках любым оружием. Вот она — винтовка с примкнутым штыком, и Джованнино с гортанным криком бросается в атаку по песчаным отмелям. А сейчас она пулемет. Мальчик пристраивает ее между двумя камнями и, поворачивая в разные стороны, громко трещит. Но вот она уже знамя, а он знаменосец. Вскарабкавшись на песчаный горб островка, он водрузил его на самой вершине и потом упал, прижимая руку к сердцу.

— Санитарка! — позвал он. — Ты санитарка! Беги сюда! Не видишь, я ранен?

Серенелла, которая за минуту до этого была вражеским пулеметом, подбежала к мальчику и положила ему на лоб пластырь — листочек мяты.

Джованнино вскочил на ноги, схватил свою тростинку и, держа ее в вытянутых руках, понесся вперед.

— Бомбардировщики! Бомбардировщики над целью! Фи-и-и, бум! — крикнул он и бросил на Серенеллу пригоршню белой гальки. — Ты вражеская автоколонна на марше. Я буду тебя бомбить!

— А что я должна делать? — спросила Серенелла.

— Ты ползешь по земле, и на тебя падают бомбы. Фи-и-и, бум! Нет, сейчас ты рассредоточиваешься по открытой местности!

Серенелла побежала в камыши, но Джованнино сейчас же позвал ее назад.

— Вражеские истребители! — крикнул он. — Ты вражеский истребитель! Атакуй меня!

Но Серенелла не очень хорошо знала, что должен делать истребитель, поэтому Джованнино решил сам стать истребителем, а Серенелле отвести роль эскадрильи бомбардировщиков.

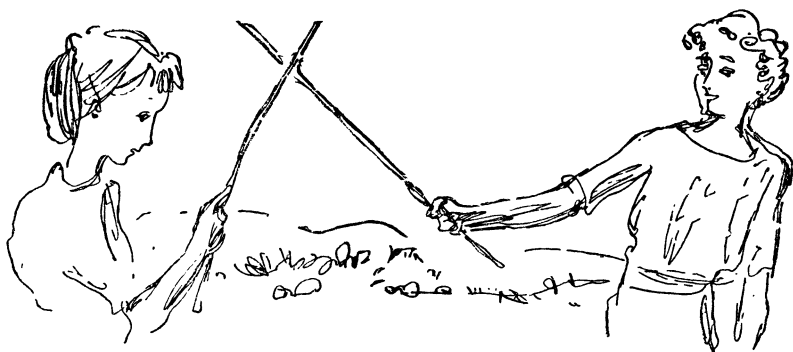
— Я летчик, которого подбили, я лечу вниз весь в огне! — закричал Джованнино.

— А я кто? А кто я? — спросила Серенелла.

— Ты? Ты — та, кто венчает павших героев.

— А это кто?

— Ну, как ее?.. Слава! Знаешь, как надо быть Славой?



Ты должна подойти ко мне, как будто ты ангел, и наклониться надо мной.

Серенелла попробовала быть Славой; у нее это превосходно получилось.

Потом они стали запускать «фау-два», кидая тростинки, как дротики. В конце концов тростинки угодили в яму с водой и поплыли среди зеленой ряски. Тогда они начали морское сражение, и тростинка-торпеда потопила Серенеллу-линкор. Потом Серенеллу — морской порт захватили тростинки-десантники, потом Серенелла брызгала бортовыми залпами в лицо Джованнино-авианосца, после этого руки Джованнино-подлодки боролись против крейсеров-тростинок, и, наконец, руки — потерпевшие кораблекрушение были подобраны шлюпкой-Серенеллой.

Мокрые с головы до ног, они покатались по песчаной отмели, и Джованнино решил, что он будет танком, даже нет, лучше она — танком, а он — противотанковой миной. Взорвавшись, они взлетели на воздух, снова взяли свои тростинки, сели на них верхом и устроили стычку двух кавалерийских патрулей. Но чтобы протрубить кавалерийскую атаку, потребовалась труба. Тогда Джованнино сорвал один лист со своего камыша, зажал его между большими пальцами и, дунув в узкую щелку, пронзительно свистнул. На этот звук явилось трое взаправдашних солдат.

В этом месте берега ручья расходились, и русло превращалось в покату луговину, на которой там и сям виднелись темные пятна кустарника. Двое солдат в касках, прикрытых

зелеными ветками, лежали на животе, а подошвы их ботинок торчали вверх. Один из солдат был в наушниках и возился с радиопередатчиком, над которым торчала круглая антенна. Волоча за собой тростинки, дети тихо-тихо подошли к одному из солдат. Он лежал ничком на траве, выставив вперед винтовку, в каске, с вещевым мешком, ранцем, флягой, ручными гранатами и противогазом. Все это беспорядочной грудой громоздилось на нем, словно кто-то нарочно собрал разные ненужные вещи и завалил ими солдата, а поверх всего набросал еще веток мимозы, которые на изломе краснели своими израненными сердцевинами, окруженными лохмотьями разодранной коры. Повернув голову внутри каски, которая от этого почти совсем не пошевелилась, прижавшись щекой к земле, солдат снизу вверх посмотрел на детей. У него были грустные серые глаза, а на губе прилип листочек вишни.

Дети присели на корточки около солдата, их тростинки были нацелены в ту же сторону, что и его винтовка.

— Вы воюете? — спросил Джованнино.

Солдат молча кивнул, задел подбородком землю, открыл рот и выплюнул листочек. Потом он взял за верхушку тростинку Джованнино и согнул ее, желая сломать, однако молоденькая верхушка, которая вся состояла из одного туго свернутого нежного зеленого листка, согнулась, но не сломалась, и солдату пришлось перекрутить ее и разрывать одно волоконец за другим. Джованнино было очень тяжело смотреть, как ломают его оружие, к которому он привязался, но в жестах солдата чувствовалась такая уверенность, что мальчик не посмел возразить ни слова.

— Смотри-ка, там! — прошептала Серенелла.

Джованнино посмотрел на противоположный склон долины и увидел еще одного солдата, который размахивал цветными флажками.

— Извините, а можно нам пойти туда, вниз? — спросил Джованнино.

Солдат, как видно, пожал плечами, потому что предметы, лежавшие на нем, зашевелились, а фляга звякнула о каску. Дети встали и на цыпочках отошли от солдата.

На высоте, в тени тутового дерева, на складном стульчике сидел генерал, тучный мужчина без кителя, с биноклем в руках. Каждый раз перед тем, как приложить бинокль

к глазам, он поднимал на лоб темные очки, затем снова опускал их, вытирал платком вспотевший лоб, потом протирал залитые потом очки, после чего, водя пальцем по разложенной на коленях карте и поминутно отдуваясь, что-то объяснял своему штабу — группе офицеров, которые, поджав ноги, сидели вокруг него на траве, зажав в руках планшетки и подкручивая окуляры биноклей.

Джованнини и Серенелла тихонечко встали за спиной генерала и взяли тростинки «к ногам».

— Уф-ф... вражеский огонь, — говорил генерал, — полностью накроет наши позиции вот здесь... уф-ф!.. Тяжело, конечно, терять людей, но... уф-ф... позиции... — И он добавил несколько слов, которых ребята не поняли.

Короткие, покрытые рыжими волосами пальцы генерала ползали по карте, словно большие гусеницы.

Штабные офицеры сидели в неудобных позах, опираясь кто на ладонь, кто на локоть, с трудом противились искушению растянуться на земле и вздремнуть на солнышке; однако, стараясь показать перед генералом свое рвение, они записывали данные в блокноты, наносили на карты обстановку, то и дело обращались к одному из своих товарищей, который извивался возле угла, и делали вид, что тщательно осматривают каждую складку местности, каждое отделение кое-как замаскированных солдат, которые с полным безразличием отступали на всех направлениях, словно генеральский карандаш, черкавший по карте, сметал их с лица земли.

— Нет никакого сомнения, что вся эта территория, на которой мы видим сейчас виноградники, будет превращена нашей артиллерией в мертвую зону, — продолжал генерал. — И как раз вон там, совершенно неприкрытый... уф-ф!.. Видите вы вражеского наблюдателя?

— Уже нанесен на карту,



синьор генерал, — сейчас же вставил какой-то не в меру ревностный офицер. — Вот: отдельно стоящий сельский дом.

Однако генерал даже не взглянул на протянутую ему карту, а продолжал указывать на дом, возвышавшийся на холме. Джованнино и Серенелла прекрасно знали, что это домик старика Паулó, который разводит шелковичных червей.

— Это первая цель, которую нужно поразить, — заметил генерал, и офицер, стоявший возле угломера, сейчас же назвал какие-то цифры.

Дети посмотрели на дом старого Пауло и перевели взгляд на карандаш, которым генерал поставил на карте крестик. Гроыхнул залп. Джованнино и Серенелла подскочили, и их тростинки стукнулись одна о другую.

— Что делает здесь эта парочка? — воскликнул чей-то голос, и ребята почувствовали, как кто-то схватил их за воротники. — Кто пустил этих проказников в район военных действий?

Джованнино и Серенелла, подпрыгнув на месте по-кошачьи, вывернулись из рук офицера и пустились наутек по дорожке; бежали они не слишком быстро, не оглядываясь и держа тростинки наперевес.

Они остановились только тогда, когда совсем запыхались. Вокруг сплошной стеной стоял камыш, громко шелестевший своими жесткими листьями, ярко-зелеными изнутри и тусклыми снаружи.

— Ой, вот где мы найдем себе хорошие ружья! — воскликнул Джованнино.

Однако радость, вновь охватившая мальчика, уже была не такой безоблачной, как прежде.

Они бросили свое старое оружие и стали прокладывать себе дорогу в камышах.

— Гляди, какая у меня! Какая хорошая!..

— А у меня выше...

Но все тростинки казались одинаковыми, и ни одна из них не была лучше тех, которыми они воевали сначала, и почему-то вдруг стало неинтересно представлять их ракетами, пулеметами, аэропланами.

Неожиданно камыш кончился, и открылись небо и море. Берег обрывами спускался к узким полоскам обработанной земли, защищенным от соли разложенными вдоль них ро-

гожами, а дальше начинались круглые камни, за которыми волна за волной к самому горизонту поднималось море.

— Ур-ра! — что было мочи закричал Джованнино, бросаясь вниз по крутому склону. — В атаку! Под вражеским огнем!

— Ура! — закричала Серенелла и тоже побежала вниз, но почти сейчас же остановилась.

Остановился и Джованнино. Ему вдруг стало скучно. Он словно услышал свой голос со стороны, как будто кричал не он, а кто-то другой.

Но скоро он опять оживился.

— Мертвая зона! Идут танки! Все уничтожают! Даже трава не растет! — закричал он и покатился вниз по песчаному откосу. Однако сразу же подумал, что только дураки могут ломать себе кости из-за такой глупой игры.

И вдруг ни с того ни с сего обиделся на Серенеллу.

— Ты не умеешь играть, а так неинтересно!

— Почему не умею? А что я должна делать?

— Ты пулемет! Нет, ты пулеметное гнездо, а я должен тебя захватить!

— Та-та-та! Та-та-та! — затрещала уступчивая Серенелла, становясь на четвереньки.

— Сейчас я подползу к тебе, брошу в тебя ручную гранату, а потом упаду, сраженный. Смотри!

Он бросил в нее горсть листьев, потом схватился руками за грудь и упал на землю. Упал он хорошо, но даже смерть на поле битвы уже не приносила удовлетворения.

Серенелла сделала еще раз два «та-та-та», потом поняла, что нужно переменить роль, подошла к мальчику и сказала:

— Я — Слава! Слава, которая венчает павших героев...

Она склонилась над ним, как ангел, но он даже не посмотрел на нее, и вся эта игра показалась ей очень глупой.

Повесив головы, они уселись на землю, лениво срывая пучочки травы. До этого играть в войну было так интересно, теперь же все время вспоминались грустные глаза того солдата с вишневым листочком на губе и волосатые пальцы генерала, зачеркивавшие виноградники и дома. Джованнино из всех сил старался придумать какую-нибудь другую игру,

но о чем бы он ни думал, ему все равно вспоминались грустные глаза и волосатые пальцы.

Вдруг у него мелькнула новая мысль.

— Вот как будем играть! — крикнул он, вскакивая на ноги.

Рядом возвышалась стена, снизу доверху увитая жимолостью. Джованнинно нашел кончик длинной лозы и осторожно вытянул ее, стараясь, чтобы она не оборвалась.

— Знаешь, что это такое?

— Что?

— Это фитиль. Он соединен с огромным зарядом тротила. И его подложили под штаб армейского корпуса.

— А мне что нужно делать?

— Затыкай уши. Сейчас я взрываю мину. Через пять секунд штаб корпуса взлетит на воздух.

Серенелла сейчас же обеими руками закрыла себе уши, а Джованнинно чиркнул воображаемой спичкой, поджег фитиль, потом сделал «ф-ф-ф» — и начал следить глазами за огоньком, бегущим по шнуру.

— Ложись! Скорее, Серенелла! — вдруг закричал он и тоже заткнул пальцами уши.

После этого оба ничком упали на траву.

— Слышала? Ужасный взрыв! Штаба армейского корпуса больше не существует!

Серенелла засмеялась. Так играть было уже интереснее.

Джованнинно вытянул еще одну лозу.

— А знаешь, куда проведен этот фитиль? Прямо под штаб армии!

Серенелла уже засунула пальцы себе в уши. Джованнинно снова сделал вид, что поджег фитиль.

— Ложись на землю! Быстро, Джованнинно! — закричала Серенелла, толкая мальчика.

И армия тоже взлетела на воздух.

— А вот тот — для штаба дивизии!

Игра была действительно на редкость интересной.

— А что ты еще взорвешь? — спросила Серенелла, едва они поднялись с земли.

Джованнинно не знал, что следует за дивизией.

— Мне кажется, больше ничего уже не осталось, — сказал он. — Все взлетели на воздух.

И они пошли к морю строить из песка замки.

ПО ПУТИ В ШТАБ

Лес был редкий, почти совсем выгоревший, серый от обгорелых стволов, ржавый от сухой хвои. Петляя между деревьями, шли под уклон двое. Один вооруженный, другой без оружия.

— В штаб, — говорил тот, что был вооружен. — Мы идем в штаб. Примерно через полчаса доберемся.

— А потом?

— Что потом?

— Я говорю, потом-то меня отпустят? — пояснил безоружный.

Когда провожатый отвечал ему, он вслушивался в каждое слово, в каждый звук, словно желая уловить в его голосе нотку фальши.

— Конечно, отпустят, — ответил вооруженный. — Я передам документы в батальон, там отметят в списках, и можете отправляться домой.

Безоружный покачал головой. Он был пессимистом.

— О! Это долгая история, ясное дело, долгая, — сказал он, как видно, только для того, чтобы заставить собеседника еще раз повторить: «Да нет же, вас сразу отпустят, вот увидите». — А я-то рассчитывал, — продолжал безоружный, — я-то рассчитывал к вечеру уже дома быть. Видно, надо набраться терпения...

— Поспеете! Говорю вам, поспеете, — убежденно проговорил вооруженный. — Составить протокол — дело недолгое. Составят и сейчас же отпустят. Самое главное, чтобы вас вычеркнули из списка осведомителей.

— А у вас есть список осведомителей?

— Конечно, есть. Все до единого доносчики на учете. И мы их одного за другим вылавливаем.

— И что же, там и мое имя стоит?

— В том-то и дело! Ваше имя там тоже значилось. Теперь самое главное, чтобы вас вычеркнули, иначе наверняка еще раз задержат.

— А! Ну, в таком случае мне и вправду нужно сходить в штаб. Я им там все объясню...

— Для этого мы и идем. Надо, чтобы они сами посмотрели, проверили.

— Но теперь-то, — перебил его безоружный, — теперь-то

вы знаете, что я на вашей стороне и никаким доносчиком никогда не был?

— Ну, конечно. Теперь знаем. Теперь вам нечего беспокоиться.

Безоружный кивнул головой и огляделся по сторонам. Они шли по большой поляне, заваленной сушняком. Кое-где торчали тощие, убитые огнем сосны и лиственницы. Одно время они было сбились с тропинки, но вскоре снова нашли ее. Казалось, они бредут через лес наугад, блуждая между редкими стволами сосен. Безоружный не узнавал этих мест: вечер подступал вместе с узкими языками тумана, и лес внизу казался гуще в наступивших сумерках.

Когда они сходили с тропинки, он беспокойно оглядывался. Один раз, решив, что его провожатый начал плутать, он попробовал свернуть правее, где, по его мнению, должна была проходить тропинка, и тот, как бы невзначай, тоже пошел направо. Но если безоружный снова покорно следовал за своим провожатым, тот шел вправо или влево в зависимости от того, где легче было идти.

Наконец он решился и спросил напрямик:

— Да где же он, наконец, этот ваш штаб?

— А там, куда мы идем, — ответил вооруженный. — Скоро сами увидите где.

— Но хотя бы в каком он месте, в каком примерно районе?

— Как вам сказать? — отозвался вооруженный. — Командование ведь не сообщает, что находится в таком-то месте, в таком-то районе. Ну, а где командование, там и штаб. Понятно?

Да, безоружному было понятно. Он был не дурак. Но он все-таки спросил:

— И что же, туда и дороги никакой нет?

— Дорога? — ответил его провожатый. — Дороги всегда куда-нибудь ведут. Сами знаете, к штабу по дорогам не ходят.

Да, безоружный это знал, он был не дурак, он был человек хитрый. Поэтому он спросил:

— И часто вам приходится ходить в штаб?

— Частенько, — ответил вооруженный. — Да, часто хожу.

Он был мрачен и все время смотрел куда-то в сторону. Местность он знал плохо. Порой казалось, что он сбился

с пути, но все-таки продолжал шагать, словно ничего не случилось.

— А что, вы сегодня в наряде, что вас со мной послали? — спросил безоружный, впиваясь взглядом в своего провожатого.

— Такая у меня должность, положено вас сопровождать. Всех, кому нужно в штаб, я отвожу.

— Значит, вы вроде посыльного?

— Вот, вот, — подтвердил вооруженный, — именно посыльный.

«Странный посыльный, — подумал про себя безоружный, — даже дороги не знает. А может, он сейчас просто не хочет идти по дороге, чтобы я не узнал, где у них штаб? Может, они мне просто не доверяют?»

Да, если ему все еще не доверяют, это дурной знак. Безоружный упорно думал об этом. Правда, этот дурной знак еще не отнимал у него уверенности в том, что его и на самом деле ведут в штаб, а потом отпустят. Но ведь, кроме этого дурного знака, были и другие, куда более дурные: лес, который становился все гуще и которому не было конца, тишина, мрачный вид вооруженного человека.

— А секретаря вы тоже в штаб отводили? А братьев с мельницы? А учительницу?

Он выпалил эти вопросы единым духом, не задумываясь, потому что от ответа на них зависело все. И секретаря районной секции фашистов, и братьев с мельницы, и учительницу тоже в свое время увели из деревни. С тех пор их больше не видели, и никто не знал, что с ними случилось.

— Секретарь был фашистом, — ответил вооруженный, — братья служили в фашистских отрядах, а учительница была во вспомогательном.

— Я это просто так спросил, — спохватился безоружный. — Не вернулись они, ну вот я и спросил...

— Вот и я тоже говорю, — словно настаивая на чем-то, сказал вооруженный. — Они сами по себе, а вы сами по себе. Чего же тут сравнивать?

— Ясное дело, — согласился безоружный, — какое уж тут сравнение. А о них я просто так спросил, из любопытства.

Безоружный был самоуверен, чересчур самоуверен. Ведь он был самым хитрым человеком во всей деревне, с ним не

так легко сыграть такую штуку. Вот, например, другие, тот же секретарь или учительница, не вернулись, а он вернется. «Я великий камарад, — скажет он фельдфебелю. — Партизаны мне капут не сделать. Я сделать капут всем партизанам». И фельдфебель, наверно, будет громко смеяться.

Но мертвый лес казался бесконечным, и постепенно мысли безоружного, словно поляну в густом бору, тесно обступили неизвестность и мрак.

— Я, правда, ничего толком не знаю ни о секретаре, ни об остальных, — продолжал вооруженный. — Я ведь всегонавсего посыльный.

— Но в штабе-то знают, — не сдавался безоружный.

— Это верно. Вы лучше спросите в штабе. Там знают.

Смеркалось. Теперь нужно было идти осторожно, внимательно смотреть под ноги, чтобы не спотыкаться о камни, скрывавшиеся в густых зарослях, по которым они пробирались. А еще внимательнее приходилось следить за мыслями, следить, чтобы они не метались в непроглядном мраке неизвестности, стараться не потерять голову от страха.

Конечно, если бы его считали доносчиком, то ему не позволили бы вот так бродить по лесу в сопровождении одного-единственного человека, который к тому же, по-видимому, и не думает присматривать за ним. Ведь он сможет сбежать от него, когда пожелает. А в самом деле, что тот сделает, если он попытается убежать?

Пробираясь между деревьями, безоружный попробовал обогнать своего провожатого, сворачивал в одну сторону, когда тот шел в другую, но вооруженный словно не замечал этого и как ни в чем не бывало продолжал идти своей дорогой. Так они спускались по редколесью, уже на изрядном расстоянии друг от друга; временами вооруженный совсем исчезал за сухими стволами и зарослями кустарника, и безоружный терял его из виду. Однако через некоторое время он снова появлялся наверху, по-прежнему словно не обращающий внимания на безоружного, но упорно держась сзади, немного поодаль.

До сих пор безоружный думал так: «Если меня сегодня отпустят, то в другой раз уже не поймают». Теперь же у него вдруг мелькнула другая мысль: «Если мне удастся удрать от него, тогда держись...» И он сразу представил себе немцев: немцев, шагающих колоннами, немцев на грузовиках и

в бронемашинах — зрелище, сулящее смерть сотням людей и благополучие ему, хитрому человеку, которого никому не удалось обвести вокруг пальца.

Они миновали гарь и заросли и вошли в густой зеленый лес, не тронутый пожаром. Теперь под ногами у них лежал толстый слой сухой хвои. Вооруженный остался где-то позади, возможно, пошел другой дорогой. Опасливо оглядевшись и не проронив ни звука, безоружный прибавил шаг. Вскоре он уже несясь по кручам между соснами, забираясь все дальше в чащу. Он убегал. Теперь он ясно осознал это и замер от страха. Но в ту же минуту понял, что все равно ушел уже слишком далеко, что тот, кто вел его, конечно, заметил уже его желание убежать и, вероятно, бежит следом. Да, у него оставался только один выход — бежать дальше: беда, если он попадется на мушку вооруженному теперь, когда стал беглецом.

Сзади слышались шаги. Он оглянулся: в нескольких метрах от него все так же спокойно, невозмутимо шел вооруженный. Ружье он держал в руке.

— Отсюда можно уже напрямик, — сказал он.

И все стало, как раньше. Та же полная неизвестность: то ли все плохо, то ли хорошо; хорошо или плохо, что лес, вместо того чтобы кончиться, стал еще гуще, что этот человек ни слова ему не сказал, хотя видел, что он чуть не убежал.

— Кончится когда-нибудь этот лес? — спросил он.

— Минуем холм и будем на месте, — ответил вооруженный. — Крепитесь, сегодня ночью будете дома.

— Значит, меня и вправду отпустят домой? Я хочу сказать, не захотят ли меня, например, оставить как заложника?

— Что мы, немцы, что ли, чтобы заложников оставлять? Самое большее, отберут у вас башмаки — вот и весь залог. Потому что все мы разутые ходим.

В ответ безоружный принялся ворчать, будто и в самом деле опасался только за сохранность своих башмаков. Но в глубине души он ликовал: ведь каждая подробность, касающаяся того, что ожидало его впереди, хорошего или плохого, возвращала ему уверенность.

— Слушайте, — проговорил, наконец, вооруженный, — раз уж вы так о них печетесь, о своих башмаках, сделаем вот что: вы сейчас наденете мои башмаки и в них появитесь

в штабе, ведь мои-то совсем развалились и на них никто не позарится. А я надену ваши. А когда мы пойдем обратно, я вам их отдам.

Теперь ребенок и тот бы понял, что это за история с башмаками. Просто вооруженному понравились его башмаки. Ну что же, безоружный отдаст ему все, что тот пожелает. Он не дурак и будет только рад, если удастся так дешево отделаться. «Я великий камарад, — скажет он фельдфебелю. — Я отдать им свои башмаки, а они меня отпускать!» И, может быть, фельдфебель подарит ему пару таких сапог, в каких ходят немецкие солдаты.

— Значит, вы никого у себя не держите — ни заложников, ни пленных? И секретаря и остальных тоже, значит, не задерживали?



— Секретарь выдал троих наших товарищей, братья с мельницы участвовали в облавах, а учительница спала с немцами.

Безоружный остановился.

— Но вы же не думаете, что я тоже доносчик? И не завели же вы меня сюда, чтобы убить? — проговорил безоружный, останавливаясь, и зубы его слегка приоткрылись, словно в улыбке.

— Если бы мы считали вас доносчиком, — ответил вооруженный, — то я бы не ждал столько времени, чтобы сделать вот так, — и он щелкнул предохранителем, — и вот так, — закончил он, наставив винтовку ему в спину и сделав вид, что готов выстрелить.

«А ведь не стреляет», — подумал доносчик.

Однако тот, что был вооружен, не опускал оружия, а все сильнее и сильнее давил на спусковой крючок.

«Залпами, залпами огонь», —

успел подумать осведомитель. И когда он почувствовал, что в спину ему словно ударили огненным кулаком, в его мозгу промелькнула еще одна мысль: «Он думает, что убил меня, а я жив».

Он упал ничком, и последнее, что ему удалось увидеть, были ноги в его башмаках, которые перешагнули через него.

В лесной чаще остался труп со ртом, набитым хвоей. Через два часа он был уже весь черный от муравьев.

ПОСЛЕДНИМ ПРИЛЕТАЕТ ВОРОН

Легкой рябью, словно сеткой, подернуло воду у берегов, а посредине речка быстрая, прозрачная. Молнией сверкнет спинка форели, и тотчас же рыба зигзагом уходит поглубже: будто серебряным крылом кто-то прорезал водную гладь.

— Да здесь полно форели! — сказал партизан.

— Если бросить гранату, все всплывут брюхом кверху, — ответил ему другой и, сняв гранату с пояса, принялся отвинчивать кольцо.

Стоявший в сторонке парень — местный горец — совсем молодой, с лицом круглым, как яблоко, вышел вперед.

— Дай-ка, — сказал он и взял винтовку у одного из них.

— Тебе чего? — рассердился партизан и хотел было отнять у него свое оружие.

Но парень стал наводить винтовку на воду, словно отыскивая цель.

— Выстрелишь в воду, только рыбу вспугнешь, — начал было партизан, но не успел закончить.

Мелькнула форель, и парень настиг ее своим выстрелом, словно ждал, что она появится именно в этом месте. Рыба всплыла белым брюшком кверху.

— Ну и ну! — покачали головами партизаны.

Парень снова зарядил винтовку. Воздух был прозрачен и чист: можно было разглядеть иголки сосен на другом берегу, каждую складку на водной поверхности. Вот появилась рябь: опять форель! Выстрел — и всплыла мертвая рыба. Партизаны поглядывали то на рыбу, то на стрелка. Да, этот умеет стрелять!

А парень водил дулом ружья в воздухе.

И до чего ж это в самом деле удивительно! Вокруг нас

воздух — целые пласты воздуха отделяют нас от других предметов. Но стоит навести винтовку — и воздух становится прямой невидимой чертой, протянутой от ствола прямо к ястребу, который сейчас парит в небе, широко раскинув свои кажущиеся неподвижными крылья. Стоит нажать курок — воздух по-прежнему пуст и прозрачен, но там, на другом конце черты, ястреб взмахнул крыльями и стал камнем падать на землю. А открытый затвор так хорошо пахнет порохом.

Он попросил, чтоб дали еще патронов. Теперь на берегу речушки за его спиной собралось немало любопытных. Там, по ту сторону реки, на самой верхушке деревьев такие заманчивые сосновые шишки. Что ж, так на них и глядеть? К чему это пустое пространство между ним и предметами? Ведь шишки неотделимы от него, от его глаз, они с ним, а не где-то там, далеко. Стоит навести винтовку, и ясно, что пустота — это просто обман: пройдет доля секунды, и валится шишка, срезанная у основания. Его забавляло ощущение пустоты ружейного ствола, пустоты, которая продолжалась в воздухе. Так легко заполнить пустоту выстрелом, так просто провести черту, которая ведет к шишке, цветку мака, камешку, белке.

— Да, этот не промахнется, — говорили партизаны, и никто не решался пошутить над парнем.

— Пойдешь с нами, — сказал командир.

— А винтовку дадите? — спросил парень.

— Дадим, а как же!

И он ушел с ними.

С собой он захватил сумку, полную яблок, и две головки сыру.

Деревня казалась пятном шифера, соломы и коровьего помета, затерянным в горах пятном. Как хорошо уходить! За каждым поворотом дороги ждет что-нибудь новое: деревья с еловыми шишками, птицы, готовые вспорхнуть с ветки, камни, поросшие мхом. Расстояние, которое отделяет его от них, кем-то выдуманно, выстрел может поглотить воздух, заполняя собой пустоту. Но ему запретили стрелять: по этим местам нужно пройти без шума, патроны надо беречь для войны. Через тропу пробежал испугнутый их шагами заяц. Под свист и улюлюканье он чуть было не укрылся в кустах, но у самого края тропы его настиг выстрел.

— Ты хорошо стреляешь, — сказал тогда командир, — но мы здесь не на охоте. Нельзя стрелять — и точка. Даже если увидишь фазана.

Не прошло и часу, как партизаны, растянувшиеся в цепочку, услышали новые выстрелы.

— Это снова мальчишка! — вскипел командир и пошел за ним вдогонку.

Парень смеялся, его круглые щеки покраснели.

— Куропатки, — сказал он, протягивая командиру птицу. Ему удалось поднять целый выводок.

— Какая разница — куропатки или кузнечики! Верни винтовку. Попробуй еще что-нибудь, мигом вернешься в деревню.

Парень надулся — шагать без оружия было совсем неинтересно. Но покуда он с ними, можно надеяться, что ему снова дадут винтовку.

Заночевали в горах. Парень проснулся с первыми лучами солнца. Другие еще спали. Он выбрал самую лучшую винтовку, набил сумку патронами и ушел.

Тих и чист воздух раннего утра. Неподалеку от места ночлега росло тутовое дерево. В это время года к нему слетаются сойки. Вот одна — он выстрелил, подобрал птицу, положил в сумку. Не сходя с места, стал выискивать новую цель. Совсем еще сонная белка!.. Напуганная первым выстрелом, она спешила укрыться на самой верхушке каштана. Потом он убил большую мышь с серым хвостом; когда он к ней притронулся, с нее клочьями полезла шерсть. Стоя у каштана, он увидел внизу, на лужайке, ядовитый гриб, красный, с белыми пятнышками. Разнес его на кусочки, а потом отправился взглянуть, точно ли попал в цель. Что за чудесная игра: переходить от цели к цели. Нельзя ли вот так обойти вокруг света? Большая улитка лежала на камне. Он прицелился... а когда подошел ближе, увидел раздробленный камень и немного радужной пены. Теперь он шел по незнакомым полянам и был уже далеко от места ночевки.

Стоя у камня, он обнаружил ящерицу на изгороди; подойдя к изгороди, заметил лягушку у лужицы; подойдя к лужице, увидел дорожный указатель. Слишком легкая цель! От указателя было видно, как дорога зигзагами сбегает вниз, и по ней приближались люди в мундирах с оружием в руках. Заметив смеющегося во весь рот парня с винтовкой, они ста-

ли что-то кричать и навели на него свои автоматы. Но парень уже разглядел золотые пуговицы на груди одного из них и прицелился.

Затем, растянувшись за грудой камней, набросанных вдоль обочины дороги, он услышал, как закричал раненный им человек и как раздались автоматные очереди и одиночные выстрелы. Здесь, в этом непростреливаемом пространстве, он мог даже перемещаться вдоль широкого прикрытия из камней, мог на мгновение высунуть голову в самом неожиданном месте, чтобы взглянуть на вспышки огня из стволов и на серые, с золотом мундиры солдат. Отсюда он мог взять на мушку чей-либо галун или лацкан.

Вскоре он услышал треск очередей у себя за спиной, но пули пролетали у него над головой и попадали в солдат: это шли на помощь партизаны с пулеметами.

— Не разбуди нас этот парень своей стрельбой... — говорили они друг другу.

Под прикрытием их огня он стал целиться тщательней. Но тут пуля оцарапала ему щеку — один из солдат взбежал по дороге и целился в него сверху. Парень спрыгнул в кювет, выстрелил, но попал не в солдата, а в его винтовку, в самый магазин. Лежа в кювете, он услышал, как солдат пытался зарядить винтовку, потом бросил ее. Тогда парень вскочил и выстрелил в солдата, но тот кинулся бежать: выстрел сорвал только погон с его плеча. Парень погнался за солдатом. А тот то скрывался среди деревьев, то вновь попадал под прицел. Пуля обожгла верхушку его шлема, другая скользнула по пряжке пояса. Вскоре солдат добежал до ложбины, куда не доходил шум боя. Солдат увидел, что лес кончился; перед ним была поляна, а за ней, совсем близко, склон, густо поросший кустарником. Но тут из-за деревьев выскочил парень; солдат едва успел залечь за большой камень среди поляны и укрыть голову меж колен. Теперь он был в безопасности: за поясом у него ручные гранаты, и парень не может подойти к нему ближе. Он может только сторожить его на расстоянии ружейного выстрела, чтобы не дать уйти. Конечно, если добежать до кустарника, а оттуда скатиться вниз по крутому склону... Но как пересечь это голое место? Сколько же простоит здесь парень? Неужели он ни на минуту не отведет в сторону ствол винтовки? Солдат решил попытать счастья, надел шлем на

штык и чуть-чуть высунул его за край камня. Выстрел — и шлем покатился в сторону. Солдат не терял надежды: конечно, удобно стрелять по камню, но если вскочить, победить — попасть будет непросто.

Над ним пролетала птица, должно быть — утка. Выстрел — утка упала. Солдат вытер пот с шеи. Снова пролетела птица, на этот раз дрозд. Парень подстрелил и дрозда. Солдат глотал слюну. Здесь, должно быть, перелетная тропка: то и дело пролетают птицы, каждый раз другие, и парень каждый раз стреляет без промаха. Солдат подумал: «Он занят птицами, позабыл обо мне. Как только выстрелит еще раз, я вскочу. Но, может, лучше сначала проверить?» Он подобрал шлем и снова надел его на штык. На этот раз пролетели бекасы: сразу пара. Жаль было солдату ради проверки упускать такой случай, но он не хотел рисковать. Парень подстрелил бекаса, и тогда солдат выставил шлем. Выстрел — и шлем подпрыгнул. Теперь у солдата появился свинцовый привкус во рту, он даже не заметил, как был подстрелен второй бекас. Нет, нельзя торопиться, здесь, за этим камнем, с гранатами за поясом он в безопасности. «Попробую кинуть гранату отсюда, из-за камня». Солдат прижался спиной к земле, вытянул правую руку вдоль тела, стараясь не высовываться из-за укрытия. Собрав все свои силы, бросил гранату. Бросок отличный: граната полетит далеко. Но меткий выстрел заставил ее взорваться в воздухе на половине пути. Солдат плотней прижался к земле, чтоб его не настигли осколки.

Когда он поднял голову, показался ворон.

Ворон медленно кружил в небе. Парень, конечно, сейчас выстрелит. Но выстрела не было. Может быть, ворон слишком высоко? Но смог же он подстрелить птиц, которые летали выше и быстрее! Наконец выстрел раздался, но ворон продолжал кружить медленно и невозмутимо. С соседней сосны упала сбита выстрелом шишка. Что же он теперь, по шишкам вздумал стрелять? Одну за другой сбивал парень еловые шишки. С сухим треском падали они на землю. После каждого выстрела солдат глядел на ворона. Падает? Нет, черная птица теперь кружит все ниже и ниже. Неужто парень ее не видит?

Может, ворона и нет вовсе, может, это начался бред... Может, тот, кому суждено умереть, видит, как над ним сна-



чала пролетают все птицы, а ворон прилетает последним, когда приходит срок. Надо все же предупредить парня, который как ни в чем не бывало сбивает еловые шишки.

Солдат вскочил и ткнул пальцем в сторону черной птицы.
— Вот ворон! — закричал он на своем языке.

Пуля впилась в вышитого на его куртке орла с распростертыми крыльями.

Ворон снижался, описывая медленные круги.

СТРАХ НА ТРОПИНКЕ

В четверть десятого, как только взошла луна, он добрался до Колла Бракка, через пять минут был уже на перекрестке возле двух деревьев, в половине десятого должен был дойти до источника, еще до десяти увидеть Сан-Фаустино, в половине одиннадцатого подходить к Перилло, в полночь быть в Креппо, а в час ночи — у Мстителя в Кастанья. Десять часов пути обычным шагом, и не больше шести для него, Бинды, связанного из первого батальона, самого быстрого связанного бригады.

Бинда шагал быстро, сломя голову кратчайшим путем мчался под уклон, никогда не сбивался с дороги на одинаковых с виду развилках, в самой крошечной тьме узнавал приметный куст или камень. Он единым духом брал любой подъем, и грудь его всегда дышала ровно, а ноги никогда не уставали, словно их двигали мощные поршни.

— Поднажми, Бинда! — кричали ему товарищи, едва он показывался на дальних подходах к лагерю, и старались по выражению его лица отгадать, хорошие или плохие вести и приказы несет он с собой.

Однако лицо Бинды было непроницаемо, как маска, строгое лицо горца с пушком на верхней губе. Невысокого роста, коренастый, он больше походил на мальчика, чем на юношу, зато мышцы его были тверды как камень.

Трудная, отшельническая досталась ему служба. В любой час ночи его могли разбудить, послать к Змее или Здоровяку, и он обязан был шагать всю ночь сквозь темные ущелья, один со своим легоньким, как деревянное ружьецо, французским карабином через плечо; едва добравшись до одного отряда, торопиться в другой или же немедленно возвращаться с ответом; будить повара, чтобы тот наскреб ему чего-нибудь в холодном котле, и отправляться дальше, дожевывая на ходу неизменные каштаны. Но, с другой стороны, ведь Бинда был просто рожден для этого дела: он никогда не плутал в лесу, знал все тропинки, потому что с детства гонял по ним коз, ходил за дровами или за сеном и ни разу не захромал и не стер себе ног на этих крутых каменистых тропах не в пример многим партизанам из тех, кто пришел в горы из города или с побережья.

Дуплистый ствол каштана, голубоватый лишайник на камне, пролысина в траве на месте прежней угольной ямы — все эти примелькавшиеся подробности однообразной декорации оживали для него, прочно связанные с далекими воспоминаниями: сбежавшая коза, куница, метнувшаяся из норы, юбка, которую он задрал девочке. К этим воспоминаниям присоединялись другие, недавние — о том, как в его родных местах шла война. Это было продолжение его жизни: игры, работа, охотничьи приключения превратились в войну. Запах пороха в перестрелке на мосту Лорето, бегство по крутому склону через заросли кустарника, заминированные Луга, ежеминутно грозящие смертью.

Война крутилась на узком пространстве этих долин, словно собака, которая пытается укунить себя за хвост. Берсальеры*, солдаты фашистских отрядов, а в двух шагах — пар-

* Берсальеры — отборные части пехоты в итальянской армии.

тизаны: если одни поднимались в горы, другие спускались в долины; потом первые спускались в долины, вторые поднимались в горы, двигаясь в обход по гребню, чтобы противник не оказался выше и не ударил в спину. И все же убитые всегда оставались — и в горах и в долинах. Родная деревня Бинды, Сан-Фаустино, лежала внизу — три группы домиков, разбросанные там и сям по долине. В те дни, когда немцы устраивали облавы, окошко Реджины было завешено простыней. Родная деревня Бинды была короткой передышкой между спуском и подъемом. Глоток молока, чистая рубашка, приготовленная матерью, и скорее прочь, чтобы твоего прихода не заметили из какого-нибудь дома: ведь в Сан-Фаустино погибло немало партизан.

Зимой начиналась игра в догонялки и в прятки. Берсальеры — в Байардо, фашисты — в Молини, немцы — в Брига, а между ними партизаны, зажатые между двумя изгибами долины, вынужденные по ночам переходить с одного конца занятой ими местности в другой, спасаясь от облав. В эту ночь из Брига вышла колонна немцев: теперь они, возможно, уже в Кармо. А из Молини готовились двинуться к ним на подмогу фашисты. Партизаны же в это время спали в баракке, зарывшись в солому вокруг полупотухших жаровен, а Бинда шагал по темному ночному лесу и нес им спасение, доверенное его проворству, — приказ: «Немедленно уходить из долины, к рассвету всему батальону вместе с тяжелыми пулеметами быть на гребне у Пеллегрино».

Тревога бесшумно, как взмахи крыльев нетопыря, билась в легких Бинды, рождала в нем желание ухватиться рукой за гребень горы (тьма скрадывала расстояние, на самом деле до него было километра два), подтянуться на самую вершину и со всей силой выдохнуть этот приказ, чтобы он помчался вперед, как порыв ветра по траве; ему хотелось слышать, как он, будто вздох, пробивающийся сквозь усы, вырвется из ноздрей и долетит до Мстителя, до Змеи, до Бойца. А потом вырыть ямку в сухой каштановой листве и утонуть в ней вдвоем с Реджиной. Только раньше надо будет выбрать все колючки, о которые она может уколоться, хотя чем глубже разрывать листья, тем больше попадается этих колючек. Реджину с ее нежной, гладкой кожей туда не уложишь.

Сухая листва и колючки, будто всплески воды, шуршали

под ногами у Бинды; сони*, сверкая своими круглыми светящимися глазами, проворно удирали от него на верхушки деревьев.

— Поднажми, Бинда! — передавая приказ, сказал ему Храбрец, их командир.

Откуда-то из самого сердца ночи поднимался сон, бархатными щеточками забирался под веки; и Бинде очень хотелось сбиться с тропинки, затеряться в море сухих листьев и плыть в нем до тех пор, пока оно совершенно не поглотит его.

— Поднажми, Бинда!

Теперь Бинда шел узенькой дорожкой, протоптанной пешеходами по краю высокого откоса Тумены, еще не освободившейся ото льда. Туменой называлась самая широкая во всем районе долина. Ее противоположный край терялся во мгле, а тот, по которому шагал Бинда, незаметно переходил в безлесный склон, поросший кустарником, из которого днем с шумом выпархивали стайки куропаток. И вдруг Бинде показалось, что внизу, в самой глубине Тумены, появился огонек, двигавшийся на некотором расстоянии впереди него. Огонек плыл зигзагами, как бы огибая что-то, исчезал, снова вспыхивал неподалеку в самом неожиданном месте. Кого же это носит в такую пору? Временами Бинде казалось, что огонек мерцает очень далеко, чуть ли не на другом краю долины, то замирая на месте, то оставаясь где-то сзади. А может быть, это разные огоньки, очень много огоньков, снующих по всем тропинкам в глубине Тумены? Может быть, они движутся, вспыхивают, гаснут не только там, внизу, но и здесь, наверху, впереди, сзади, всюду вокруг него? Немцы!

Откуда-то из тайников мира детства вышел внезапно разбуженный безобразный зверь и бросился по следам Бинды, грозя настигнуть его в любую минуту: страх. Ведь эти огоньки — они были у немцев, которые побатальонно прочесывали Тумену, кустик за кустиком. Этого не могло быть, Бинда знал это и все же чувствовал, что ему было бы приятно поверить, поддаться обманчивым чарам зверя из детства, который настигал его. Время отсчитывало секунды ударами там-тама прямо в горле у Бинды. Поздно, поздно, не успеть до

* Соня — животное из отряда грызунов; ведет преимущественно ночной образ жизни.

немцев, не успеть спасти товарищей. Бинда уже представлял себе полыхающий барак Мстителя в Кастанья, окровавленные тела товарищей, головы, подвешенные за длинные волосы к ветвям лиственниц.

— Поднажми, Бинда!

Он с удивлением огляделся вокруг: как мало он прошел, а кажется, идет уже так давно! Может быть, он незаметно для себя сбавил шаг, может быть, где-нибудь останавливался? Однако он не побежал и даже не пошел быстрее. Нет, он хорошо знал, что его шаг всегда будет ровным и твердым, что нельзя доверяться этому зверю, который навевается к нему во время ночных переходов, прикладывая свои невидимые слюнявые пальцы к его вискам. Он был на своем ме-

сте, этот малыш Бинда, с крепкими нервами, в любых переделках не теряющий хладнокровия и сохранивший присутствие духа даже теперь, когда этот зверь сидел на нем, словно обезьяна, повиснувшая у него на шее.

Залитая луной лужайка на Колла Бракка словно лоснилась. «Мины», — подумал Бинда. Мин на лужайке не было — Бинда знал это. Мины были далеко отсюда, на другом склоне Чеппо. Но сейчас Бинде казалось, что мины могут сами собой двигаться под землей, перебираться с одного склона горы на другой, следуя за ним по пятам, словно огромные подземные пауки. Над минами часто вырастают странные грибы, горе тому, кто решится собирать их. В одно мгновение все взлетит на воздух — секун-



ды станут долгими, как века, а мир остановится, словно заколдованный.

Теперь Бинда спускался по лесистому склону. Сон и тьма превращали каждый ствол дерева, каждый куст в жуткую маску. Да, вокруг были немцы. Конечно, они видели, как он проходил по освещенной луной лужайке на Колла Бракка, и сейчас преследуют, подстерегают его. Где-то совсем рядом раздался крик совы. Это условный сигнал немцев, которые окружают его. Новый крик совы. Это ответ. Он окружен! Кто-то завозился в кустах вереска, может быть, заяц, может, лисица, а может, и немец, который укладывается поудобнее, чтобы вернее взять его на мушку. Немец скрывался за каждым кустом, на каждом дереве вместе с сонями прятались немцы. Каменоломни кишели немецкими касками, между ветвями торчали винтовки, корни деревьев оказывались человеческими ногами. Бинда шагал между двумя бесконечными рядами немцев, подстерегавших его в засаде, они не спускали с него глаз, блестящих, как листья под луной, и чем дальше он шел, тем глубже забирался в окружение. С третьим, четвертым, пятым криком совы немцы все, как один, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами, вскачат на ноги, сгрудятся вокруг и наставят на него дула автоматов. И среди них тот, которого называют Гунд *. Он улыбается из-под шлема, дьявольски скаля белые зубы, и кажется, вот-вот протянет свои огромные, длинные руки и вцепится в Бинду. Бинда боялся оглянуться, чтобы вдруг не увидеть его сзади, с автоматом, направленным ему в спину, с протянутыми к нему руками. А может быть, он идет сейчас по тропинке навстречу Бинде и указывает на него пальцем? И не он ли это задевает камешки на обочине тропинки, молча шагая рядом с ним?

Вдруг Бинде показалось, что он заблудился. А между тем он видел перед собой знакомую тропинку, знакомые камни, деревья, мох. Но то были другие камни, другие деревья, другой мох, и место было другое, неведомое, далекое. После этого каменного уступа должен быть обрыв, а не кустарник, за этим склоном — поросли дрока, а не падуба, эта канавка должна быть сухой, а не полной воды и лягушек. И лягушки были из другой долины, из-за того поворота дороги, где за-

* Гунд (искаж. нем. «Hund») — собака.

сели немцы. Все это было уловкой немцев, подстерегающих его, ожидающих, чтобы он очутился у них в лапах, лицом к лицу с огромным немцем, который стоит перед глазами каждого из нас — со своим шлемом, портупеей, с направленным на нас дулом, немцем, которого называют Гунд и который крадется за каждым из нас, вытягивает свои огромные ручки, но никого не может схватить.

Чтобы прогнать Гунда, надо думать о Реджине, надо вместе с Реджиной выкопать в снегу пещерку. Но снег сейчас твердый, заледенелый, разве можно положить на него Реджину, одетую только в тоненькую юбку, тоненькую, как ее кожа? И под елками тоже нельзя, под ними хвоя без конца, и вся она кишит муравьями... И Гунд уже над нами, он заносит руку над нашей головой, над нашей грудью, тянется к горлу, рука его все ниже, ниже. Мы надсадно кричим. Надо думать о Реджине, о девушке, что живет в каждом из нас, для которой всем нам хочется устроить гнездышко в глубине леса.

Гунд гонится за Биндой, но погоня эта близится к концу. До лагеря Мстителя остается пятнадцать-двадцать минут ходьбы. Мыслью Бинда несется туда во весь опор. Но шаги его так же размеренны, как и прежде. Это нужно, чтобы не задохнуться. Как только он доберется до товарищей, страх исчезнет, будет стерт из самых сокровенных тайников памяти, как будто его и не могло быть. Сейчас было самое время подумать о том, как он разбудит Мстителя и Рубаку, комиссара, как передаст им приказ Храбреца, как потом отправится дальше, в Джербонте, к Змее.

Но когда же он, наконец, доберется до барака? Уж не привязал ли кто-нибудь этот барак за веревочку и не тянет ли его все дальше и дальше по мере того, как Бинда приближается к нему? Не услышит ли он, добравшись, лай немцев, не увидит ли, как они сидят у костра и доедают остатки каштанов? Бинда уже представлял себе, как он подходит к полусожженному покинутому бараку. Он входит: пусто. Но в углу, по-турецки поджав ноги, сидит огромный Гунд. Его каска почти касается крыши, глаза круглые и блестящие, как у сони, толстые губы улыбаются, обнажая белые клыки. Гунд делает ему знак: «Садись». И Бинда садится.

Вот в сотне метров от него блеснул свет. Это они! Кто они? Ему захотелось повернуть обратно, убежать прочь, как

будто главная опасность скрывалась именно там, в бараке, на равнине Кастанья. Но он продолжал шагать вперед быстрым, свободным шагом, и лицо его было сосредоточенно и непроницаемо, как маска. Теперь огонек, видневшийся впереди, приближался почему-то слишком быстро. Может быть, он движется ему навстречу? А сейчас он как будто удаляется. Уж не убегает ли он? Нет, он стоит на месте. Это был полузатухший костер в лагере Мстителя, Бинда знал это.

— Кто идет?

Бинда не вздрогнул.

— Бинда, — ответил он.

— Часовой, — откликнулся голос из темноты. — Это я, Сова. Что новенького, Бинда?

— Мститель спит?

Он уже входил в барак, наполненный дыханием спящих людей. Конечно, это товарищи, кому же еще здесь быть?

— Внизу немцы, идут из Брига, а фашисты идут сверху из Молини. Немедленно уходить. На заре всем быть на гребне Пеллегрино с тяжелыми пулеметами.

Мститель, еще не проснувшийся как следует, моргал глазами. Потом проворчал: «Черт подери!», вскочил на ноги и хлопнул в ладоши.

— А ну, вставайте! Снимаемся! Надо драться!

Бинда звякал ложкой в котелке с горячей каштановой похлебкой и выплевывал кожицу, прилипающую к нёбу. Люди договаривались, кому нести снаряжение, треноги ручных пулеметов. Бинда уже выходил из лагеря.

— Иду к Змее в Джербонте, — сказал он.

— Поднажми, Бинда! — крикнули ему вслед товарищи.

МИННОЕ ПОЛЕ

— Заминировано, — ответил старик и покрутил перед глазами растопыренной рукой, будто протирал запотевшее стекло. — В той стороне все скрозь заминировано. А вот где точно, никто толком не знает. Пришли и заминировали. А мы в это время прятались.

Человек в галифе смотрел перед собой — то ли на склон горы, то ли на старика, стоявшего в дверях.



— Но с конца войны уже немало времени прошло, можно было бы позаботиться и узнать, — сказал он. — Во всяком случае, проход какой-нибудь должен быть. И ведь кто-то его наверняка знает.

«Уж ты-то, старик, знаешь его как следует», — подумал он про себя, потому что старик, несомненно, был контрабандистом и знал всю границу, как свою трубку.

Старик посмотрел на его заплатанные галифе, на дырявый мешок, висевший, как тряпка, у него за плечами, на слой пыли, покрывавший его с головы до ног и свидетельствовавший о том, что ему пришлось проделать пешком порядочное расстояние.

— Да где — никто толком не знает, — повторил он. — Там, вдоль перевала. Минное поле. — И снова покрутил рукой, словно протирая запотевшее стекло, отгораживающее его от остального мира.

— Ладно, ведь не такой же я невезучий, авось и не подорвусь, — проговорил человек и улыбнулся, но так кисло, словно ему свело рот от незрелой хурмы.

— Э-э, — отозвался старик.

Он сказал «э-э» и не прибавил больше ни звука. А теперь человек попробовал припомнить интонацию, с какой было произнесено это «э-э». Ведь оно могло значить и «э-э, вряд ли что-нибудь выйдет!», и «э-э, кто его знает?», и «э-э, это же пара пустяков!». Но старик сказал свое «э-э» без всякого выражения, и оно казалось таким же пустым, как его взгляд, как земля этих гор, на которой даже гравя растет

короткая и жесткая, как щетина на плохо выбритом подбородке.

Деревья, что росли по берегам речки, были не выше обыкновенного кустарника. Время от времени среди них попадались смолистые сосенки, растущие так, чтобы давать как можно меньше тени.

Теперь человек в галифе шел по еле заметной тропинке, поднимающейся вверх по склону, тропинке, с каждым годом зараставшей кустарником и протаптываемой лишь осторожными шагами контрабандистов, которые, как лесные звери, почти не оставляют следов.

— Проклятая земля, — бормотал он. — Когда только я переберусь на другую сторону!..

К счастью, еще до войны он однажды ходил этой дорогой и мог обойтись без проводника. Кроме того, он знал, что путь к перевалу шел по широкой, полого поднимающейся кверху долине, и всю ее просто невозможно было заминировать.

В конце концов требовалось лишь внимательнее смотреть, куда ставишь ноги: ведь место, где лежит мина, обязательно должно чем-нибудь отличаться. Ну хоть самую малость: пе-



рекопана земля, камни положены слишком аккуратно, трава более свежая. Например, сразу видно, что вон там не может быть никаких мин. Не может? Почему же тогда приподнялась вон та сланцевая плита? И что это за голая полоса посередине луга? И почему вдруг дерево лежит поперек дороги? Он остановился. Впрочем, до перевала еще далеко. Нет, здесь еще не может быть мин. Он двинулся дальше.

Возможно, было бы лучше перебраться через минное поле ночью ползком, в темноте, не потому, что он боялся пограничной стражи — в этом отношении здесь было безопасно, но просто для того, чтобы как-то обмануть свой страх перед минами, как будто мины — это огромные, погруженные в спячку животные, которые могут сразу проснуться, услышав его шаги... Сурки, огромные сурки, которые притаились в своих подземных норах, выставив часового, который стоит столбиком на высоком камне и при его приближении сразу поднимет тревогу, свистом известив товарищей об опасности.

«И от этого свиста, — думал он, — все минное поле взлетит на воздух, огромные сурки разом бросятся на меня и разорвут на кусочки».

Но ведь никогда еще не случалось, чтобы сурки набрасывались на человека, и, значит, он никогда не подорвется на mine. Это голод подсказывает ему такие мысли. Человек в галифе знал его. Он хорошо знал, что такое голод, хорошо был знаком с теми шутками, которые выкидывает воображение в дни голода, когда во всем, что видишь и слышишь, мерещится какая-нибудь еда, всевозможные лакомые кусочки.

А между тем здесь действительно водились сурки. То и дело с какого-нибудь камня доносился их свист: «Фи-и-и... фи-и-и...»

«Эх, подшибить бы одного камнем, — думал он, — насадить на палочку да изжарить...»

Он вспомнил, как пахнет сало сурка, но это воспоминание не вызвало у него тошноты. Его мучил голод, и сейчас он готов был есть даже сало сурка — все, что только можно жевать. Уже целую неделю слонялся он по чужим домам, заходил в хижины пастухов, выпрашивая кусок черного хлеба, чашку кислого молока.

— Самим не хватает. Вон хоть шаром покати, — отвеча-

ли ему и указывали на голые закопченные стены, украшенные только заплетенными в косу связками чеснока.

Перевал показался гораздо раньше, чем он ожидал. Он даже вздрогнул от удивления и страха, он никак не думал, что перевал зарос цветущими рододендронами. Он надеялся увидеть голую седловину, на которой, прежде чем сделать хоть шаг вперед, легко можно осмотреть каждый камень, каждый куст. И вот он стоит по колено в море рододендронов, однообразном, непроницаемом море, из которого лишь кое-где выступают серые горбы камней.

А внизу — мины. «Никто толком не знает, — сказал старик. — В той стороне все скрозь заминировано», — и pokrutil в воздухе рукой.

Человеку в галифе казалось, что тень от этой растопыренной руки легла на заросли рододендронов, вытянулась вперед и покрыла все расстилавшееся перед ним пространство. Он решил идти извилистой ложбиной, тянувшейся параллельно долине. Идти по ней было неудобно, значит неудобно было и расставлять там мины. Выше по склону заросли рододендронов редели, и оттуда доносился свист сурков, однообразный и непрерывный, словно солнечный зной, паливший в затылок.

«Там, где сурки, наверняка не заминировано», — подумал он и двинулся вверх по склону.

Но он рассудил неверно. Обычно ставят противопехотные мины, а сурок весит слишком мало для того, чтобы сработал взрыватель. Человек вдруг вспомнил об этом и испугался.

— Противопехотные, — прошептал он. — Против пехоты, против того, кто идет пешком.

От этих слов его бросило в дрожь. Ведь если минировать перевал, то уж для того, чтобы сделать его совершенно непроходимым;



нужно вернуться назад, хорошенько порасспросить местных жителей и попытаться пройти другой дорогой.

Он повернулся, чтобы идти назад. Но куда он ступал, направляясь сюда? Вокруг простиралось непроницаемое море рододендронов, на его поверхности не сохранилось никаких следов того пути, по которому он шел. Может быть, он забрался уже на середину минного поля, каждый шаг грозит ему гибелью, тогда стоит идти дальше.

«Будь проклята эта земля, — подумал он. — Будь она проклята во веки веков!»

Эх, если бы у него была собака, большая, тяжелая, как человек, он пустил бы ее вперед. Ему даже захотелось поцокать языком, как это делают, когда посылают собаку по следу.

«Придется, как видно, самому быть собакой», — подумал он.

А нельзя ли обойтись обыкновенным камнем? Вот как раз рядом лежит подходящий — и достаточно большой и не слишком тяжелый, вполне можно поднять. Он схватил его обеими руками и швырнул перед собой, стараясь забросить как можно дальше вверх по склону. Камень упал недалеко и покатился назад чуть ли не к самым его ногам. Да, оставалось только вот так испытывать судьбу.

Он поднялся уже довольно высоко и шел теперь по надежным, шатким камням. Сурки, слышав приближение человека, подняли тревогу. Их резкий писк пронизывал воздух, словно шипы кактуса.

Но теперь человек в галифе и не помышлял об охоте. Он заметил, что долина, вначале довольно широкая, постепенно становилась все уже и уже и теперь превратилась в узкое скалистое ущелье, заросшее кустарником. И тут он понял: минное поле может быть только здесь, потому что лишь в этом месте небольшое количество мин, положенных на определенном расстоянии друг от друга, могло совершенно перекрыть проход через перевал. Но это открытие не испугало его, напротив, им овладело какое-то странное спокойствие. Так, значит, теперь он находится на самой середине минного поля, это ясно. Теперь у него только один выход: подниматься все дальше, идти наудачу, как придется. Если ему суждено умереть сегодня, он умрет, если нет — он проскользнет между минами и спасется.

Это рассуждение казалось ему не очень убедительным: он не верил в судьбу. Конечно же, если он делал шаг вперед, то только потому, что ему больше ничего не оставалось, потому, что движение его мускулов, весь ход его мыслей толкали его сделать этот шаг. Но была минута, когда он мог выбирать, куда сделать следующий шаг, когда мыслями его овладела неуверенность и мускулы напряглись без всякой цели. Потом он решил больше не думать, предоставить ногам полную свободу ступать, куда придется, на первый попавшийся камень. И все же не переставал сомневаться: а вдруг это его воля по-прежнему выбирает, повернуть ли направо или налево, наступить ли на этот камень или на соседний?

Он остановился. От голода и страха им овладело какое-то томление, от которого он никак не мог избавиться. Он порылся в карманах и вытащил зеркальце — подарок одной женщины. Может быть, именно этого ему и хотелось — взглянуть на себя в зеркало? Из мутного квадратика стекла на него глянул один глаз — распухший и красный. Потом появилась запыленная, покрытая щетиной щека, потом пересохшие, потрескавшиеся губы, десны, красные, гораздо краснее губ, зубы... Но человеку в галифе хотелось посмотретья в большое зеркало, увидеть себя с ног до головы. А так, видеть то глаз, то ухо... Этого ему было мало.

Он двинулся дальше.

«Я еще не дошел до минного поля, — подумал он, — еще пятьдесят шагов... сорок...»

Каждый раз, делая очередной шаг и ощущая под ногой твердую почву, он облегченно вздыхал. Вот сделан шаг, другой, еще один. Вот эта мергелевая глыба казалась ловушкой, а на самом деле она вполне надежна, в этом кусте вереска ничего нет, этот камень... Под его тяжестью камень погрузился в землю на два пальца, раздался писк сурка: «Фи-и-и... фи-и-и...» Ничего, теперь другую ногу...

Земля превратилась в солнце, воздух стал землей, «фи-и-и» сурка — громом. Человек в галифе почувствовал, как железная рука схватила его за волосы на затылке. Не одна, сто рук, каждая из которых уцепилась за отдельный волосок. Потом они разом дернули и разорвали его, как разрывают лист бумаги, на сотни крошечных кусочков.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ В ЛЕСУ

В дни облав кажется, что в лесу начинается ярмарка. Между кустами и деревьями, без тропинок, напрямик, бесконечной вереницей идут люди, идут целыми семьями, гонят перед собой кто корову, кто теленка. Идут старухи, ведя на веревках коз, девочки с гусями под мышками. А некоторые тащат с собою даже кроликов.

Везде, куда ни глянь, чем гуще заросли каштанов, тем больше в них пузатых быков и позвякивающих колокольчиками коров, которые совершенно не знают, как им карабкаться по этим обрывистым кручам. Козы чувствуют себя лучше, а уж кто действительно доволен, так это мулы, которым в кои-то веки раз выпала удача шагать налегке, обгладывая на ходу кору с деревьев. Свиньи норовят рыть пятачками землю, но натываются рылами на колючки, куры усаживаются на деревья, как на насест, пугают белок. Кролики, которые за века, проведенные в клетках, разучились рыть для себя норы, не могут придумать ничего лучше, как прятаться в дуплах деревьев. Иногда они сталкиваются там с сонями, которые кусают их.

Нынче утром крестьянин по прозвищу Джуа Дей Фики собирал хворост в самом дальнем уголке леса. Он понятия не имел о том, что происходит в деревне, так как, решив чем свет сходить по грибы, ушел из дому еще накануне вечером и переночевал в лесной хижине, в которой осенью сушили каштаны.

Потому он как ни в чем не бывало стучал топором по сучюстью и вдруг с изумлением услышал знакомое позвякивание колокольчиков, еле слышное и раздававшееся совсем рядом. Он бросил топор и прислушался. Звуки приближались. Тогда он громко крикнул:

— Ау-у!

Джуа Дей Фики был приземистый, круглый человечек с круглой, как полная луна, физиономией, заросшей черной щетиной и красной от вина. Он носил зеленую, похожую на сахарную голову шляпу с фазаньим пером, бумазейную жилетку, из-под которой виднелись рубашка в крупную желтую горошину и красный шарф, опоясывавший его круглое брюхо и предназначавшийся для того, чтобы поддерживать украшенные синими заплатами панталоны.

— Ау-у-у! — слышалось в ответ, и между замшелыми зелеными камнями показался усатый крестьянин в соломенной шляпе, тащивший за собой большую козу с белой бородой и приходившийся Джуа Дей Фики кумом.

— Что это ты тут делаешь, Джуа? — спросил он. — Немцы в деревне, по всем хлевам шарят.

— Ох, беда моя! — запрыгнул Джуа Дей Фики. — Найдут они мою Коччинеллу, сведут ее со двора, ох, сведут!..

— А ты беги поскорей, может, еще успеешь спрятать свою коровенку, — посоветовал ему кум. — Они еще из дальней балки не поднялись, когда мы их заметили. Видим, колонна, — и сразу бежать! Может, они еще не добрались до твоего дома.

Джуа оставил свои дрова, топор, корзинку с грибами и бросился бежать.

Он мчался по лесу, натываясь то на вереницы уток, которые, хлопая крыльями, шарахались у него из-под ног в разные стороны, то на плотные ряды овец, которые, прижавшись друг к другу, шагали сплошной массой, так что сквозь их ряды невозможно было пробиться, то на ребят и старух, наперебой кричавших ему:

— Они уже у Маддонетты!

— За мостом! По домам шарят!

— На повороте у деревни, сам видел!

Джуа Дей Фики спешил изо всех сил. Он, словно шар, катился на своих коротеньких ножках вниз по склону, единым духом взбирался на подъемы, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит наружу.

Но он все бежал и бежал, пока не поднялся на высокий бугор, откуда вся деревня была как на ладони. Перед ним открылся широкий простор, залитый мягким утренним светом; вдали его замыкала цепь подернутых дымкой гор, а посередине раскинулась деревня — кряжистые дома, сгрудившиеся в тесную кучу, — камень и шифер. Среди напряженной тишины оттуда доносилась немецкая речь и удары кулаками в двери домов.

«Ох, беда моя, — подумал Джуа, — немцы уже по домам ходят!»

Руки и ноги у него дрожали. Виною тому были отчасти его любовь к выпивке, отчасти же страх за Коччинеллу —

единственное, чем он владел в этом мире и что грозили теперь у него отнять.

Крадучись, где перебегая напрямик через поля, где хоронаясь за шпалерами виноградников, Джуа Дей Фики подобрался к деревне. Его дом был почти на самом краю и стоял на отлете в том месте, где деревня, словно запутавшись в непролазном зеленом море тыквенных плетей, терялась в огородах. Кто знает, может статься, немцы еще не успели добраться сюда.

Прячась за дома, выглядывая из-за углов, Джуа двинулся по деревне. Он увидел безлюдную улицу, с которой доносились привычные запахи сена и стояла и непривычный шум, долетавший откуда-то из центра деревни, — нечеловеческие выкрики и топот подкованных сапог. Но вот и дом Джуа: все двери пока еще закрыты — и нижняя, ведущая в хлев, и другая, которая ведет в комнаты, там, наверху ветхой наружной лестницы, между кустами базилика в горшках. Из хлева донеслось протяжное «му-у-у!». Это корова Коччинелла почувствовала приближение хозяина. Джуа чуть не онемел от радости.

Однако в ту же минуту у ворот слышались шаги. Джуа спрятался в дверной нише, стараясь втянуть свое толстое брюхо. Мимо его двора шел немецкий солдат. У солдата было лицо крестьянина, худые руки и тощая шея вылезали из слишком тесной и короткой гимнастерки, он был неизменно долговяз и нес ружье, такое же длинное, как его хозяин. Он отделился от товарищей и бродил в надежде что-нибудь промыслить для себя, да к тому же здесь, в деревне, все вплоть до запахов было знакомо ему и будило воспоминания. Он шел, поворачивая то туда, то сюда свою желтую свиноподобную морду, приносясь и поглядывая по сторонам из-под козырька помятого армейского кепи. Как раз в этот момент Коччинелла еще раз громко позвала: «Му-у-у!»

Она никак не могла понять, почему хозяин так долго не заходит к ней. Немец, весь как-то вывернувшись в своей узенькой одежке, сейчас же бросился к хлеву. Джуа Дей Фики затаил дыхание.

Выглянув через некоторое время, он увидел немца, который с остервенением колотил ногами в дверь хлева и, вне всякого сомнения, должен был вскоре ее выломать. Тогда Джуа выскочил из своего убежища, забежал за угол дома,

пробрался на сеновал и принялся рыться в сене. Там у него были спрятаны старая охотничья двустволка и снаряженный патронташ. Джуа зарядил ружье жаканами на кабана, опоясал брюхо патронташем, взял ружье наперевес и, крадучись, направился обратно, решив устроить у дверей хлева за-саду.

Однако немец уже выходил из дверей, таща за собой привязанную за веревку Коччинеллу. Это была прекрасная корова, рыжая, с черными пятнами (потому-то ее и звали Коччинелла *). Это была еще совсем молодая корова, хотя и с норовом, но привязанная к хозяину. Сейчас она ни в какую не хотела, чтобы этот незнакомый человек куда-то уводил ее, упиралась что было сил, и немцу приходилось тащить ее за холку.

Притаившись за углом, Джуа Дей Фики прицелился. Теперь нужно сказать, что Джуа был самым никудышным охотником во всей деревне. Если ему изредка и удавалось попасть в цель, то лишь случайно, и ни разу он не смог подшибить не то что зайца, но даже белку. Когда он стрелял с упора дроздов, все птицы улетали с ветки целыми и невредимыми. Никто не соглашался ходить с ним на охоту, потому что он всегда ухитрялся всадить полный заряд дробы в зад кому-нибудь из товарищей. Представьте же себе, как он волновался, целясь в немца.

Он целился, а руки у него дрожали так, что дула двустволки плясали в воздухе. Он старался целиться немцу в самое сердце, но на мушке неожиданно оказывался круп коровы.

«Ох, беда моя! — думал Джуа. — Что, если я стрельну в немца, а убью Коччинеллу?»

И он никак не мог решиться спустить курок.

Между тем немец с трудом волочил за собой корову, которая, чувствуя близость хозяина, упиралась всеми четырьмя ногами. Вдруг немец увидел, что его часть уже оставила деревню и движется вниз по дороге. Он бросился следом, решив догнать своих и притащить с собой эту упрямую скотину. Держась на почтительном расстоянии, Джуа последовал за солдатом, перебегая за частоколами и каменными заборами и то и дело прицеливаясь из своего ружья. Однако

* Коччинелла — по-итальянски значит «божья коровка».

ему никак не удавалось унять дрожь в руках, а немец и корова все время находились так близко друг от друга, что Джуа никак не решался пустить пулю. Неужели ее так и уведут, его Коччинеллу?

Чтобы догнать колонну, которая уходила все дальше и дальше, немец решил пойти напрямик через лес. Теперь Джуа стало легче преследовать его, так как можно было прятаться за деревьями. Может быть, теперь немец отойдет подальше от коровы, чтобы половчей было вести ее за собой?

Но, очутившись в лесу, Коччинелла потеряла всякую охоту упираться, более того, когда немец не знал, по какой тропинке идти, она сама выбирала направление и тащила его за собой. Вскоре немец сообразил, что потерял тропу, ведущую к проезжей дороге, и направляется в самую гущу леса: словом, он заблудился вместе с коровой.

А Джуа Дей Фики продолжал красться следом за ним. В кровь расцарапав нос, он продирался сквозь колючий кустарник; не раз оказывался обеими ногами в ручье и ломился дальше под шелест крыльев разлетающихся птиц, распушивая дремавших в лужах лягушек. Целиться в лесу, где на каждом шагу торчат деревья, оказалось еще труднее. Между мушкой и целью возникала уйма всяческих препятствий, не говоря уже о рыже-черном крупе коровы, который был так широк, что все время маячил перед глазами.

Между тем немец уже со страхом глядел на чащобу и озирался, ища, как бы из нее выбраться.

Вдруг послышался шорох, и из куста толкнянки выскочил прехорошенький розовый поросенок. У себя в деревне немец никогда еще не видал, чтобы поросята вот так бегали себе по лесу. Отпустив веревку, на которой он вел корову, немец бросился за поросенком. А Коччинелла, почувствовав свободу, тотчас же затрусила в чашу леса, где — чуяла она — было полным-полно друзей.

Наконец-то Джуа мог стрелять. Немец суетился возле поросенка, стараясь обеими руками удержать его на месте, но тот вырывался и норовил улизнуть.

Джуа уже начал было давить на курок, как вдруг рядом с ним появились двое ребятшек — мальчик постарше и совсем крошечная девочка. Оба в шерстяных беретках с помпонами и в длинных чулках. Ребята вот-вот готовы были расплакаться.

— Прицелься хорошенько, дядя Джуа, пожалуйста! — наперебой запищали они. — Если ты убьешь поросеночка, у нас больше ничего не останется!

Ружье в руках у Джуа Дей Фики заплесало тарантеллу. Нет, он не мог стрелять, у него было слишком нежное сердце, и он слишком волновался. Не потому, что собирался убить немца, а потому, что боялся задеть поросенка, принадлежащего этим бедным ребятишкам.

В это время немец, натываясь на камни и кусты, вертелся во все стороны, вцепившись в поросенка, который вырывался и визжал. «Гуй-и-и!.. Гуй-и-и!.. Гуй-и-и!..» — разносилось по всему лесу.

В ответ на эти вопли неожиданно послышалось протяжное «бе-е-е», и из небольшой пещерки вышел ягненок. Немец выпустил поросенка, который стремглав бросился в кусты, и устремился за новой жертвой.

«Странный лес, — думал он, — поросята лазают по кустам, ягнята живут в норах...»

Изловчившись, он поймал отчаянно блеявшего ягненка за ногу, взвалил на спину, словно Добрый Пастырь *, и отправился дальше. Джуа Дей Фики крался за ним по пятам.

«Теперь-то ты не уйдешь, — бормотал он. — Теперь попался...»

С этими словами он прицелился, но тут чья-то рука ухватила за стволы его ружья и подняла их вверх.

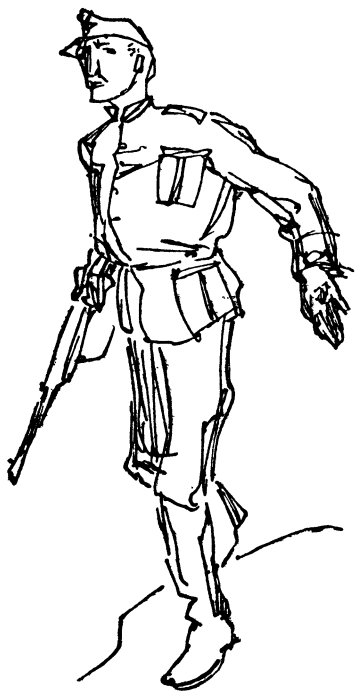
Перед Джуа стоял старый белобородый пастух.

— Джуа, — проговорил старик, умоляюще сложив руки, — не убей мне ягненка. Этого застрели, но смотри не убей мне ягненка. Прицелься хорошенько, ну, хоть раз прицелься хорошенько!

Но Джуа совсем уже обалдел и даже не мог нащупать пальцем курок.

Шагая по лесу, немец на каждом шагу делал такие открытия, что ему оставалось только разевать рот от изумления. Чуть ли не на каждом дереве сидели цыплята, то тут, то там из дупла высовывались морские свинки. Настоящий Ноев ковчег! Вот на ветке сосны, распустив веером хвост, сидит самый настоящий индюк. Немец быстро поднял руку,

* Добрым пастырем — в образе юноши, несущего на плечах овцу, — на ранних христианских фресках изображали Христа.



чтобы схватить его, однако индюк подпрыгнул и уселся на сучок повыше, поминутно свертывая и вновь распуская свой хвост. Солдат не выдержал и, поставив на землю ягненка, полез на сосну. Однако стоило ему подняться на сучок повыше, как индюк тоже поднимался на один сучок, невозмутимый, чопорный, с болтающейся у щек бородкой, которая горела, словно язычок пламени.

Джуа, нацепив одну ветку себе на голову, две другие на плечи и привязав еще одну к стволам своего ружья, начал подкрадываться к сосне. Но тут перед ним появилась молоденькая толстушка в красной косынке.

— Эй, Джуа, — промолвила толстушка, — послушай, что я тебе скажу. Если ты застрелишь немца, то можешь

взять меня... в жены, а если попадешь в индюка, то я тебе кишки выпущу, так и знай!

Джуа, который, хоть и был уже не первой молодости, все еще ходил в холостяках и слыл скромником, покраснел как рак, и его ружье закрутилось, словно вертел.

А немец добрался уже до самых тоненьких веточек, но продолжал подниматься, пока один из сучков не подломился у него под ногами и он не рухнул вниз, чуть-чуть не придавив Джуа Дей Фики. Однако на этот раз он был расторопнее и вовремя успел убраться из-под дерева, оставив на земле ветки, которыми маскировался. Таким образом, немец свалился на мягкую подстилку и нисколько не пострадал.

Очутившись на земле, солдат тотчас же увидел на тропинке зайца, который, впрочем, совсем не был похож на зайца. Он был пузатенький, кругленький и, услышав шум, не побежал стремглав прочь, а прижался к земле. Кролик! Немец,



не мешкая, схватил его за уши и, держа таким образом, отправился дальше. Но кролик извивался и вырывался всеми возможными способами, поэтому, чтобы не упустить добычу, болтавшуюся у него в руке, немцу тоже приходилось скакать то в одну, то в другую сторону. Между тем весь лес оглашался мычанием, блеянием, кудахтаньем, и на каждом шагу попадались самые невероятные животные; на ветке падуба удобно устроился попугай, в маленьком бассейне перед ключом резвились три золотые рыбки.

Взгромоздившись на толстый сук столетнего дуба, Джуа следил за пируэтками немца. Однако прицелиться в него было очень нелегко, потому что кролик все время вертелся и дрыгался в разные стороны, упорно попадая на мушку. Вдруг Джуа почувствовал, что кто-то дергает его за жилетку. Взглянув вниз, он увидел веснушчатую девочку с косичками.

— Смотри не убей моего кролика, Джуа: ведь что ты его убьешь, что немец его унесет, все равно.

Тем временем солдат дошел до голого места, сплошь усыпанного серыми камнями, покрытыми голубыми и зелеными лишайниками. Вокруг торчало только несколько тощих, как скелеты, сосен, а дальше начинался крутой склон. Землю покрывал толстый ковер сухой хвои, в которой рылась курица. Бросившись за ней, немец упустил кролика, который немедленно задал стрелкача.

Наверное, никому еще не приходилось видеть такую худую, старую и облезлую курицу. Она принадлежала старой Джирумине, беднее которой не было никого во всей деревне. И вот теперь эту курицу сцапал немец.

Джуа устроился наверху между скал и начал строить из

каменной упор для своего ружья, даже больше того, целую крепость с узкой бойницей, в которую можно было просунуть только ствол ружья. Теперь он мог стрелять без всякой опаски, потому что, даже если он убьет эту облезлую курицу, беда невелика.

Однако в ту же минуту рядом с ним появилась старая Джирумина, замотанная в драную черную шаль, и произнесла следующее внушение:

— Джуа, если бы немцы унесли все мое достояние — мою бедную курицу, мне было бы очень горько. Но если ты своими руками застрелишь ее из ружья, мне будет еще горше.

Поняв, какая ответственность легла на его плечи, Джуа задрожал пуще прежнего. Но он сейчас же взял себя в руки и спустил курок.

Немец услышал выстрел, и в то же мгновение курица, которая билась у него в руке, осталась без хвоста. Новый выстрел, и у курицы отвалилось крыло. Уж не заколдована ли эта курица, которая взрывается у него в руках и исчезает по кускам? После следующего выстрела курица оказалась полностью ощипанной и совершенно готовой для супа, но продолжала бешено трепыхаться. Немец стал приходить в ужас. Схватив курицу за шею, он старался держать ее как можно дальше от себя. Четвертым зарядом Джуа перерезал вытянутую куриную шею буквально под самой рукой немца, в ладони которого не осталось ничего, кроме куриной головы, все еще продолжавшей шевелиться. Бросив ее на землю, немец побежал прочь. Но теперь он не находил даже следов тропинки. Перед ним открывался обрывистый склон, а над ним возвышалось рожковое дерево, на одной из веток которого примостилась большая кошка. Теперь солдат уже перестал удивляться тому, что весь лес кишит разными домашними животными. Он протянул руку, чтобы погладить кошку, потом взял ее за загривок в надежде утешиться кошачьим мурлыканьем.

Но тут надо сказать, что этот лес уже давно подвергался набегам свирепого дикого кота, который безжалостно истреблял пернатых, а иногда даже появлялся в деревне и залезал в курятники. И немец, надеявшийся услышать знакомое мяуканье, вдруг увидел, что на него кидается ошетилившийся, взъерошенный хищник, и почувствовал, как страшные когти начинают рвать его на куски. Вслед за этим последовала

яростная схватка, и человек вместе со зверем кубарем пока-
тились по крутому откосу.

Вот как получилось, что самый никудышный стрелок Джуга Дей Фики прославился как самый отважный во всей деревне партизан и охотник. А бедной Джирумине всем миром купили целый выводок цыплят.

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Во сне ему казалось, что какая-то тварь вроде скорпиона или рака больно вцепилась ему в бедро. Он проснулся. Солнце стояло высоко, и в первую минуту Том был ослеплен его сиянием. Куда бы он ни смотрел, перед его глазами мелькала мозаика, составленная из осколков неба, блестящего между ветвями сосен. Потом он узнал место, где, смертельно усталый и измученный невыносимой болью в раненой ноге, свалился на землю, поняв, что в такой темноте ему не найти дороги, по которой ушли товарищи. Он тотчас же взглянул на свою ногу. Повязка присохла к ране, на этом месте проступало жесткое почти черное пятно, нога вся распухла.

А ведь дело-то казалось пустяковым. Когда во время боя пуля чиркнула ему по бедру, он даже не обратил на это внимания. Ошибку он сделал позднее, когда, отступая с товарищами из леса, сказал: «Нет, нет, я прекрасно дойду сам». Но ведь ему тогда на самом деле казалось, что он только слегка прихрамывал. Потом между деревьями прострекотала автоматная очередь, партизаны мгновенно рассеялись, а он остался позади. Кричать он не мог, поэтому начал блуждать наудачу, пока не настала ночь. Тогда он бросился на сухую хвою, устилавшую землю, и проспал бог знает сколько времени. Теперь уже белый день на дворе. Его немного лихорадило. И он совершенно не знал, где находится.

Он поднялся. Закинул за плечи карабин и немного постоял, опираясь на толстую ветку орешника, которая со вчерашнего дня служила ему костылем. В какую сторону идти, он не знал. Вокруг стоял лес, и за ним ничего не было видно. На склоне горы выделялась серая скала. Том с трудом вскарабкался на нее. Перед ним открылась долина. В самой ее середине, прикрытая неподвижным куполом неба, виднелась деревушка, примостившаяся на вершине холма и окруженная

тощими виноградниками, ступенями спускавшимися по склонам. Пыльная проселочная дорога, извиваясь, сбежала вниз. Все было неподвижно и безмолвно. Ни около домов, ни в поле — ни единого человека. Ни единой птицы в небе. Пустая дорога, бегущая по солнцепеку, будто ее проложили специально для ящериц. Никаких следов врага, словно и не было тут вчера сражения.

Тому уже приходилось бывать в этой деревне. Не вчера, конечно, но несколько месяцев назад. Потому что уже несколько месяцев партизаны делали сюда лишь короткие набегі группами по пять-шесть человек и при этом старались не задерживаться: хотя в деревне и не было постоянного гарнизона немцев, она была связана дорогами со многими селениями, в которых размещались крупные вражеские силы, и в ней легко было попасть в ловушку. В лучшие времена, когда весь район находился в руках партизан и они заходили в любую деревню, как в собственный дом, Том как-то провел в этой деревне целый день. Ему до сих пор вспоминается это посещение, девушки, которые пришли с цветами, тарелки с лапшой на накрытых столах, вечеринка на вольном воздухе, приветливые лица и песни.

«Пойду-ка все-таки к деревне, — решил про себя Том. — Наверняка найдутся люди, которые помогут мне отыскать своих».

Но ему сейчас же вспомнилась фраза, сказанная Фульмине, его товарищем по отряду, фраза, которой он тогда не придал никакого значения. Во время той памятной вечеринки Фульмине заметил, что как раз те здешние жители, с которыми ему особенно хотелось бы повстречаться, сегодня предпочитают не показываться... Говоря это, Фульмине усмехался в свою черную бороду и поглаживал ложу своего допотопного ружья. Впрочем, Фульмине вечно говорил что-нибудь в этом роде. Том постарался выбросить из головы это воспоминание, вышел из лесу и спустился на дорогу.

Солнце по-прежнему заливало все вокруг, но было уже не таким ослепительным и горячим, как раньше. По небу тянулись желтые облака. Шагая по дороге, Том старался не сгибать больную ногу — так было легче, и все-таки его лоб сразу покрылся испариной. Ему уже хотелось поскорее добраться до первых домов, но еще больше ему хотелось встретить кого-нибудь из людей, увидеть хоть какие-нибудь при-



знаки жизни в этой деревне, кажущейся отсюда просто грудой черепицы.

На стене, огораживавшей чье-то поле, белел лист бумаги. «Приказ» — было написано сверху. «Германская военная комендатура обещает всякому, кто поможет захватить живым или мертвым опасного бандита...» Том принялся палкой сдирать листовку. Однако ему пришлось повозиться, потому что бумага была приклеена как следует и никак не отставала.

Стена кончилась, дальше тянулась изгородь из металлической сетки. В тени смоковницы копалась в земле курица. Ну раз здесь есть курица, значит непременно должно быть и какое-нибудь человеческое существо. Том начал всматриваться через сетку, шаря глазами между тыквенными листьями, которые карабкались вверх по шестам с перекладинами, пока не заметил между ними неподвижное и желтое, словно тыква, лицо, следившее за ним. То была старуха, закутанная в какой-то черный балахон.

— Эй! — негромко крикнул Том.

Но старуха молча повернулась к нему спиной и заковыляла прочь.

Даже курица и та, повернувшись, пошла за ней следом.

— Эй! — снова окликнул Том.

Однако и старуха и курица скрылись в каком-то строении, напоминавшем курятник, и сейчас же послышался скрип ржавого засова.

Том пошел дальше. Нога ныла все сильнее, вызывая чувство, похожее на тошноту. Впереди показались ворота, за ними гумно. Том вошел. Посреди гумна неподвижно стоял большой поросенок. Поодаль медленно брел дряхлый старикашка. Несмотря на жару, на нем было пальто и низко надвинутая на глаза шляпа. Том пошел к нему навстречу.

— Послушайте, сегодня тут поблизости где-нибудь немцы не застряли? — спросил он.

Старик остановился и, не поднимая лица, покачал головой.

— Немцы? — пробормотал он, словно говоря сам с собой. — Не знаю... Мы их здесь и не видели никогда, немцев...

— Как никогда не видели? — удивился Том. — А вчера? Разве они вчера не спустились сюда? Может, здесь вчера и боя не было?

Старик поглубже запахнул пальто.

— Не знаю, ничего я не знаю, — буркнул он.

Том с досадой махнул рукой. Рану его дергало все сильнее. Он чувствовал, что у него сводит каждый мускул. Повернувшись, он вышел на улицу.

Дорога все время шла в гору между двумя рядами домов. Наверно, это не слишком благоразумно — заходить так далеко в деревню одному, обессилевшему. Да, но, с другой стороны, он вооружен. К тому же Том не мог забыть о той праздничной встрече несколько месяцев тому назад, встрече, которая говорила о том, что среди жителей деревни у партизан немало друзей.

Вот за угол ближайшего дома юркнул какой-то жирный субъект с короткой красной шеей. Том заковылял следом, но толстяк уже поднимался по наружной лестнице на второй этаж.

— Послушайте! — крикнул Том.

Однако тот даже не обернулся. Тогда Том полез за ним по лестнице и втиснулся в комнату раньше, чем хозяин успел захлопнуть дверь.

— Что вам нужно? — спросил толстяк.

Перед Томом стоял накрытый стол с дымящейся миской супа посередине, за которым сидела семья — три грудастые и усатые женщины и худой юнец с таким же, как у женщин, пушком на верхней губе. У всех в руках были ложки.

— Тарелку супу, — ответил Том, решительно проходя в комнату. — Вот уже сорок восемь часов, как я ничего не ел. Я ранен.

Толстые женщины и юноша перевели взгляд с лица Тома на жирную физиономию главы семьи, который, посопев, ответил:

— Это запрещено. Мы не можем. Есть приказ.

— Приказ? — переспросил Том. — Да чего вы боитесь? Ведь в деревне ни одного немца нет. А приказ я сорвал.

— Это запрещено, — повторил толстяк.

«Надо пугнуть его карабином...» — подумал Том, но почувствовал такую слабость, что должен был опереться на палку. Ему очень хотелось присесть, но в комнате не было ни одного свободного стула.

Оглядев комнату, он заметил на стене наполовину скрытую календарем картинку с изображенной на ней лошадью. Лошадь была мускулистая и толстогрудая, в стремях торчали два черных сапога, а над сапогами виднелась пузатая форма, увешанная орденами. Остальное было закрыто календарем. Подняв его, Том увидел выпяченную челюсть и блестящий шлем Муссолини.

— А это зачем здесь? — спросил он.

— О, это так, старая картинка... Уже давно не прибирались в комнате, — засуетился толстяк, делая вид, что хочет спрятать ее, на самом же деле и не думая ее снимать, а только стирая с нее пыль.

— Не понимаю, — пробормотал Том, словно говоря сам с собой, — всего каких-то несколько месяцев назад вы нас так здорово встречали... Лапша... вечеринка... цветы... Вы не помните?

— Э-э... нас тогда не было в деревне... — отозвался толстяк.

— А лапшу-то эту, между прочим, из нашей муки делали, — не удержалась одна из усаых женщин. — Тридцать мешков... — добавила она, но сейчас же прикусила язык, перехватив свирепый взгляд мужа.

Тому невольно вспомнились слова Фульмине.

— Ну ладно! — сказал он. — А где найти тех, наших друзей, где они теперь?

Толстяк развел руками.

— Не знаю... За последнее время... э-э... многие семьи... э-э... поразъехались... Вы вот что, молодой человек, сходите-ка в управу, представьтесь старосте, там вам помогут...

«Старосте! Да я ему в брюхо всю обойму выпущу, ваше-му старосте!» — хотел было ответить Том, но вдруг почувствовал, что лишается чувств. Между тем толстяк понемногу теснил его к выходу, умудряясь в то же время почти не прикасаться к нему.

— Да мне врач нужен, я ранен! — воскликнул Том.

— Вот, вот, и доктор там. Вы его найдете на площади, он там всегда в это время бывает, — говорил толстяк, оттесняя Тома к лестнице, и захлопнул дверь.

Том снова очутился на улице. Теперь кое-где можно было заметить маленькие группы людей, что-то вполголоса обсуждавших между собой. Когда он проходил, они сторонились, избегая встречаться с ним взглядом. Он увидел священника, длинного и худого, с белым, как слоновая кость, лицом, который разговаривал с какой-то маленькой растрепанной женщиной и даже как будто показал на него пальцем.

Тому, которому все труднее было ковылять вперед, казалось, что ему каждый раз встречаются те же самые лица, которые он видел несколько минут назад; а этот священник с белым лицом то исчезал, то появлялся в каждой группе крестьян, с которыми говорил вполголоса. Том заметил, что отношение к нему местных жителей начинает меняться: на него уже посматривали с интересом, кое-кто даже посылал ему сладенькие улыбки, наконец та растрепанная женщина, которая перед этим разговаривала со священником, засеменила ему навстречу и ласково сказала:

— Бедный мальчик, ты же на ногах не держишься! Идем со мной...

Это была коротышка с лисьей мордочкой; судя по тому, что в руках она держала классный журнал, а ее черное платье, похожее на перешитую форму, было испачкано мелом, она работала здесь учительницей.

— Так, значит, ты сам решил явиться? Молодец! — продолжала учительница и, будто желая освободить его от лишней тяжести, начала стягивать с его плеча карабин.

Но Том крепко схватил его за ремень и остановился.

— Что такое? Явиться? К кому?

Но учительница уже открыла перед ним дверь в класс.

Правда, парты в нем были свалены в углу, но на стенах еще висели картины, изображавшие сцены из римской истории — триумфальные въезды императоров, и географические карты Ливии и Абиссинии.

— Посиди пока здесь, в школе, а мы тебе сейчас принесем супчику, — тараторила учительница, отступая за дверь с намерением запереть ее.

— Мне нужен доктор, — отталкивая женщину, проговорил Том. — Сейчас мне нужно к доктору.

На площади в толпе крестьян Том заметил одетого в черное человечка с большим красным крестом на белой нарукавной повязке.

— Вы доктор, верно? — спросил Том. — Я пойду на минутку к вам.

Человечек, разинув беззубый рот, стал в нерешительности озираться по сторонам. Но те, кто стоял к нему поближе, начали подталкивать его и что-то тихо советовать. Наконец врач подошел к Тому и, указывая на свою повязку с красным крестом, сказал:

— Я человек нейтральный, мне все равно, что те, что эти, я только выполняю свой долг.

— Конечно, конечно, — поддакнул Том. — Какое мне до всего этого дело? — И двинулся вслед за врачом к домику тут же на площади.

Люди потянулись за ними, держась на почтительном расстоянии. Но тут вперед выступил какой-то человек в галифе, который повелительным и раздраженным жестом дал понять, что теперь он сам обо всем позаботится.

Вслед за врачом Том вошел в полутемный кабинет, провонявший карболкой. По всей комнате в беспорядке валялись куски грязной марли, шприцы, какие-то тазики, лоточки, стетоскопы. Доктор открыл ставни, и в окно выскочила кошка, дремавшая на медицинской кушетке.

— Ложитесь-ка сюда, протяните ногу, — бормотал человечек, дыша на Тома винным перегаром.

Том закусил губу, чтобы не закричать, пока человечек неловкими, дрожащими руками делал надрез на ноге.

— Заражение, отличное заражение...

Тому казалось, что это никогда не кончится.

Теперь человечек принялся разматывать скатанный бинт, чтобы наложить новую повязку, но бинт запутывался, обма-

тывался вокруг кушетки, цеплялся Тому за руки, а рана по-прежнему оставалась открытой. Под конец Том не выдержал.

— Вы же совершенно пьяны! Дайте я сам! — закричал он и, вырвав у врача бинт, в два счета наложил себе прекрасную крепкую повязку, закрывшую все бедро.

— Теперь какие-нибудь жаропонижающие таблетки! Быстро! — сказал он, вставая.

Доктор начал копаться в пакетиках и скляночках с лекарствами, в беспорядке валявшихся повсюду. Потеряв терпение, Том принялся искать сам, прочел название на одном из пакетиков, открыл его, проглотил сразу две таблетки, а остальное положил в карман.

— Спасибо за все, — сказал он, взял свой карабин и вышел.

У него кружилась голова, и он, наверное, свалился бы на пороге, если бы его не поддержал тот самый человек в галифе, который распоряжался на площади, а теперь поджидал его у дверей.

— Да тебе нужно подкрепиться и отдохнуть, — проговорил он. — Ты совсем выбился из сил. Идем-ка ко мне, вон он, мой дом, — добавил он и показал на строение — не то виллу, не то усадьбу, — возвышавшееся за металлической оградой.

Том как в тумане последовал за ним.

Едва они вошли за ограду, калитка со стуком захлопнулась за ними. Несмотря на свой старинный вид, она была снабжена надежным замком. В этот момент на колокольне зазвонил колокол. Его удары падали ритмично, равномерно, медленные, словно звонили по покойнику, но отчетливые, как азбука Морзе. «Прямо как азбука Морзе...» — подумал Том, стараясь сосредоточить на этом звоне все внимание, чтобы не лишиться чувств.

— Что это такое? — спросил он человека в галифе. — Почему так странно звонит колокол? Да еще в такое время!..

— Это так, ничего, — ответил тот. — Это наш священник. По-моему, сейчас будет служба.

Он ввел Тома в хорошо обставленную комнату, напимавшую гостиную, в ней было даже кресло и диван. На столе был приготовлен поднос с бутылкой и рюмками.

— Отведай-ка этой наливки, — проговорил человек в га-

лифе и, прежде чем Том успел сказать, что ему сейчас нужно совсем другое, заставил его проглотить порядочную рюмку. — Ну, а теперь, с твоего разрешения, я пойду распоряжусь насчет обеда.

Хозяин ушел, а Том прилег на диван. Невольно он стал мотать головой в такт ударам колокола. «Дон-дан-динь! Дон-дан-динь!» Он чувствовал, что проваливается в глубокую, мягкую бездну дремоты. На полочке буфета, который стоял напротив, чернело пятно. Том стал вглядываться в него, но оно расплывалось, теряло контуры. Чтобы бороться со сном, Том старался рассмотреть его как следует. Вот его края стали четкими, оно приняло свои нормальные размеры. То был какой-то плоский круглый предмет. Тому удалось еще немного приподнять веки, и он, наконец, разглядел, что это круглый черный головной убор с шелковой кисточкой на макушке: феска фашистского главаря, хранимая под стеклянним колпаком на буфете.

Теперь Тому удалось подняться с дивана. И как раз в этот момент издали донеслось какое-то жужжанье. Он прислушался. Где-то проезжал грузовик, может быть даже не один. Гул нарастал с каждой секундой. Том изо всех сил старался побороть вялость, сковывавшую все его тело. Казалось, этот рокот моторов, от которого сейчас слегка дребезжали стекла, возник в ответ на сигналы с колокольни. Но вот, наконец, колокол замолк.

Том подошел к окну, отодвинул занавеску. Окно выходило на мощный двор, на котором работал канатчик со своими подмастерьями. Тому не удалось разглядеть их лица, но все они казались людьми немолодыми, суровыми на вид, и у всех топорщились густые усы. В полном молчании они проворно растягивали и скручивали длинный пучок пеньки, свивая из него веревку.

Том повернулся и взялся за ручку двери. Она подалась. Том очутился в небольшой крытой галерее, куда выходили три двери. Две из них оказались запертыми на ключ, третья, низенькая и узкая, вывела его на сложенную из кирпича темную лестницу. Спустившись по ней, Том оказался в просторном пустом хлеву. В яслях — старое сено. Все вокруг забрано железной решеткой. Том не видел, как выбраться отсюда. А гул моторов все нарастал. Как видно, целая колонна грузовиков, поднимая густую пыль, тяну-

лась вверх по извивам дороги, направляясь к деревне. А он был в ловушке.

Вдруг Том услышал тоненький голосок, окликавший его: — Партизан! Эй, партизан!

Вслед за этим из кучи сена вылезла девочка с косичками. В руке у нее было красное яблоко.

— На, держи, — шепнула она. — Ешь и иди за мной, — и показала ему на дыру в задней стене, за кучей сена.

Они вышли на какое-то заброшенное поле, сплошь заросшее желтыми, похожими на звездочки цветами, и оказались за деревней. Над ними возвышались древние стены полуразрушенного замка. Шум моторов стал отчетливее, как видно, машины подъезжали уже к последнему повороту.

— Меня послали показать тебе дорогу и помочь убежать, — сказала девочка.

— Кто? — уписывая яблоко, спросил Том, хотя уже и так был убежден, что этой девочке можно довериться с закрытыми глазами.

— Да все, все наши. Мы не можем показаться в деревне и прачемся. А то если нас увидят — донесут. У меня тоже два брата в партизанах, — добавила она. — Тарзана знаешь? А Бюрю?

— Конечно, — ответил Том, а про себя подумал: «У каждой деревни, даже у самой враждебной, бесчеловечной, — два лица; и обязательно должна наступить такая минута, когда тебе вдруг открывается второе, доброе лицо, которое было всегда, только ты его не видел и даже не надеялся увидеть».

— Видишь эту тропинку между виноградниками? — про-

должала между тем девочка. — Спускайся по ней, тебя никто не увидит. Потом перейди мостик, только поскорее, он весь на виду. Потом ты попадешь в лес. Под толстым дубом есть яма, там ты найдешь еду. А сегодня ночью по лесу пройдет девушка, зовут ее Сузан-



на, она связная. Она тебя отведет к своим. Ну, иди, партизан, иди скорее!

Том начал спускаться по тропинке между виноградниками, почти не чувствуя боли в ноге. За мостиком начинался густой темный лес с такой плотной зеленью, что лучи солнца не могли пробиться сквозь нее. И чем громче становился гул моторов, доносившийся из деревни, тем гуще и темнее казался Тому лес.

«Если я докину огрызок яблока до ручья, значит спасусь», — подумал Том.

Девочка с косичками, все еще стоявшая на брошенном поле, видела, как Том миновал мостик, прячась за низким деревянным парпетом. Потом возле камышей в прозрачную воду ручья упал огрызок яблока, подняв фонтанчик брызг. Девочка хлопнула в ладоши и скрылась.

ОГРАБЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКОЙ

Последним пришел Долговязый. Остальные уже дожидались его на условленном месте, вся шайка — Христосик и Турок. Вокруг стояла такая тишина, что с улицы было слышно, как в домах бьют часы. Два удара — нужно торопиться, чтобы успеть до рассвета.

— Пошли, — сказал Долговязый.

— Куда? — спросили оба его товарища.

Долговязый был не из тех, кто заранее объясняет, какой дом решил взять сегодня.

— Ладно, пошли, — ответил он.

И они молча двинулись по улицам, пустынным, как русла высохших рек. Перед ними, скользя по трамвайным рельсам, бежала луна. Долговязый шел впереди, поглядывая по сторонам своими бегающими желтыми глазками и непрерывно шевеля ноздрями, словно все время к чему-то принюхивался.

За ним следовал Христосик, которого прозвали так потому, что у него, как у новорожденного, было маленькое тельце и несоразмерно большая голова с коротко остриженными волосами и черными усиками на смазливой физиономии. Он словно целиком состоял из мускулов, двигался неслышно, мягкой кошачьей походкой, не имел себе равных, если тре-



бовалось взобраться куда-нибудь или спрятаться, сжавшись в комочек. Словом, Долговязый знал, что делал, когда брал его с собой.

— Стоящее дельце, а, Долговязый? — спросил Христосик.

— Там видно будет, — буркнул тот, не желая отвечать на вопрос.

Только ему одному известными закоулками он привел товарищей во двор. Христосик и Турок сразу поняли, что предстоит брать подсобку какого-то магазина. Турок немедленно выступил вперед, потому что ему очень не хотелось стоять на стреме. Такая уж его судьба — всегда стоять на стреме, и, хотя он мечтает влезать в дома, шарить по шкафам и набивать себе карманы вместе с остальными, ему приходится стоять на стреме на холодных улицах, рискуя напороться на полицейских, щелкать от стужи зубами и курить, чтобы не расклеиться окончательно. Турок — сицилиец, худой как жердь, с грустным лицом мулата и длинными руками, вылезающими из рукавов. Каждый раз, отправляясь на дело, он неизвестно для чего надевает свой самый лучший костюм, шляпу, галстук и непромокаемый плащ. Когда приходится удирать, он поднимает руками его длинные полы и становится похожим на птицу, которая собирается взлететь.

— Турок — на шухер! — приказал Долговязый и шевельнул ноздрями.

Турок уныло потащился со двора. Он знал, что иначе

Долговязый будет все быстрее и быстрее шевелить ноздрями, а потом вытащит револьвер.

— Сюда, — сказал Долговязый и кивнул Христосику на маленькое окошко с картонкой вместо выбитого стекла, расположенное довольно высоко над землей.

— Влезешь и откроешь мне, — продолжал он. — Смотри не зажигай тех ламп, что видны с улицы.

Христосик, как обезьяна, вскарабкался по гладкой стене, бесшумно выдавил картонку и просунул голову внутрь. До сих пор он не чувствовал никакого запаха, но теперь ему в нос ударила волна характерного аромата кондитерской. И жадность отступила перед каким-то волнением, трепетным, словно воспоминание о давней любви.

«Э, да тут, видно, сласти», — подумал он. Уже много лет — наверно, с самого начала войны — ему ни разу не приходилось вволю поесть сладкого. Но теперь он разыщет эти сласти, хотя бы для этого пришлось перевернуть весь дом, уж будьте уверены! Спускаясь по темной лестнице, он наткнулся на телефон, отшвырнул его ногой, потом зацепился брюками за веник и, наконец, очутился внизу. Запах сладкого становился все сильнее, но Христосик никак не мог понять, откуда он исходит.

«Э, да тут, видно, полно сластей», — подумал он.

Шаря вокруг себя рукой, он попробовал на ощупь отыскать дверь, в которую должен был впустить Долговязого. Вдруг он с отвращением отдернул руку: прямо перед ним притаилось мягкое и липкое животное, скорее всего какая-нибудь морская гадина. Он замер с поднятой рукой: ладонь его стала липкой, сырой, покрылась мерзкой коростой. Он чувствовал, что между пальцами у него появились круглые шишки, вроде бубонов. Он таращил глаза в кромешной тьме, но ничего не видел, даже поднеся руку к самому носу. Не увидел, однако почувствовал запах. И засмеялся. Он понял, что дотронулся до торта и на руке у него крем и цукаты.

Недолго думая, Христосик принялся облизывать руку, а другой рукой продолжал шарить вокруг. Неожиданно ему попало что-то упругое, но мягкое, покрытое пузырчатой пленкой. Не переставая шарить вокруг, он целиком засунул его в рот. В следующую минуту у него вырвался негромкий

возглас удивления и радости. Да это крафен*! Это было превосходное место! Куда ни протянешь в темноте руку, обязательно наткнешься на какое-нибудь лакомство.

Рядом раздался нетерпеливый стук в дверь. Стучал Долговязый, ожидавший, когда ему откроют. Христосик двинулся на стук, по дороге его руки нащупали торт безе и миндальные пирожные. Наконец он открыл дверь. Карманный фонарик Долговязого осветил его лицо с перепачканными кремом усами.

— Здесь полно сладкого, — сообщил Христосик, как будто Долговязый не знал об этом.

— Сейчас не до сладкого. Нам каждая минута дорога, — отстраняя его с дороги, ответил Долговязый и пошел вперед, ощупывая каждый предмет тонкой палочкой света от своего фонарика.

Из темноты на каждом шагу появлялись длинные ряды полок, на полках шеренги различных ваз, в вазах горы аккуратно уложенных пирожных всевозможных форм и расцветок и тортов с таким количеством крема, что он каплями стекал с них, как воск с горящей свечи; рядом с вазами стройные батареи сдобных миланских булок и неприступные замки из нуги и халвы.

Христосик чуть не взвыл от отчаяния: что, если он не успеет вдоволь поесть всех этих лакомств? Вдруг придется удрать отсюда, прежде чем он перепробует все сорта этих сластей? Один раз в жизни он попал в эту блаженную страну — и всего на несколько минут. Чем больше лакомств попадалось ему на глаза, тем безысходнее становилось его отчаяние. И каждый новый шкаф, каждая витрина, появлявшиеся из темноты под фонариком Долговязого, вставляли перед Христосиком, чтобы отнять у него всякую надежду.

И тогда он ринулся к полкам и, давась, принялся запихивать себе в рот по два, по три пирожных зараз, глотать, не чувствуя никакого вкуса. Он словно сражался с беспощадными шоколадными врагами и фантастическими сдобными чудовищами, которые с миндальным хрустом осаждали его со всех сторон, хватали цепкими лапами сиропного плена, и, чтобы вырваться из этого плена, он должен был без устали

* Крафен — пончик с мармеладом.

прогрызаться сквозь них. Надрезанные сдобы скалили на него свои желтые ноздреватые пасти, сверху, словно нена-сытные плотоядные цветы, тянулись причудливые кренделя, и Христосику на минуту показалось, что еще немного, и все эти лакомства сожрут его самого.

Долговязый тащил его за руку.

— Касса. Нужно брать кассу, — говорил он, но сам время от времени торопливо совал в рот то кусок марципана, то цукат с торта, то бриошь, стараясь тем не менее не отвлекаться от главного.

Вдруг он погасил фонарик.

— С улицы видно, застукают в любой момент, — сказал он.

Дальше шло помещение, отведенное под кафе, с мраморными столиками и стеклянными витринами. Сюда просачивался свет ночной улицы, потому что ставни на окнах были решетчатые, и за ними в причудливой игре теней виднелись дома и деревья.

Теперь надо было взломать кассу.

— На, держи! — буркнул Долговязый и сунул в руки Христосику фонарик, повернутый так, что весь свет падал вниз и не мог быть замечен с улицы.

Но Христосик одной рукой держал фонарик, а другой шарил вокруг. Схватив целый фруктовый торт, он стал кусать его большими кусками, как обыкновенный хлеб. Долговязый в это время, орудуя отмычками, трудился над замком. Но скоро торт опротивел Христосику, и он бросил недоеденный кусок на мраморный пол.

— Подними сейчас же! Смотри, какой свинарник развел! — приказал сквозь зубы Долговязый, который, несмотря на свое ремесло, питал странное пристрастие к порядку. Потом, не устояв перед искушением, сунул в рот два наполовину облитых шоколадом воздушных печенья, ни на минуту, однако, не забывая о деле.

Между тем Христосик, желая освободить себе руки, соорудил из картонок и бумажных салфеток что-то вроде абажура. Еще раньше он заметил несколько тортов с надписью «С днем рождения». Он обошел вокруг них, примериваясь, как лучше их атаковать, потом, произведя разведку, провел по ним пальцем и слизал приставший к нему

шоколадный крем, после чего начал по очереди погружать в них физиономию и выгрызать серединки.

Но его страсть все еще не была удовлетворена, и он не знал, как ее удовлетворить. Ему никак не удавалось придумать такой способ, чтобы насладиться всем, буквально всем, что было вокруг. Он уже влез на стол с тортами, встал над ними на четвереньки. Но и этого ему было мало. Вот если бы он смог раздеться и голым лечь на все эти торты, если бы он смог валяться на них, переворачиваясь с боку на бок, и никогда, никогда не подниматься! Но еще пять, десять минут, и все кончится. Снова до конца его дней кондитерские станут для него так же недоступны, как в детстве, когда он прижимался носом к стеклам их витрин. Если бы задержаться здесь хотя бы на три-четыре часа!..

— Долговязый, — проговорил он, — а что, если нам спрятаться здесь до утра? Кто нас увидит?

— Не валяй дурака, — ответил Долговязый. — Отсюда надо смываться, пока нас не застукали легавые.

Ему удалось вскрыть кассу, и теперь он рылся в банковских билетах.

В этот момент кто-то постучал в витринное стекло. Оглянувшись, они увидели освещенного слабым светом луны Турка, который, просунув руку между прутьями решетки, стучал в окно и размахивал руками. Долговязый и Христосик бросились было к двери, но Турок жестом дал им понять, что все спокойно, а потом показал Христосику, что хочет поменяться с ним местами. Те, кто находился в кондитерской, показывали ему кулаки, скалили зубы и свирепо махали руками, приказывая убираться от магазина, если он не спятил.

Тем временем Долговязый обнаружил, что в кассе находилось всего-навсего несколько тысяч лир. Он принялся яростно ругаться и упрекать Христосика за то, что тот не желает ему помогать. А Христосик словно обезумел. Он вгрызался в рулет, выщипывал изюм, слизывал варенье; перепачканный с головы до ног, он оставлял жирные следы на стеклянных банках. Он заметил, что ему больше не хочется сладкого, чувствовал, как к горлу подступает тошнота, но не желал отступать, не мог позволить себе сдаться. Крафены превратились в безвкусные губки, бисквиты — в рулончики

липкой бумаги от мух, торты источали птичий клей и расплавленный асфальт. Он видел трупы лакомств, которые разлагались, вытянувшись на своих белых пеленах, или, проглоченные им, мутным клеем облепляли его желудок.

Долговязый, который, забыв о сластях и голоде, с остервенением начал взламывать замок второго сейфа, вдруг увидел, что в подсобку входит Турок, ругаясь последними словами на своем сицилийском диалекте, которого никто не понимал.

— Легавые? — побледнев, в один голос спросили Долговязый и Христосик.

— Меняться! Меняться! — простонал Турок и начал бешено сыпать своими кончающимися на «у» словами, стараясь доказать, что несправедливо заставлять его, голодного, торчать на холоде, а самим обжираться разными сластями.

— Пошел на место! Иди на шухер! — в ярости заорал Христосик. Это была ярость существа сытого и оттого еще более эгоистичного и злого.

Долговязый понимал, что сменить Турка было бы более чем справедливо, но он видел также, что убедить Христосика будет не так-то просто. «А без шухера можно завалиться», — подумал он и, вынув револьвер, направил его на Турка.

— Быстро на место, Турок! — сказал он.

В отчаянии Турок решил хотя бы захватить что-нибудь с собой. Он загреб своими ручищами полную пригоршню миндального печенья, густо обсыпанного кедровыми орешками, и двинулся к двери.

— А если тебя застукают с этими пряничками, дурак, что ты им споешь? — почти мягко сказал Долговязый. — Оставь все здесь и катись.

Турок плакал. Христосик почувствовал, что ненавидит его. Схватив торт, на котором было выведено «С днем рождения», он швырнул его в лицо товарищу. Турок вполне мог бы увернуться, но вместо этого выставил вперед физиономию, чтобы на нее попало как можно больше крема, потом засмеялся сквозь сладкий пластырь, залепивший ему лицо, шляпу и галстук, и помчался на место, слизывая крем с губ, с носа, чуть ли не со скул.



Под конец Долговязо-
му все-таки удалось взло-
мать главную кассу, и он
принялся рассовывать по
карманам банкноты, то и
дело раздражаясь прокля-
тиями, потому что бумаж-
ки прилипали у него к
пальцам, выпачканным
джемом.

— Все, Христосик, по-
ра смыться, — сказал
он, спрятав последнюю
пачку.

Но Христосик не мог
так сразу все кончить.
Нет, он должен был так
нажраться, чтобы потом
долгие годы было о чем
рассказывать товарищам
и Мари Тосканке. Мари
Тосканка была любовни-
цей Христосика, у нее бы-
ли длинные палкообраз-
ные ноги, фигура и лицо
кобылы.

Мысли Христосика прервало новое появление Турка. На этот раз Долговязый без всяких разговоров сразу вытащил револьвер, но Турок крикнул только одно слово: «Лега-вые!» — и бросился бежать вприпрыжку, подхватив рукой полы плаща. Подобрав последние мелкие билеты, Долговязый в два прыжка очутился у двери. Христосик бросился следом.

Христосик не переставал думать о Мари: ему только сей-
час пришло в голову, что можно было бы захватить для нее
разных вкусных вещей, что он ни разу не сделал ей подарка
и в конце концов она когда-нибудь устроит ему сцену. Он
бросился назад, схватил несколько трубочек с кремом, сунул
их за пазуху, но сейчас же сообразил, что выбрал самые
хрупкие изделия, и начал сгребать и сваливать за рубашку
все, что казалось ему более или менее плотным. Однако

почти в ту же минуту на витринном стекле появились тени полицейских, которые, размахивая руками, показывали куда-то в глубину улицы. Один из полицейских прицелился и выстрелил.

Христосик забился за прилавок. Как видно, полицейский промахнулся, потому что все сокрушенно покачали головами и стали смотреть через ставни внутрь. Немного погодя Христосик услышал, что они нашли открытую дверь и входят в магазин. Скоро все помещения наполнились вооруженными полицейскими. Христосик сжался в комочек, но время от времени, чтобы успокоиться, совал себе в рот дольку лимона или ломтик груши из банки с глазированными фруктами, которая оказалась рядом.



Легавые установили, что было произведено ограбление и что, судя по следам, оставленным на полках, грабители лакомились кондитерскими изделиями. Мимоходом полицейские подбирали валявшиеся повсюду сласти и отправляли в рот, стараясь не спутать следов. Усердие, с которым они пытались обнаружить улики, было так велико, что через несколько минут они все ввалились в кондитерскую и принялись за обе щеки уплетать сладкое.

Христосик громко чавкал, но его совсем не было слышно за чавканьем полицейских. Он чувствовал, как под рубашкой по груди у него текли растаявшие сласти, как подкатывает к горлу тошнота. Увлечшись засахаренными фруктами, он с большим опозданием заметил, что путь к двери свободен. Впоследствии полицейские рассказывали, что увидели обезьяну, сплошь облепленную кремом, которая, опрокидывая вазы и роняя на пол коробки с тортами, вприпрыжку убежала из магазина. Прежде чем полицейские пришли в себя от изумления и выбрались из тортов, в которых увязли их подошвы, Христосик был уже в безопасности.

Войдя к Мари Тосканке, Христосик расстегнул рубашку и нашел у себя на груди пласт какого-то бурого теста, крепко прилипшего к телу. До самого утра они, лежа рядом на кровати, лизали и ковыряли этот пласт, пока не подобрали последнюю крошку и не слизали последнюю каплю крема.

ДОЛЛАРЫ

После ужина Эмануэле забавлялся мухоловкой, шлепая ею по оконному стеклу. Ему было тридцать два года, и он был толст. Его жена Йоланда переодевала перед прогулкой чулки.

За окном простирался огромный пустырь, заваленный обломками старых, заброшенных складов, за которым лежало море, видневшееся между обветшалыми домами. Море было все черное, вверх по улицам неся тугой ветер. В бар «Бочка Диогена» вошли шесть моряков с американского эсминца «Шенандоа», стоявшего на внешнем рейде.

— У Феличе шесть американцев, — сказал Эмануэле.

— Офицеры? — спросила Йоланда.

— Моряки. Это даже лучше. Поторапливайся.

Водрузив на голову шляпу, Эмануэле начал крутиться на месте, стараясь попасть в рукав пиджака.

Йоланда кончила возиться с подвязками и теперь записывала поглубже бретельки бюстгальтера, которые все норовили вылезти из-под платья.

— Ну, я готова. Идем.

Они спекулировали долларами и сейчас собирались узнать, не продадут ли им американцы свою валюту. Супруги были людьми почтенными, хотя и спекулировали долларами.

Несколько пальм, посаженных на пустыре, среди обломков для того, чтобы хоть немного скрасить унылый пейзаж, стояли растрепанные ветром, словно в безутешном горе. Посредине пустыря виден был ярко освещенный павильон под вывеской «Бочка Диогена», построенный ветераном войны Феличе. Бар построен был с разрешения городской коммуны, невзирая на протесты оппозиционных членов муниципалитета, заявлявших, что эта постройка портит весь вид. Павильон имел форму бочонка. Внутри бочонка помещался бар и стояли столики.

— Так вот, — сказал Эмануэле, — первой заходишь ты, присматриваешься, завязываешь разговор и спрашиваешь, не хотят ли они меняться на лиры. С тобой они скорее договорятся. Потом подхожу я и заключаю сделку.

Матросы стояли у стойки бара Феличе. В своих белых брюках, растопырив локти, тяжело опиравшиеся на мрамор, они заняли всю стойку из конца в конец, и казалось, около





нее было не шестеро, а двенадцать матросов. Йоланда вошла и почувствовала на себе взгляд двенадцати глаз, вращавшихся в такт движениям жующих челюстей. Все матросы жевали, не разжимая губ, и время от времени что-то мычали. В большинстве своем это были тощие верзилы, утопавшие в своих белых мешковатых робах, с шапочками-пирожками на макушках. Только один матрос, стоявший ближе всех к Йоланде, двухметровый здоровяк с румяными, словно спелое яблоко, щеками и пирамидальной шеей, в своей плотно облегающей форме казался совсем голым, а глаза у него были такие круглые, что непрерывно бегающие зрачки ни разу не коснулись век. Йоланда спрятала бретельку бюстгалтера, которая все время показывалась в вырезе ее платья.

За стойкой стоял сам Феличе в поварском колпаке, с опухшими, заспанными глазами и поспешно наполнял рюмки. Он приветствовал Йоланду усмешкой, скривившей его мужицкую физиономию с иссиня-черными бритыми щеками. Феличе говорил по-английски, поэтому Йоланда сразу же обратилась к нему:

— Феличе, спроси-ка, может, они обменяют доллары.

Все с той же хитрой усмешкой Феличе буркнул:

— Сама спроси.

Он передавал тарелку с пиццей* и блинчиками мальчишке с прилизанными, слипшимися волосами и желтым, как луковица, лицом, который относил еду матросам.

— Плиз, — сказала Йоланда, стоя в окружении белых долдонов, которые, не переставая жевать, пялились на нее и мычали что-то нечленораздельное. — Плиз, я вам — лиры... — продолжала она, усиленно жестикулируя. — Вы мне — доллары...

Матросы жевали. Верзила с бычьей шеей ухмыльнулся. Зубы у него были такой ослепительной белизны, что сливались в сплошную белую полосу.

Потом он отодвинул в сторону стоявшего рядом коротышку со смуглым, как у испанца, лицом.

— Я — доллары тебе, — сказал верзила, сопровождая жестами каждое свое слово, — ты — спать со мной.

Он повторил это по-английски, и все смеялись долго, но как-то сдержанно, не переставая жевать и не сводя с нее глаз.

Йоланда повернулась к Феличе.

— Феличе, — сказала она, — объясни им.

Но тот, передвигая по мрамору стойки стаканчики, повторял, немыслимо коверкая произношение:

— Уиски энд сода.

Его гримаса могла бы показаться отвратительной, если бы он не был таким заспанным.

Тут снова заговорил верзила. У него был голос, похожий на вой ревущего бую, у которого волны приподнимают и опускают кольцо. Верзила заказал стаканчик для Йоланды и, взяв из рук бармена бокал, протянул его женщине; непонятно было, как эта тонкая ножка не сломалась от одного прикосновения огромных пальцев американца.

Йоланда растерялась.

— Я — лиры, вы — доллары... — лепетала она.

Но матросы уже достаточно овладели итальянским.

— В постель! — кричали они. — В постель — доллары...

В эту минуту в бар вошел Эмануэле. Первое, что он увидел, были колыхающиеся белые спины, из-за которых доносился голос Йоланды.

* Пицца — лепешка с запеченной в ней рубленой рыбой, пряностями, маслинами.

— Эй, Феличе, скажи-ка мне... — подходя к стойке, сказал Эмануэле.

— Чем могу служить? — отозвался бармен со своей обычной усталой усмешкой, искривившей его бритое два часа назад, но уже заросшее щетиной лицо.

— Где там моя жена? Что она делает? — спросил Эмануэле, отдирая от вспотевшего лба свою шляпу и подпрыгивая на месте, чтобы разглядеть, что делается за этой стеной из белых спин.

Феличе влез на табуретку, вытянул свой щетинистый подбородок, потом спрыгнул на пол.

— Да все там же, — сказал он.

Эмануэле немного ослабил узелок душившего его галстука и попросил:

— Скажи ей, пусть хоть высунется.

Но Феличе был уже занят другим делом. Он кричал на мальчишку с луковичным лицом, который не успевал подкладывать блинчики на тарелки матросам.

— Йоланда!.. — позвал Эмануэле и попробовал просунуть голову между двумя американцами, но, получив сперва удар локтем в подбородок, а потом в живот, отлетел на прежнее место и снова стал приплясывать за спинами матросов. Потом из толпы американцев донесся дрожащий голос его жены:

— Что, Эмануэле?

— Как дела? — спросил он, откашлявшись.

— По-моему, — глухо, словно по телефону отозвался ее голос, — по-моему, они не хотят брать лиры...

Некоторое время он молчал, барабанил пальцами по мармормной стойке, потом сказал:

— Ах, не хотят? Ну ладно, тогда иди сюда.

— Сейчас... — ответила Йоланда.

Она попробовала нырнуть в эту изгородь из мужских тел, но что-то ее держало. Опустив глаза, она увидела большую руку, крепко ухватившуюся за ее левую грудь. Рука была огромная, сильная и мягкая и принадлежала верзиле с румяными щеками, стоявшему перед Йоландой и скалившему зубы, которые сверкали так же ярко, как белки его глаз.

— Плиз, — прошептала Йоланда, стараясь отодрать от груди эту руку. — Сейчас иду! — крикнула она Эмануэле, хо-

тя по-прежнему не двигалась с места, а только тихонько повторяла: — Плиз... Ну, плиз...

Феличе поставил перед носом у Эмануэле пустой стакан.

— Ну, что же тебе налить? — спросил он, склоняя над ним свой поварской колпак и обеими пятернями опираясь на стойку.

Эмануэле рассеянно смотрел перед собой.

— Есть одна идея, — сказал он. — Подожди.

И вышел из бара.

Уже зажглись фонари. Эмануэле бегом пересек улицу, вошел в кафе Ламармора и быстро огляделся. Там не было никого, кроме завсегдатаев, которые резались в двадцать одно.

— Эй, Мануэле, — крикнули ему, — подсаживайся, сыграем! Ну и вид у тебя сегодня, Мануэле!

Но он уже выскочил за дверь и во весь дух помчался к бару «Париж». Некоторое время он толкался между столиками, постукивая кулаком по ладони, наконец подошел к бармену и что-то зашептал ему на ухо.

— Нет еще, — ответил тот. — Но к вечеру будут.

Эмануэле выбежал на улицу, а бармен громко расхохотался и пошел рассказать обо всем кассирше.

В «Лилии» Болонка только-только села за столик, с облегчением вытянув ноги (ее снова стала мучить старая болезнь — расширение вен), как к ней подлетел запыхавшийся толстяк в шляпе набекрень. Он так запыхался, что никак нельзя было понять, чего он хочет.

— Идем, идем скорей, очень срочно... — повторял он и тащил ее за руку к выходу.

— Мануэльчик? — воскликнула Болонка, вытаращив из-под челки окруженные сетью морщинок глаза. — Что это тебе приспичило? После стольких лет... Мануэльчик, правда, что тебе так приспичило?

Но он уже бежал по улице, волоча за собой прихрамывавшую Болонку, которая семенила своими распухшими ногами, запакованными в щегольскую узкую юбку, оканчивавшуюся где-то гораздо выше колен.

У кино им встретилась Мария Липок, которая окручивала какого-то капрала.

— Эй, — крикнул Эмануэле, — ты тоже иди! Я тебя отведу к американцам.

Таких вещей Марии Липок не нужно было повторять дважды. Щелкнув на прощание капрала, она побежала рядом с Эмануэле. Ее рыжие волосы растрепались на ветру, а глаза нетерпеливо впились в темноту.

В «Бочке Диогена» мало что изменилось. Только на полках, всегда заставленных бутылками, появилось много просветов, джин уже кончился, а пицца подходила к концу. Обе женщины ввалились в бар и, подталкиваемые в спину Эмануэле, ринулись в самую гущу матросов, встретивших их появление радостным воем. Эмануэле без сил опустился на табуретку. Феличе налил ему стаканчик чего-то крепкого. К Эмануэле подошел один из матросов и похлопал его по спине, остальные тоже смотрели на него дружелюбно, слушая Феличе, который что-то рассказывал о нем.

— Ну? — спросил Эмануэле. — Как по-твоему, все в порядке?

— Как тебе сказать? — ответил бармен со своей вечной сонной усмешкой. — Нужно было бы по крайней мере шестерых...

В самом деле, положение не улучшилось. Мария Липок висела на шее у детины с лицом зародыша и извивалась всем телом под своим зеленым платьем, словно змея, скидывающая старую кожу. Болонка погребла под своими грудями низкорослого испанца и, осыпая его ласками, являла собой олицетворение материнства. А Йоланду по-прежнему не было видно. Ее все время заслоняла необъятная спина в белой робе. Эмануэле делал отчаянные знаки обоим женщинам, призывая их не слишком увлекаться глупостями и хорошенько смотреть по сторонам, но те, казалось, забыли обо всем на свете.

— Ну и ну! — воскликнул Феличе, выглядывая из-за спины Эмануэле.

— Что такое? — спросил тот, но бармен уже кричал на мальчика, который недостаточно проворно вытирал стаканы.

Повернувшись, Эмануэле увидел, что в бар вваливается новая группа американских моряков — человек пятнадцать, не меньше. «Бочка Диогена» сразу оказалась битком набитой изрядно подвыпившими матросами. Мария Липок и Болонка завертелись в сумасшедшем канкане. Одна бросалась на шею то тому, то другому, болтая в воздухе своими безъязычными ногами, вторая с неестественной улыбкой, ко-

торую прочно нарисовала у нее на лице губная помада, словно насадка, собиравла ошеломленных матросов под своей необъятной грудью.

На какое-то мгновение Эмануэле увидел Йоланду, которая вихрем носилась среди белых рубашек. Потом она снова исчезла. Йоланде порой казалось, что ее совсем закружила плотно обступившая толпа, однако она всякий раз замечала рядом с собой гиганта с ослепительными зубами и белками глаз и от этого почему-то чувствовала себя в безопасности. Двигаясь своей мягкой походкой, он не отставал от нее ни на шаг. Под неподвижной белой робой мускулы его огромного тела должны были перекачиваться, крадучись, как коты, грудь медленно поднималась и опускалась, словно вбирала в себя воздух бескрайних океанских просторов. Неожиданно его голос, напоминавший грохот камней, перекачивающихся в железном буре, начал с расстановкой произносить какие-то слова. Переплетаясь в причудливом ритме, они вдруг стали оглушительной песней, и все закружились на месте, словно под музыку.

Тем временем Мария Липок, которая всюду знала укромные местечки, сидя на руках у усатого матроса, начала пинками прокладывать себе путь к низенькой дверце задней комнаты. Сначала Феличе не хотел, чтобы открывали эту дверь, но сзади, напирая, хлынул весь поток, в конце концов затопивший комнатушку.

Эмануэле, съезжившись на табурете, остановившимися глазами взирал на всю эту сцену.

— Что же это там творится, Феличе? Что там творится? — повторял он.

Но Феличе не отвечал. Он думал о том, что ему делать, — в баре совершенно не осталось ни вина, ни еды.

— Беги в «Валькирию» и попроси одолжить нам несколько бутылок, — приказал он мальчику-луковице. — Все равно чего, хоть пива. И какой-нибудь еды. Ну, бегом!

В это время Йоланду тоже втолкнули за дверцу; там оказалась комнатка с занавесками на окнах, с аккуратно прибранной и накрытой голубым покрывалом кроватью, умыльником и всем прочим. После этого верзила принялся спокойно и методично выдворять из комнаты остальных матросов, подталкивая их своими огромными ручищами и в то же время не выпуская Йоланду, которая стояла у него

за спиной. Но все матросы почему-то непременно хотели проникнуть в комнатку, и волна, которую верзиле удавалось отпихнуть от дверей, тотчас же возвращалась назад, становясь, правда, все меньше и меньше, так как кое-кто, устав бороться, отходил в сторону. Йоланда была очень довольна, что у гиганта появилось это занятие: теперь по крайней мере она могла немного передохнуть и поправить бретельки бюстгалтера, все время вылезавшие из-под платья.

А Эмануэле все наблюдал. Он видел, как ручищи верзилы выталкивали матросов за дверь, за которой, без сомнения, находилась его исчезнувшая жена, как моряки волнами штурмовали вход в эту комнатку и как каждая волна раз от раза уменьшалась на одного-двух человек — сперва десять, потом восемь, потом семь... Если так пойдет дальше, то через сколько же минут верзиле удастся запереть дверь?

Тут Эмануэле вскочил, выбежал на улицу и заплетающимися ногами заковылял через площадь, будто участвовал в соревнованиях по бегу в мешках. На стоянке вытянулась длинная вереница такси, в которых дремали шоферы. Он разбудил их и принялся каждому объяснять, что нужно делать, выходя из себя, если его не понимали с первого раза. Одно за другим такси разъехались в разные стороны. Последняя машина увезла самого Эмануэле, неестественно прямо торчавшего на сиденье.

Старый извозчик Бачи, разбуженный движением на площади, соскочил со своих высоких козел и бросился узнавать, не нужно ли куда-нибудь съездить. Поняв все с полуслова — недаром считалось, что он собаку съел в своем ремесле! — он снова взгромоздился на козлы и разбудил свою старую клячу. Когда же и пролетка Бачи, дребезжа, скрылась за углом, на пустынной площади воцарилась тишина, нарушаемая только шумом, доносившимся из «Бочки Диогена», приютившейся на лысине, расчищенной среди развалин старых складов.

В «Ирисе» девушки танцевали. Все они были еще несовершеннолетние, с пухлыми губками и в изящных кофточках, которые облегали их круглые, как шарики, груди. У Эмануэле не хватило терпения дожидаться, когда кончится танец.

— Эй, ты! — крикнул он одной из девушек, танцевавшей с парнем, которого отличало полное отсутствие лба, совершенно съеденного волосами.

— Тебе чего? — спросил безлобый.

В этот момент к ним подошло еще трое или четверо парней с рожами боксеров. Сгрудившись вокруг, парни засопели.

— Идем-ка отсюда, — посоветовал Эмануэле шофер. — А то как бы еще скандала не было.

Из «Ириса» они отправились к Пантере. Она оказалась дома, но не хотела открывать, потому что у нее был клиент.

— Доллары! — кричал через дверь Эмануэле. — Доллары!

Наконец она открыла и показалась на пороге в капоте, похожая на какую-то аллегорическую скульптуру. Ее поволокли вниз по лестнице и погрузили в такси. После этого на приморском бульваре они зацапали Фашистку, прогуливавшуюся с собачкой, в привокзальном кафе — Пупсика, шеголявшую в горжетке из лисы, а в гостинице «Мир» — Негритоску с неизменным мундштуком из слоновой кости в зубах. Затем нашли еще троих новеньких, которых привела синьора из «Кувшинки». Эти все время хохотали и почему-то думали, что их везут за город. Кое-как рассадили всех. Эмануэле уселся впереди, немного встревоженный тем гвалтом, который подняли женщины, стиснутые на заднем сиденье. Что касается шофера, то его беспокоило только одно — как бы не лопнули рессоры.

Вдруг какой-то тип, как видно задавшийся целью угодить под колеса, выскочил на дорогу и сделал им знак остановиться. Тип оказался мальчиком с луковичным лицом, волочившим в «Бочку Диогена» ящик пива и блюдо с едой. Мальчик хотел, чтобы его подвезли. Дверца распахнулась, и малыша со всей его кладью словно всосало в машину. Такси покатило дальше. Ночные гуляки изумленно таращили глаза вслед автомобилю, летевшему как «Скорая помощь», из которого несясь пронзительный поросячий визг. Внезапно внимание Эмануэле привлек какой-то долгий треск, повторявшийся с небольшими промежутками.

— Смотри, как бы чего с машиной не случилось, — сказал он, повернувшись к шоферу. — Ты разве не слышишь? Что-то трещит.

Шофер покачал головой.

— Это мальчик, — ответил он.

Эмануэле вытер холодный пот.

Как только такси остановилось перед «Бочкой Диогена»,

мальчик, как пробка, вылетел на тротуар. Волосы у него стояли дыбом, а глаза вылезли на лоб. Подхватив блюдо и ящик с пивом, он помчался прочь, как-то странно, по-обезьяньи подсакивая, чтобы удержать одежду, на которой не осталось ни одной пуговицы.

— Феличе! — кричал Эмануэле. — Все в порядке! Я не дал им никого подцепить! Но знал бы ты, чего мне это стоило, Феличе!

Йоланда все еще была в задней комнатке, а верзила продолжал свою игру в тычки. Теперь из всех желавших проникнуть в комнату не осталось никого, кроме одного мертвецки пьяного матроса, который то и дело тыкался в дверь



и отскакивал от кулаков гиганта. Между тем в бар вошло пополнение, и Феличе, который стоял на табурете, устало наблюдая всю эту сцену, увидел, как на раздвинувшемся в створы белом поле форменных шапочек вдруг расцвела украшенная перьями шляпка, потом обтянутый черным шелком зад, жирная нога, похожая на фаршированную свиную ножку, две груди, едва прикрытые отделкой из цветов. Все это всплывало и исчезало, как в водовороте.

А тем временем с улицы донесся скрип тормозов, и у дверей начали останавливаться такси — четыре, пять, шесть, целая вереница. И из каждой машины выходили женщины. Здесь была и элегантно причесанная Кривляка, которая величественно выступала вперед, тараща свои близорукие глаза; и Испанка Кармен, вся закутанная в прозрачную вуаль с худым, похожим на череп лицом, и Джанка Инвалидка, которая ковыляла, опираясь на китайский зонтик, и Черная Ходуля, выделявшаяся своей негритянской шевелюрой и волосатыми ногами, Малолитражка — в платье, разрисованном этикетками всевозможных марок сигарет, и Милка Аптека — в платье, разрисованном игральными картами; прыщавая Сучье Вымя и Инеска Магнит — в кружевном платье.

Через некоторое время с улицы донеслось тарахтенье, и к дверям подкатила пролетка Бачи, влекомая полумертвой клячей. Из пролетки выскочила еще одна женщина. Вновь прибывшая была в широкой бархатной юбке, украшенной оборками и кружевами. На груди у нее красовались гирлянды бус, вокруг шеи — черная бархотка, в ушах болтались длинные узорчатые серьги, на выкрашенных в желтый цвет мертвых волосах возвышалась огромная мушкетерская шляпа с розами, кистями винограда, птицами и целым облаком страусовых перьев. В руках она вертела лорнет на длинной ручке.

Между тем в «Бочку Диогена» прибывали все новые отряды матросов. Один играл на гармошке, другой — на саксофоне, несколько женщин отплясывало на столиках. Все время получалось так, что матросов было больше, чем женщин, хотя стоило кому-нибудь из мужчин протянуть руку, как она сейчас же натыкалась или на женский зад или на ляжку. И среди всей этой сумятицы ползали бархатные, когтистые руки, с красными острыми ногтями и трепещущими кончиками пальцев, пробиравшиеся под рубашки, расстегив-

вавшие пуговицы, ласкавшие мышцы, возбуждавшие. А потом все это, казалось, начало улетучиваться, исчезая без следа из рук мужчин, и один вдруг замечал, что сжимает в ладони шляпку, украшенную гроздьями винограда, другой обнаруживал, что держит пару обшитых кружевами трусиков, кто находил в руке искусственную челюсть, кто чулок, обмотанный вокруг шеи, кто шелковую оборку.

В задней комнатке теперь оставались только Йоланда и верзила матрос. Дверь была заперта на ключ. Йоланда причесывалась перед зеркалом, висевшим над умывальником. Матрос подошел к окну и отдернул занавеску. За окошком лежал погруженный во тьму приморский квартал и мол, по которому тянулась цепочка фонарей, отражавшихся в воде. И тут матрос затянул американскую песенку: «Кончен день, на землю пала ночь, в неба синь колокола поплыли...»

Йоланда тоже подошла к окну и стала смотреть на улицу. Их руки встретились на подоконнике и замерли рядом. А верзила продолжал петь своим железным голосом: «Твари господни, пойте аллилуйя».

И, вторя ему, Йоланда запела:

— Твари господни, пойте аллилуйя!

Тем временем Эмануэле носился как угорелый между матросами в тщетной надежде найти свою жену. Он как мог

старался обходить тела женщин, наружность которых изменилась до неузнаваемости, но все-таки они на каждом шагу попадали в его объятия. Неожиданно он наткнулся на группу шоферов такси, разыскивавших его, чтобы получить причитающиеся им деньги. У Эмануэле слезы стояли в глазах, но они окружили его и ни за что не хотели отпускать, пока он не рассчитается. К шоферам присоединился старый Бачи, размахивавший своим огромным кучерским кнутом.

— Если вы мне не заплатите, — кричал он, — я сейчас же увезу ее обратно!



В эту минуту слышались свистки. Бар окружила полиция. Моряки в стальных касках и с карабинами — патруль с эсминца «Шенандоа» — заставили матросов по одному выйти на улицу. Тем временем к дверям подъехали машины итальянской полиции и, захватив женщин, укатили прочь.

Матросы, построенные в колонну, маршировали к порту. Их обогнали полицейские машины, набитые женщинами. Те и другие стали махать руками, посылая друг другу приветы, а верзила, шагавший во главе колонны, во весь голос затянул песню:

— Кончен день, на землю пала ночь, пойте аллилуйя, аллилуйя!..

Йоланда, увозимая прочь в одном из полицейских автомобилей, стиснутая между Кривлякой и Малолитражкой, услышав знакомый голос, подхватила эту песню:

— День прошел, и труд закончен, аллилуйю мы поем. Аллилуйя!..

Теперь уже пели все — матросы, направлявшиеся на судно, и женщины, которых везли в полицейский участок.

В «Бочке Диогена» ветеран Феличе начал уже сдвигать в угол столики и ставить их друг на друга. Лишь Эмануэле, брошенный всеми, одиноко сидел на стуле, уронив голову на грудь, в помятой шляпе, сбившейся на затылок. Его тоже чуть было не арестовали, но американский офицер, командовавший патрулем, узнав, кто он такой, знаком приказал оставить его в покое. Сам он тоже задержался в баре, и в заведении Феличе теперь не осталось никого, кроме Эмануэле, с горестным видом сидевшего на стуле, и офицера, который стоял перед ним, скрестив руки. Как только американец убедился, что все ушли, он тронул Эмануэле за рукав и начал что-то говорить. Феличе, взявший на себя обязанности переводчика, подошел поближе, все с той же усмешкой, не сходявшей с его заросшего щетиной мужицкого лица.

— Он говорит, не смог бы ты и для него добыть какую-нибудь девочку, — сказал он Эмануэле.

Эмануэле захлопал глазами и снова уронил голову на грудь.

— Вы мне девочка, — настойчиво проговорил офицер, — я вам доллары.

— Доллары?.. — живо переспросил Эмануэле и принялся

обмахивать платком свои потные щеки. — Доллары... — повторил он, вскакивая на ноги. — Доллары!..

Из бара они вышли вместе. По небу стлались ночные тучи. На молу подмигивал в темноте маяк. В воздухе все еще звучал припев «Аллилуйя».

— Кончен день, на землю пала ночь, аллилуйя!.. — напевали Эмануэле и американский офицер, шагая посередине улицы в поисках какого-нибудь кабака, где можно загулять на всю ночь.

КОТ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С некоторых пор в городе начали проводиться обыски: искали незаконно хранимое оружие. Полицейские в кожаных шлемах, которые делали их физиономии одинаковыми и лишали их всякого человеческого выражения, садились в свои машины и, оглашая улицы воем сирен, неслись по кварталам бедняков к дому какого-нибудь грузчика или рабочего, чтобы перерыть там белье, аккуратно сложенное в комодах, и разобрать печные трубы. В такие дни на полицейского агента Баравино нападала щемящая тоска.

Баравино долго был безработным и совсем недавно завербовался в полицию. С того-то самого дня он и узнал тайну, скрывавшуюся в недрах этого с виду тихого и трудолюбивого города. Оказывается, за каменными стенами, протянувшимися вдоль улиц, в уединенных двориках, в темных погребках лежит оружие, блестящее, грозное, готовое в любую минуту подняться, как иглы на спине у дикобраза. Поговаривали о затаившихся под землей целых залежах автоматов и патронов. Говорили, что кое-кто прячет в своих комнатах, за дверьми, нарочно заложенными кирпичом, даже целые пушки. Подобно тому как следы металла неизменно приводят к руднику, на такое заключение наталкивали пистолеты, зашитые в матрацы, и винтовки, запрятанные под половицами. Теперь полицейский агент Баравино чувствовал себя неуютно среди людей: ему казалось, что в каждом уличном водостоке, в каждой куче железного хлама кроется какая-то непонятная угроза. Он все время помнил о спрятанной пушке; она чудилась ему даже в гостиной дома, где прошло его детство, в одной из тех комнат, которые годами держат на замке. Он видел эту пушку между выцветшими бархатными

диванчиками, прикрытыми кружевными накидками, видел ее вымазанные глиной колеса на стареньком ковре, видел лафет, достававший до люстры, видел всю ее, огромную, целиком загромождавшую собой гостиную, царапавшую лакированные бока пианино.

Как-то вечером полицейские снова помчались в рабочие районы и окружили один из домов. Это было многэтажное, обветшалое на вид здание. Казалось, что непосильное бремя, которое оно взвалило на себя, впустив в свои комнаты такую бездну народа, обезобразило все его этажи и стены, которые и сами превратились в ноздреватую, покрытую коростой, мозолистую плоть.

Вокруг двора, загроможденного контейнерами с мусором, вдоль всего здания, на каждом этаже тянулись ржавые погнутые перила галереи; на этих перилах и на веревках болталось драное белье; вдоль галереи виднелись двери с фанерками вместо стекол, сквозь фанеру были выведены наружу черные трубы железных печек; в углах галереи один над другим торчали, будто ободранные, облупившиеся башни, сколоченные из досок нужники, и все это, этаж за этажом, громоздилось вверх, прерываясь только окошками антреселей, из которых вырывался треск швейных машинок и кухонный чад, лезло к железным решеткам чердаков, к изуродованным водосточным желобам, к развороченным слуховым окошкам, зияющим, как черные пасти печей.

Весь дом, от подвалов до чердака, пересекал лабиринт обшарпанных лестниц, которые, словно черные вены, тянулись в разные стороны бесчисленными ветками и веточками. На лестницы в самых неожиданных местах выходили двери антреселей и квартир. Тщетно стараясь как-нибудь приглушить зловещий топот своих сапог, полицейские гуськом взбирались по лестницам, безуспешно пытались расшифровать фамилии жильцов, нацарапанные на дверях, кружили и кружили по гулким галереям, на которые то и дело высывались ребятишки и растрепанные женщины.

Среди полицейских был и Баравино, в таком же, как у всех, шлеме работа, отбрасывавшем густую тень на его затуманенные голубые глаза, не отличимый от остальных агентов, но терзаемый смутной тревогой. В этом доме, сказали ему, прячутся враги, враги полиции и всех благонамеренных граждан. И полицейский Баравино робко заглядывал

в приоткрытые двери квартиры — ведь в каждом шкафу, за каждым косяком могло скрываться смертоносное оружие. Иначе почему бы каждому жильцу, каждой женщине смотреть на них с таким мучительным беспокойством? Если один из этих жильцов враг, то почему не могут быть врагами и все прочие? За стенами, выходящими на лестницы, по вертикальным колодцам мусоропроводов с грохотом проваливался вниз мусор. А что, если это не мусор, а оружие, от которого спешат избавиться?

Спустившись по лестнице, они попали в низенькую комнату. За столом, накрытым клеенкой в крупную красную клетку, ужинала семья. Ребята заверещали. Только самый маленький из них, который ел, сидя на коленях у отца, не издал ни звука, а только враждебно посмотрел на пришельцев.

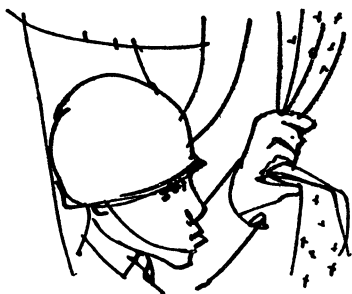
— Приказано обыскать квартиру, — сказал сержант, вытягиваясь по стойке «смирно», отчего на груди у него подпрыгнули разноцветные шнуры.

— Мадонна! Это у нас-то, у несчастных? У нас, которые честно прожили всю жизнь?! — воскликнула пожилая женщина, прижимая руки к груди.

Глава семьи, мужчина в майке, с широким открытым лицом, заросшим жесткой щетиной, продолжал кормить с ложки своего малыша. Сначала он косо, пожалуй даже иронически, взглянул на полицейских, потом пожал плечами и снова занялся ребенком.

В комнату набилось столько полицейских, что им негде было повернуться. Сержант отдавал бессмысленные приказания и, вместо того чтобы руководить своими людьми, только мешал им. Каждую вещь, каждый плинтус Баравино осматривал, содрогаясь от ужаса. Этот человек в майке — вот кто враг! Даже если до этой минуты он не был врагом, то сейчас навсегда стал им, поскольку смотрит, как роются в его шкафах, как срывают со стен изображения мадонны и портреты покойных родственников. А раз он их враг — значит и дом его полон скрытых угроз. Значит, в каждом ящике комода могут быть спрятаны разобранные, но вполне исправные автоматы: если открыты дверцы буфета, то в грудь упрутся отточенные штыки винтовок; на вешалках, под одеждой, вероятно, висят отливающие золотом патронов пулеметные ленты, а в каждой кастрюле таятся ручная граната.

Баравино неловко орудовал своими длинными худыми руками. Вот в одном из ящиков что-то звякнуло. Кинжалы? Нет, обеденные приборы. Вот с грохотом упал на пол школьный ранец. Что там, гранаты? Книги. Комната, отведенная под спальню, была так заставлена, что там негде было ступить. Две кровати, три раскладушки и еще два матраца, брошенные прямо на пол. В дальнем углу на кровати сидел мальчик, у которого болели зубы. Увидев полицейского, мальчик заплакал. Баравино хотел было пробраться к малышу, чтобы успокоить его. А вдруг этот мальчишка — часовой, приставленный к замаскированному арсеналу? Вдруг под всеми этими кроватями — снятые с лафетов мортиры?



Слоняясь из угла в угол, Баравино уже нигде не рылся и ничего не искал. Он дернул какую-то дверь, но она не поддалась. Уж не пушка ли там? Он сразу же представил ее себе, стоящую в комнате, вроде той, что была в доме, где он провел детство, представил себе букетик искусственных роз, торчащий из дула орудия, кружевные салфеточки, повешенные на его щит, невинные глиняные статуэтки, поставленные на коробку с прицельным устройством. Дверь неожиданно поддалась. За ней оказалась не гостиная, а кладовка, заставленная ободранными стульями и ящиками. Динамит? Ага, вот! На полу Баравино разглядел следы колес. Что-то вывезли из комнаты через узкий коридор. Баравино пошел по следам. Оказалось, это был дедушка, торопливо кативший прочь в кресле на колесах. Почему с такой поспешностью удирает этот старичок? Может быть, под этим пледом, что закрывает его колени, спрятан топор? Подойдешь к нему, а он тебе одним ударом раскроит череп! Но нет, старичок спешил в уборную. А что там прячут? Баравино бегом бросился по галерее. Но тут дверь нужника распахнулась, и оттуда, прижимая к груди кошку, вышла девочка с красным бантом на голове.

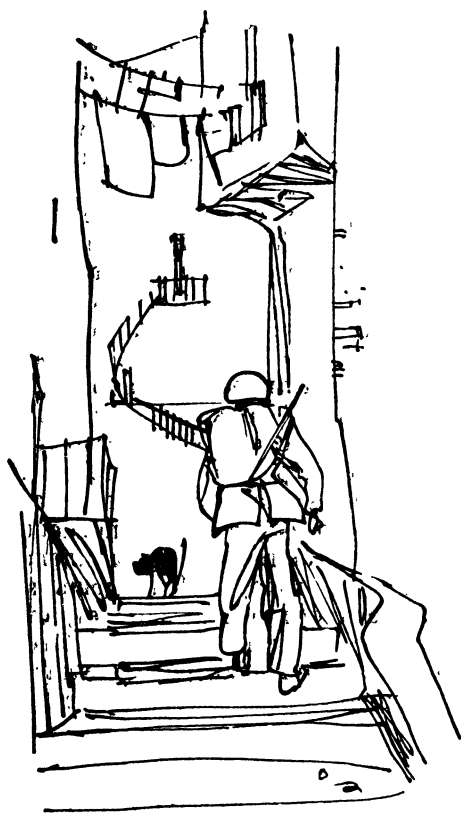
Баравино вспомнил, что должен завязывать дружбу с детьми, чтобы выпытывать у них разные сведения.

— Киска, хорошая киска, — сказал он, протягивая руку, чтобы погладить кота, но тот прыгнул в сторону, едва не задев полицейского.

Это был тощий серый котик с короткой шерстью, словно целиком состоявший из сухожилий. Он скалил зубы и двигался скачками, как собака.

— Хорошая киска... — продолжал Баравино, снова пытаясь его погладить, как будто единственная его задача состояла в том, чтобы подружиться с этим полудиким животным.

Но кот и на этот раз увернулся и бросился наутек, то и дело оглядываясь и сверкая злыми глазами.



Баравино прыжками помчался по галерее вдогонку за котом, приговаривая:

— Киса, хорошая киса...

Вслед за котом он вбежал в какую-то комнату, где, склонившись над швейными машинками, работали две девушки. На полу вокруг валялись целые кучи лоскутьев.

— Что тут, оружие? — спросил Баравино и принялся разбрасывать ногами обрезки материи, пока розовые и сиреневые лоскутки совсем не облепили его. Девушки засмеялись.

Завернув за угол, Баравино помчался по крутой лестнице. Иногда кот присаживался, будто поджидал полицейского, но стоило тому подойти немного поближе, как он подпрыгивал всеми четырьмя лапами и бросался наутек. Скоро оба выскочили на новую галерею. Путь дальше был забаррикадирован велосипедом, стоявшим вверх колесами. Низкорослый человек в комбинезоне, погружая снятую шину в лоханку с водой, искал прокол. Кот уже был по другую сторону баррикады.

— Позвольте, — сказал Баравино.

— Готово, нашел, — отозвался человек в комбинезоне и предложил полицейскому посмотреть, как из шины на поверхность воды выпрыгивают пузырьки воздуха.

— Можно пройти? — повторил Баравино.

А что, если все это подстроено, чтобы задержать его или даже сбросить через перила вниз?

Его пропустили. В ближайшей комнате не было ничего, кроме раскладушки, на которой, заложив руки за курчавую голову, лежал и курил обнаженный до пояса юноша.

Подозрительная поза.

— Извините, вы не заметили здесь кошку?

Прекрасный предлог, чтобы пошарить под кроватью! Баравино сунул туда руку, кто-то клюнул его, и вслед за этим из-под кровати выбежала курица, которую потихоньку держали в комнате, несмотря на постановления властей. Полуголый юноша даже бровью не повел и продолжал курить, лежа на кровати.

Перейдя через лестничную площадку, полицейский оказался в мастерской очкастого шляпника.

— Обыск... приказ... — сказал Баравино, протягивая руку к высокой пирамиде всевозможных шляп.

В ту же минуту пирамида рухнула, и по полу во все сто-

роны покатились лоббиа*, соломенные шляпы, цилиндры. Из-под какой-то занавески сейчас же выскочил кот, играя, несколько раз ударил по ним лапами и стремглав вылетел за дверь. Теперь уже Баравино и сам не мог понять, сердит-ся он на этого кота или хочет с ним подружиться.

Он пошел дальше. Какой-то старичок в фуражке почтальона и закатанных до колен брюках сидел посреди кухни и мыл в лоханке ноги. Увидев полицейского, он, ухмыляясь, кивнул ему на соседнюю комнату. Баравино сунул туда голову.

— Караул! — взвизгнула какая-то толстая и почти совершенно голая синьора.

— Прошу прощения, — пробормотал смутившийся Баравино.

Упершись руками в колена, почтальон усмехался.

Баравино прошел через кухню и вышел на широкую площадку галереи.

Галерея была вся завешана бельем. Баравино блуждал в лабиринте простынь по белым переулкам и тупикам. Кот время от времени выползал из-под одной простыни и сейчас же исчезал под другой. Неожиданно Баравино овладел страх: что, если он совсем заблудился в этом белье? Вдруг он утрачен от своих и не сможет отсюда выбраться? Вдруг его сослуживцы уже покинули дом, а он остался в плену у этих справедливо озлобленных против него людей, этих наволочек и пододеяльников? Наконец он отыскал проход и пробрался к перилам. Под ним темнел колодец двора, на железных галереях, опоясывавших его, кое-где уже зажглись огоньки. И то ли с облегчением, то ли со страхом — Баравино и сам не мог понять толком — он увидел, как вдоль балконных перил, по лестнице сновали полицейские, услышал отрывистые команды, испуганные протестующие возгласы.

Кот примостился на перилах рядом с ним и, шевеля хвостом, равнодушно смотрел вниз. Но стоило полицейскому пошевелиться, как он спрыгнул вниз, взлетел по узенькой лесенке и скрылся в слуховом окне. Полицейский полез сле-

* Лоббиа — от имени депутата Кристиана Лоббиа, который в 1867 году, симулируя нападение на свою особу, продавил посредине верх своей шляпы — мягкая фетровая шляпа со вдавленным посредине верхом, шляпа «пирожком».

дом за ним. Теперь он уже не боялся. На чердаке было пусто. Снаружи над черными домами начинала светиться луна. Баравино снял шлем и сразу превратился в обыкновенного худенького белобрысого парня.

— Ни шагу дальше, — проговорил чей-то голос, — ты у меня на мушке.

На лесенке, ведущей к большому окну, скорчившись, сидела накрашенная девица с длинными, спускавшимися на плечи волосами, в шелковых чулках и без туфель. Пользуясь последними отблесками догорающего дня, она простуженным голосом читала по складам большой журнал с картинками и немногими напечатанными крупными буквами словами.

— Пистолет? — воскликнул Баравино, хватая девушку за руку, как делают, когда хотят заставить кого-нибудь разжать кулак.

Но едва она шевельнулась, из-под раздвинувшегося на груди платья прямо на полицейского прыгнул все тот же ошетилившийся серый кот. Однако теперь-то Баравино знал, что это просто игра.

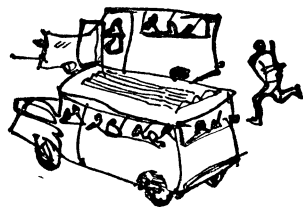
Кот убежал на крышу, а Баравино, перегнувшись через перила, наблюдал, как кот легко и свободно носился по черепичному скату.

— «И Мери увидела у своей постели, — продолжала читать девушка, — баронета во фраке и с револьвером в руках».

Вокруг в домах, заселенных рабочими, высоких и одиноких, как башни, зажигались огни. Полицейский Баравино видел под собой огромный город — за фабричными стенами высились прямоугольные стальные строения, от черных жерл заводских труб тянулись по небу длинные хвосты дыма.

— «Хотите мои драгоценности, сэр Энрико? — упрямо бубнил скрипучий голос. — Нет, я хочу тебя, Мери».

Внезапно налетел ветерок. Баравино взглянул вниз. Перед ним простирались бескрайние дебри железа и цемента, и из тысяч норок угрожающе топорщились взъерошенные иглы дикобраза. Теперь он был совсем один на враждебной ему земле.



— «У меня есть богатство, многочисленная прислуга и драгоценности. Я живу в великолепном дворце, чего же мне еще желать от жизни?» — продолжала девушка с длинными черными волосами, ниспадавшими на страницу журнала, разрисованную извивающимися женщинами и мужчинами с ослепительными улыбками.

Баравино услышал залиvistые трели свистков и рокот моторов. Полицейские закончили обыск и уезжали. А ему хотелось уйти куда-нибудь, где над головой небо и вереницы облаков, вырыть там в земле глубокую яму и похоронить в ней свой пистолет.

ГРИБЫ В ГОРОДЕ

Ветер, издавleка прилетая в город, приносит иногда с собой самые необычные дары, но заметить их могут лишь немногие чувствительные души, что, подобно страдающим сенной лихорадкой, чихают от пыльцы цветов, распускающихся где-то в других краях.

Однажды, проносясь над узенькой полоской газона, ветер обронил несколько спор, и через некоторое время у самого тротуара выросли грибы. Этого не заметил никто, кроме грузчика Марковальдо, который каждое утро садился здесь на трамвай.

У этого Марковальдо были такие глаза, которые совсем не годились для горожанина. Афиши, светофоры, витрины, светящиеся вывески, объявления — словом, все ненастоящее, рассчитанное на то, чтобы привлечь внимание, никогда не задерживало его взгляда, который словно скользил по однообразным пескам пустыни. Зато от него не мог укрыться ни лист, желтеющий на ветке, ни перо, зацепившееся за водосточный желоб; слепня на спине у ломовой лошади, червоточину в крышке стола, раздавленную на тротуаре кожуру фиги — все замечал он, обо всем размышлял, каждый раз заново открывая, что меняется время года, что ему чего-то хочется и что живет он в нищете.

Итак, в одно прекрасное утро Марковальдо дожидался трамвая, в котором ездил на склад, где работал грузчиком. Вдруг у самой остановки, на бесплодной полоске пересохшей земли, из которой росли тощие деревья, он заметил что-то необычное. Там и сям возле самых стволов земля взду-

лась бугорками: кое-где эти бугорки треснули, и на поверхность высывались какие-то округлые предметы.

Марковальдо наклонился, делая вид, что завязывает шнурки ботинок. Теперь он мог хорошенько рассмотреть, что это такое. То были грибы, настоящие грибы, которые лезли из земли буквально в самом центре города! В эту минуту Марковальдо показалось, что окружавший его серенький, нищий мир вдруг щедро наполнился скрытыми от глаз сокровищами и что от жизни можно, пожалуй, ожидать кое-чего, кроме жалованья, которое полагалось ему по договору, и случайного приработка, кроме семейного пособия и надбавки на дороговизну.



На работе он был рассеяннее, чем всегда, и думал о том, что, пока он здесь таскает мешки и ящики, там, во тьме, под землей, наливая земными соками свои ноздреватые тела, пробиваясь сквозь сохшуюся твердой корой почву, молча и неторопливо растут грибы, грибы, ведомые лишь ему одному. «Одну бы дождливую ночь, и их можно собирать», — думал он и с нетерпением ждал минуты, когда сможет рассказать о своем открытии жене и шестерым ребятам.

— Что я вам скажу! — торжественно объявил он за скудным обедом. — Еще на этой неделе мы будем есть грибы! Такое будет жаркое — пальчики оближете! Помяните мое слово!

И с увлечением принялся расписывать младшим детям, которые не знали, что такое грибы, все их многочисленные виды, стараясь как можно лучше объяснить, какие они красивые, какой у них тонкий вкус и как их надо готовить. Под конец ему удалось втянуть в разговор даже жену, которая до этого казалась совершенно безучастной и как будто не верила ни одному его слову.

— А где эти грибы? — спросили ребята. — Скажи, где они растут?

При этих словах подозрение сразу погасило весь его пыл. «Вот укажи я им место, — думал он, — и они, конечно, сразу же помчатся туда, да еще целую ватагу ребятишек с собой

захватят, пойдет по кварталу слух, и попадут мои грибы в чужие кастрюли». И вот то же открытие, которое разбудило в его душе любовь ко всему сущему, теперь наполнило ее завистливым беспокойством собственника, опутало ревнивым страхом и подозрительностью.

— Где это место, это уж мое дело, — ответил он. — А вы у меня смотрите, попробуйте только проболтаться кому-нибудь!

На следующее утро, подходя к остановке, Марковальдо был полон тревоги. Он склонился над газоном и с облегчением вздохнул — грибы были на месте. Они немного подросли, но так мало, что почти не поднимались над землей.

Он так и стоял наклонившись, когда почувствовал, что кто-то остановился у него за спиной. Он быстро выпрямился и, стараясь придать лицу самое безразличное выражение, оглянулся. Рядом стоял дворник и, опираясь на свою метлу, пристально смотрел на грузчика.

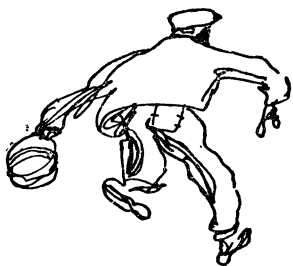
Дворника, которому были подведомственны грибы, звали Амадиджи. Он был молод, худ, очкаст, и Марковальдо, сам не зная за что, давно уже недолюбливал его. Может быть, ему действовали на нервы его очки, которые словно ощупывали асфальт, чтобы стереть с него самые крошечные следы жизни.

Была суббота, и свои свободные полдня Марковальдо провел возле остановки, с безучастным видом слоняясь вдоль газона, издали поглядывая на дворника и на грибы и мысленно подсчитывая, сколько нужно времени, чтобы они выросли.

Ночью пошел дождь. Как крестьянин, который после долгих месяцев засухи просыпается и радостно вскакивает от шума первых дождевых капель, так и Марковальдо, единственный во всем городе, поднялся, сел в постели и разбудил всю семью.

— Дождь! Дождь! — повторял он, вдыхая запах мокрой пыли и свежей плесени, который врывается в окно.

На заре — это было воскресенье, — забрав с собой ребят, с корзинкой, одолженной у соседки,



он бегом отправился на остановку. Грибы были на месте. Они торчали у них под ногами, высовывая свои шляпки из земли, размякшей от дождя.

— Ура! — крикнули они хором и бросились собирать их.

— Папа, а посмотри, сколько вон тот синьор набрал! — крикнул вдруг Микелино.

Отец поднял голову и увидел стоявшего неподалеку Амадиджи. В руках у дворника тоже была корзина, полная грибов.

— А, так вы тоже собираете? — воскликнул Амадиджи. — Значит, их можно есть? Я тоже набрал немного, только вот сомневался, годятся ли они... А там дальше по улице еще крупнее есть. Ну ладно, раз я теперь убедился, пойду скажу своим родичам, а то они все спорят, собирать их или оставить... — И он убежал.

Марковальдо стоял как громом пораженный. Грибы еще крупнее, чем здесь! И он их не заметил! Такая богатая добыча, и вдруг ее увели из-под самого носа! Сначала он словно окаменел от гнева и ярости, потом, как бывает иногда, крушение личных стремлений вдруг превратилось в благородный порыв.

— Эй, люди! — крикнул он пассажирам, толпившимся на остановке. — Хотите поесть жареных грибов нынче вечером? Здесь на улице грибы выросли. Идемте со мной! Там на всех хватит! — и бросился догонять Амадиджи, сопровождаемый вереницей людей с зонтиками в руках — было сыро, и погода еще не устоялась.

Грибов действительно хватило на всех. Те, у кого не оказалось с собой корзин, складывали их в открытые зонтики.

— Эх, устроить бы из них общий обед! — предложил кто-то.

Но вместо этого каждый взял свои грибы и отнес домой.

Однако им пришлось-таки встретиться, и очень скоро. В тот же вечер все они оказались в одной больничной палате, куда их одного за другим привозили после промывания желудка. У всех оказалось отравление, к счастью, не тяжелое, потому что на долю каждого пришлось не так уж много грибов.

Марковальдо и Амадиджи лежали на соседних койках и с ненавистью поглядывали друг на друга.

ГОРОДСКОЙ ГОЛУБЬ

Пути, по которым птицы каждую осень и весну совершают перелеты на юг и на север, редко проходят над городами. Высоко бороздя небо над полосатыми горами полей, вдоль лесных опушек, порой как будто следуя за изгибами реки или впадинами долин, иногда пролетая по невидимым дорогам ветра, двигаются птичьи стаи. Но все они, едва заметив впереди вереницы городских крыш, спешат облететь их далеко стороной.

И все-таки однажды в узкой полоске неба над городской улицей появилась стайка осенних бекасов. Никто этого не заметил, кроме Марковальдо, который вечно ходил, задрав нос к небу. Марковальдо ехал на трехколесном велосипеде с фургончиком сзади. Увидев бекасов, он изо всех сил закрутил педалями, словно желая догнать птиц. Можно было подумать, будто им овладела охотничья лихорадка, хотя он в жизни не держал в руках никакого оружия, кроме солдатской винтовки.

Не спуская глаз с птиц, летящих в вышине, он мчался вперед, пока не очутился на самой середине перекрестка перед красным светофором, окруженный со всех сторон машинами, чудом не попав под колеса. В то время как полицейский с багровой физиономией записывал в книжечку его имя и адрес, Марковальдо искал глазами трепещущие в вышине крылья, но они уже скрылись вдали.

На работе он получил нагоняй за штраф.

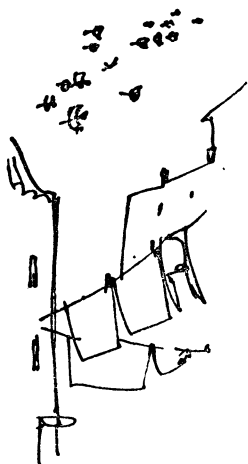
— Мало ему, понимаешь ли, светофоров! — кричал заведующий. — Ну куда ты смотрел? Куда, балда ты пустоголовая?

— На стаю бекасов смотрел... — пробормотал Марковальдо.

— Что?

У заведующего, который был завзятым охотником, заблестели глаза. Марковальдо рассказал все по порядку.

— В субботу беру собаку, ружье — и на холмы, — бодро объявил заведующий, сразу позабыв о гневе, которым пылал минуту назад. — Начался лёт. Ясно, как день, что эту стаю



вспугнули охотники на холмах, поэтому она и свернула к городу...

Весь день в голове у Марковальдо крутились и крутились, словно жернова, одни и те же мысли. «Если в субботу на холмах будет полно охотников — а это очень возможно, — то бог его знает, сколько бекасов может залететь в город... И если я не буду зевать, то, глядишь, в воскресенье отведаю жареного бекаса...»

В доме, где жил Марковальдо, была плоская крыша, а на ней протянута проволока, чтобы сушить белье. Вместе с двумя из своих сыновей Марковальдо влез на крышу, захватив с собой бидон птичьего клея, кисть и мешок кукурузы. В то время как ребята рассыпали повсюду кукурузные зерна, он, вооружившись кистью, вымазал птичьим клеем парапеты, проволоку и верхушки дымовых труб. Все это он обмазал так густо, что Микелино, младший из мальчиков, разыгравшись, чуть не прилип к парапету.

Ночью Марковальдо видел во сне крышу, а на ней — прилипших, бьющих крыльями бекасов. Его жене, более прожорливой и ленивой, снились разложенные на трубах жареные утки. Романтичной дочери грезились колибри и шляпки, украшенные их перьями, а маленький Микелино поймал во сне аиста.

На следующий день каждый час то тот, то другой из ребятшек отправлялся дозором на крышу, осторожно выглядывая из слухового окна, чтобы не спугнуть добычу, если она как раз в этот миг опускается на крышу, и мчался вниз с донесением. Донесения отнюдь не были утешительными. Наконец около полудня прибежал Паолино, крича во все горло:



— Есть, папа! Иди скорей!

Прихватив мешок, Марковальдо полез на крышу. В клее увяз бедняга голубь, один из тех полуручных сизарей, которые спуют в городской толпе и прекрасно себя чувствуют на грохочущих площадях. Над голубем, пытавшимся вытащить свои крылья, увязшие в липкой кашеце, на которую он неосторожно опустился, вилась стайка его товарищей, с состраданием взиравших на него сверху.

Семья Марковальдо обсасывала косточки этого тощего и жесткого голубя, который все-таки был изжарен, когда в дверь неожиданно постучали.

Это была горничная хозяйки дома.

— Синьора вас зовет! Идите скорей! — сказала она.

Марковальдо, который уже полгода не платил за квартиру и каждый день ждал выселения, с тяжелым сердцем отправился к хозяйке в бельэтаж. Едва он переступил порог гостиной, как увидел, что у хозяйки уже есть один посетитель: полицейский с багровой физиономией.

— Заходите, Марковальдо, — сказала синьора. — Вот меня предупреждают, что у нас на крыше кто-то ловит общественных голубей. Вы ничего об этом не знаете?

Марковальдо похолодел.

— Синьора! Синьора! — раздался вдруг пронзительный женский голос.

— Что там такое, Тереза?

В комнату вбежала прачка.

— Повесила я на крыше белье, стала снимать, а оно у меня все прилипло. Ну, я его посильнее потянула, чтобы отлепить, а оно рвется... Все белье испорчено! Что же теперь будет?

Марковальдо гладил себе рукой живот, словно никак не мог переварить съеденного голубя.

СУДОК

Главная прелесть этого круглого плоского сосуда, называемого «судок», заключается в том, что у него заворачивается крышка. Еще только начиная отвертывать ее, ты уже

исходишь слюной, особенно если не знаешь, что заключено внутри, — скажем, потому, что завтрак по утрам укладывает тебе жена. Отвернув крышку, ты видишь втиснутую внутрь еду — сардельку с чечевицей, или крутые яйца со свеклой, или же поленту* с куском сушеной трески. Все это так здорово уложено в круглых стенках судка, ну, словно моря и континенты на круглой карте полушария, и даже если еда с гулькин нос, в судке она производит впечатление чего-то существенного и плотного. Но вот крышка отвернута и превратилась в тарелку. Теперь у тебя уже две посуды, и ты можешь начинать раскладывать содержимое судка.

Грузчик Марковальдо, с тех пор как обзавелся судком и обедает на работе, вместо того чтобы бегать домой, тоже отвинчивает крышку и, вдыхая запах кушанья, лезет за вилкой, которая у него всегда в заднем кармане брюк, завернутая в бумажный пакет. Первая обязанность, которую выполняет вилка, заключается в том, чтобы немного расшевелить застывшее в неподвижности блюдо, придать пище, стиснутой в течение стольких часов в тесной посудине, пышность и привлекательность кушанья, только что поданного на стол. Но тут становится ясно, что еда маловато. «Надо есть помедленнее», — решает Марковальдо, но жадная и проворная вилка уже отправила ему в рот несколько порядочных кусков.

Первый глоток вызывает чувство грусти: оказывается, все остыло. Но вскоре грусть сменяется радостью, радостью ощущать привычный вкус домашней кухни в такой необычной обстановке. С этой минуты Марковальдо начинает не спеша смаковать каждый кусок. Он сидит на уличной скамейке неподалеку от склада, где работает. Живет он далеко и поэтому, рассудив, что каждый день ездить домой обедать значит попусту терять время и зарабатывать лишние проколы на трамвайных билетах, он решил купить судок и теперь носит еду из дому, обедает на вольном воздухе, глядя на проходящих мимо людей, а поев, утоляет жажду из ближайшей колонки. Осенью, в ясные дни, он выбирает место где-нибудь на солнышке; порывевшие яркие листья, опадающие с деревьев, заменяют ему салфетки; шкурка от колбасы жертвуется бродячим собакам, которые немедленно признают его

* Полента — каша из кукурузной или каштановой муки.

своим другом, а воробы, улучив минуту, когда поблизости не окажется прохожих, подберут хлебные крошки.

Он ест и думает: «Почему здесь мне так нравится жена на стряпня, а вот дома, за руганью, в ребячьем реве, когда, о чем ни заговоришь, обязательно свернешь на долги, я в ней никакого вкуса не чувствую?» А потом ему в голову приходит мысль: «Ага, вот теперь я вспоминаю: ведь это остатки вчерашнего ужина». И его опять охватывает недовольство, может быть, оттого, что именно ему всегда приходится доедать остатки вчерашнего, холодные и уже подкисшие, а может быть, и потому, что от алюминиевого судка всякая еда немного отдает металлом. Но в мозгу все время крутится мысль: «Да, выходит, что своими выдумками жена ухитряется испортить мне аппетит даже тут, за тридевять земель от нее...»

Вдруг он замечает, что в судке уже почти ничего не осталось, и еда снова начинает казаться ему изысканным деликатесом. Он с восторгом и умилением доедает со дна последние остатки, те самые, которые больше всего отдадут металлом, потом созерцает пустой, вымазанный застывшим жиром судок, и им снова овладевает дурное настроение.

Тогда он заворачивает в газету судок и вилку, запикивает все это в карман и поднимается со своего места. На работу еще рано, в большом кармане блузы позвякивают друг о друга вилка и пустой судок. Марковальдо бредет в ближайший погребок и просит налить себе стакан попопнее, а иногда заходит в кафе и не спеша выпивает чашечку кофе. Потом он разглядывает выставленные в стеклянной витрине яства, коробки дорогих конфет и уверяет себя, что на самом деле ему ничего этого не хочется, что он вообще уже ничего не хочет; после этого некоторое время смотрит на механический бильярд с единственной целью убедить себя в том, что просто убивает время и даже не думает обмануть голод. Он выходит на улицу. В трамваях опять давка: обеденный перерыв кончается, люди спешат на работу. И он тоже идет на склад.

Однажды случилось так, что жена Марковальдо по каким-то своим соображениям купила огромное количество сосисок, и три дня подряд Марковальдо ел за ужином сосиски с репой. Должно быть, эти сосиски были из собачины: от одного их запаха бесследно пропадал аппетит. Что же ка-

сается репы, мертвенно-бледной, склизкой, то из всех овощей она была единственной, которую Марковальдо не выносил с самого детства.

На четвертый день, в обед, открыв судок, он снова обнаружил в нем сосиску, облепленную салом холодную сосиску. Забывчивый Марковальдо каждый раз отвинчивал крышку своего судка с любопытством и вожделением, даже не вспоминая, чем ужинал накануне, и каждый раз неизменно испытывал разочарование. Итак, на четвертый день, снова увидев сосиску, он ткнул в нее вилкой, понюхал, поднялся со скамейки и с открытым судком в руке рассеянно побрел по улице. Прохожие с удивлением оглядывались на мужчину, который разгуливал по улице с вилкой в одной руке и открытым судком в другой и, по-видимому, никак не мог решиться отправить в рот первый кусок.

— Эй, дяденька! — крикнули из окна.

Марковальдо поднял глаза на богатый особняк и в окне бельэтажа увидел мальчика, который, облокотившись на подоконник, смотрел на улицу. Перед мальчиком стояла тарелка с едой.

— Эй, дяденька, — повторил мальчик. — Ты что ешь?

— Сосиску с репой.

— Вот счастливец! — воскликнул мальчик.

— Хм-м... — неопределенно промычал Марковальдо.

— А мне — подумай! — приходится есть жареные мозги.

Марковальдо перевел взгляд на тарелку, стоявшую на подоконнике. В тарелке пухлыми завитушками лежали нежные, как облако, мозги. У Марковальдо раздулись ноздри.

— А тебе что, не нравятся жареные мозги? — спросил он мальчика.

— Нет. Меня тут и заперли в наказание, потому что я не хочу их. Но я их все равно за окошко выброшу.

— А сосиски тебе нравятся?

— Ой, еще как! Они как змейки... А у нас в доме их никогда не едят!..

— Ну что ж, раз так, ты мне отдай свою тарелку, а я тебе свою.

— Ура! — вне себя от восторга закричал мальчик.

Он протянул Марковальдо свою фаянсовую тарелку с серебряной, разрисованной узорами вилкой, а грузчик передал ему свой судок и свою оловянную вилку. После этого оба

принялись за еду — мальчик на подоконнике, а Марковальдо — на скамейке, стоявшей перед окном. Оба облизывались от удовольствия, и каждый думал про себя, что в жизни еще не пробовал ничего вкуснее.

Неожиданно за спиной у мальчика появилась гувернантка.

— Синьорино! Боже милостивый! Что это вы кушаете? — воскликнула она, всплеснув руками.

— Сосиску, — ответил мальчик.

— Кто же это вам ее дал?



— Вон тот синьор.

И мальчик указал на Марковальдо. Грузчик, за минуту до этого медленно смаковавший каждый кусок, перестал жевать.

— Боже, что я слышу! Выбросить это! Сейчас же выбросить это вон!

— Но ведь она вкусная!..

— А где ваша тарелка? Где вилка?

— У синьора, — ответил мальчик и снова указал на Марковальдо, который застыл, не донеся до рта вилку с надкусанным кусочком жареных мозгов.

Тут гувернантка принялась кричать:

— Воры! Воры! Серебро!

Марковальдо встал, в последний раз взглянул на оставшуюся нетронутой добрую половину вкусного жаркого, подошел к окну, поставил на подоконник тарелку, рядом положил вилку и, бросив на гувернантку презрительный взгляд, пошел прочь. За ним со звоном покатились по асфальту судок, послышался громкий плач мальчика и резкий стук рамы, которую захлопнули, не заботясь о целостности стекол. Он наклонился и подобрал судок. От удара он немного помялся, крышка больше не завинчивалась. Сунув то и другое в карман, он пошел на работу.

ЛЕЧЕНИЕ ОСАМИ

Зима прошла и оставила в наследство ревматические боли. Мягкое полуденное солнце весело сияло, и Марковальдо часами просиживал на скамейке, наблюдая, как распускаются листья, и дожидаясь очередного набора рабочих. Рядом с ним обычно усаживался старичок, закутанный в ветхое, заплатанное пальто, — некий синьор Рициери, одинокий пенсионер и тоже большой любитель посидеть на солнышке. Время от времени этот синьор Рициери подскакивал, вскрикивал: «Ой!» — и еще плотнее запахивал на себе пальто. Его мучили ревматизм, ломота в суставах и в пояснице, которыми на весь год награждала его холодная, сырая зима. Чтобы утешить старичка, Марковальдо принимался подробно рассказывать, как протекает ревматизм у него самого, у его жены и старшей дочери Изолины, которая, увы, растет не слишком здоровой.

Каждый день, приходя на свое обычное место, Марковальдо приносил с собой завернутый в газету обед. В полдень он разворачивал пакет и передавал смятую газетную страницу синьору Рициери, который со словами: «Ну, ну, посмотрим, что там пишут», торопливо расправлял ее и с неизменным интересом принимался за чтение, даже если газета была двухлетней давности.

И вот однажды он наткнулся на заметку о лечении ревматизма пчелиным ядом.

— Должно быть, медом, — поправил его Марковальдо, всегда склонный к оптимизму.

— В том-то и дело, что нет! — возразил Рициери. — Здесь говорится — ядом, тем самым, какой пчелы выпускают, когда жалят!

И в подтверждение прочитал Марковальдо некоторые места из заметки. Потом они долго говорили о пчелах, об их повадках и о том, сколько может стоить такое лечение.

После этого разговора, шагая по улицам, Марковальдо прислушивался ко всякому жужжанию, провожал глазами каждое насекомое, которое появлялось поблизости. И тут на глаза ему попала оса, большая, с толстым брюшком, разрисованным черными и желтыми полосками. Следя за ее прихотливым полетом, Марковальдо увидел, что она юркнула в дупло старого дерева, откуда тотчас же вылетело еще несколько ос. Судя по не умолкавшему ни на минуту жужжанию и по тому, что десятки насекомых сновали вокруг дупла, там было большое осиное гнездо. Не теряя ни минуты, Марковальдо принялся охотиться за осами. В кармане у него была стеклянная баночка, на дне которой оставалось еще варенье. Сняв с баночки бумажную крышечку, Марковальдо поставил ее под деревом. Почти тотчас же появилась оса, привлеченная запахом сладкого. С жужжанием покружившись над банкой, она влетела в нее, и в ту же минуту Марковальдо прикрыл баночку крышкой.

На следующий день, едва завидев синьора Рициери, Марковальдо воскликнул:

— Идите сюда, идите, сейчас я вам сделаю первый укол!

И показал старичку баночку, в которой билось рассвирепевшее насекомое.

Рициери начал было отнекиваться, но Марковальдо ни под каким видом не хотел откладывать опыт и настаивал на

том, чтобы он был проделан прямо здесь, на скамейке, тем более что пациенту даже не надо было раздеваться. Полный страха и надежды, синьор Рицieri задрал полы своего пальто, поднял пиджак, рубашку и, раздвинув дырявое белье, обнажил то место на пояснице, где у него больше всего болело. Марковальдо приложил к его телу горлышко банки и выдернул бумажку, которой она была прикрыта. Сначала ровным счетом ничего не произошло. Оса мирно сидела на стеклянной стенке и не шевелилась. Заснула она, что ли? Желая разбудить ее, Марковальдо шелкнул пальцем по дну баночки. Оса, как видно, только этого и ждала. Сорвавшись с места, она ринулась вперед и впиалась своим жалом в поясницу синьора Рицieri. Старичок заорал, вскочил со скамейки и зашагал перед ней, как солдат на параде, потирая ужаленное место и бормоча какие-то невнятные ругательства, что-то вроде: «...отстерв... отстерв...»

Марковальдо сиял довольной улыбкой — ни разу еще не приходилось ему видеть старичка таким стройным и бравым. Но тут как раз подошел полицейский и уставился на них во



все глаза. Марковальдо подхватил под руку синьора Рициери и, насвистывая как ни в чем не бывало, отошел от скамейки.

Домой он вернулся с баночкой, в которой билась новая оса. Правда, убедить жену сделать укол было делом не легким. Но в конце концов это ему все-таки удалось. После процедуры жена, во всяком случае, некоторое время жаловалась лишь на боль от укуса.

И вот Марковальдо принялся ловить ос одну за другой. Он сделал укол дочери, еще один — жене, так как пользу могло принести только регулярное лечение, и в заключение решил испытать свой метод на себе. Тут ребята — кому не известно, какие они обезьяны? — стали наперебой кричать:

— И мне! И мне!

Но Марковальдо предпочел снабдить их баночками и отправить на ловлю новых ос, чтобы не истощились запасы.

Синьор Рициери пришел к нему на дом, и не один, а в сопровождении другого старичка, кавальере Ульрико, который волочил ногу и желал сию же минуту начать лечение.

Молва о лекарском искусстве Марковальдо распространялась все дальше. Теперь уже он пользовал пациентов одного за другим и всегда имел наготове с полдюжины ос, содержащихся в отдельных баночках, аккуратно расставленных на столике. Он прикладывал баночки к поясницам своих пациентов с таким видом, словно это были не баночки, а настоящие шприцы, потом вытаскивал прикрывавшие их бумажки, и после того, как оса запускала в кожу больного свое жало, небрежным жестом заправского медика протирали укушенное место ваткой, смоченной в спирту. С помощью импровизированной ширмы он перегородил свою квартиру, состоявшую из одной комнаты, в которой спала вся семья, на две части: приемную и врачебный кабинет. В приемной распоряжалась жена Марковальдо. Она вводила пациентов и собирала с них гонорар. Опустевшие баночки передавались ребятам, которые немедленно бежали к осиному гнезду и пополняли запасы. Частенько их тоже жалила какая-нибудь оса, но теперь они почти никогда не плакали, помня, что осиные укусы полезны для здоровья.

В тот год ревматизм расплодился среди горожан, словно щупальца гигантского спрута; известность лекаря

Марковальдо росла не по дням, а по часам. В субботу после обеда он увидел у себя в мансарде целую толпу больных мужчин и женщин: одни стояли, прижимая руку к пояснице, другие хватались за бок, некоторые были в лохмотьях и очень походили на нищих, иные производили впечатление людей с достатком, но всех их привлекла новизна этого необычного лекарства.

— Быстро, — крикнул Марковальдо троим из своих ребят, — берите банки и отправляйтесь за осами! Наловите как можно больше.

Ребята убежали.

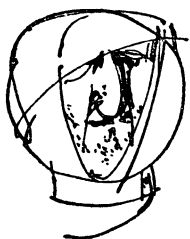
День стоял солнечный, по улице с жужжанием носилось множество ос. Ребята обычно ловили их поодиночке довольно далеко от дерева, в котором было осиное гнездо. Но сегодня, желая как можно скорее наловить побольше ос, Микелино начал охотиться за ними возле самого дупла.

— Вот как надо ловить, — говорил он братьям, стараясь накрыть баночкой осу, только что усевшуюся рядом с ним.

Но она каждый раз взвизгивала в воздух, отлетала немного и снова опускалась все ближе и ближе к гнезду. Под конец она уселась на самом краю дупла. Микелино уже готов был накрыть ее баночкой, как вдруг увидел двух здоровенных ос, которые летели прямо на него, словно намереваясь впиться ему в лицо. Он отмахнулся от них, но сейчас же почувствовал боль укусов. Вскрикнув, он выпустил из рук баночку. В следующую секунду, поняв, что натворил, он забыл о боли: баночка упала прямо в осиное гнездо. Жужжание мгновенно смолкло, из дупла не вылетело больше ни одной осы. У Микелино даже не было сил закричать. Он отступил на шаг, но тут из дупла, оглушительно жужжа, вырвалась густая черная туча. Это был рой взбесившихся от ярости ос.

Микелино заорал не своим голосом и бросился бежать так, как не бегал еще ни разу в жизни. В первую минуту его братьям даже показалось, что он превратился в паровоз, потому что темное облако, развевавшееся за ним, очень напоминало черные клубы дыма, вырывающиеся из паровозной трубы.

Куда обычно бежит ребенок, спасаясь от опасности? Конечно, домой! То же самое сделал и Микелино. Прохожие так и не успели толком разобрать, что это за привидение



с воем и жужжанием промчалось по улицам, — то ли облако, то ли человеческое существо.

А между тем Марковальдо успокаивал своих пациентов.

— Имейте терпение, — говорил он. — Осы сию минуту будут здесь...

Тут дверь распахнулась, и в присмную влетел целый осиный рой. Что касается Микелино, который вбежал в комнату и сразу же сунул голову в лоханку с водой, то его просто не заметили. В мгновение ока вся комната наполнилась осами. Тщетно пытаюсь разогнать их, пациенты Марковальдо принялись размахивать руками, ревматики вдруг обнаружили чудеса ловкости и проворства, скрюченные суставы разогнулись и заработали с яростной быстротой...

Первыми прибыли пожарные, за ними «Скорая помощь». Лежа на больничной кровати, весь искушенный и распухший до неузнаваемости, Марковальдо не осмеливался отвечать на упреки и ругательства, которые сыпались на него с соседних коек, занятых его недавними пациентами.

ЛЕС НА ШОССЕ

Холод имеет тысячу форм и знает тысячу способов передвигаться по свету. В море он мчится, как табун диких лошадей, на деревни обрушивается, словно туча саранчи, в городах он, как клинок кинжала, перерезает улицы и просовывается в щели нетопленных домов. В тот вечер в доме Марковальдо кончились последние щепки, и вся семья, закутавшись в пальто, смотрела, как сереют и гаснут в печи последние угольки. У каждого вместе с дыханием изо рта вырывались легкие облачка пара. Никто не произносил ни слова, за них говорили эти белые облачка. У жены они были длинные-длинные, как вздохи, у ребят облачка получались маленькие и круглые, как мыльные пузыри, а у Марковальдо они взлетали вверх короткими рывками, словно проблески гения, которые возникают и тотчас же гаснут.

Наконец Марковальдо решился.

— Пойду за дровами, — объявил он. — Где-нибудь да найду.

Он запихал четыре или пять газет между пиджаком и рубашкой, спрятал под пальто зубастую пилу и, провожаемый долгими, полными надежды взглядами своих домашних, вышел за дверь и двинулся по ночным улицам, на каждом шагу громко шелестя газетами и ежеминутно поправляя вылезавшую из-под воротника пилу.

Искать дрова в городе. Шутка сказать!

Марковальдо направил свои стопы прямехонько к жиденькому и узенькому скверику, стиснутому между двумя улицами. Там не было ни души. Марковальдо осматривал одно за другим голые деревца и думал о семье, о тех, кто, дрожа от холода, ждал его возвращения.

Маленький Микелино, стуча зубами, читал сказки, взятые в школьной библиотеке. Одна сказка была о том, как маленький мальчик, сын дровосека, взял топор и отправился в лес за дровами.

— Вот куда надо идти! — воскликнул Микелино. — В лес. Вот где дров-то!

Он родился и вырос в городе и никогда в жизни не видел леса, даже издали... Сговориться с обоими братьями было минутным делом. Один взял топор, другой — кочергу, третий — веревку, все трое попрощались с мамой и отправились на поиски леса.

Они шагали по освещенному фонарями городу и не видели ничего, кроме домов. Не было даже намека на какой-нибудь лес. Время от времени им попадались редкие прохожие, но ребята не осмеливались спросить у них, где тут лес. Они шли, шли и, наконец, добрались до такого места, где дома кончались, а улица переходила в шоссе.

По обе стороны шоссе ребята увидели лес — густые заросли диковинных деревьев, закрывавших от глаз равнину. Стволы у деревьев были тоненькие, как палочки, и росли у одних прямо, а у других совсем косо. Их кроны, плоские и длинные, имели очень странную форму, а когда проезжавший автомобиль освещал их своими фарами, ребята видели, что и цвет у них тоже какой-то странный. Их ветви в виде тюбика зубной пасты, человеческого лица, головки сыра, руки, бритвы, бутылки, коровы и даже автомобильной шины, были покрыты листвой из всех букв алфавита.



— Ура! — закричал Микелино. — Вот он, лес!

Его братья, которые как замороженные смотрели на луну, поднимавшуюся из-за этих фантастических черных призраков, в один голос воскликнули:

— Как красиво!..

Но Микелино тотчас же напомнил им о цели их путешествия. Дрова! Тогда они подрубили одно деревце в виде желтого цветка примулы, разломали его на куски и потащили домой.

Вернувшись с жалкой охапкой мокрых веток, Марковальдо увидел весело потрескивавшую печку.

— Где вы это взяли? — воскликнул он, указывая на остатки рекламного щита, который был из фанеры и сгорал очень быстро.

— В лесу! — ответили ребята.

— В каком еще лесу?

— А в том, что на шоссе. Там их полно!

Раз это так просто, а в доме снова не осталось ни полена, то имеет смысл последовать примеру ребят. Марковальдо снова взял пилу и направился в сторону шоссе.

Астольфо, агент дорожной полиции, был немного близорук, и очки ему были просто необходимы, в особенности по ночам, когда он объезжал свой участок на мотоцикле. Но он не смел даже заикнуться о них, опасаясь, что это неблагоприятно отразится на его карьере.

Сегодня вечером им объявили, что на шоссе ватага сорванцов-мальчишек все время ломает рекламные щиты. И вот Астольфо едет осматривать свой участок.

На всем пути Астольфо по обе стороны дороги тянутся заросли броских, кривляющихся фигур. Шуря близорукие глаза, он осматривает их одну за другой. Вот в свете мотоциклетной фары появился какой-то шалопай, взобравшийся на щит. Астольфо тормозит.

— Эй! Что ты там делаешь? — кричит он. — Слезай сию же минуту!

Но мальчишка не шевелится и продолжает показывать ему язык. Астольфо подходит ближе и видит, что это реклама сыра, а на ней — толстощекий, облизывающийся бутуз.

— Ну и ну!.. — вздыхает Астольфо и, снова устроившись в седле, мчится дальше.

Немного погодя в тени огромного щита появляется чье-то грустное испуганное лицо.

— Ни с места! Не вздумайте удрать!

Но никто не удирает. Эта горестная физиономия, пририсованная прямо к ноге, сплошь покрытой мозолями, рекламирует мозолин.

— Прошу прощения, — бормочет Астольфо и едет дальше.

На щите, рекламирующем примочки от мигрени, изображена гигантская голова человека, закрывшего руками глаза от нестерпимой боли. Астольфо подъезжает поближе, и его фара освещает Марковальдо, который взгромоздился на самую верхушку рекламного щита, чтобы отпилить от него кусок. Ослепленный ярким светом, Марковальдо съезживает-

ся, делается совсем маленьким и застывает, уцепившись за ухо огромной головы, из которой торчит пила, добравшаяся уже до половины лба.

Астольфо принимается внимательно рассматривать рекламу.

— Ага, — говорит он, — примочки Стаппа. Сильная реклама! Здорово придумали! А человечек с пилой там, наверху, это мигрень, от которой голова раскалывается пополам. Я сразу понял!

И он едет дальше, очень довольный.

Вокруг безмолвие и холод. Марковальдо облегченно вздыхает, выпрямляется на неудобном насесте и снова берется за работу. В залитое луной небо ввинчивается приглушенное криканье пилы.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

— Этим ребятам, — сказал врач из поликлиники, — нужно было бы немного подышать свежим воздухом где-нибудь повыше, побегать по лугам...

Он сидел на стуле между кроватями в полуподвальной комнате, где жила теперь семья Марковальдо, и прижимал стетоскоп к спинке маленькой Терезы между остренькими лопатками, торчавшими, словно крылышки неоперившегося птенца. Кроватей было две. В головах и в ногах каждой из них из-под одеяла виднелось детское лицо с пылающими щеками и блестящими глазами: все четверо были больны.

— По каким лугам? Как клумба на площади, да? — спросил Микелино.

— А повыше, значит, на небоскребе? — поинтересовался Филиппетто.

— А раз воздух свежий, значит его можно кушать? — спросил Даниеле.

Тощий длинный Марковальдо и его маленькая коренастая жена стояли, облокотившись, по обе стороны старенького хромоногого комода. Услышав слова доктора, они, не меняя позы, разом подняли и бессильно уронили свободную руку и пробормотали:

— Да куда же вы хотите, чтобы мы их... Восемь ртов, в долгу как в шелку, как же вы хотите, чтобы мы все это устроили?..

— Самое лучшее место, куда мы можем их послать, — уточнил Марковальдо, — это на улицу.

— Скоро у нас его будет вдоволь, свежего воздуха, — добавила жена, — вот как вытурят нас из дому, и придется нам спать на бульваре...

Как-то в субботу после обеда Марковальдо забрал ребят, только что оправившихся после болезни, и повез их погулять на холм. Район, где они жили, был от холмов дальше, чем все другие районы города, и, чтобы добраться до первых склонов, им пришлось тащиться через весь город в переполненном трамвае. Всю дорогу ребята ничего не видели, кроме ног пассажиров, стиснувших их со всех сторон. Но мало-помалу трамвай опустел, за окошками, к которым, наконец, можно было пробраться, показалась поднимавшаяся в гору аллея. Они доехали до конечной остановки, а дальше пошли пешком.

Стояли первые весенние дни. Под теплым солнышком зацветали деревья. Ребята смотрели по сторонам, немного растерянные. Марковальдо повел их по дорожке, ступеньками поднимавшейся вверх по зеленому склону.

— Почему все лестница, лестница, а дома наверху нет? — спросил Микелино.

— Это не такая лестница, как в городе. Это как улица.

— Улица... А как же машины по ступенькам влезают?

По обе стороны потянулись глухие стены, за которыми цвели сады.

— Стены, а крыши нет... Их разбомбили, да?

— Это сады... ну, вроде дворов, что ли... — принялся объяснять отец. — Дома внутри за стенами, их за деревьями не видать.

Микелино недоверчиво покачал головой.

— Да, дворы... Дворы всегда внутри дома, а снаружи дворы не бывают.

Тут вмешалась Терезина.

— А в этих домах кто живет, деревья? — спросила она.

По мере того как они поднимались, Марковальдо казалось, что постепенно отстают, остаются где-то позади и запахи плесени, преследовавший его в складе, где он по восемь часов в день ворочал тюки, и пятна сырости, расплывавшиеся по стенам его квартиры, и столбы пыли, золотившейся в узких полосках солнца, которое иногда заглядывало

в окна, и приступы кашля, мучившего его по ночам. Да и ребята казались ему сейчас не такими желтыми и хрупкими, они словно слились в одно целое с этим светом и зеленью.

— Ну, нравится вам здесь? — спросил он.

— Ага.

— А почему?

— Полицейских нет. Можно траву рвать и камнями кидаться.

— Ну, а дышать, дышать вам нравится?

— Нет.

— Так ведь здесь-то и есть свежий воздух!

Ребята начали жевать.

— Ну да!.. Он — никакой.

Тем временем они поднялись почти на самую вершину холма. За одним из поворотов глубоко под собой они увидели свой город — расплывчатые пятна кварталов, закутавшиеся в серую паутину улиц. Никогда в жизни ребята еще не бегали и не кувыркались так, как здесь, на лужайке. Потянуло свежим ветерком, время близилось к вечеру. В городе смущенно замигали первые огоньки. И тут Марковальдо захлестнуло такое же чувство, какое он испытал в юности, впервые подходя к этому городу, и его, как и в тот раз, потянуло к этим улицам, к этим огонькам, словно там для него было приготовлено бог знает что. В небе проносились ласточки и бросались вниз головой на город.

В сгустившихся сумерках он разглядел черную тень своего района, который сейчас показался ему болотистой свинцовой равниной, покрытой плотной чешуей крыш, над которыми развевались лохмотья дыма. И ему стало грустно, что нужно возвращаться туда.

Свежело. Наверно, уже надо было созывать ребят. Но, увидев, как они преспокойно раскачиваются, ухватившись за нижние ветви дерева, он отбросил эту мысль. К нему подбежал Микелино и спросил:

— Папа, а почему мы не можем здесь жить?

— Почему! Да потому, дурачок, что тут нет домов и вообще никого нет! — буркнул Марковальдо с досадой, потому что сам только что думал о том, как было бы здорово здесь поселиться.

— Как же никого нет? — возразил Микелино. — А вон те синьоры? Посмотри-ка.

В сгущавшихся сумерках с лугов спускалась группа мужчин. Среди них были и молодые и уже пожилые, все в колпаках, с палками в руках и в одинаковых неуклюжих серых костюмах, похожих на пижамы. Мужчины шли группами по нескольку человек, многие громко переговаривались и смеялись. Некоторые опирались на свои палки, другие волочили их за собой, повесив на согнутую руку.

— Кто это? Куда они идут? — спросил Микелино.

Но Марковальдо продолжал молча смотреть на приближавшихся людей. Один из них прошел совсем близко — это был толстый мужчина лет под сорок.

— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, что новенького слышно в городе?

— Добрый вечер, — ответил Марковальдо. — А что вас интересует?

— Да ничего особенного, — отозвался мужчина, останавливаясь. — Это я просто так сказал.

У мужчины было широкое бледное лицо с яркими, почти багровыми пятнами румянца на скулах.

— Я всегда так спрашиваю, если встречаю кого-нибудь из города, — продолжал он. — Ведь вот уже три месяца как я здесь. Понимаете?

— И никогда не спускаетесь?..

Мужчина пожал плечами.

— Только когда врачи позволяют, — ответил он с коротким смехом. — Врачи и вот это... — он постучал пальцем по груди и снова засмеялся коротким, задышающимся смехом. — Два раза меня выписывали, говорили — вылечился. А только на фабрику приду — опять все сначала. Опять затемнение, и опять сюда отправляют. Потеха!

— И они тоже?.. — спросил Марковальдо, кивая в сторону бродивших вокруг по лужайке серых фигур и в то же время ища глазами Филиппегто, Терезу и Даниеле, которые куда-то запропастились.

— Соседи по даче... — отозвался мужчина и подмигнул. — Сейчас у нас прогулка перед отбоем. Нас рано спать укладывают... Конечно, с территории уходить нельзя...

— С какой территории?

— Да как же, это ведь участок санатория. А вы и не знали?

Марковальдо взял за руку притихшего Микелино, кото-



рый прислушивался к разговору старших. Вечер быстро поднимался по склонам холма. Там, внизу, уже невозможно стало различить район, в котором жил Марковальдо. Казалось, что не он проглочен тенью, а, наоборот, тень от него расползлась во все стороны и накрыла город. Пора было возвращаться домой.

— Тереза! Филиппетто! — позвал Марковальдо и двинулся на поиски детей. — Извините, — добавил он, обращаясь к мужчине, — понимаете, куда-то исчезли мои ребяташки.

— Да вон они, — ответил тот, подняв бровь, — вон, вишни рвут.

В низинке Марковальдо увидел дерево. Вокруг толпились мужчины в серых пижамах. Своими загнутыми палками они пригибали ветки и срывали с них ягоды. И Тереза и оба мальчика, очень довольные, тоже стояли под деревом, срывали вишни, брали их из рук мужчин и смеялись вместе с ними.

— Поздно, ребята! — крикнул Марковальдо. — Уже холодно. Пошли домой.

Толстый мужчина поднял свою палку и, указывая на вереницы огней, которые зажглись внизу, сказал:



— Каждый вечер я с этой самой палкой устраиваю себе прогулку по городу. Выберу какую-нибудь улицу и вожу палкой по ниточке фонарей. Останавливаюсь возле витрин, встречаю знакомых, здороваюсь... Когда пойдете по городу, вспомните о моей палке. Она будет следовать за вами...

Подошли ребята. Они были в венках из листьев и шли за руку с больными.

— Ой, папа, как здесь хорошо! — воскликнула Тереза. — Мы еще придем сюда поиграть, да?

— Папа, — не выдержал Микелино, — ну почему мы не можем здесь жить, вместе вот с этими синьорами?

— Поздно, поздно, ребята, — заторопился Марковальдо. — Попрощайтесь с синьорами. Скажите: «Спасибо за вишни». Ну, пошли, пошли!

И они пустились в обратный путь. Все устали. Марковальдо молчал и не отвечал на вопросы ребят. Филиппетто захотел на руки, Даниеле — на закорки, Тереза, повиснув на отцовской руке, плелась сзади. Только Микелино, самый старший из ребят, шел впереди всех и поддавал ногами камешки.

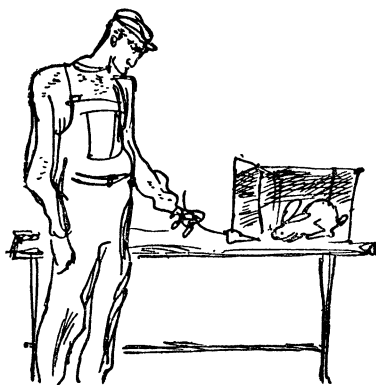
ЯДОВИТЫЙ КРОЛИК

И вот наступает день, когда тебя выписывают из больницы. Об этом знаешь с самого утра, и если ты уже можешь передвигать ноги, то сразу же принимаешься ковылять в узеньких проходах между койками, чтобы научиться ходить так, как ходят на воле, насвистываешь, строишь из себя здорового перед прочими больными, и все это вовсе не для того, чтобы вызвать их зависть, а просто ради удовольствия сказать им что-нибудь ободряющее. За высокими окнами ты видишь солнце или, если на дворе пасмурно, серые тучи, слышишь городской шум, но все это не такое, как раньше, когда и этот свет и эти голоса доносились из недостижимого мира, будили тебя по утрам, пробиваясь сквозь железную спинку казенной койки. Теперь этот мир там, за окнами, — снова твой. Выздоровев, ты воспринимаешь его как самый обыкновенный, будничный, и вдруг начинаешь чувствовать запах больницы.

Именно так однажды утром недовольно поводит носом выздоровевший Марковальдо, который сидел, дожидаясь, когда ему выпишут справку и отпустят на все четыре стороны. Доктор взял бумаги, сказал: «Подождите здесь», — и оставил его одного в кабинете. Марковальдо смотрел на выкрашенную белой краской и давно уже опостылевшую ему мебель, на пробирки с какими-то зловещими составами и старался доказать себе, что покидает все это с восторгом. Однако ему никак не удавалось почувствовать ту радость, которую полагается испытывать в этом случае. Может быть, ему мешала



мысль о том, что завтра уже нужно возвращаться на склад и снова ворочать тюки и ящики, а может быть, думы о тех лишениях, какие пришлось испытать его детям, пока он валялся на больничной койке. Но больше всего его радость отравлял туман, висевший за окном: казалось, стоит выйти из больничных дверей, и сразу очутишься в пустоте и без следа исчезнешь, погрузившись в пропитанное сыростью ничто. И он шарил вокруг глазами, подталкиваемый инстинктивным желанием найти что-нибудь, что согрело бы душу, но все, что он видел вокруг себя, напоминало о страданиях и болезнях.



И тут он заметил клетку с кроликом. Кролик был весь белый, с длинной пушистой шерстью, розовым треугольным носиком и растерянными красными глазами. Его прозрачные, почти совсем голые уши были плотно прижаты к спине. Нельзя сказать, чтобы он был очень большой, однако его овальное тело с трудом помещалось в тесной клетке и даже слегка выгибалось ее проволочную сетку, сквозь которую высывались чуть заметно вздрагивавшие пучки белой шерсти. Напротив клетки на столике лежали остатки травы и морковка. В голове у Марковальдо сейчас же мелькнула мысль: каково-то этому несчастному сидеть в такой тесноте, смотреть на морковку и не иметь возможности достать ее. Недолго думая, он открыл клетку. Но кролик не выскочил. Он сидел неподвижно, и только мордочка его все время шевелилась, словно он в утешение себе все время делал вид, будто жует. Марковальдо взял со стола морковку, сунул ее кролику под нос, а потом отодвинул, чтобы выманить его из клетки. Кролик двинулся за морковкой, осторожно откусил кусочек и принялся проворно уписывать ее прямо из рук Марковальдо. Тот погладил зверька по спине, потом машинально пощупал, чтобы проверить, толстый он или нет. Под мягкой шерсткой довольно ясно чувствовались кости. Это обстоятельство и жадность, с какой кролик набросился на

морковку, убедили Марковальдо, что беднягу держат впроголодь. «Эх, если бы это был мой кролик! Уж я бы его раскормил, что он бы сразу стал, как шарик!» — подумал он и посмотрел на кролика добрыми глазами кролиководы, в душе которого любовь к животному уживается с предвкушением будущего жаркого. Что же это получается? В самую последнюю минуту, когда после многих, многих дней безрадостного заключения в палате он уже готовится покинуть стены этой больницы, вдруг оказывается, что здесь был друг, который мог бы заполнить его мысли, оживить каждый час его жизни. И вот сейчас он должен бросить этого друга на произвол судьбы и вернуться в туманный город, где совсем не бывает кроликов.

От морковки уже почти ничего не осталось, и Марковальдо, взяв зверька на руки, стал оглядываться по сторонам и искать, чем бы еще его угостить. Он приблизил его мордочку к листочкам герани, стоявшей в горшке на письменном столе доктора, но кролик недвусмысленно дал понять, что такая еда ему не по вкусу. В этот момент за дверью послышались шаги доктора. Как объяснить ему, зачем он взял кролика? На Марковальдо был его рабочий комбинезон, перетянутый в талии поясом. Не теряя ни секунды, он сунул кролика за пазуху, быстро застегнул пуговицы, а чтобы доктор не заметил шевелящегося горба, неожиданно появившегося у него на груди, он затолкал кролика себе за спину. Испуганный зверек сидел тихо. Марковальдо взял свои бумаги и быстро перегнал кролика на грудь, потому что теперь ему предстояло повернуться и выйти. Так, с кроликом за пазухой, он и ушел из больницы, а очутившись на улице, сразу же отправился на работу.

— Ну, выздоровел наконец? — пробурчал шеф, увидев входящего Марковальдо. — Постой, что это у тебя такое? Грудь, что ли, тебе присобачили?

— Это согревающий компресс против судорог, — не моргнув, ответил Марковальдо.

Но тут кролику вздумалось прыгнуть, и Марковальдо дернулся, как эпилептик.

— Ты чего это корчишься? — удивился шеф.

— Да так, ничего... Икаю, — пробормотал Марковальдо и, подтолкнув кролика рукой, перегнал его за спину.

— Видно, тебя все-таки не долечили, — заметил шеф.

Кролик между тем делал отчаянные попытки вскарабкаться Марковальдо на спину, и, чтобы сбросить его, последнему то и дело приходилось передергивать плечами.

— Э! Да тебя трясет! — воскликнул шеф. — Отправляйся-ка домой, отпускаю тебя еще на денек. Но смотри, чтобы к завтрашнему дню выздороветь!

Домой Марковальдо явился, неся кролика за уши, словно удачливый охотник.

— Папа! Папа! — радостно запрыгали ребята, бросаясь к нему навстречу. — Ой, где ты его взял? Ты его нам подаришь? Это нам подарок? — наперебой затараторили они, и все разом потянулись к кролику.

— Пришел, значит? — сказала жена, и уже по тому взгляду, который она на него бросила, Марковальдо понял, что все время, проведенное им в больнице, она употребила исключительно на то, чтобы накопить еще больше злобы против него. — А что ты собираешься делать с этой тварью? Хочешь, чтобы она все загадила?

Сдвинув посуду, Марковальдо посадил кролика в центре стола. Зверек распластался на нем, как будто хотел сделать-ся незаметным.

— Кто тронет его — тому несдобровать! — сказал Марковальдо. — Это наш кролик, и он будет спокойно жить и жить до рождества.

— А он умеет стоять на задних лапках? — спросил Микилино, пытаясь приподнять кролика за передние лапы. Потом вдруг спросил: — А это кролик или крольчиха?

О том, что это может быть крольчиха, Марковальдо как-то не подумал. Теперь в голове у него возник новый план. Если это самка, то можно найти самца и получить от них крольчат... А крольчат можно вырастить... Постепенно сырые стены его квартиры растаяли, он уже видел зеленую ферму, раскинувшуюся среди полей.

Кролик оказался самцом. Но мысль о крольчатнике уже крепко засела в голове Марковальдо. Ладно, пусть он самец, но какой самец? Загляденье! В конце концов ему можно найти невесту, а когда родятся крольчата — поделить их с хозяином самки.

— А чем мы его кормить будем? — со злостью спросила жена. — Самим-то есть нечего, а тут еще...

— Это уж предоставь мне, — отрезал Марковальдо.

На следующий день, придя на работу, он первым делом взялся за цветы, которые росли в горшках по комнатам дирекции: он должен был каждое утро выносить их во двор, поливать и снова расставлять по местам. Оторвав от каждого растения по листу, он спрятал эти широкие, блестящие сверху и матовые с изнанки листья в карман комбинезона. Потом ему встретилась сотрудница, которая шла на работу с букетиком цветов.

— Это что же, от поклонника? — спросил он. — Подарите мне один, а?..

И цветок тоже отправился в карман.

Мальчику, который чистил грушу, он сказал:

— Оставь мне кожицу.

Вот таким образом — тут листочек, здесь кожицу, там цветок — он и надеялся прокормить зверька.

Однако через некоторое время к нему прибежали с известием, что его вызывает шеф. «Верно, заметили, что я оборвал листья», — подумал Марковальдо, который уже привык постоянно чувствовать за собой какую-нибудь вину.

У шефа он увидел доктора из больницы, где недавно лежал, двух санитаров из Красного Креста и полицейского.

— Слушай, — сразу же заговорил доктор, — у меня из кабинета исчез кролик. Если ты о нем что-нибудь знаешь, то очень прошу тебя, не валяй дурака и говори, где он. Потому что мы привили ему бациллы одной страшной болезни, и он может разнести их по всему городу. Я не спрашиваю тебя, съел ты его или нет. Если бы ты его съел, тебя бы уже давно не было в живых.

На улице дожидалась карета «Скорой помощи». Все пятеро бегом спустились с лестницы, поспешно прыгнули в машину и, оглашая улицы воем сирены, сломя голову помчались к дому Марковальдо. Карета неслась по улицам и проспектам, оставляя на асфальте странные следы в виде листьев, кожуры, цветов, которые Марковальдо с болью в сердце выбрасывал из окошка.

В это утро жена Марковальдо в отчаянии ломала голову над тем, чем накормить ребят. Тут на глаза ей попался кролик, которого притащил накануне муж. Сейчас этот кро-

лик сидел в сооруженной наспех клетке, на подстилке из обрывков старых газет.

«А ведь он, пожалуй, подоспел как раз кстати,— подумала она. — Денег ни гроша, получка вся ушла на дорогие лекарства, за которые больница, видите ли, не платит, в долг ни в одной лавке больше не дают... А тут разводи кроликов или дожидайся рождества! Нам сейчас только о рождественских обедах думать! Сами сидим не евши, а тут еще кролика откармливай!..»

— Изолина, — сказала она, подходя к дочери, — ты уже большая, пора тебе научиться готовить кролика. Сперва его нужно зарезать, потом ободрать, ну, а потом я тебе покажу, что с ним делать.

Изолина читала какую-то любовную историю в газетном приложении.

— Не-е... — промычала она. — Лучше ты начинай. Зарежь его, обдери, а потом я буду смотреть, как его готовят.

— Хороша! — воскликнула мать. — Да разве у меня хватит сердца убить? Хотя я и знаю, что это плевое дело. Нужно взять его за уши и чем-нибудь стукнуть посильнее вот здесь, по затылку. Ну, а уж ободрать его... Там видно будет...

— И не думай! — отозвалась дочь, не поднимая носа от газеты. — Чтобы я была по затылку живого кролика! Да ни за что! И обдирать не стану!

Трое младших ребятишек, широко раскрыв глаза, прислушивались к этому диалогу.

Мать с минуту постояла в задумчивости, потом посмотрела на них и сказала:

— А ну-ка, дети...

Ребята, как по команде, повернулись и двинулись вон из комнаты.

— Стойте, куда вы? — воскликнула мать. — Я просто хотела сказать: может, вам хочется погулять с кроликом? Мы привяжем ему на шею красивую ленточку.

Ребята остановились и посмотрели матери в глаза.

— А где погулять? — спросил Микелино.

— Ну, где-нибудь... А потом зайдите к синьоре Диомире. Отведите к ней кролика и попросите ее зарезать его и ободрать шкурку. Она ведь на все руки... И не забудьте сказать «пожалуйста».

Мать задела нужную струну. Кому не известно, что дети увлекаются тем, что им интересно, а об остальном предпочитают не думать? Нашли длинную ленту сиреневого цвета, один ее конец обвязали вокруг шеи зверька, другой ребята зажали в руке, как поводок, и поволокли за собой упиравшегося и наполовину задушенного кролика.

— И скажите синьоре Диомире, — крикнула им вслед мать, — что если она приготовит его, то может взять себе заднюю ножку! Хотя нет, лучше пусть возьмет голову. А впрочем, пусть сама, как хочет...

Не успели ребята скрыться за дверью, как квартира Марковальдо была окружена и захвачена санитарями, врачами, карабинерами и полицейскими. Марковальдо стоял между ними ни жив, ни мертв от страха.

— Здесь кролик, которого унесли из больницы? Скорее покажите, где он, только не трогайте руками — он заражен страшной, неизлечимой болезнью!

Марковальдо подвел их к клетке, но она была пуста.

— Уже съели?

— Нет, нет!

— А где же он?

— У синьоры Диомире!

Погоня бросилась по новому следу.

Постучали к синьоре Диомире.

— Кролик? Какой кролик? Вы с ума сошли!

При виде незнакомых людей в белых халатах и полицейских мундирах, вломившихся к ней в комнату и будто бы разыскивающих какого-то кролика, старушку чуть не хватил удар. О кролике Марковальдо она ровным счетом ничего не знала.

Старушка говорила истинную правду. Дело в том, что, желая спасти кролика, ребяташки решили отвести его в надежное место, немножко поиграть с ним и отпустить на волю. Поэтому вместо того чтобы остановиться на площадке перед дверью синьоры Диомире, они полезли выше, пока не очутились на плоской крыше, огражденной парапетом. А матери они решили сказать, что кролик порвал поводок и убежал. На самом же деле на сзете, пожалуй, не нашлось бы другого животного, менее способного к бегству, чем этот кролик. Даже втащить его на лестницу было нелегкой за-

дачей. На каждой ступеньке он испуганно приседал, и под конец ребятам пришлось взять его на руки и самим тащить наверх.

Оказавшись на крыше, они попробовали заставить его побегать — он не бежал. Посадили на карниз, чтобы посмотреть, может ли он ходить, как кошка, но у него, как видно, закружилась голова. Потом они попытались устроить его на телевизионной антенне. Интересно, умеет ли он балансировать? Нет, он падал. Наконец ребятам надоело с ним возиться. Они оборвали ленточку, пустили зверька на свободу и ушли; теперь перед ним открывался путь на крыши, расстилавшиеся впереди, словно покатые ребристые волны застывшего моря.

Оставшись один, кролик начал двигаться. Он сделал несколько маленьких прыжков, огляделся, направился в другую сторону, снова повернулся и не спеша запрыгал по крышам. Он родился в неволе и не представлял себе, чем такое безграничная свобода. Он не знал большего блага, чем возможность хоть минуту не дрожать от страха. И вот сейчас, пожалуй впервые за всю жизнь, он не видел поблизости ничего такого, что внушало бы ему страх, и он мог спокойно погулять. Правда, место это было не совсем обычное, но он этого не знал. Ведь у него не было ясного представления о том, что обычно и что необычно. К тому же, с тех пор как он почувствовал внутри гложущую, необъяснимую боль, окружающий мир интересовал его все меньше и меньше. Он просто бродил по крышам, а кошки, увидев неизвестное существо, скачущее им навстречу, испуганно пятились.

Между тем кролик, петляющий по крыше, не остался незамеченным — за ним наблюдали из слуховых и чердачных окошек, с террасок перед окнами мансард. Потом один выставил на подоконник блюдечко с салатом и, спрятавшись за занавеску, принялся напряженно следить за движениями зверька, другой бросил на черепицу огрызок груши и окружил ее веревочной петлей, третий разложил по краю крыши кусочки моркови, подведя эту дорожку к своему окну. Всех обитателей чердака воодушевлял один лозунг — кролик! Правда, для каждой семьи он звучал по-разному. Например: «Кролик под соусом!», или: «Фрикасе из кролика!», или: «Жаркое из кролика!»

Но зверек, наверное, почувствовал коварство людей, молча предлагавших ему еду, и, хотя его мучал голод, отнесся к этим предложениям недоверчиво. Он знал, что каждый раз, когда люди, приманивая его, предлагали еду, обязательно появлялось что-то темное, причиняющее боль: то в тело его вонзались шприц или скальпель, то его насильно засовывали за пазуху куртки, которую застегивали на пуговицы, то тащили за ленту, обмотанную вокруг шеи... И воспоминания обо всех этих муках сливались с болью, которую он чувствовал во всем теле, с медленным изменением в каких-то внутренних органах, настораживавшим его, с предчувствием смерти. И с голодом. Но он словно знал, что из всех страданий, терзавших его, только голод может быть утолен и что эти коварные человеческие существа способны не только мучить его, но также и защитить, дать ему кров и тепло, в которых он нуждался не меньше, чем в пище. И он решил сдаться, вступить в игру, затеянную людьми, а там будь что будет. Подобравшись к кусочкам моркови, он принялся поедать их один за другим, с каждым шагом приближаясь к окну. Он прекрасно знал, что в конце его ждет неволя и новые мучения, и все-таки с удовольствием и — кто знает? — может быть, в последний раз в жизни ощущал приятный запах земли, исходивший от моркови. Вот он уже возле окна, вот сейчас протянется рука и схватит его... Но вместо этого окошко закрылось, оставив его снаружи. Такого с ним еще никогда не бывало. Чтобы западня вдруг отказалась хлопнуться! Кролик повернулся и стал искать следы других ловушек, с намерением выбрать такую, в которую ему было бы выгоднее всего попасться. Но листочки салата были уже убраны с подоконника, петли отброшены прочь, люди, высывавшиеся из окошек, исчезли и наглухо захлопывали рамы, терраски опустели.

Случилось так, что как раз в это время поблизости появилась разъезжавшая по городу полицейская машина с громкоговорителями, возвещавшая громовым голосом:

— Внимание, внимание! Исчез белый кролик с длинной шерстью, зараженный опасной инфекционной болезнью! Всякий, кто найдет этого кролика, должен знать, что мясо его ядовито, а также, что любой контакт с ним может привести к заражению! Все, кто его увидит, должны сообщить об этом

в ближайшее полицейское управление, больницу или пожарную команду!

Обитателей чердаков объял ужас. Теперь каждый был начеку и, едва завидев кролика, вяло перескакивающего с одного ската на другой, тотчас же поднимал тревогу, после чего все мгновенно исчезали, словно на них двигалась туча саранчи. А кролик в это время пробирался, балансируя, по коньку крыши, и чувство одиночества, которое он испытал как раз в ту минуту, когда ясно понял, как необходима ему близость человека, казалось ему все более невыносимым, угрожающим.

Тем временем бухгалтер Клориндо, известный всем как бывалый охотник, зарядил свое ружье патронами на зайцев, вылез на крышу и притаился на площадке за дымовой трубой. Как только в вечерней дымке мелькнула белая тень кролика, он выстрелил. Но волнение, охватившее его при мысли о страшной вредности зверька, было так велико, что весь заряд дробы веером разлетелся по черепице, далеко от цели. Кролик услышал гром выстрела и почувствовал боль от дробинки, пробившей ему ухо. Он сейчас же сообразил: это объявление войны. Отныне всякие отношения с людьми были прерваны. И чтобы выразить свое презрение к ним, к их неблагодарности, которую он смутно ощущал, он решил закончить все счета с жизнью.

В одном месте крыша была покрыта железом. Довольно круто спускаясь вниз, она обрывалась в пустоту, в мутное, туманное ничто. Кролик с опаской стал на скат всеми четырьмя лапами, потом расправил напряженные члены и начал скользить вниз. Пожираемый болью, гонимый людской злостью, он двигался к смерти. На самом краю его на секунду задержал водосточный желоб, но в следующее мгновение, потеряв равновесие, он рухнул вниз... и очутился в обтянутых перчатками руках пожарного, стоявшего на верхушке раздвижной лестницы.

Скоро кролик, которому помешали совершить последнее деяние в защиту своего звериного достоинства, был уже в санитарной карете, мчавшейся в больницу. Вместе с ним в машине находился также и Марковальдо с женой и ребятами, которым предстояло провести некоторое время под наблюдением врачей и вытерпеть серию профилактических прививок.

ПУТЕШЕСТВИЕ С КОРОВАМИ

Городской шум, тот совсем особенный шум дремлющего города, который летними ночами залетает через открытые окна в комнаты тех, кому не спится от жары, становится различным лишь в известный час, когда слабеет, а потом и вовсе умолкает однообразный гул моторов, и в наступившей тишине возникают негромкие, отчетливые, то близкие, то отдаленные звуки — шаги ночного гуляки, шелест велосипедных шин ночного патруля, угасающий вдали гомон голосов, храп, доносящийся откуда-то с верхнего этажа, стоны больного, гулкие удары старинных стенных часов, и ночью отсчитывающих время. И так до зари, когда вступает оркестр будильников во всех населенных рабочими домах и на рельсы выкатывается первый трамвай.

В одну из таких ночей Марковальдо лежал с закрытыми глазами между женой и четырьмя обливавшимися потом ребятами и прислушивался к слабым бессвязным звукам, которым удавалось просочиться с каменного тротуара сквозь низкие окошки, в глубину полуподвала. До него долетали веселый, торопливый перестук каблучков спешивших домой женщин, шаркающие шаги сборщика окурков, замолкавшие через неравные промежутки времени, навсистывание одинокого прохожего, а иногда обрывки разговора двух приятелей, такие бессвязные, что, слушая, нередко приходилось только гадать, о чем же они все-таки говорят: о спорте или о девушках. В жаркие ночи все звуки теряли четкость, словно приглушенные затопившим пустые улицы зноем, но вместе с тем они, казалось, хотели подчинить своему владычеству это необитаемое царство. В каждом человеческом существе, чье присутствие угадывалось там, за окном, Марковальдо с грустью узнавал товарища по несчастью, брата, так же как и он, даже в это время отпусков пригвожденного долгами, семьей, скудным заработком или безработицей к раскаленному, бетонному пеклу.

Неожиданно мысль о недоступном для него отдыхе словно распахнула перед ним двери в долгожданный сон, и ему почудился отдаленный звон колокольчиков, лай собаки и даже короткое мычание. Но он не спал: он знал, что лежит с открытыми глазами. Поэтому он стал прислушиваться, стараясь уловить еще какой-нибудь звук, который бы подтвердил или

опроверг это смутное впечатление. Очень скоро до него действительно донесся глухой топот, словно многие сотни ног медленно, вразнобой шагали по улице. Топот приближался, заглушая все другие звуки, кроме ржавого звона колокольчика.

Марковальдо вскочил, натянул рубашку, брюки.

— Куда это ты? — спросила жена, которая спала очень чутко.

— По улице стадо гонят. Пойду посмотрю.

— И я с тобой! И я! — сразу встрепнулись трое малышей, всегда умеющих проснуться в нужный момент.

Это было одно из тех стад, которые обычно в начале лета проходят по ночам через город, направляясь в горы на пастбища. Поднявшись на улицу, ребята слипающимися глазами уставились на бесконечную реку серых и бурых спин, которая затопила тротуары, терлась о стены домов, заклеенные объявлениями, о спущенные металлические жалюзи, о бензokolонки, о столбы уличных знаков, запрещающих стоянку. Осторожно переставляя копыта, когда на перекрестках им приходилось сходить с тротуара на мостовую, коровы шли, уткнув морды в крестцы бредущих впереди товаров, безразличные ко всему окружающему, наполняя улицу вялым позвякиванием колокольцев и своим особым запахом соломенной подстилки, полевых цветов и молока. Они уже предвкушали приход в свой, близкий им мир, напоенный влагой лугов, мир туманных гор, каменистых бродов через горные речки, и, казалось, просто не замечали города.

Зато беспокойны были пастухи: оробевшие, подавленные видом города, они бессмысленно метались вдоль рядов животных, неожиданно появлялись то тут, то там, размахивая своими палками и вспугивая ночную тишину хриплыми, гортанными криками. Собаки же, которым ничто человеческое не чуждо, трусили рядом, с нарочитой развязностью позвякивали колокольчиками и не оглядывались по сторонам, занятые своей работой. Но видно было, что они нервничают и тоже чувствуют себя не в своей тарелке — иначе они давно бы уже бросили свое дело и занялись тем, что в первую очередь приходит в голову любой городской собаке, — начали бы обнюхивать углы домов, фонарные столбы и подозрительные пятна на мостовой.

— Папа, — поинтересовались ребята, — а коровы, они как трамваи? У них есть остановки? А где у коров конечная станция?

— Трамваи тут ни при чем, — объяснил Марковальдо. — Они идут в горы.

— На лыжах кататься, да? — спросил Карлетто.

— Идут пастись, траву кушать.

— А с них не берут штраф, если они бегают по траве?

Кто ни о чем не спрашивал, так это Микелино. Он был самый старший и уже имел представление о коровах, и теперь ему нужно было только проверить его, самому разглядеть безобидные рога, грязные хвосты, пестрые подгрудки и крестцы, убедиться, что у каждой коровы вымя действительно с четырьмя сосцами. Так он и трусил рядом со стадом, словно пастушеская собака.

Когда прошли последние коровы, Марковальдо взял ребят за руки и отправился домой досыпать. Однако Микелино ни-



где не было видно. Спустившись к себе в подвал, Марковальдо спросил у жены:

— А Микелино уже вернулся?

— Микелино? Разве он не с тобой?

«Значит, он пошел за стадом и теперь забрел бог знает куда», — подумал Марковальдо и бегом бросился на улицу.

Стадо уже миновало площадь, и Марковальдо пришлось разыскивать улицу, на которую оно свернуло. Но оказалось, что этой ночью через город прошло не одно, а несколько стад и каждое двигалось по той улице, которая вела к отведенной для него долине. По свежим следам Марковальдо догнал коров, но тут же понял, что это другое стадо. На перекрестке он увидел, что вдалеке, квартала за четыре, по параллельной улице тоже движутся ряды животных, и помчался туда. Добежав до цели, он узнал от пастухов, что недавно им повстречалось еще одно стадо, двигавшееся в противоположном направлении. Таким образом, Марковальдо продолжал без толку колесить по городу до тех пор, пока звон последнего колокольчика не растворился в лучах рассвета.

Полицейский комиссар, к которому он пришел заявить об исчезновении сына, сказал:

— Ушел за стадом? Ну и что же? Значит, выберется в горы, поживет на воле, счастливчик! Вот увидишь, вернется толстый, загорелый.

Через несколько дней мнение комиссара подтвердил один из служащих фирмы, где работал Марковальдо. Служащий только что вернулся из отпуска и рассказал, что, проезжая неподалеку от горных пастбищ, повстречал Микелино, который брел со стадом. Парнишка просил передать привет отцу и чувствовал себя прекрасно.

Задыхаясь в пыльном пекле раскаленного солнцем города, Марковальдо частенько вспоминал своего счастливого сына, не сомневаясь, что он прохлаждается сейчас в тени какой-нибудь сосны, посвистывает, зажав травинку между ладонями, любитесь на коров, медленно расхаживающих по лугу, и прислушивается к журчанию ручейка, бегущего в тенистой долине.

А мать, наоборот, не могла дожидаться часа, когда он вернется.

— Он приедет на поезде? — то и дело спрашивала она. — А может быть, с почтовым фургоном? Уже неделя как его нет... Уже месяц... Скоро погода начнет портиться...

Она не находила себе места, хотя уже одно то, что за столом теперь ежедневно сидело одним едоком меньше, было для нее немалым облегчением.

— И все-таки он счастливчик. На свежем воздухе, вволю масла, сыра... — говорил Марковальдо, и каждый раз, когда в глубине какой-нибудь улицы за домами ему удавалось разглядеть подернутые знойным маревом белые и сероватые вершины гор, он чувствовал себя так, будто его опустили на самое дно колодца и он смотрит наверх, туда, откуда струится свет, где блестят на солнце листья кленов и каштанов, разносится жужжание диких пчел и где среди зарослей, усыпанных ягодами кустов ежевики, окруженный мисками с молоком и медом сидит разленившийся счастливый Микелино.

Однако он тоже ждал возвращения сына, ждал каждый вечер, хотя и не думал, как мать, о расписании поездов и о почтовых фургонах. По ночам он прислушивался к шагам на улице, как будто оконце их комнаты стало морской раковиной, в которой, если приложить к ней ухо, можно уловить отголоски горных звуков.

И вот однажды ночью он вскочил как ужаленный, сел на кровати и прислушался. Да, он не ошибся. С улицы, постепенно приближаясь, доносился своеобразный, ни с чем не сравнимый топот раздвоенных копыт по каменной мостовой и позвякивание колокольчиков.

Вся семья во главе с Марковальдо выбежала на улицу. Возвращалось стадо. Оно медленно, степенно проходило мимо дома, и в середине его, сидя верхом на спине у коровы, ехал полусонный Микелино. На каждом шагу голова мальчика бессильно клонилась то в одну, то в другую сторону, однако он крепко держался за ошейник, к которому был привязан колокольчик.

Микелино подняли на руки, принялись обнимать и целовать. Но мальчик засыпал на ходу.

— Ну как ты? Хорошо там было?

— О... да...

— А домой тебе хотелось?

— Да...



— А красиво в горах, правда?

Он стоял перед ними, сдвинув брови и сурово поглядывая то на одного, то на другого.

— Я работал, как мул, — сказал он, и лицо его стало совсем как у взрослого мужчины. Он сплюнул перед собой и продолжал: — Каждый вечер таскать подойники доильщикам от одной коровы к другой, от одной коровы к другой, потом опоражнивать их в бидоны, и все скорей, все время скорей, скорей, до самой темноты. А утром, чуть свет — катить бидоны к грузовику, а он их потом в город везет... И все нужно считать, все-все считать: и коров, и бидоны, и ошибиться нельзя, а то беда...

— Но ты хоть побродил по лугам? Пока коровы пасутся?..

— Некогда было. Всегда какое-нибудь дело находилось. То молоко, то подстилки, то навоз. И все ради чего? Отговорились, что у меня не было договора на работу, и что заплатили? Пшик, гроши. Думаете, я вам отдам? Дудки! Ладно, пошли спать, я устал, как собака.

Он поежился, шмыгнул носом и вошел в дом.

А стадо уходило все дальше и дальше вдоль по улице, унося с собой обманчивый томный аромат сена и перезвон колокольчиков.

СКАМЕЙКА

Каждое утро, направляясь на работу, Марковальдо проходил по тенистой площади, обсаженной деревьями. Он шел по этому стиснутому между четырьмя улицами квадратику сквера, смотрел вверх, туда, где кроны диких каштанов сплетались особенно густо и где желтые солнечные лучи едва пробирались сквозь прозрачную тень листвы, и прислушивался к оглушительному чириканью горластых воробьев, скрывавшихся среди ветвей. Ему это чириканье казалось соловьиными трелями, и он говорил себе: «Эх, если бы хоть раз в жизни проснуться от щебета птичек, а не от звона будильника, не от детского крика, не от причитаний жены!»

Или: «Эх, если бы можно было спать одному среди этой зелени и прохлады, а не у нас, в душной, низкой комнатухе! Спать в тишине, не слышать, как все семейство храпит и бормочет во сне, как грохочет трамвай на улице. И чтобы темнота была настоящая, ночная, а не искусственная, разрисованная, как зебра, полосками света от уличных фонарей, который прекрасно проникает даже сквозь закрытые жалюзи. Открыть бы утром глаза и увидеть над собой листву деревьев и небо!»

С такими мыслями Марковальдо каждое утро начинал свой трудовой день, тяжелый день чернорабочего — восемь часов, и даже больше, если приходилось работать сверхурочно.

В одном углу этого скверика стояла на отлете скамейка, наполовину скрытая тенью дикого каштана. Марковальдо давно уже заметил ее и в глубине души считал своей. Летними ночами, когда в комнате, в которой они спали впятером, ему никак не удавалось задремать, он мечтал об этой скамейке, мечтал так же, как бездомный может мечтать о королевской постели. И вот однажды ночью, воспользовавшись тем, что и похрапывавшая жена и брыкавшиеся во сне ребята крепко спали, он потихоньку поднялся с кровати, оделся, прихватил с собой старую рубашку, которой предстояло заменить подушку, вышел из дому и направился на площадь.

Там царили свежесть и покой. Он уже предвкушал ласковое и гостеприимное прикосновение деревянных планок, на которых, конечно, будет намного удобнее, чем на свалявшем-

ся тюфяке, лежавшем у него на кровати. Минутку-другую он посмотрит на звезды, потом закроет глаза и погрузится в сон, который вознаградит его за все обиды, перенесенные за день.

Была свежесть, был покой — не было скамейки. Вернее, скамейка-то стояла на прежнем месте, но на ней сидела парочка влюбленных, смотревших друг другу в глаза. Деликатный Марковальдо поплелся прочь.

«Ничего, — думал он, — уже поздно. Не просидят же они всю ночь на улице. Когда-нибудь кончат ворковать!»

Однако эти двое и не думали ворковать. Они ссорились. А если двое влюбленных начинают ссориться, то никто в мире не может сказать, когда они кончат.

Он говорил:

— Почему ты не хочешь признать, что, когда говорила то, что сказала, ты была уверена, что мне это будет неприятно, хоть и делала вид, будто думаешь, что это мне приятно?..

Марковальдо понял, что конца этому не будет.

— И не признаю, — ответила она.

Другого Марковальдо и не ждал.

— Почему не признаешь?

— Никогда я этого не признаю.

«Э-э!» — подумал Марковальдо и, зажав под мышкой старую рубашку, отправился бродить по площади. Он решил посмотреть на луну, большую, круглую, висевшую уже довольно высоко над деревьями и крышами домов. Потом вернулся к скамейке и начал слоняться неподалеку от нее, стараясь не подходить слишком близко, чтобы не потревожить влюбленных, однако в глубине души надеясь, что его присутствие все-таки подействует им на нервы и заставит их убраться восвояси. Но они были слишком поглощены своим спором, чтобы заметить его.

— Так ты признаешь?

— Нет, нет, ни за что не признаю!

— Ну, допустим, что ты признала.

— Ну допустим, что мы допустили, но я никогда не допущу, чтобы ты допустил, что я могу это признать!..

Марковальдо отошел и снова стал смотреть на луну, потом пошел взглянуть на светофор, стоявший немного поодаль. У светофора загорался только желтый глаз: желтый, желтый, желтый. Зажигался, гас, снова зажигался. Марковальдо

сравнил луну и светофор. Луна, залитая таинственной бледностью, тоже была желтая, но стоило взглянуть в нее, и она делалась зеленой, даже голубой, а светофор как был желтым, так и оставался скучно-желтым. К тому же луна, спокойная, невозмутимая, светила неторопливо и в своем величии не замечала легких облачков, время от времени омрачавших ее лицо и словно ниспадавших ей на плечи, а светофор в это время все зажигался и гас, зажигался и гас, суетливый, наигранно веселый, усталый и рабски послушный.

Марковальдо поплелся обратно, чтобы взглянуть, признала ли девушка. Какое там! Не признала. Больше того: теперь уже не она отказывалась признать, а он. Положение в корне изменилось. Теперь она говорила ему: «Ну, так ты признаешь?» А он твердил: «Нет». Так прошло полчаса. Наконец он признал, или, может быть, она признала. Словом, Марковальдо увидел, что они поднялись и, взявшись за руки, направились к выходу.

Он подбежал к скамейке, бросился на нее, потом растянулся во всю длину и... понял, что уже не в силах почувствовать даже той скромной радости, какую надеялся здесь найти; ему вспомнилась кровать, на которой он спит дома, и она казалась уже не такой жесткой. Но все это в конце концов пустяки. Его намерение провести ночь на свежем воздухе осталось непоколебимым. Он подложил под щеку свою старую рубашку и приготовился заснуть, заснуть таким сном, о котором уже бог знает сколько времени не смел и помыслить.

Устроился он прямо-таки великолепно. Теперь уже никакая сила в мире не заставила бы его сдвинуться с места даже на миллиметр. Вот если бы только у него перед глазами не было ничего, кроме деревьев и неба, чтобы сон, смежив ему веки, скрыл от него лишь безмятежную картину девственной природы. Но перед ним в непривычном ракурсе, следуя друг за другом, виднелось дерево, сабля какого-то генерала, стоявшего на высоком постаменте, еще одно дерево, обклеенный афишами щит, третье дерево и, наконец, немного поодаль эта поддельная луна, этот мигающий глаз светофора, продолжавший пялиться желтым, желтым, желтым...

За последнее время у Марковальдо так расшатались нервы, что ему достаточно было любого пустяка, достаточно было просто вообразить себе, будто что-то его беспокоит, и он

уже до утра не мог сомкнуть глаз, даже если перед этим валился с ног от усталости. Вот и сейчас ему действовал на нервы этот светофор, который все вспыхивал и гас. Он был далеко и довольно низко, этот одиноко подмигивавший желтый глаз. Кажется, можно было бы просто не обращать на него внимания. Но Марковальдо, как видно, действительно дошел до точки — он все смотрел и смотрел на этот вспыхивающий и гаснущий, вспыхивающий и гаснущий глаз и бормотал про себя:

— Эх, как бы я славно уснул, если б не такое дело! Как бы я славно уснул!..

Он закрывал глаза, но и сквозь закрытые веки чувствовал, как загорается и гаснет этот проклятый желтый свет: он сжимал их еще плотнее, но тут уже начинал мигать не один, а целый десяток светофоров. Тогда он снова открывал глаза, и все начиналось сначала.

Марковальдо поднялся со скамейки. Ему нужно было соорудить какую-нибудь ширму между собой и светофором. Дойдя до памятника генералу, он огляделся вокруг. У подножия памятника лежал лавровый венок, еще довольно густой, хотя уже совершенно высохший и наполовину осыпавшийся, так что кое-где виден был деревянный каркас. Венок обвивала широкая, выгоревшая под солнцем лента, на которой значилось: «От уланов Пятнадцатого полка в день славной годовщины». Марковальдо взобрался на постамент, снял венок и повесил его на саблю генерала.



В этот момент на площади показались двое полицейских, совершавших ночной обход, и Марковальдо притаился за статуей. Но полицейские, увидев, как зашевелилась тень, падавшая от памятника на землю, остановились, охваченные подозрением. Они окинули испытующим взглядом венок, болтавшийся на сабле, догадались, что здесь что-то не так, но никак не могли понять, что же именно. Направив на венок луч карманного фонаря, они прочитали: «От уланов Пятнадцатого полка в день славной годовщины», одобрительно покачали головами и двинулись дальше.

Марковальдо направился к своей скамейке. Издали лавровый венок сливался с листвой деревьев и совсем загоразживал светофор. Марковальдо двигался, пятясь задом, и на каждом шагу приседал, чтобы проверить, что именно закрывает венок, если смотреть под разными углами. Он не заметил, что скамейка занята и едва не уселся на колени двум матронам.

— Ох, простите, пожалуйста! — воскликнул он, подскочив на месте, и тут увидел перед собой две физиономии с челками и кривыми накрашенными ртами.

— Не нас искал, красавчик? — обратилась к Марковальдо одна из этих мегер.

— Не трогай его, он же совсем поддыхает с голоду, не видишь, что ли? — заметила вторая.

После этого они принялись спорить между собой, выкрикивая слова неприятными хриплыми голосами, свойственными особам такого рода, открывая и закрывая свои объемистые сумочки, пересчитывали измятые бумажки и пачки сигарет. Это были ночные продавщицы контрабандных сигарет. Насколько можно было понять, спор шел о сигаретах, которые одна из них взялась продать для другой. Яростно потрясая перед носом друг у друга запечатанными пачками, они топали распухшими от ходьбы ногами, обутыми в разбитые туфли. Казалось, еще немного, и они пустят в ход кулаки.

Марковальдо стоял и смотрел на свою скамейку.

— Ну, а ты что хочешь предложить? — неожиданно обратилась к нему одна из женщин.

Марковальдо, не желавший иметь дело с такой подозрительной публикой, предпочел отойти в сторонку и подождать, когда эти мегеры сведут, наконец, свои счета. Он снова пошел бродить по площади. На одной из улиц, выходящих на

площадь, бригада рабочих чинила трамвайную линию. В этих людях, когорые копошатся по ночам на безлюдных улицах среди всполохов автогенной сварки, в их отрывистых возгласах, неожиданно гулко разносящихся в тишине и так же внезапно гаснущих, есть что-то таинственное. Так и кажется, что, сгрудившись, они замышляют что-то такое, о чем не должны узнать дневные жители. Марковальдо подошел поближе и с ребяческим изумлением стал наблюдать за действиями рабочих, время от времени переводя слипающиеся глаза на яркие вспышки огня. Чтобы разогнать сон, он решил закурить и принялся шарить по карманам. Сигарета нашлась, а вот спичек не оказалось.

— У кого найдется прикурить? — спросил он рабочих.

— От этого не хотите? — отозвался сварщик, рассыпая вокруг себя целый рой ярких искр.

Один из ремонтников поднялся с земли и протянул Марковальдо зажженную сигарету.

— Тоже в ночную смену? — спросил он.

— Нет, я в дневной, — ответил Марковальдо.

— Чего ж вы бродите в такое время? Мы и то скоро закругляемся.

— И вы можете спать днем?

— Э-э, привычка...

— Я вот ложусь спать, а жена в это время встает, — заметил один из рабочих. — Так мы никогда и не видимся.

— Зато она тебе постель греет, — вмешался его товарищ.

С площади донеслись крики и ругань. На этот раз к воплям женщин, занявших скамейку Марковальдо, примешивались голоса мужчин и ворчание мотора.

— Что там случилось?

— Да машина полицейская. Объезд делают. Видно, сцапали этих двух, что проходили недавно.

— А знаешь, как называют эту машину? «Norge» *. Потому что она похожа на дирижабль.

«Ну, теперь-то, наверно, скамейка освободилась», — подумал Марковальдо и тут же почувствовал, как лоб его покрывается холодным потом. Какое счастье, что он вовремя

* «Norge» — название дирижабля, на котором Р. Амундсен в 1928 году отправился на поиски итальянской экспедиции Нобиле.

убрался оттуда: не уйди он из сквера, его бы, пожалуй, тоже сцапали.

— Ну, доброй ночи, друзья, — сказал он вслух.

— Э! У нас не добрая ночь, а добрый день!

Марковальдо вернулся к скамейке и лег.

Раньше он как-то не обращал внимания на шум. Зато теперь этот рокот, похожий не то на сопение, не то на непрерывное покашливание, словно кто-то без конца прочищает горло, не то на шипенье масла на сковородке, так и лез ему в уши. На свете нет звука надоедливее, чем шум сварочного аппарата, чем-то напоминающий приглушенный вой. Марковальдо лежал не шевелясь, скорчившись на своей скамейке, он уткнул лицо в сморщенное, смятое подобие подушки, но и в этом не находил спасения. Этот неумолчный шум вызывал у него в памяти картину пустынной улицы, освещаемой белесоватым пламенем сварки, брызжащий во все стороны дождь золотых искр, фигуры людей, сидящих на корточках и закрывающих лица масками с черным стеклом, дрожащий мелкой дрожью сварочный пистолет в руке у рабочего, темный ореол тени вокруг грузовой платформы с инструментом и материалами и высокого брезентового шатра, поднимающегося до самых проводов. Он открыл глаза, повернулся на спину и взглянул на звезды, сверкавшие между ветками. Там, в вышине, среди листвы спали невидимые воробы.

Эх, если бы он мог, как эти птицы, спать, спрятав голову под крыло, в зеленом мире ветвей, висящих над затихшим где-то внизу, бесконечно далеким земным миром. Известно, что стоит только хоть на минуту ощутить недовольство своим положением, и можно дойти бог знает до чего. Теперь Марковальдо и сам толком не знал, что ему нужно для того, чтобы заснуть. Сейчас ему хотелось даже не полной, что называется, настоящей тишины, но какого-то звучащего фона, мягкого шума, который убаюкивает лучше, чем тишина, — нежного шелеста ветерка, пробегающего по кронам молодых деревьев, журчания ручья, затерянного среди лугов.

Вдруг его осенило, и он снова поднялся со скамейки. Наверное, это даже не было мыслью в полном смысле слова, потому что в том полудремотном состоянии, которое овладело им, он ничего толком не соображал. Он просто как будто вспомнил о чем-то, что находилось тут же поблизости и было связано с мыслью о воде, о ее тихом ворчливом журчании.

Действительно, совсем недалеко от его скамейки находился фонтан — славное творение знаменитого скульптора с нимфами, фавнами, речными божествами, которые направляли во все стороны переплетающиеся струи, каскады и широкие веера воды. Только сейчас фонтан был совершенно сух. Его всегда закрывали на ночь, особенно в летние месяцы, когда водопровод не мог полностью обеспечить город водой. Марковальдо немного потоптался возле фонтана, потом, словно лунатик, подталкиваемый скорее интуицией, чем разумом, направился к тому краю бассейна, где должен был находиться кран и, как это часто случается с людьми наблюдательными, нашел его даже с полузакрытыми глазами. Он повернул вентиль, и из раковин, из бород, из ноздрей сказочных морских коней брызнули высокие струи, искусственные скалы оделись искрящимися мантиями, и вся эта масса воды зазвучала многоголосым хором всплесков и журчания, которые, сливаясь, звучали на большой пустынной площади, словно мощный орган. Полицейский, проезжавший мимо на велосипеде и пребывавший в самом мрачном настроении, потому что должен был развозить и рассовывать под входные двери повестки, увидев, как перед самым его носом взорвался и вспыхнул, словно водяной фейерверк, только что молчавший фонтан, едва не слетел с седла.

Марковальдо же, стараясь как можно меньше приоткрывать глаза, чтобы не спугнуть дремоту, которая, как ему казалось, уже начала овладевать им, побежал назад и снова повалился на свою скамейку. Вот теперь он мог представить себе, будто лежит на берегу ручья, под сенью леса, теперь он, наконец, заснул.

Ему приснился обед. Его тарелка была прикрыта крышкой — будто для того, чтобы еда не остыла. Он снял крышку и увидел в тарелке смердящую дохлую мышь. Заглянул в тарелку жены — в ней лежала точно такая же падаля. Перед детьми тоже лежали дохлые мыши, правда, не такие большие, как у него, но тоже распространявшие зловоние. Он открыл суповую миску и увидел в ней кота, плававшего брюхом вверх. Вокруг стояла такая вонь, что он проснулся.

Недалеко от него остановилась мусороуборочная машина, одна из тех, которые по ночам вычищают помойки. В слабом свете редких фонарей Марковальдо различил стрелу автокрана, время от времени издававшую какое-то карканье, лю-

дей, которые, взобравшись на вершину высокой горы отбросов, направляли руками покачивавшуюся на блоке тяжелую бадью-урну, переворачивали ее и колотили по дну лопатами, выкрикивая глухими, как скрип автокрана, голосами:

— Подымай!.. Стоп!.. А, чтоб тебя!

Вслед за этим раздавался гулкий металлический звон, похожий на тяжелые удары гонга, потом — ворчание грузовика, медленно отползавшего на несколько метров, потом мотор умолкал, и вся операция начиналась сначала.

Но Марковальдо находился теперь в такой стадии сна, когда звуки уже не доходили до его сознания. Даже самый варварский грохот и скрежет добирался до него, словно сквозь мягкий, рыхлый слой ваты. Может быть, это объяснялось тем, что мусор, наполнявший фургон, тоже был мягким и рыхлым. А вот что действительно отгоняло от него всякий сон, так это вонь, особенно резкая из-за того, что он теперь мог думать только о вонии, так что даже звуки, приглушенные дремотой и словно доносящиеся откуда-то издалека, и черный силуэт грузовика с краном, выделявшийся на светлом фоне освещенной фонарями улицы, воспринимались его сознанием не как звуки и не как предметы, а тоже как вонь. Измученный Марковальдо изо всех сил старался хотя бы в воображении уловить благоухание сада, полного роз.

Полицейского по прозвищу «Пройдемте!», совершавшего ночной обход, прошибло холодным потом, когда он вдруг увидел силуэт человека, который на четвереньках подбежал к клумбе, с остервенением сорвал несколько лютиков и тут же словно сгинул. Однако полицейский не растерялся и сейчас же успокоил себя мыслью, что если это собака, то ей надлежит заняться не ему, а живодерам, если же это сумасшедший, то им опять же должен заняться не он, а психиатр, а если это какой-нибудь ликантроп*, то... он, правда, не знал, кто должен им заняться, но решил, что к нему это касательства не имеет, и свернул за угол.

Тем временем Марковальдо, вернувшийся на свое ложе, судорожно прижимал к носу пучок смятых лютиков, тщетно стараясь наполнить ноздри запахом этих, почти совершенно лишенных аромата цветов. Но даже еле ощутимое благо-

* Ликантроп — одержимый, который считает, что он превращен в волка.

ухание росы, земли и помятой травы явилось для него целительным бальзамом. Он, наконец, избавился от преследовавшей его вони и уснул. Занималась заря.

Проснувшись, Марковальдо вдруг увидел над собой ослепительное небо и солнце, в ярком сиянии которого словно исчезла листва деревьев, лишь постепенно его ослепленные глаза снова стали различать ее. Но в ту же минуту сильный озноб заставил его вскочить на ноги. По его одежде стекали струйки холодной воды. Оказалось, что сторож, поливавший клумбы, заодно окропил и его.

А вокруг гремели трамваи, грузовики с продуктами, тележки мелких торговцев, юркие мотофургоны, рабочие на велосипедах с моторчиками спешили на свои фабрики, с треском поднимались вверх гофрированные жалюзи магазинов, темные ставни раздвигались и открывали сверкающие стекла окон. С помятым лицом, со слипшимися губами и заплаканными глазами, сторонясь людей и на каждом шагу чувствуя боль в затекшей спине и нытье в боку, Марковальдо побежал на работу.

ЛУНА И «НЬЯК»

Ночь длилась двадцать секунд, и двадцать секунд длился «НЬЯК». Двадцать секунд было видно синее ночное небо, изборожденное темными облаками, позолоченный серп молодой луны, окруженный неуловимым ореолом, звезды, острые точки которых становились тем чаще, чем пристальнее в них вглядишься, и, наконец, сгущались в плотный столб звездной пыли — Млечный Путь. Однако на все это удастся бросить лишь беглый взгляд второпях, и любая подробность, на которой ты хочешь задержать внимание, быстро исчезнет вместе со всей картиной. Двадцать секунд проходят скоро, и тогда снова начинается «НЬЯК».

«НЬЯК» — это часть световой рекламы «СПААК — КОНЬЯК» на крыше дома напротив. Реклама горит двадцать секунд и на двадцать секунд гаснет, а когда она зажжена, разглядеть что-либо невозможно: луна внезапно тускнеет, небо становится черным и плоским, звезды теряют свой блеск, а коты, которые лишь десять секунд тому назад издавали призывные кличи любви, томно шествуя навстречу по-



другам по чердакам и карнизам, теперь, когда зажжен «НЬЯК», со вздыбленной шерстью прижимаются животом к черепицам и ошарашенно глядят на фосфоресцирующий неоновый свет.

Стоя у окон своей мансарды, все члены семьи Марковальдо испытывали самые противоположные чувства. Пока стоит ночь, восемнадцатилетняя Изолина чувствует, как льется ей в душу лунный свет, и сердце ее сладко сжимается, даже треск радио на самых нижних этажах кажется ей отзвуком серенады, но вот зажигается «НЬЯК», и треск того же радио приобретает совсем иной ритм — ритм джаза, а Изолина, поживаясь в своей узкой кофточке, думает о залитых светом дансингах и о том, что ей, бедняжке, придется вечно сидеть одной здесь, наверху. Даниеле и Мике-

лино — одному из них восемь лет, другому шесть — таращат глаза в ночную тьму, и ими овладевает страх: мальчикам кажется, что они в лесу, полном разбойников, но вдруг загорается «НБЯК», и дети вскакивают, целясь друг в друга протянутыми пальцами:

— Руки вверх! Я супермен.

Каждый раз, когда гасла реклама, их мать Домитилла думала: «Мальчишек нужно забрать от окна, чтобы ночная сырость им не повредила. И Терезина засиживается у окна слишком поздно, это не годится». Затем все снова вдруг становилось сверкающим, электрическим — и в комнате и за окном, — тогда Домитилле казалось, что она пришла с визитом в богатый, солидный дом.

Фьордалиджи, пятнадцатилетний, преждевременно развившийся мальчик, каждый раз, когда погасал «НБЯК», в оконце, находившемся как раз под буквой «Н», видел девушку с лицом цвета луны, цвета неона, цвета ночных огней, с почти детскими губами, которые незаметно начинали двигаться в ответ на его улыбку, чтобы — как казалось Фьордалиджи — улыбнуться ему. Но внезапно из мрака снова выскакивала беспощадная буква «Н» из «НБЯК», — и контуры ее лица расплывались, оно превращалось в едва различимую светлую тень, и неизвестно было, ответила ли девушка с детскими губами на улыбку Фьордалиджи.

Среди этих бурных страстей Марковальдо пытался объяснить детям положение небесных светил:

— Вот Большая Медведица, одна звезда, вторая, третья, четвертая, и дальше ручка ковша. Вот Малая Медведица, вон Полярная звезда — она указывает, где север.

— А эти рога что указывают?

— Это буква «К». Но звезды тут ни при чем. «К» — последняя буква слова «коньяк». Звезды указывают четыре стороны света — север, юг, восток, запад. Луна выгибается к западу. Раз луна выгнута к западу — она прибывает. К востоку — пошла на убыль.

— Папа, значит, реклама идет на убыль: вон там «С» выгнуто на восток!

— «С» здесь ни при чем. Это начало слова «Спаак», а «Спаак» — это фирма, которая вывесила рекламу.

— Папа, а какая фирма вывесила луну?

— Луну никакая фирма не вывешивала. Луна — спутник Земли. Луна была всегда.

— Если луна была всегда, так отчего она выгнута то на запад, то на восток?

— Это зависит от того, какая четверть луны видна. Луна видна не вся.

— «Коньяк» тоже не весь виден.

— Это потому, что у Палаццо Пьербернарди крыша высокая.

— Выше луны?

Каждый раз, когда зажигался «НБЯК», светила Марковальдо путались с сиянием земной коммерции, Изолина задерживала томный вздох и начинала мурлыкать мелодию «Мамбо»; девушка из чердачного окна исчезала в слепящем и холодном полукольце, скрывавшем от Фьордалиджи ее ответ на воздушный поцелуй, который он, наконец, осмелился ей послать, а Даниеле и Микелино, держа прижатые друг к другу кулачки перед самым лицом, принимались играть в пулеметчиков. «Та-та-та-та» — огонь по светящимся буквам, которые гасли через каждые двадцать секунд.

— Та-та-та... Смотри, папа, я погасил ее первой же очередью! — кричал Даниеле, но, как только неон погас, угас и воинственный пыл мальчика, и глаза его стали слипаться от сна.

— Чтoб ей, — вырвалось тут у отца, — разлететься на куски! Я тогда показал бы вам созвездия Близнецов и Льва...

— Созвездие Льва! — Микелино пришел в восторг. — Постой!

Мальчика осенила новая мысль. Он взял рогатку, зарядил ее камешками, запас которых всегда таскал в кармане, и изо всей силы стрельнул по «НБЯК».

Слышно было, как стукнулись разлетевшиеся веером камешки о черепицу соседней крыши, о плиты чердака, как задребезжали стекла какого-то окна, как загудел, словно гонг, металлический рефлектор уличного фонаря, когда сверху в него угодил камешек, потом чей-то голос с улицы прокричал:

— Дождь из камней. Эй, вы там, наверху! Мерзавцы!

В момент выстрела реклама погасла — кончились положенные двадцать секунд. Тогда все обитатели мансарды

принялись считать про себя: один, два, три... десять, одиннадцать... и так до двадцати. Отсчитали девятнадцать, затав дыхание отсчитали двадцать, двадцать один, двадцать два — все еще опасаясь, что считали слишком быстро, — однако «НБЯК» больше не загорался, черные неразличимые завитушки букв вились по поддерживающей их решетке, как лозы по шестам.

— А-а-а! — закричали все, когда над ними раскрылась бесконечно глубокая чаша усыпанного звездами небосвода.

Марковальдо, который собирался шлепнуть Микелино, так и застыл с поднятой рукой: ему казалось, будто кто-то выбросил его в мировое пространство. Тьма, которая воцарилась на высоте крыши, отгораживала их, словно барьером, от мира улицы, где по-прежнему извивались желтые, зеленые и красные иероглифы, подмигивали глаза светофоров, вереницей огней проплывали пустые трамваи, невидимые автомобили катили перед собой светящиеся полосы своих фар. Сюда, наверх, из этого мира улицы добирался лишь неясный и расплывчатый, как дым, фосфоресцирующий свет.

Стоило поднять голову, и перед ничем не ослепленным взглядом открывалась перспектива мировых пространств, одни созвездия приближались, другие отодвигались в глубину, звездное небо было повсюду сферой, заключающей в себе все и не заключенной ни в каких границах — только в одном месте сверкающая сфера становилась реже, разрывалась, и посреди этой брешы особенно рельефно выделялась Венера, одиноко висевшая над самой землей, словно густок яркого света.

Повисшая в этом небе молодая луна больше не притворялась плоским, бесплотным полумесяцем, она открывала свою подлинную природу мира, освещенного косыми лучами солнца, уже невидимого с земли, но сохранившего, как это бывает только в редкие ночи поздней весны, свое тепло.

Марковальдо, глядя на узкую полосу «берега», отделявшего свет и тень на луне, испытывал неясное стремление забраться на этот лунный пляж, чудесным образом залитый солнцем в ночные часы.

Так они стояли у чердачного окна — дети, испуганные огромными последствиями своего поступка, Изолина, словно охваченная экстазом, Фьордалиджи, который один только и

различал слабый свет в окошке напротив и заметил, наконец, лунную улыбку девушки.

Мать первая вышла из оцепенения.

— Довольно! Ночь на дворе, чего вы устались? Еще схватите лихорадку при этой луне!

Микелино прицелился рогаткой в небо.

— А я погашу луну!

Но отец схватил его за шиворот и уложил в постель.

Весь остаток этой ночи и всю следующую ночь от светящейся рекламы напротив оставалось только «СПААК» — из окон мансарды можно было видеть звездное небо. Фьордалиджи и лунная девушка слали друг другу воздушные поцелуи, и, может быть, этот разговор без слов счастливо закончился бы свиданием.

Но вот утром на крыше у решетки, на которой была установлена реклама, появились тонкие фигурки двух монтеров в комбинезонах. Они проверяли трубки и провода. С видом старика, умеющего предсказывать погоду, Марковальдо высунул нос за окно и сказал:

— Сегодня ночью опять будет «НЬЯК».

Кто-то постучал в дверь мансарды. Ему открыли. Оказалось, что это господин в очках.

— Простите, не мог бы я выглянуть из вашего окна? Спасибо, — и представился. — Доктор Годифредо, агент по световой рекламе.

«Мы погибли! Они хотят, чтобы мы возместили убытки!» — подумал Марковальдо, пожирая сыновей глазами. Он совсем позабыл о своем увлечении астрономией. «Сейчас агент глядит в окно, он понимает, что камни могли быть брошены только отсюда», — подумал Марковальдо и решил первым вступить в разговор.

— Знаете, мальчишки кидают камешками по воробьям... Сам не знаю, как от этого могла испортиться надпись Спаака! Но я их наказал, еще бы! Вы можете быть спокойны, это больше не повторится.

Выражение лица доктора Годифредо стало внимательным.

— Собственно говоря, я работаю для фирмы «Коньяк Томавак», а не для фирмы «Спаак». К вам я зашел, чтобы выяснить возможность установки световой рекламы на этой

крыше. Но тем не менее говорите, говорите, это меня интересует.

И вышло так, что через полчаса Марковальдо подписывал контракт с фирмой «Коньяк Томавак», главным конкурентом фирмы «Спаак». Ребята должны были стрелять из рогатки по «НЬЯКУ», как только светящаяся надпись снова начнет действовать.

— Это как раз та капля, которая переполняет чашу, — сказал доктор Годифредо.

Он не ошибся: приведенная на край банкротства большими расходами на рекламу, фирма «Спаак» в постоянных поломках своей самой красивой световой рекламы увидела дурное предзнаменование. Надпись, которая гласила то «Коньяк», то «Кон...к», то «Конья», распространяла среди кредиторов мысли о неустойчивости фирмы, покуда, наконец, рекламное агентство не отказалось впредь производить ремонт вплоть до уплаты по всем задержанным счетам. В конце концов угасшая реклама до того всполошила кредиторов, что фирма «Спаак» прогорела.

В небе Марковальдо полнолуние сияло во всем своем великолепии. Но когда луна достигла последней четверти, монтеры снова вскарабкались на крышу дома напротив, и ночью на ней зажглись огненные буквы вдвое выше и вдвое толще прежних — «КОНЬЯК ТОМАВАК» — и больше не было луны, не было ни звездного неба, ни ночи, был только «КОНЬЯК ТОМАВАК», «КОНЬЯК ТОМАВАК», «КОНЬЯК ТОМАВАК»... который зажигался и гас через каждые две секунды.

Больше всех огорчился Фьордалиджи: лицо лунной девушки совсем исчезло за огромным и непроницаемым «В».

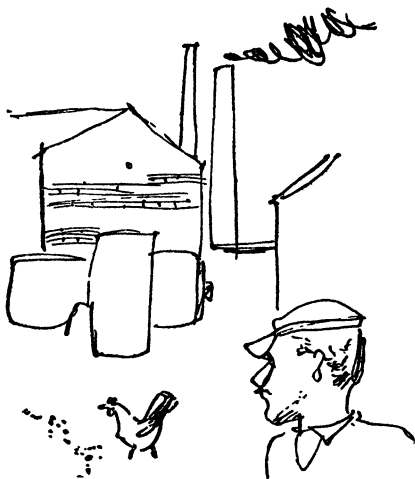
КУРИЦА В ЦЕХЕ

У вахтера Адальберто была курица. Сам он служил во внутренней охране большого завода, а курицу с разрешения начальника охраны держал на тесном заводском дворе. Он мечтал со временем обзавестись целым курятником и для начала купил эту курицу, за которую поручились, что она прекрасная несушка, отличается тихим нравом и никогда не посмеет нарушить своим кудахтаньем строгий

заводской порядок. И действительно, Адальберто не на что было жаловаться. Курица каждый день несла по одному яйцу, и если бы не робкое квохтанье, ее можно было бы назвать совершенно немой. Правда, если говорить по совести, начальник охраны позволил держать ее только в клетке, но поскольку земля, ставшая теперь заводским двором, до недавнего времени не испытывала на себе влияния технического прогресса и в ней, кроме ржавых болтов, водились также дождевые черви, курице негласно разрешено было ходить и клевать где угодно. Таким образом, она беспрепятственно расхаживала по цехам, всегда сдержанная и благовоспитанная, хорошо знакомая всем рабочим, и наслаждалась полной свободой и безответственностью, чем вызывала всеобщую зависть.

Однажды старый токарь Пьетро заметил, что его одноклассник, контролер Томмазо, стал приходить на завод с полными карманами кукурузных зерен. Не совсем еще утративший крестьянские повадки, контролер давно уже оценил производительные качества этой пернатой животины и, снedaемый желанием хоть чем-то возместить убытки от всяких поборов и штрафов, стал исподволь приручать курицу вахтера в надежде заставить ее класть яйца в ящик из-под железного хлама, стоявший рядом с его верстаком.

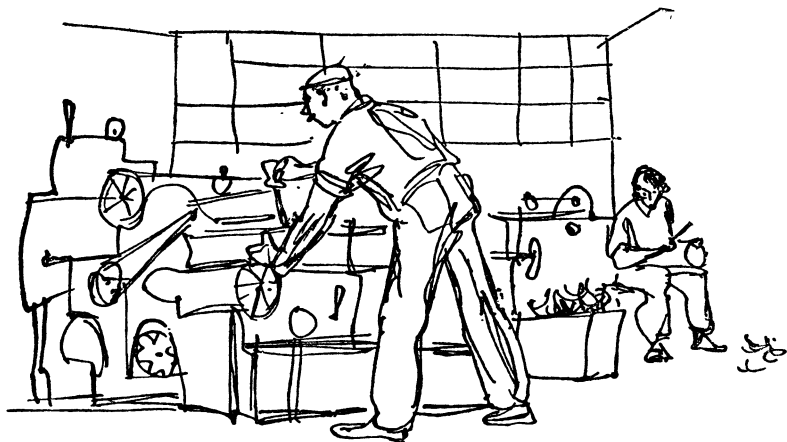
Каждый раз, обнаруживая, как скрытен и хитер его приятель, Пьетро чувствовал себя обиженным, ибо эти открытия всегда заставляли его врасплох, и он всячески старался не отставать от Томмазо. А с того дня, как стало ясно, что им предстоит породниться (сыну Пьетро взбрело в голову жениться на дочери Томмазо), ссоры между ними стали вспыхивать на каждом шагу. Поэтому Пьетро тоже запасся кукурузным зерном, опростал ящик из-под металлической



стружки и, пользуясь каждой свободной минутой, стал переманивать курицу к себе. В конце концов получилось так, что в этой игре, где ставкой были не столько яйца, сколько моральная победа, самая азартная борьба велась между Пьетро и Томмазо, а вовсе не между ними и беднягой Адальберто, который обыскивал рабочих при входе и выходе, шарил по сумкам и за блузами и решительно ни о чем не подозревал.

Рабочее место Пьетро находилось в самом углу цеха и отделялось небольшим простенком, образовывавшим как бы самостоятельное помещение, нечто вроде «прихожей» с застекленной дверью, выходившей во двор. Еще несколько лет тому назад в этой «прихожей» стояло два станка и работало двое токарей: он и еще один. Но однажды второго токаря отправили в больницу с грыжей, и Пьетро временно пришлось работать сразу на двух станках. Волей-неволей ему пришлось научиться рассчитывать каждое движение: опустив рукоятку автоматической подачи на одном станке, он переходил к другому и отрезал уже готовую деталь. Его бывший напарник, вернувшийся после операции, был направлен в другую бригаду, и оба станка так и остались за Пьетро. Больше того, чтобы он яснее понял, что это не случайная забывчивость, к нему послали хронометражиста. Тот прохронометрировал каждое его движение, и поскольку по его подсчетам выходило, что между операциями на том и другом станке у токаря оставалось еще несколько свободных секунд, Пьетро поставили третий станок. Потом, во время всеобщего пересмотра ставок, чтобы вернуть ту сумму, которую он терял, ему пришлось взять еще и четвертый станок. Так в свои шестьдесят лет он должен был научиться выполнять четыре нормы за то время, которое раньше отводилось для одной. Но поскольку заработок его оставался прежним, эти изменения ничего ему не принесли, кроме бронхиальной астмы и навсегда укоренившейся дурной привычки — едва добравшись до стула, сразу же засыпать мертвым сном в любой компании и при любых обстоятельствах. Однако старик он был крепкий и, главное, полный неиссякаемой душевной бодрости и потому неизменно и твердо верил, что стоит на пороге больших перемен.

Восемь часов в день Пьетро кружил между четырьмя станками, каждый раз повторяя одни и те же строго после-



довательные движения, заученные, отшлифованные с точностью до микрона. Даже свое тяжелое дыхание астматика он сумел подчинить ритму работы. Даже его глаза двигались по определенной, строго выверенной орбите не хуже небесных светил, ибо на каждый станок требовалось смотреть в определенный момент, чтобы ни один из них ни секунды не работал вхолостую и не сорвал ему выполнение нормы.

Проработав первые полчаса, Пьетро уже чувствовал себя усталым. Многоголосый заводской шум сливался у него в ушах в монотонно гудящий фон, на котором четко выделялся переплетающийся в сложном ритме рокот его станков. Подталкиваемый этим ритмом, он, как заведенный, двигался взад и вперед до тех пор, пока не раздавался жалобный скрип ремней трансмиссии, которые, замедляя свой бесконечный бег, наконец, замирали, возвещая об аварии или о конце рабочего дня. Для него этот скрип был не менее желанным, чем силуэт берега для потерпевшего кораблекрушение.

Но уж такая, видно, неистребимая вещь человеческая свобода, что даже в таких условиях мыслям Пьетро удалось плести от станка к станку свою невидимую паутину, тянуться бесконечной ниточкой, как тянется шелковинка из брюшка шелкопряда. И среди этих рассчитанных до миллиметра шагов, движений, взглядов и рефлексов он вдруг

временами начинал чувствовать себя независимым и спокойным, как деревенский дед, который поздним утром входит в прохладную тень виноградной беседки, щурится на солнце, подзывает собаку, поглядывает на внучат, забравшихся на дерево, и наблюдает, как день ото дня все больше созревает инжир.

Конечно, эта возможность свободно думать далась ему далеко не сразу, для этого потребовалось детально разработать особую систему. Нужно было, например, суметь вовремя оборвать нить своих мыслей в тот момент, когда рука должна вставить заготовку в патрон, и снова поймать эту нить, едва только заготовка легла в желобки, или, скажем, использовать время, нужное для того, чтобы перейти от одного станка к другому, — самый удобный для размышлений момент, потому что никогда так хорошо не думается, как в те минуты, когда идешь знакомой дорогой, пусть даже эта дорога не длиннее двух шагов. Шаг, другой, но сколько можно передумать за эти короткие секунды! Например, о работе для безработного сына или о счастливой старости, когда все дни — сплошные воскресенья и можно торчать на площади вместе с народом и, наострив уши, слушать громкоговоритель. Потом можно вдруг очутиться среди выводка внучат, просиживающих летние вечера с удочками на берегу реки. Или придумать пари для приятеля Томмазо, — скажем, поспорить с ним о велосипедных гонках или о правительственном кризисе, но поспорить на такую сумму, чтобы хоть на время отбить у этого упрямого охоту спорить по всякому поводу. Но, думая обо всем этом, надо не забывать поглядывать на ремень трансмиссии, который норовит как раз в этот момент соскочить со шкива.

«Если в ма... (Рукоятку вверх!) ...в мае сын женится на дочери этого остолопа... (Заготовку в патрон!), надо будет освободить большую комнату... (Теперь два шага!) ...Тогда молодожены, а им в воскресенье, конечно, захочется подольше поваляться вдвоем в постели, смогут полюбоваться из окошка на горы... (А ну-ка, вон ту ручку вниз.) ...А уж мы со старухой в маленькой устроимся... (Эти детали на месте!) А что под нашим окном торчит газгольдер — так это для нас неважно...» Тут его мысли направляются по новому руслу, словно воспоминание о газгольдере, что стоит перед его окном, возвращает его к повседневной действительности.

А может быть, секундная заминка с резцом вдруг настраивает его на воинственный лад. «Если наши прокатчики выдвигают требование пересмотра ставок, то мы сможем... (Стоп! Криво вставил!) ...присоединиться к ним... (Внимание!) ...и добав... идобавить свои требования... (А пошла, проклятая!) о переводе в другую категорию наших спе... ци... аль... нос... тей...»

Так работа станков подчиняла себе и вместе с тем подталкивала работу его мысли. И мысль, втиснутая в железные рамки механических процессов, мало-помалу приспособлялась к ним, сохраняя всю свою гибкость и живость, подобно тому как свыкается с тяжелыми доспехами стройное и мускулистое тело юного рыцаря, которому удастся даже размять затекшие руки, напрягая и расслабляя бицепсы, потягиваться, почесывать зудящую лопатку о железный панцирь, защищающий спину, поерзав в седле, освободить прижатую мошонку и пошевелить стиснутыми сталью пальцами ноги. Точно так же и мысли Пьетро свободно двигались и тянулись вереницей в тесной тюрьме нервного напряжения, автоматизма и усталости.

Нет каземата без отдушины, и при любой системе, даже при той, что стремится отнять у рабочего самые микроскопические осколки свободного времени, можно выработать определенный порядок движений и добиться того, что между двумя операциями у тебя в один прекрасный момент вдруг появится несколько восхитительных секунд безделья, в течение которых можно, скажем, без всякой необходимости сделать три шага вперед и столько же обратно, почесать живот и пропеть: «Пом-пом-пом», — а если рядом не торчит мастер, то даже перекинуться двумя словами с кем-нибудь из товарищей.

Вот почему при появлении курицы Пьетро имел возможность сказать ей: «Цып, цып, цып», — и мысленно отметить сходство между ее движениями и своим топтанием возле четырех станков, хотя рядом с ней он казался неуклюжим, косопалым великаном. Завидев курицу, он сейчас же принимался сыпать на пол кукурузные зерна, прокладывая нечто вроде дорожки, которая должна была приманить птицу к ящику с железной стружкой и убедить ее снести яйцо ему, а не этому шпику Адальберто и не приятелю-сопернику Томмазо.

Однако и гнездо, устроенное Пьетро, и ящик, приготовленный для нее Томмазо, не прельщали курицу. Как видно, она клала яйцо рано утром, до того, как начинала свое хождение по цехам, еще сидя в клетке Адальберто. Тогда и токарь и контролер взяли за правило каждый раз, как она попадалась им на глаза, ловить ее и щупать. Курица, от природы такая же ручная, как кошка, не сопротивлялась, но всегда оказывалась пустой.

Нужно сказать, что уже несколько дней Пьетро был не один возле своих четырех станков. То есть он продолжал, как и прежде, работать на всех четырех, но теперь было решено зачищать некоторые детали, и поэтому к Пьетро то и дело подходил вооруженный напильником рабочий, брал пригоршню деталей, относил их на свой верстак, установленный неподалеку, и «жик-жик, жик-жик» — потихоньку, полегоньку минут за десять зачищал их. От него не было никакой помощи, наоборот, он только мешал Пьетро, путаясь у него под ногами, и было ясно, что настоящие его обязанности совсем другого рода. Этот тип был хорошо известен рабочим, недаром они прозвали его Вонючкой.

Никто не знал, откуда выискался этот щупленький, черный как таракан, волосатый, курчавый человек, с таким вздернутым носом, что он даже приподнимал с собой верхнюю губу. Знали только, что первая должность, полученная им на заводе, имела какое-то отношение к чистке уборных. На самом же деле он только должен был безотлучно там находиться, подслушивать и сообщать об услышанном. Что уж такого важного можно услышать в уборной — никто никогда толком не понимал. Все началось из-за того, что, как говорили двое из внутренней комиссии или какой-то там еще профсоюзной чертовщины, видя, что на всем заводе нет такого места, где можно было бы перекинуться словечком, не опасаясь, что тебя сейчас же вышвырнут за ворота, решили переговорить, сидя в соседних кабинках и делая вид, что справляют нужду. Правда, заводские нужники отнюдь не являются самым спокойным местом. Во-первых, у них либо вовсе не бывает дверей, либо они снабжены такими низенькими дверцами, что голова и почти все туловище сидящего там остаются на виду. Делается это с той целью, чтобы никто не вздумал забраться туда покурить. Во-вторых, при каждой уборной есть смотритель, который ежеминутно загля-

дывает в дверь и следит, не засиделся ли кто слишком долго и занимается ли он тем, чем положено, или отдыхает. И все же по сравнению со всеми остальными заводскими помещениями уборная была самым безопасным и гостеприимным местом. Что же касается тех двоих, то их все-таки обвинили в том, что они занимались политикой в рабочее время, и уволили. Всем стало ясно, что кто-то на них донес, и этим «кем-то» сразу же был признан Джованнини Вонючка, как его с тех пор стали называть. Стояла весна, а он по целым дням не вылезал из уборной, слушал шум воды, шипение, бурчание и бульканье и мечтал о привольных речках и свежем воздухе. Скоро в нужниках совсем перестали разговаривать, и Вонючку перевели на другую работу. Человек без всякой специальности, он прикомандировывался то к одной бригаде, то к другой, нигде не выполнял никакой определенной работы, везде был бесполезен. И в каком бы цехе он ни работал, куда бы ни посылали его объятые вечным страхом хозяин и дирекция, он всюду наушничал и шпионил, всюду товарищи по работе молча поворачивались к нему спиной и не удостоивали взглядом ту никому не нужную работу, которую он с грехом пополам все-таки умудрялся делать.

И вот теперь его приставили к старому глуховатому токарю, работавшему на отшибе, в стороне от остальных. Что можно тут высмотреть? Уж не докатился ли он сам, подобно жертвам своих доносов, до той ступеньки, за которой только одна дорога — за ворота? И Вонючка по целым дням ломал себе голову над тем, как бы напасть где-нибудь на след, найти какую-нибудь улику или хоть что-нибудь, о чем можно было бы донести. Время для этого было самое подходящее: на фабрике — дым коромыслом, рабочие того гляди взбунтуются, а у начальства ото всего этого волосы дыбом встают. И в голове у Вонючки понемногу начала вырисовываться одна идея. Дело в том, что каждый день в определенный час в цехе появлялась курица, которую токарь Пьетро почему-то обязательно брал в руки. Он приманивал ее кукурузными зернами и, когда она подходила, совал руку ей под хвост. Что все это могло значить? Уж не было ли это новым способом передавать секретные записки из одного цеха в другой? Скоро Джованнини твердо в этом уверился. То, что проделывал с курицей Пьетро, очень напоминало движения человека, что-то разыскивающего или прячу-

щего в перьях птицы. И вот в один прекрасный день, дождавшись, когда Пьетро отпустил курицу, Вонючка отправился следом за ней. Курица перешла через двор, взобралась на кучу железного лома — Вонючка последовал за ней, с трудом удерживая равновесие; она юркнула в старую канализационную трубу — Вонючка на четвереньках прополз следом; курица пересекла другую половину двора и вошла в цех, где работали приемщики. В этом цехе был другой старик, который, по всей видимости, ждал ее появления. Он то и дело поглядывал на дверь, а заметив, что курица вошла в цех, тотчас же отложил молоток и отвертку и двинулся к ней навстречу. С этим стариком курица тоже была близко знакома, потому что позволила ему поднять себя за ноги и — ага, и тут то же самое! — потрогать у себя под хвостом. Теперь Вонючка уже не сомневался, что он попал на след серьезного преступления. «Яснее ясного, — думал он, — Пьетро каждый день посылает записки этому старику. Ну что ж, завтра, как только курица уйдет от Пьетро, я велю арестовать ее и обыскать».

Назавтра Пьетро, без особой нужды пощупав курицу и с некоторой грустью опустив ее на землю, увидел, что Вонючка бросил свой напильник и чуть ли не бегом кинулся вон из цеха.

Выскочив во двор, он поднял тревогу, и через минуту заводская охрана была готова к облаве. Курицу, мирно клевавшую личинки насекомых, которые попадались среди валявшихся в пыли болтов и гаек, накрыли во дворе и препроводили в контору к начальнику охраны.

Что касается Адальберто, то он пока еще ни о чем не подозревал. Поскольку не исключалось, что он тоже может быть замешан в этом деле, вся операция была проведена втайне от него. Его вызвали только тогда, когда курица была уже на столе начальника охраны. Войдя в контору и увидев курицу в руках своих коллег, он приготовился выслушать обвинение в том, что позволил ей разгуливать по заводу.

— Что она такое натворила? Как же так? Я ведь ее из клетки не выпускаю!.. — чуть не плача, забормотал он.

Но очень скоро ему пришлось убедиться, что обвинения, выдвинутые против курицы, гораздо серьезнее. Начальник охраны, в прошлом унтер-офицер карабинеров, требовал от

своих теперешних подчиненных, тоже отставных карабинеров, строжайшего соблюдения военной субординации. Он засыпал владельца курицы градом вопросов. Во время допроса Адальберто больше всего дрожал за свою репутацию. Страх этот был сильнее его привязанности к курице и даже сильнее надежды на будущий курятник. Воздев руки, он попробовал было оправдываться в том, что выпустил свою пернатую животину из клетки, но когда начались вопросы о связях курицы с профсоюзами, то, боясь скомпрометировать себя, он не только не посмел просить о ее реабилитации, но даже не попытался подыскать для нее какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Спрятавшись за многочисленными «я не знаю», «я тут ни при чем», он помышлял лишь о том, чтобы его самого как-нибудь не впутали в эту историю.

Благонадежность вахтера была восстановлена, но теперь, терзаемый угрызениями совести, он готов был заплакать, глядя на свою курицу, брошенную им на произвол судьбы.

Отставной унтер-офицер приказал обыскать преступницу. Один из вахтеров сейчас же отказался, заявив, что его тошнит от одного запаха курицы, другой, познакомившись с ее клювом, ретировался, посасывая кровотокающий палец. Наконец сыскались люди, готовые на все, только бы лишний раз показать свое усердие. Этими экспертами было установлено, что в яичном проходе курицы нет никаких посланий, враждебных интересам заводской администрации, а равно и всяких других. Дока в разных военных хитростях, бывший унтер-офицер приказал пошарить у курицы под крыльями, так как именно там прячут обычно специальные запечатанные патрончики с депешами в подразделениях голубиной связи. Эксперты принялись шарить под крыльями, усеяли весь стол перьями, пухом и грязью, но так ничего и не нашли. Тем не менее, признав, что для невиновной она слишком подозрительна и вероломна, курицу приговорили к смертной казни. И вот на том же унылом дворе два человека в черной форме крепко схватили ее за ноги, в то время как третий принялся сворачивать ей шею. У нее вырвался долгий пронзительный крик, последнее скорбное кудахтанье, и это у нее, всегда такой сдержанной, ни разу не посмеяшей заохотать даже в минуты радости! Адальберто закрыл лицо руками. Его смиренная мечта о звенящем веселым пис-

ком курятнике погибла, едва родившись. Так всегда случается. Любая машина притеснения непременно раздавит того, кто ей служит. А хозяин завода, и без того озабоченный тем, что предстояло принять делегацию рабочих, протестовавших против увольнений, услышав из своего кабинета предсмертный крик курицы, счел это дурным предзнаменованием.

НОЧЬ, ПОЛНАЯ ЦИФР

В переулки и улицы пробираются вечерние сумерки. Они закрашивают черным просветы между листьями деревьев, рассыпают пунктиры искр за бегущими дугами трамваев, расступаются туманными конусами под вспыхивающими в точно назначенный час фонарями, зажигают праздничную иллюминацию витрин, а выше, на фасадах домов, подчеркивают целомудренную скромность занавесок на окнах жилых квартир. Зато ничем не заслоненные квадраты света в бельэтажах и во вторых этажах разбалтывают конторские тайны тысяч учреждений города. Рабочий день кончается. С валиков пишущих машинок, что выстроились рядами на столах, снимаются и освобождаются от копирки последние листы, на столы начальников ложатся папки с корреспонденцией на подпись, машинистки закрывают футлярами свои машинки и направляются в гардероб или, уже одетые, толпятся в тесной очереди около табельных часов. Скоро все пустеет. Теперь в окнах нет ничего, кроме вереницы безлюдных комнат, залитых мертвенным светом неоновых ламп, который, отражаясь от белых потолков, падает на яркие разноцветные квадраты стен, на блестящие голые столы, на счетные машины. переставшие с грохотом напрягать свой электронный мозг и заснувшие стоя, как лошади. Но вот на фоне этих прямоугольных декораций вдруг появляются немолодые женщины в халатах, разрисованных ядовито-зелеными и пунцовыми цветами, одни в платках, другие в косынках, третьи с непокрытой головой и косами, уложенными «короной», все с высоко подоткнутыми подолами, открывающими их распухшие ноги в шерстяных чулках и лоскутных тапочках. Это ведьмы, рожденные канцелярской ночью. Схватив в руки метлы и щетки, они набрасываются на все эти блестящие поверхности и начинают выводить на них свои кабалистические знаки.

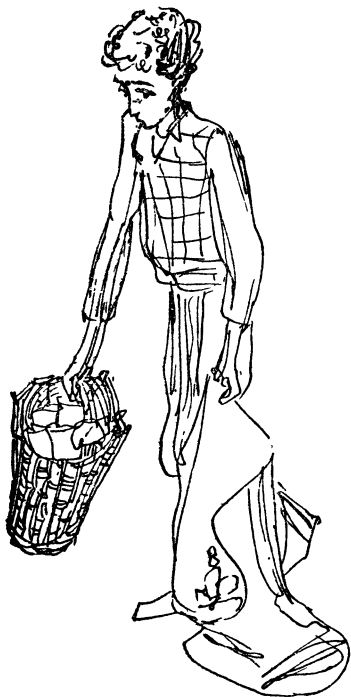
В квадрате одного из окон появляется засыпанная веснушками мальчишечья мордочка, над которой торчит колючий хохолок черных волос. Мордочка показывается и пропадает, потом снова возникает уже в следующем окне, потом — еще дальше, еще дальше, мелькая, словно луна-рыба в аквариуме. Но вот она останавливается в углу крайнего окна. В ту же секунду неожиданно опускаются жалюзи, и сияющий квадрат аквариума исчезает. Одно, другое, третье, четвертое — все окна одно за другим гаснут, и последнее, что мелькает в каждом из них, — это гримаса мальчишечьей физиономии.

— Паолино! Все ставни закрыл?

Хотя утром Паолино надо рано вставать и идти в школу, мать каждый вечер берет его с собой, чтобы он помогал ей и приучался к труду. И именно к этому часу ему на веки начинает давить мягкое облако дремы. После темной улицы эти пустынные, залитые ослепительным светом комнаты словно оглушают его. Даже настоящие лампы не погашены и склоняют над полированными крышками столов свои зеленые колпаки на длинных гибких шеях. Проходя по комнате, Паолино нажимает на кнопки выключателей и гасит лампы, чтобы смягчить этот нестерпимый блеск.

— Что ты делаешь? Нашел время баловаться! Помог бы мне лучше! Жалюзи закрыл?

Паолино резко дергает за шнурки. Жалюзи разворачиваются и одновременно соскальзывают вниз. И сразу все исчезает — ночная темнота за стеклами, и светлые ореолы вокруг фонарей, и озаренные мягким светом далекие окна домов на



противоположной стороне проспекта, и нет больше другого мира, кроме этой набитой слепящими лампами коробки. Тарахтение каждой развертывающейся ставни как будто будит Паолино, выводит его из оцепенения, но не совсем: так бывает, когда снится, что просыпаешься, а на самом деле, наоборот, проваливаешься в новый сон, еще более глубокий, чем прежде.

— Мама, можно я буду вытряхивать корзинки?

— Да. Молодец! Возьми мешок и начинай.

Паолино берет мешок и отправляется по комнатам, опоражнивая корзинки, полные обрывков бумаги. Мешок больше самого Паолино, и ему приходится волочить его за собой по полу. Он бредет медленно-медленно, чтобы подольше растянуть эту прогулку: для Паолино это самые лучшие минуты за весь вечер. Перед ним открываются залы с длинными рядами счетных машин и похожих друг на друга как две капли воды классификаторов, кабинеты с важными столами, уставленными телефонами, селекторами с клавиатурой. Ему нравится кружить в одиночестве по этим комнатам. И он ходит, пока ему не покажется, что он сам стал одной из этих металлических штук с острыми прямоугольными ребрами, пока он не позабудет обо всем остальном мире и, главное, пока не перестанет слышать болтовню своей матери с синьорой Дирче.

Между синьорой Дирче и матерью Паолино есть одно различие: синьора Дирче насквозь проникнута сознанием того, что убирает она не где-нибудь, а в помещениях фирмы «Сбав», в то время как матери Паолино совершенно безразлично, где убирать, — здесь, в кухне или подсобке какого-нибудь магазина.

Синьора Дирче знает названия всех отделов фирмы.

— А теперь, синьора Пенсотти, мы с вами пойдем в бухгалтерию, — говорит она матери Паолино.

— А что это такое, вот это самое? — спрашивает синьора Пенсотти, толстая, приземистая женщина, недавно приехавшая из деревни.





Синьора Дирче, наоборот, худа и долговяза, исполнена важности и носит нечто вроде кимоно. Ей доподлинно известны все секреты фирмы, и мать Паолино слушает ее, разинув рот.

— Ох, этот доктор Бертоленги! Полюбуйтесь, какой у него кавардак! — говорит синьора Дирче. — Боюсь, что из-за этого беспорядка у нас и с экспортом-то неважно...

Мать Паолино тащит ее за рукав.

— А кто он такой, этот самый?..

Ой, что вы, не трогайте ничего! Что вам там надо, синьора Дирче? Вы что, не знаете? На столах, где не убраны бумаги, не велено прибирать! Ну, там обмахнуть телефон, чтобы только пыль стереть...

Но синьора Дирче продолжает рыться в бумагах, вытаскивает какое-то письмо, подносит его к самому носу, потому что близорука, и говорит:

— Погодите, вот, слушайте, тут говорится: триста тысяч долларов... Вы знаете, сколько это — триста тысяч долларов, синьора Пенсотти?

Паолино кажется, что обе женщины никак не гармонируют с чинным порядком учреждения, даже оскорбляют его. И та и другая действуют мальчику на нервы. Синьора Дирче нахальна до смешного: например, чтобы обмахнуть пыль с клавиатуры селектора и обтереть ручки ящиков, она садится в директорское кресло и, орудуя тряпкой, принимает озабоченный вид обремененного важными делами начальника. Зато его мать и тут остается деревенщиной, и, глядя, как она вытирает арифмометры, невольно представляешь ее в хлеву, ухаживающей за коровами.

Чем дальше уходит от них Паолино, чем больше он углубляется в лабиринт служебных помещений, тем беспредельнее становится прямоугольный мир, который открывается перед его слипающимися от сна глазами. Ему очень нравится представлять себя маленьким, как муравей, почти невидимым существом, ползущим по гладкой, застланной линолеумом пустыне между отвесными склонами блестящих

лакированных гор под белым плоским небом. Но тут ему вдруг делается страшно, и, чтобы подбодрить себя, он принимается искать вокруг пестрые следы, которые оставляет человек. Вот на одном столе — конечно, какой-нибудь секретарши — под стеклом фотография Марлона Брандо*; на подоконнике у другой служащей — вазон с луковичками нарциссов; из мусорной корзинки торчит иллюстрированный журнал, в другой корзинке — листочек из блокнота с нарисованными карандашом фигурками; высокий табурет машинистки пахнет фиалками; в пепельнице валяются гофрированные стаканчики из толстой фольги: в таких стаканчиках лежат в коробке шоколадные конфеты с ликером. Ну вот, можно уже не заниматься пустяками, страх перед этой прямоугольной пустыней прошел, и теперь Паолино охватывает что-то вроде стыда за свою трусость — ведь как раз то, что больше всего его страшит, он хочет и должен освоить.

В одном зале видимо-невидимо машин. Сейчас они стоят, но однажды Паолино видел, как они работают. Непрерывно гудя, они выбрасывали и сверху и снизу плотные карточки, пробитые дырочками, словно надкрылья у жуков. Тогда еще управлявший этими машинами дяденька в белом докторском халате остановился и поговорил с Паолино.

— Придет такое время, — сказал он, — когда вот так будут работать все учреждения. Тогда никто не будет нужен, даже я.

Паолино немедленно бежит к синьоре Дирче.

— Вы знаете, что вырабатывают эти машины? — спрашивает он, втайне надеясь посадить ее в лужу, потому что в тот раз мужчина в белом халате объяснил ему, что эти машины ничего не производят, а только руководят всеми



* Марлон Брандо — современный американский киноактер.

делами фирмы — проверяют счета, знают обо всем, что случилось раньше и что еще случится.

— Какие, вон те? — говорит синьора Дирче. — Те машины ни на что не годятся, от мышеловки и то больше проку. Это я вам говорю. Хотите знать, почему они тут стоят? Агент по продаже этих машин — зять коммендаторе* Пистанья, так тот и распорядился, чтобы фирма их купила. Именно так...

Паолино пожимает плечами. Теперь он еще раз убедился, что синьора Дирче ничего не понимает. Она даже не подозревает, что эти машины знают все, что было и что будет, и сделают так, что учреждения будут работать сами по себе, безлюдные и пустынные, как сейчас, ночью. И вот волоча за собой мешок с бумагой, Паолино старается представить себе, как это будет. Ему хочется забраться куда-нибудь подальше от матери и синьоры Дирче и хорошенько подумать над этим, но что-то мешает ему, словно здесь есть еще кто-то, назойливый и ненужный. Но что там?

Не успевает он приоткрыть дверь в следующую комнату, чтобы опорожнить там мусорные корзинки, как слышится испуганное «ах!». Служащий и машинистка, засидевшиеся за сверхурочной работой, видят, как в щель между дверью и притолокой просовывается хохлатая макушка, похожая на ошетинившегося дикобраза. Вслед за этим появляется мальчуган в фуфайке в красную и зеленую полосу, который волочит за собой огромный мешок. Паолино с горечью убеждается, что если здесь и есть кто-то назойливый и ненужный, так это он.

Что касается служащих, то они, кажется, на своем месте в этой обстановке. Он диктует ей цифры, которые она быстро печатает на машинке. Паолино останавливается и смотрит на них. Она рыжая, в очках, у него блестящие от бриллиантина волосы. Диктуя, служащий все время порывается шагать по комнате, но для этого ему приходится лавировать в лабиринте узких, изломанных под прямым углом проходов между столами. Он подходит к синьорине, отходит от нее; цифры сыплются, как сухой град; клавиши поднимают и опускают молоточки машинки; пальцы служащего нервно тро-

* Коммендаторе — официальное звание, присваиваемое крупным чиновникам, коммерсантам при награждении орденом.

гают дужки настольного календаря, сетчатые корзинки для бланков, трубчатые спинки стульев; и каждая вещь, к которой они прикасаются, — железная. Вдруг синьорина ошибается. На несколько секунд она останавливается, передвигает валик и начинает стирать написанное. И за эти несколько секунд все смягчается, становится почти ласковым. Служащий тихо повторяет цифру, кладет руку на спинку ее табурета; синьорина выгибает спину, пока она не касается его руки, их взгляды словно оттаивают, становятся не такими напряженно-внимательными и на какое-то мгновение встречаются. Но ошибка уже стерта; она принимается колотить по клавишам, он — сыпать цифрами, как из пулемета; они снова далеки друг от друга, и все идет, как прежде.

Паолино нужно взять корзину, и, чтобы придать себе важности, он начинает насвистывать. Оба прерывают работу, поднимают на него глаза. Паолино показывает на корзину.

— Бери, бери, пожалуйста.

Паолино подходит к столу. Его губы еще сложены трубочкой, но из них не вылетает ни звука. Пока он берет корзинку, они оба вынуждены прервать работу, и во время этого перерыва они снова приближаются друг к другу, их руки касаются, взгляды уже не блуждают по сторонам, а притягиваются друг к другу и встречаются. Паолино медленно открывает мешок. Юноша и девушка готовы улыбнуться. Паолино резким движением переворачивает корзину и хлопает рукой по дну, чтобы из нее высыпались все бумажки. Служащий и синьорина уже снова с остервенением взялись за работу — он быстро-быстро диктует, она склоняется над машинкой так низко, что рыжие волосы падают ей на лицо.

— Паолино! Паолино! Иди поддержи мне лестницу!

Мать Паолино стоит на стремянке и протирает стекла. Паолино идет держать лестницу. Обмотав щетку мокрой тряпкой, синьора Дирче протирает пол и в который уже раз жалуеться на отсутствие ковриков для ног.

— Такая богатая фирма! — говорит она. — Ну что им стоит купить четыре половика? А то каждый, какая есть грязь, всю в комнату тащит... Куда там! Все на нас выезжают. Хоть ты сдохни тут, а чтобы пол блестел...

— Э, погодите, синьора Дирче, вот в субботу мы его навошим, и он так заблестит!.. — говорит синьора Пенсотти.

— О, я ни капельки не в обиде на кавалере Уджеро, знаете, синьора Пенсотти, это все коммендаторе Пистанья. Скажу вам по секрету, он...

Паолино не слушает ее. Он думает о юноше и синьорине, которые сейчас сидят там, в другой комнате. Когда мужчины и женщины остаются вечером на сверхурочную работу, то сразу возникает такая атмосфера, словно их подвергают необычному испытанию. Работают они, можно сказать, на совесть, но во всем, что они делают, чувствуется какая-то скрытая натянутость. Паолино не сумел бы сказать об этом словами, но то неуловимое, что он подметил в глазах юноши и девушки, толкает его пойти и посмотреть на них еще раз.

— Держи как следует лестницу! Ты что, заснул? Уронить меня хочешь?

Паолино рассматривает графики, висящие на стене. Вверх, вниз, вверх, вверх, немного вниз, снова вверх. Что они показывают? Может быть, это можно прочесть насвистывая? Взять ноту выше, еще выше, потом низкую ноту, потом опять высокую, длинную-длинную. Он пробует просвистеть один график: «Фи-фии-фи-фи-фиии...», потом другой, потом еще один. Получается красивый мотивчик.

— Что ты рассвистелся? Обалдел? — кричит мать. — Получишь затрещину, будешь знать!..

Паолино берет мусорное ведро и идет вытрясать пепельницы. Он снова подходит к комнате, где сидят эти двое. Машинка больше не стрекочет. Неужели ушли? Паолино заглядывает в комнату. Синьорина встала. Она протягивает к набриллиантенному юноше полусогнутую руку с острыми наманикюренными ногтями, будто готовится поцарапать его, он тоже тянет к ней руку, словно хочет схватить за горло. Они уже в пальто. Паолино начинает насвистывать, и у него опять получается тот мотив, что он только что придумал. Оба отдергивают руки. Теперь они чинно стоят рядом и рассматривают бумаги, которые остались на завтра.

— Я пепельницы... — бормочет Паолино.

Но они не обращают на него внимания, складывают бумаги и уходят. В конце коридора он берет ее под руку.

Паолино жалко, что они ушли. Теперь уже совсем никого не осталось. Слышится только жужжание электрополотера и голос его матери. Паолино проходит через зал заседаний правления фирмы. Здесь стоит окруженный кожаными крес-

лами стол красного дерева, такой блестящий, что в него можно смотреться, как в зеркало. Ох, как бы ему хотелось разбежаться, рыбкой броситься на этот стол, проехаться на животе из конца в конец, плюхнуться в кресло и заснуть! Но он только проводит пальцем по полированной крышке и смотрит, как появляется влажная полоска, похожая на след за кормой парохода. Потом он стирает ее рукавом фуфайки.

Огромное помещение бухгалтерии разгорожено на множество кабинок. Откуда-то из самой глубины доносится шелканье. Должно быть, там тоже кто-то засиделся за сверхурочной работой. Паолино ходит из одной кабинки в другую, но все они одинаковые, он путается, как в лабиринте, а шелканье каждый раз слышится откуда-то из другого места. Наконец в последней кабинке он находит склонившегося над старым сумматором бухгалтера в джемпере, с зеленым целлулоидным козырьком, который, кажется, делит пополам его лысый продолговатый череп. Ударяя по клавишам сумматора, бухгалтер вскидывает вверх локти, как птица, собирающаяся взлететь. Да и весь он похож на большую птицу, присевшую отдохнуть, а его зеленый козырек торчит вперед, словно клюв. Паолино нужно вытрясти пепельницу. Он протягивает к ней руку, но в этот момент бухгалтер кладет на край пепельницы дымящуюся сигарету.

— Привет! — говорит бухгалтер.

— Добрый вечер, — отвечает Паолино.

— Что ты тут делаешь в такое время?

У бухгалтера длинное белое лицо, обтянутое сухой, как пергамент, кожей. Кажется, будто он никогда не видел солнца.

— Вытрясаю пепельницы.

— Ночью дети должны спать.

— Я с мамой. Мы убираем. А сейчас только начали.

— И до каких же пор вы здесь возитесь?

— До пол-одиннадцатого, до одиннадцати. А иногда работаем сверхурочно, по утрам.

— Значит, у вас наоборот. Мы делаем сверхурочную по вечерам, а вы по утрам?

— Угу. Но мы редко так работаем. Раз в неделю, а иногда два. Когда надо натирать полы.

— А я вот каждый день. Каждый день до поздней ночи. И, наверно, никогда не кончу.



- А что вы делаете?
- Сверяю счета.
- И не сходятся?
- Никогда.

Бухгалтер сидит неподвижно, не выпуская ручки сумматора, уставившись на узкую бумажную ленту, которая, извиваясь, спускается до самого пола, и, кажется, чего-то ждет от бесконечного ряда цифр, которые поднимаются над валиком, как ниточка дыма от сигареты, крепко зажатой у него между зубами. Эта тоненькая прямая струйка поднимается вверх мимо его правого глаза, наталкивается на козырек, расползается под ним, переливается через край, тянется выше, к шарiku лампы, и клубится под абажуром.

«Сейчас вот я ему и скажу об этом», — думает Паолино и спрашивает:

— Но разве нет... извините, разве нет электронных машин, которые все сами считают?

Бухгалтер прищуривает глаз, в который попал дым.

— Все они неточные, — говорит он.

Паолино кладет тряпку, ставит на пол ведро и облакачивается на стол бухгалтера.

— Как, машины неточные?

Бухгалтер отрицательно качает своим козырьком.

— Нет, счета. С самого начала они были неточные, ошиблись давно, в самом начале.

Он встает со стула. Его джемпер намного короче, чем нужно, рубашка выбилась из-под него и торчит пузырем вокруг пояса. Он снимает со спинки стула пиджак, надевает его.

— Идем со мной.

Мальчик и старик идут через кабинки. У бухгалтера такой широкий шаг, что Паолино приходится трусить за ним рысью. Они проходят весь коридор. В конце его занавеска. Бухгалтер раздвигает ее. За занавеской винтовая лестница, ведущая вниз. Там темно, но бухгалтер знает, где выключатель. Он поворачивает его, и под лестницей вспыхивает тусклая лампочка. Вслед за бухгалтером Паолино спускается по винтовой лестнице в подвалы фирмы. В подвале — низенькая дверца, на ней — огромный засов с замком. Бухгалтер вытаскивает ключ, отпирает ее. Внутри, как видно, нет электрической проводки, потому что он чиркает спичкой, уверенно протягивает руку, нащупывает свечу и зажигает ее. В полумраке Паолино трудно рассмотреть комнату, но он чувствует, что она очень тесная, что-то вроде маленького чуланчика. Вокруг по стенам до самого потолка — стеллажи, заваленные папками, конторскими книгами, пыльными связками бумаг. Паолино уверен, что плесенью несет именно от них.

— Здесь все старые грессбухи фирмы, — говорит бухгалтер, — за сто лет ее существования.

На старомодную конторку с покатою крышкой он кладет узкую длинную тетрадь, взбирается на высокий табурет и, открыв этот необычный грессбух, говорит:

— Видишь? Это почерк Аннибале де Канис, первого бухгалтера фирмы, самого аккуратного бухгалтера на свете. Смотри, как он вел реестры.

Паолино бросает взгляд на колонки цифр, выписанных красивым продолговатым почерком с маленькими завитушками.

— Я показываю это только тебе, другие не поймут. А кто-то это должен видеть, я уже стар.

— Да, синьор бухгалтер, — чуть слышно лепечет Паолино.

— Не было больше такого бухгалтера, как Аннибале де Канис! — продолжает старик с зеленым козырьком.

Он двигает свечку, слабый огонек озаряет портрет, вися-

щий над стеллажами рядом со шербатыми счетами. На портрете старый господин с усами и бородкой клинышком стоит в картинной позе рядом с большим волкодавом.

— Но даже этот непогрешимый человек, даже этот гений... Смотри, шестнадцатого ноября тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года...

Он торопливо листает страницы книги и открывает ее на том месте, где для памяти заложено высохшее гусиное перо.

—... вот! Здесь он допустил грубую ошибку, ошибся в итоге на четыреста десять лир.

В конце страницы стоит сумма, очерченная расплывшейся от времени красной чертой.

— Никто этого не заметил. Только я, я один знаю об этом, и ты первый человек, которому я обо всем рассказываю. Держи это про себя и не забывай. А впрочем, если ты даже разболтаешь... ты ребенок, никто тебе не поверит. Ну, теперь ты видишь, что все неверно? За столько лет эта ошибка в четыреста десять лир, знаешь, в какую сумму она превратилась? Миллиарды! Миллиарды! Здесь хватит работы и разным вычислительным машинам, и кибернетическим устройствам, и всяким другим штукам. Ошибка в самом начале, в основе всех их счетов, и она все растет, растет, растет!

Они снова заперли дверь, поднялись по винтовой лестнице, прошли по коридору.

— Фирма стала огромной, крупнейшей. Тысячи акционеров, сотни дочерних фирм. Заграничные филиалы без счету. И все они перемалывают ошибочные суммы, сплошь ошибочные! Во всех их счетах нет ни одной правильной цифры. Жизнь половины города построена на этих ошибках! Да что я говорю, половины города? Половины страны! А экспорт, а импорт? Все неверно! Весь мир вертится вокруг этой ошибки, единственной ошибки, которую за всю свою жизнь допустил бухгалтер де Канис, этот виртуоз, этот гигант бухгалтерского дела, этот гений!

Он направляется к вешалке, надевает пальто. Без зеленого козырька его лицо становится еще более бледным и грустным, чем раньше, потом оно снова скрывается в тени надвинутой на глаза шляпы.

— И знаешь, что я тебе скажу? — понизив голос, говорит бухгалтер. — Я уверен, что он сделал эту ошибку на-роч-но!

Он выпрямляется, засовывает руки в карманы.

— Мы друг друга не видели и не знаем! — говорит он сквозь зубы, поворачивается и направляется к выходу, громко напевая: «Сердце красавицы...» Он старается шагать как можно величественнее, поэтому идет нахохлившись и как-то неестественно скобочившись.

Звонит телефон.

— Алло! Алло! — раздается голос синьоры Дирче.

Паолино бежит туда.

— Да, да, фирма «Сбав». Как вы говорите? Как? До Бразил? Смотрите-ка, звонят из Бразилии. Да, да. Чего? Чего вы хотите-то? Не понимаю... Синьора Пенсотти, идите сюда. Тут по-бразильски говорят, хотите тоже немножко послушать?

Звонит, как видно, с другого конца света какой-то клиент, который запутался, высчитывая разницу во времени.

Мать Паолино выхватывает трубку из рук синьоры Дирче.

— Здесь никого нет, нет никого, понимаете? — кричит она во весь голос. — Позвоните завтра утром! Здесь только мы, убо-о-о-рщицы, понимаете, убо-о-о-рщицы!

НИКТО ИЗ ЛЮДЕЙ НЕ УЗНАЛ

С первыми проблесками зари пастухи были уже в дороге. Они видели, как из долины поднимается туман, открывая сперва маленькое пятнышко озера, потом противоположный склон и приютившуюся на нем хижину охотников с наглухо закрытыми окнами. Казалось, что охотники каждую ночь баррикадируют их изнутри, опасаясь, как они говорили, сырости, которую несло с озера, и воров. Последнее было намерком на пастухов, и они это знали.

Скоро над охотничьей хижинкой появился жиденский столбик дыма, тянувшийся к небу. Первыми на пороге показались женщины. Они вышли только для того, чтобы наломать сушняку для печки, но на их головах уже красовались широкополые соломенные шляпы, которые они носили, чтобы защититься от полуденного солнца. Потом можно было услышать, как просыпаются собаки, вслед за этим в дверях появился синьор Цауди. Засунув руки в карманы, он посмотрел на небо, сплунул и вернулся в теплую хижину. Младшая Аирольди, подняв голову от керосинки, которую она чистила,

увидела пастухов, стоявших на противоположном склоне и глазевших на хижину, и, тронув мать за руку, показала на них пальцем. Тогда пастухи повернулись и двинулись следом за своими овцами.

Брат Аирольди, доктор, появился в дверях последним. Зато он был уже совершенно готов и мог хоть сейчас отправ-

ляться в дорогу. Он все делал сам, потому что он один был без жены, однако управлялся быстрее остальных. Спал он полуодетым, закутавшись в одеяло, утром готовил себе на скорую руку бутерброды с сыром, пил кофе с молоком прямо с огня и, вооружившись ружьем, вычищенным и приготовленным еще с вечера, выходил из хижины. Сняв очки, он некоторое время близоручко оглядывался вокруг, словно пытался на вкус определить, который час и какая на дворе погода, потом уселся на камень и в ожидании остальных принялся протирать стекла очков. В хижине ворчали и позвякивали ошейниками собаки: следя за приготовлениями людей и догадываясь, что те собираются на охоту за сернами, они волновались, опасаясь, что им придется весь день просидеть на цепи.

Места, где обитали серны, лежали высоко над долиной, в которой стояла хижина охотников, выше горных пастбищ, куда пастухи гоняли свои отары. Целыми стадами, похожими издали на черные пятна, они носились по крутым сыпучим откосам или, собрав-



шись большими семьями, лежали, греясь на солнышке и дружно, как по команде, поворачивая свои высоко поднятые головы. В те годы в горах водилось множество серн. По утрам они спускались к камням, на которых пастухи рассыпали соль для скота. Возле этих камней их легко было скрадывать.

В сентябре, как только начинались ветры, пастухи купали своих овец в озере и перегоняли их в долину. Сентябрь уже наступил, и на перебранки у них было не слишком много времени. В прежние годы до начала сентябрьских ветров они по приглашению охотников частенько участвовали вместе с ними в облавах. Так было и в этом году, пока не случилась вся эта история.

С этого времени отношения между охотниками и пастухами день ото дня становились все напряженнее, и младшая Аирольди, разбуженная среди ночи топотом отары, которую гнали мимо хижины, забивалась поглубже в кровать, на которой спала вместе с матерью. Теперь по вечерам приходилось глядеть в оба и ничего не оставлять на улице.

Все началось с того, что как-то на подоконнике забыли головку сыра, и она исчезла. Вечером, когда пастухи, возвращаясь с пастбища, как ни в чем не бывало проходили мимо хижины, старший из братьев Аирольди принял громким голосом выкрикивать угрозы неизвестным вора.

Через несколько дней пропал забытый на крыльце патронташ синьора Бонвичино. По поводу этой пропажи тоже было много крика, но прямо обвинить пастухов никто не решался. Поэтому сейчас синьор Бонвичино шагал, прицепив к поясу вместо патронташа хозяйственную сумку, которая болталась у него на животе. За Бонвичино следовал синьор Цауди, который лицом очень смахивал на куницу и был намного ниже своего ружья. Шествие замыкал старший Аирольди, на чем свет стоит честивший собак, которые, увидев, что он уходит без них, подняли лай в тот самый момент, когда, стоя на пороге, он давал женщинам указания насчет обеда и выслушивал их наставления насчет потной спины и холодного ветра. Охотники, поднявшись вверх по тропинке, вскоре скрылись из глаз, а женщины остались возле дома, в своих огромных шляпах, надетых, несмотря на холод и полумрак. Впереди их ждали долгие часы одиночества и грязные — уже грязные! — чашки, которые предстояло перемыть.

Чтобы добраться до мест, где водились серны, охотникам приходилось делать порядочный конец. Доктор Аирольди, который всегда ухитрялся сохранять свой широченный шаг,ставлял всех далеко позади. Он был нем как рыба и весь превращался в нюх, словно бежал по горячему следу. А вот синьору Бонвичино очень скоро надоедало идти, он все время норовил свернуть в сторону, блуждал по кустам, вглядывался в кроны деревьев и иногда, не успев отойти от хижины, открывал пальбу, соблазненный каким-нибудь дроздом или сойкой. После этого приятели дружно набрасывались на него с руганью, особенно возмущался врач, который на охоте был дисциплинированнее всех. Подумать только, поднять стрельбу, переполошить всех зверей в горах — и все из-за какой-то пичуги! Теперь с Бонвичино уже не спускали глаз, особенно когда он, сойдя с тропинки и пробираясь напрямик, вдруг начинал озираться по сторонам и запускал руку в свою сумку за патроном, заряженным дробью.

По дороге обсуждали план охоты, но и тут не обходилось без ссор. Дело в том, что Аирольди-старший вечно что-нибудь придумывал и требовал, чтобы все делали то, что он хочет: одним он приказывал стоять здесь, другим — стрелять оттуда, потом все менял и, если что-нибудь не клеилось, принимался ругать приятелей за то, что те не послушались его советов. Всегда выходило так, что другие хотели охотиться иначе, чем он. Каждому хотелось занять место поудобнее и подбираться к животным такими тропинками, чтобы не обнаружить себя раньше времени, подпустить серн на расстояние выстрела и, таким образом, иметь больше шансов не промахнуться. Но Аирольди приводил всевозможные доводы и добивался того, что часть охотников шла в одну сторону вспугивать животных, часть загораживала им путь с другой стороны, а сам он, оставшись один на один с целым стадом бегущих серн, которых гнали его товарищи, получал полную возможность показать свою удаль, прыгая вверх и вниз по скалам и наполняя ущелья эхом своих выстрелов.

Пока они охотились вместе с пастухами или горцами из соседней деревни, Аирольди еще можно было кое-как урезонить, отчасти из-за того, что местные жители знали окрестности лучше его, отчасти же просто потому, что он стеснялся устраивать скандалы при посторонних. Но если он шел на охоту с друзьями или вдвоем с каким-нибудь лесным объ-

ездчиком или сержантом таможенной стражи — иными словами, человеком неопытным, горе-охотником, ни единого утра не обходилось без ссор.

Меньше других выходил из себя Цауди, человечек с физиономией куницы, коммерсант, торгующий сельскохозяйственными машинами. Когда становилось ясно, что из-за пререканий с Аирольди охота на серн расстраивается, он командовал себе: «Кругом!», шел домой за своей собакой, и оба, человек и собака, очень довольные друг другом, отправлялись за зайцами. Здесь, в горах, водились зайцы-беляки, но в это время года они были еще серыми, так как зайцы белеют только в пору снегопадов. Преследуемый собакой, беляк забивается в какую-нибудь нору. Синьор Цауди выкуривал его оттуда целыми часами, и все же каждый раз, когда он возвращался домой, в сетке его ягдташа болтался заяц, доставаемый ушами до самой земли.

Но в то утро Аирольди-старший сам покинул друзей. Вместо того чтобы, как обычно, обойти одно за другим все ущелья по дороге, пролежавшей посередине склона, он предложил подняться на вершину Шапле и, спускаясь оттуда веером, обследовать сразу всю гору. Эта идея так крепко засела у него в голове, что выбить ее оттуда не было никакой возможности. Внезапно его брат, доктор, который за все время спора не проронил ни слова и шагал впереди всех, выбирая кратчайшую дорогу, остановился у скалы, возвышавшейся над тропинкой, и, обернувшись назад, сорвал с себя шарф, в который был закутан до самого носа.

— Нет, нет и еще раз нет! — крикнул он, швыряя шарф на землю. — Мы пойдем той дорогой, какой ходим всегда. Если тебе это подходит — хорошо. Не подходит — отправляйся на Шапле, к богу в рай, куда хочешь, и довольно об этом!

— Да, я поднимусь на Шапле, — отвечал Аирольди-старший, заливаясь краской. — Поднимусь и настреляю столько серн, что охоту на них закроют до конца года!

— У-у-у! — раздался вдруг чей-то голос.

Охотники подняли глаза и увидели стадо, ползущее, словно длинное серое облако, по зелени луга, а немного выше — пастухов, которые неподвижно стояли, опираясь на свои высокие посохи и надвинув на глаза широкополые шляпы. Аирольди-старший пошел охотиться один. Тяжело ступая, он начал быстро взбираться по крутому склону. Почти все,

что Аирольди знал о горах и повадках серн, ему рассказали пастухи. На охоту они ходили с винтовками образца 91-го года, сохранившимися у них с войны, да и стрелять они были не горазды. Зато все, что касалось животных и окрестных гор, они знали досконально. Можно сказать, именно они и руководили всей охотой.

Вот и сейчас стадо серн — шестьдесят голов, не меньше — пригнали сюда пастухи, и для этого им пришлось сделать здоровый крюк по склонам с французской стороны. Ясно, что у них были основания обижаться на охотников за ту роль, которую отвел им Аирольди-старший.

Не переставая злиться, Аирольди в одиночестве поднимался крутой тропинкой, которая вилась по гребню горы. Вдруг кровь снова закипела в нем: стуча по камням своими раздвоенными копытцами, серны устремились в ущелье, лежащее гораздо ниже того места, где стоял охотник. Неожиданно все стадо разом остановилось. Застыли тонкие, как струнки, ноги, тесно прижатые друг к другу спины, изогнутые рога. Но даже в их неподвижности жил отзвук стремительного бега, угадывавшийся в частом дыхании и в напряженно остановившемся взгляде. Но вот грянули выстрелы охотников, и животные огромными прыжками ринулись вниз, к горному ручью, за которым виднелся лес. Некоторые из них, сраженные на бегу пульей, тяжело падали на камни. Но тут от противоположного склона донеслось эхо, такое отчетливое, что можно было расслышать каждый выстрел. Серны, которые были уже почти у леса, испуганные эхом, круто повернули назад и с такой же стремительностью, с какой спускались под уклон, полетели вверх по склону прямо на охотников, которые снова выстрелили, уложив большую часть стада.

Поздно вечером все обитатели хижины при свете факелов хлопотали вокруг животных, которые лежали на земле, вытянув свои длинные сухие ноги. Охотники делили добычу. Большую часть они оставили для себя, остальное предназначалось местным жителям — пастухам и таможенной страже, смотревшей сквозь пальцы на невольные нарушения границы. Синьора Цауди и синьора Бонвичино руками, пропахшими кровью, нарезали для собак внутренности убитых животных. Неожиданно Аирольди-старший воскликнул:

— Подумаешь! Кто они такие, эти пастухи? Вот их доля.

И он указал на самого старого из убитых козлов, плешивого, покрытого паршой, — словом, самую настоящую падаль. Остальные усомнились в справедливости его решения, но на этот раз промолчали. Аирольди опустился на колени, собираясь вырезать окорок у серны, как вдруг у самых его ног, едва не придавив его, тяжело грохнулась туша того самого паршивого козла, которого он предложил отдать пастухам. Козел упал на спину, словно кто-то, раскачав его за ноги, с силой метнул в синьора Аирольди. Было ясно, что сделать это можно только вдвоем. Обернувшись, все увидели накидки пастухов, которые тут же исчезли в темноте.

Так началась эта ссора. А через несколько дней в деревенском кабаке, судя по всему, произошло нечто серьезное. Случилось это в воскресенье вечером, когда самый молодой из пастухов спустился в долину за покупками. Перед этим Аирольди-старший зачастил по вечерам в деревню. Потихоньку от своих товарищей и женщин он удирает из хижины и делает порядочный конец пешком только для того, чтобы пропустить стаканчик и похвастаться перед солдатами, женщинами и рабочими, возводившими дамбу. Он ходил до тех пор, пока не случилась эта история с молодым пастухом: тогда дело не обошлось без кулаков и разбитых бутылок.

А на следующий день старый пастух заметил у загона принадлежащую братьям Аирольди собаку по кличке Чилин и своего сына, который подзывал ее, причмокивая языком и протягивая ей какую-то еду. Потом старик увидел, что собака что-то съела.

— Ты что, с ума сошел? — крикнул он сыну. — Знаешь, что нам за это будет? Они же все пастбища отравят!

Завернув в одеяло собаку, у которой уже начиналась рвота, он на руках отнес ее в хижину охотников и сказал им, что пес съел отравленную приманку для мышей. Доктору Аирольди удалось спасти собаку. Что касается его брата, то он счел этот случай предупреждением.

С этого дня охотники перестали даже здороваться с пастухами и ходили охотиться одни, тем более что теперь они уже знали, где водятся серны. Во всяком случае, Аирольди-старший был уверен в себе и полагал, что знает абсолютно все. В это утро, спускаясь с Шапле, запыхавшийся Аирольди



разглядел в глубине долины десяток настороженных серн. Воздух был прозрачен, и охотник видел их совершенно отчетливо. Не растерявшись, он сразу отступил назад, решив испытать один прием, о котором не раз слышал от пастухов. Он выбрал длинный прямой шест, укрепил на нем свой плащ, сверху повесил шляпу и установил его на самом виду, на гребне между камней. Серны тревожно замерли и, приподняв переднюю ногу, повернули головы в сторону внезапно возникшего наверху темного предмета, ожидая, что он вот-вот двинется на них. А охотник в это время уже бежал по тропинке, спускавшейся в соседнюю долину, ниже того места, где стояли серны.

С помощью этой уловки он скоро оказался в тылу стада и незаметно подобрался к нему так близко, что мог стрелять, не опасаясь промахнуться. Выстрелив дуплетом, он свалил одну серну, но из второго ствола дал промах. Однако ему удалось быстро перезарядить ружье, ранить еще одну серну, которая с громким блеянием заковыляла вниз, а затем, прежде чем стадо успело скрыться из виду, уложить и третью.

Он оставил всех трех животных лежать на камнях и побежал за подкреплением, окрыленный необычайной удачей, готовый кричать о ней хотя бы этим безлюдным ущельям.

Добравшись до пастбища, Аирольди увидел стадо и одинокую фигуру пастуха. Забыв обо всем, одержимый лишь желанием похвастаться, он крикнул:

— Троих уложил! Три козла, здоровенные — во! Один скрылся! У Черной Скалы. Бегите за подмогой, иначе не дотащим!

Пастух глядел куда-то в сторону и, казалось, тихо разговаривал со своей собакой. Аирольди, пытаясь, бежал к нему.

— Хотите подработать? — проговорил он, отдуваясь. —



Захватите шести и веревки, отправляйтесь к Черной Скале и перенесите к нашему дому трех серн.

— Я тут один, — возразил пастух, — и должен присматривать за овцами. Позовите других.

— А где остальные?

— Они-то? Они внизу, у сгоревшей хижины. Дрова собирают.

Распугивая по дороге овец, Айрольди прямо через пастбище помчался вниз по склону. Через четверть часа он уже стоял около сгоревшей хижины, но тут не было ни души. Тогда он побежал назад, вверх по склону. Наконец вдали показалась отара и пастухи, которых теперь было уже двое.

— Эй! — крикнул Айрольди. — Там никого нет!

Ему что-то ответили, но он не понял ни слова.

— А товарищи мои в какую сторону пошли? — снова закричал он.

Пастухи промычали что-то вроде «туда! туда!» и, подняв свои посохи, указали куда-то вниз.

Айрольди пробежал полдня. Когда же под вечер он вместе с товарищами и группой местных жителей вернулся на то место, где застрелил своих серн, то ему пришлось кружить еще не меньше часа только затем, чтобы убедиться, что это именно то самое место, а заодно и в том, что его добыча исчезла. Потом ему удалось отыскать клочки шерсти и следы крови. Только после этого все, наконец, поверили, что три серны не были плодом его фантазии.

У лесных объездчиков и в казарме таможенной стражи он в конце концов перессорился со всеми, так как хотел, чтобы с ним сию же минуту пошли к загону пастухов, захватили их с поличным и арестовали.

— Это еще неизвестно, где сейчас ваши серны, — ответил

ему сержант. — Разве их найдешь в этих лесах? Да и пастухи по ночам не сидят на месте.

— Я тоже могу ночью не сидеть на месте! — бросил Аирольди и вышел из таможни.

С наступлением темноты он привязал собак и, сунув в ягдташ мешочек с мышьяком, вышел из хижины. При свете луны он всю ночь бродил по пастбищам и, широко размахивая рукой, раскидывал что-то по земле.

На следующее утро он первым вышел из дому. Дождя не было; по траве шел след. Со стороны загона никто не показывался. Позже мимо хижины прошел старый пастух.

— Не поздно вы сегодня выгоняете-то? — поинтересовался Аирольди.

Старик махнул рукой в сторону долины.

— Нынче мы не пасем, — ответил он. — Вымыли овец в озере и теперь пойдем вниз.

По тропинке с бляньем тянулись овцы, дрожащие от холода и белые как снег.

Из-за скалы, как раз над тропинкой, выглянула маленькая серна, как видно, отбившаяся от стада, которое Аирольди распугал накануне у Черной Скалы. Она посмотрела на озеро, на овец, на хижину охотников, над которой поднимался столбик дыма, на младшую Аирольди, развешивавшую белье, на ее отца, стоявшего на пороге, на медленно удалявшегося пастуха и, рассмотрев все как следует, исчезла. И о том, что здесь произошло, не узнал ни один из людей.

СИНЬОРА ПАУЛАТИМ

Через каждые шестьдесят секунд напряженно замершие черные стрелки всех городских часов комариным скачком разом перепрыгивают на следующую минуту. Хоп! Квадратные глаза часов с бегущими цифрами быстро опускают веки, а внизу загорается следующая цифра. Хоп! Размеренно и внезапно, словно икота, вспыхивает зеленый сигнал светофора, и десятки подошв нажимают на стартеры. Хоп! К островкам остановок причаливают площадки трамваев, и подножка у двери отбивает столько коротких металлических ударов, сколько ног обрушивается на нее сверху. Хоп! Хоп! Хоп!

Крутятся вращающиеся двери банков, и из стеклянных створок аквариума бесконечной каруселью выплывают рыбы в шляпах и пальто. Вода еще размывает выплеснутую в раковину коричневую кашичу нерастаявшего сахара, а войско чашечек уже марширует под дымящимися клювами кофейных автоматов и снова выстраивается на блестящем гласисе стойки. Пока автомобили направляют свои морды к ближайшему светофору, следующий светофор уже меняет красный на зеленый, и тот, что за ним, —



тоже, и так один за другим, вплоть до последнего, в самом конце улицы, куда никому не удастся добраться прежде, чем при новой вспышке красного не прокатится по всей колонне судорога, заставляя подошвы прижимать до отказа тормозные педали. Солнечные лучи рассекают пыльный воздух и режут улицу на ломти. Синьора Паулатим выходит из машины перед «Фармацевтическим производством Паулатим С. А.».

Фуражка шофера взлетает над крышей автомобиля.

— Прикажете подождать, синьора Паулатим?

— Да, Аттилио... Спасибо, Аттилио.

В стеклах входной двери отражение тротуара склоняется все ниже, освобождая место отражениям киоска и бензоколонки. Подошвы под столиком швейцара, торчащие почти вертикально, опускаются и становятся на пол.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро, Констанцо!

Посыльный кидается отворять стеклянную дверь парадной лестницы.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

Но она, бросив: «Доброе утро!», толкает дверь, ведущую во двор. Дверь на пружине. Пружина натягивается, как лук, и выбрасывает синьору Паулатим на свет, в шум. Она, как всегда, избегает заходить в залы и салоны магазина и в помещения дирекции, бархатящиеся коврами и поблескиваю-

щие в полумраке полированным красным деревом и майоликой, предпочитая пройти по работающим цехам.

По воздуху, направляясь к грузовику, плывут ящики. Под ящиками — полусогнутые в коленях ноги в поношенных брюках. Ноги спешат вперед мелкими частыми шажками, чуть ли не бегом. Из темноты гремящего голосами чрева грузовика высовываются огромные голые руки.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Ящики нагибаются, словно кланяясь, но в то же время удобнее устраиваются на неустойчивых ногах, которые, семеня, бегут дальше.

— ...утро... ньора Паулатим!

— Доброе утро!

Стекла склада дробят уличный свет и трясутся от грохота молотков. Шляпки гвоздей, кончики пальцев, молотки порхают в воздухе, встречаясь над краями ящиков.

— Пам! Пам! Пам! Доброе утро... Пам! Синьо... Пам! Пам!.. латим! Пам!

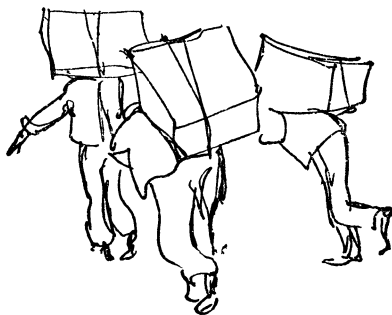
— Доброе утро!

До цеха упаковки пакеты скачут по воздуху. Каждый прыжок — маленькая парабола, из одних рук — в другие. Каждые руки, как клещи, зажимают пакет и швыряют дальше, словно катапульта.

— Хоп! Доброе утро, синьора Паулатим! Хоп! Доброе утро, синьора! Хоп!

— Доброе утро... Доброе утро.

На столах упаковочного цеха в центре каждого листа



бумаги то и дело вырастает пирамида из двух женских рук и трубочек в картонных футлярах. Раз-два — руки отлетают, и остается ровный куб из коробочек, который по мановению женских рук тотчас же исчезает в пакете. Раз — края бумаги поднимаются, складываются и заклеиваются фабричной маркой «Компрессы Паулатим».

— Доброе утро, синьора Паулатим! Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Белые шапочки склонились над лентой, по которой движутся трубочки, упакованные в картонные футлярчики, трубочки без пробок, трубочки, не выложенные ватой, пустые трубочки, ожидающие свои двенадцать компрессов, трубочки, на которые еще не наклеены этикетки «Паулатим». И по ту и по другую сторону фигуры работниц напряженно-прямы и неподвижны. Только надзирательница расхаживает, наблюдая за каждой бригадой, и только она говорит за всех:

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

У автоклавов, неподвижных, как слоны, и распираемых изнутри какой-то неведомой силой, дрожат только стрелки, трепещущие красными рыбками за стеклянными крышками манометров. Пресс фасовочной машины ударяет, подпрыгивает и снова ударяет по движущейся ленте пасты. До пресса паста ползет сплошной однородной массой, за ним, до конца ленты, где сбрасываются готовые компрессы, — разрезанной на кружочки. Тончайшая пыль отсасывается и уносится прочь, и все же в воздухе постоянно висит удушливое облако — правда, обладающее всеми медицинскими достоинствами компрессов.

— Ауфф! Ауфф! Доброе, утро, синьора... Ауфф!.. Паулатим!

— Добр... ффф...

Пассажирский лифт, поднимаясь, выскакивает на чистый, почти горный воздух.

— Не угодно ли присесть, синьора Паулатим?

— Спасибо.

Под мягкое арпеджио счетных машин развертываются рулончики бумаги, усыпанные созвездиями цифр.

— Доброе утро, синьора Паулатим, доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Под пулеметный треск машинок с валиков ползут листы, чернеющие густыми строчками.

— Доброе утро, синьора Паулатим! Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

За дверью с надписью «Личный секретарь ком. Паулатим» над покинутой пишущей машинкой, словно белый флаг, развевается недописанное письмо.

«Без доклада не входить» поворачивается на девяносто градусов, и синьора Паулатим видит мужа в объятиях секретарши.

— Ах! Негодяй!

— Да нет же! Оттавия! Подожди! Я...

Дверь захлопывается. «Без доклада не входить» срывается с гвоздя и грохается об пол.

Барабанная дробь пишущих и счетных машинок, не умолкая, тянется, словно густая изгородь, непроницаемая для остальных звуков.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Лифт проваливается в свою шахту.

— Уже обратно, синьора Паулатим?

— Всего доброго!

Фасовочная машина неумоимо выбивает компрессы и приступы кашля.

— Ауфф! Всего доброго, синьора Паулатим!.. Ауфф!

Бегут трубочки, лежа, стоя, лежа, стоя.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

С сухим хрустом свертывается бумага пакетов.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Скачут по воздуху пакеты.

— Хоп! Хоп! Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Молотки бомбардируют гвозди.

— Пам! Пам! Всего доброго; синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Ящики семян к грузовику.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Подошвы швейцара от неожиданности не могут принять горизонтального положения и успевают только растерянно качнуться вперед.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Дверца машины уже распахнута.

— Слушаю, синьора Паулатим.

— Домой, быстро!

Светофоры, зеленые и красные, зеленые и красные, бессмысленные обрывки картин, застывших и убегающих, — все теряет и вновь обретает форму вместе с каждой набегающей и соскальзывающей вниз жемчужиной слепой ярости, а дорога бежит, бежит сквозь ломти света и тени, и вот, наконец, литые ворота «Виллы Оттавия» распахиваются после третьего сигнала клаксона.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Шланг на газоне осторожно орошает траву.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Давая дорогу колесам, шарахаются по гравию аллеи грабли.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Вниз с террасы галопируют по коврам выбивалки.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Полумрак вестибюля расчерчен каннелюрами колонн, как красно-белая лакейская ливрея.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Звякает хрусталь на столе, сервируемом горничными.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

Тряпка полойкой протягивает и стирает радужную полосу на мраморе лестницы.

— Доброе утро, синьора Паулатим!

— Доброе утро!

В комнате аккуратное супружеское ложе аккуратно покрыто вышитым покрывалом. Здесь — успокоение.

Ящик тумбочки у кровати, едва выдвинувшись, открывает слоновую кость на рукоятке маленького револьвера. Револьвер переходит в сумочку. Сумочка не закрывается. Револьвер

возвращается в ящик. Снова отправляется в сумочку. Запирается в сумочке.

Из другой комнаты доносятся разыгрываемые на фортепьяно гаммы. У маленького Джанфранко урок музыки. Гаммы на фортепьяно.

Гаммы прерываются на полутакте. Молодой бледный учитель музыки, как на пружине, вскакивает со стульчика.

— О! Доброе утро, синьора Паулатим!

— Привет, мама!

— Пойди поиграй в саду, Джанфранко.

— Ура! До свидания, профессор!

— Э-э... синьора Паулатим... Мы повторяли экзерсисы, синьора Паулатим...

Впалые щеки учителя ни с того, ни с сего заливает краска. Одна клавиша с робкой нервозностью начинает выбивать: «Тлинь, тлинь...»

— Э-э... синьорино делает успе... Что вы сказали? О синьора... Боже, синьора... Почему вы так на меня смо... Как мож...

«Тлинь, тлинь» обрывается.

— Синьора Паулатим! Я... я... Синьора!

Целая группа тяжело придавленных клавишей громко вскрикивает: «Блён-блён-блён!»

— Синьора Паулатим! Оттавия! Я...

Тем временем счетные машины по-прежнему выбивают шестьдесят чисел в минуту.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

Пресс по-прежнему штампует тысячу семьсот компрессов в час.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

Пакеты с готовыми трубочками по-прежнему пакуются по триста пятьдесят штук ежечасно.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

Пакеты, заклеенные этикетками, по-прежнему скачут по воздуху до ящиков в упаковочном цехе.

— Хоп! Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!
Крышки ящиков по-прежнему заколачиваются ударами молотков.

— Пам! Пам! Пам!

— Всего доброго!

Грузовики наполняются ящиками.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим.

— Мою машину, быстро!

— Куда прикажете, коммендаторе Паулатим?

— Домой!

Все светофоры красные. Они вспыхивают красным один за другим.

Ворота «Виллы Оттавия» не успевают вовремя распахнуться.

— Доброе утро, коммендаторе Паулатим!

— Доброе утро!

Струя из шланга рассыпает блески по зелени газона.

— Доброе утро, коммендаторе Паулатим!

— Доброе утро!

Выбивалки поднимают облака пыли.

— Доброе утро, коммендаторе Паулатим!

— Доброе утро!

Стол уже накрыт.

— Доброе утро, коммендаторе Паулатим!

— Доброе утро!

На лестнице опилки высушивают мрамор.

— Доброе утро, коммендаторе Паулатим!

— Доброе утро!

Ящик тумбочки синьоры открыт. Не видно маленького револьвера с рукояткой из слоновой кости. В ящике другой тумбочки лежит большой маузер. Большой маузер перебирается в карман пиджака. Вынимается из кармана пиджака. Возвращается в ящик. Снова скрывается в кармане. Из другой комнаты не слышно рояля, хотя в этот час у маленького Джанфранко должен быть урок музыки. Слышно какое-то непонятное шушуканье. Непонятное шушуканье.

— А! Оттавия! Ты! Как ты можешь!



Руки учителя, внезапно разомкнувшие объятия, падают локтями на клавиатуру: «Блям!»

Порыв ветра от захлопнутой двери срывает с пюпитра ноты и разносит их по всей комнате.

На улице выбивалки все еще прыгают по коврам.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

Грабли уже стерли следы протекторов.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

По милости слишком усердного шланга газон наполовину затоплен.

— Всего доброго, коммендаторе Паулатим!

— Всего доброго!

В самом дальнем углу сада огромная вольера с кондиционированным воздухом полна тропических птиц. Колибри с хвостами, переливающимися всеми цветами радуги, голубые фазаны, пестрые африканские куропатки пробуждаются от своего оцепенения, недовольно вытягивают шеи, распускают крылья, топорчат перья и принимаются пищать, свистеть, чирикать.

Пыль, поднятая выбивалками, снова садится на ковры.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Грабли запираются в будке.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

Шланг лежит, свернувшись, будто змея, впавшая в спячку.

— Всего доброго, синьора Паулатим!

— Всего доброго!

В самом дальнем углу сада вольера с коллекцией птиц тропических стран. Туканы с огромными оранжевыми клювами и птицы-лиры с воздушными хвостами хлопают крыльями и кричат от удивления: в столь необычный час к ним никогда не заглядывают гости.

А пресс по-прежнему штампует компрессы, пакеты с этикеткой «Паулатим» по-прежнему наполняют ящики, ящики по-прежнему набиваются в грузовики.

Коммендаторе Паулатим подносит ствол большого маузера к виску, перечеркнутому пластмассовой дужкой очков. Райские птицы, какаду, колибри замирают в молчании.

Синьора Паулатим вытаскивает из сумочки маленький револьвер с рукояткой из слоновой кости.

— Коррадо, посмей только застрелиться — убью!

Рука коммендаторе Паулатим, сжимающая большой маузер, медленно скользит вдоль шва на брюках.

Стрелки продолжают трепетать в банках манометров, пишущие машинки выбивают: «В ответ на Ваш запрос...», ковры убираются с террасы, пакеты скачут: «Хоп! Хоп!», белая ливрея сменяется полосатой, бело-красной.

Синьора Паулатим подносит дуло маленького револьвера с ручкой из слоновой кости к виску, украшенному медно-красным локоном. Пересмешники и удода замолкают.

Поднимается тяжелый маузер, зажаты в руке коммендаторе Паулатим.

— Оттавия, посмей только застрелиться — убью!

Револьвер с ручкой из слоновой кости медленно скользит по складкам меховой накидки.

Маленький Джанфранко играет в мяч с дочерью садовника. Мяч откатывается к самой вольере.

— Ой, смотри, там папа и мама!

— Что они делают?

— У них дуэль. Они стреляются на дуэли.

— Сейчас они будут стрелять, да? Скажи, они будут стрелять?

— Нет, очень близко подошли друг к другу.

Оба револьвера падают на гравий.

— Что же, они обнимаются? Почему уходят?

— Давай возьмем пистолеты.

— Давай.

— Во что играем?

— В маленьких преступников.

— Давай.

Птицы хлопают индиговыми и изумрудными крыльями по стеклам вольеры с кондиционированным воздухом и выпускают оглушительные трели. Ребята направляют на них револьверы и начинают скакать, изображая воинственный танец краснокожих.

— Понедельник, воскресенье, малолетних преступленья. Вторник, пятница, четверг, папа, мама, руки вверх!

— Стрельба в лет! Стреляем в лет!

— Давай.

Джанфранко открывает стеклянные дверцы вольеры. Секунду птицы сидят неподвижно, не понимая, что произошло.

— Кыш! Кыш!

Разноцветная стая серебристых фазанов, водяных курочек и голубых попугайчиков вырывается на волю. Сбившись вместе, взмывают они в небо. Ребята нажимают на курки, стреляют. Стая шире разлетается в воздухе, но ни одна птица не падает. Лишь несколько красных, зеленых и пестреньких перышек, кружась, опускаются на землю. А ребята все стреляют, стреляют, пока не кончается обойма. Но стая уже далеко.

Гудок возвещает обеденный перерыв. Из служебных ворот «Фармацевтического производства Паулатим С. А.» выплескивается толпа велосипедов, мотопедов и мотоциклов. Они заполняют улицу и, сбившись в широкую плотную стаю, трогаясь с места. Прихотливо петляя по небу, стайка птиц оказывается как раз над ними. Мелькают колесные спицы велосипедов, в такт им мелькают яркие птичьи перышки. Некоторое время они движутся вместе — серые и черные рабочие и разноцветное облачко птиц, парящее над их головами, словно облачко песни без слов и без мелодии, слетевшей с их губ, песни, которую они не умеют пропеть.

Из цикла „ТРУДНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ“



ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ПОЛЫНИ

По утрам, когда только-только забрезжит, видна Корсика. Она кажется нагруженным горами кораблем, плывущим над горизонтом. В какой-нибудь другой стране о ней создали бы легенды. А у нас — нет. Корсика — бедная страна, гораздо беднее нашей, никто туда не ездил, никто о ней не думал. Если утром видна Корсика — это значит жди ясной, безветренной погоды, значит не будет дождя.

В такое-то вот утро, на зорьке, мы с отцом взбирались по каменистому склону Колла Белла. С нами была собака, которую мы вели на цепи. Отец закутал себе грудь и спину шарфами, поверх шарфов напялил какие-то накидки, охотничьи тужурки, жилетки, нацепил сумки, патронташи, а поверх всей этой амуниции торчала его белая козлиная борода. На ногах у него были старые, покрытые царапинами кожаные краги. На мне была изрядно поношенная, тесная курточка, со слишком короткими рукавами и такая кургузая, что едва доходила мне до поясницы, и столь же ветхие и куцые штаны. Я шел таким же, как отец, широким шагом, но в отличие от него глубоко засунул руки в карманы и втянул в плечи длинную шею. При нас были старые охотничьи ружья довольно хорошей работы, но запущенные и шершавые от ржавчины. За нами плелся спаньель с длинными, до самой земли, ушами и короткой шерстью, которая на бедрах свалялась, а местами совсем вылезла. Пса волокли на здоровенной цепи, больше подходившей для медведя.

— Ты оставайся здесь с собакой, — сказал мне отец. — Будешь следить отсюда за обеими тропинками. А я перевалю через гребень. Как только я дойду до места и свистну, спускай собаку и гляди в оба: заяц может выскочить в любую секунду.



Он полез дальше вверх по склону, а я присел на землю рядом с собакой, которая принялась скулить, потому что хотела идти с отцом. Колла Белла — это возвышенность с беловатыми склонами, сплошь заросшими жесткой серой полынью. Когда-то весь склон был разделен широкими террасами, но теперь поддерживавшая их кладка обвалилась. Ниже, у ее основания, виднелась черная дымка оливковых рощ, выше по склону — леса, общипанные и рыжие от пожаров, похожие на облезлую спину старой собаки. В сером свете зари все предметы казались неясными. Так бывает, когда только что проснулся и смотришь вокруг через полузакрытые веки. Море, пронизанное прозрачной мглой, сливалось с небом.

Послышался свист. Это отец подавал сигнал. Собака, спущенная с цепи, широкими зигзагами понеслась вверх по каменной осыпи, оглашая воздух лаем. Потом она замолчала, обнюхала камни и, выбрав направление, побежала дальше, время от времени быстро опуская нос к земле и вытянув хвост, под которым словно светилось белое, похожее на ромбик пятнышко.

Я сидел, положив ружье на колени и упершись взглядом в то место, где пересекались тропинки и где мог появиться заяц. Заря зажигала краски одну за другой. Сперва красную на ягодах аронника* и свежих надрезах, опоясывавших стволы сосен. Потом зеленую — сто, тысячу разных красок, которыми расцвели лужайки и кустарники в лесу, только что

* Аронник — ядовитое многолетнее растение.

казавшиеся одинаковыми, а сейчас, с каждой секундой, вспыхивавшие все новыми, не похожими один на другой оттенками зеленого. Потом голубую — ослепительную, бьющую в глаза голубизну моря, по сравнению с которой голубое сияние неба казалось робким и блеклым. Корсика исчезла, выпитая этим блеском, однако граница между морем и небом пока еще не проявлялась. Даль по-прежнему была смутной и нереальной, и туда страшно было смотреть, как страшно смотреть в ничто.

Но вот у подножия холмов и на морском берегу внезапно родились крыши, дома, улицы. Так вдруг этот город рождался из царства тени каждое утро, разом вспыхивая рыжей черепицей, мерцающими блестками стекол, белизной оштукатуренных стен. Каждое утро лучи рассвета заново выписывали мельчайшие его детали, рассказывали о каждом закоулке, перебирали каждый дом. Потом они взбирались вверх по холму, то и дело открывая какую-нибудь новую подробность, новые полосы вспаханной земли, новые дома. Наконец они добирались до заросшей полыньи, желтой и пустынной Колла Белла и открывали еще один дом, одиноко затерявшийся высоко на склоне у самой опушки леса, домик Бачиччина Блаженного, который был от меня на расстоянии выстрела из моего ружья.

Укрытый тенью, домик Бачиччина Блаженного казался отсюда беспорядочной грудой камней. Вокруг него протянулась полоска серой, окаменевшей под солнцем земли, словно перенесенной сюда с луны. Из земли торчали стебли растений, до того голые, что казалось, будто хозяин выращивает тросточки. Немного поодаль тянулись веревки, как будто в доме собрались сушить белье. На самом же деле это были тощие, как скелеты, виноградные лозы. Только у хилой смоковницы, выросшей на краю обработанной полоски земли, как видно, хватило сил распустить листья, но под их тяжестью она согнулась в три погибели.

Из дому вышел Бачиччин. Он был так худ, что его можно было разглядеть только в профиль, иначе видны были только седые растрепанные усы. На нем были бумазейный костюм и шерстяной шлем.

Увидев меня, сидящего в засаде, он подошел поближе.

— Зайчиков, зайчиков, — сказал он.

— Зайцев, как всегда, зайцев, — ответил я.

— На этом самом склоне неделю назад я стрелял вот в такого! Здоровый! Ну как отсюда — и вон туда. Промахнулся.

— Вот подлость!

— Подлость, подлость. На зайцев я теперь не гожусь. Теперь, я считаю, самое милое для меня дело — стать под елку и подстреливать дроздов. За утро можно пять-шесть штук подстрелить.

— Значит, есть чем полакомиться, а, Бачиччин?

— Какое! Сколько ни стрелял — все мимо! Да...

— Бывает. Патронами заряжали?

— Патронами, патронами.

— Магазинные, они все никуда. Сами набиваете?

— А то как же! Сам. И набиваю, и все. Может, плохо набиваю.

— О! На это нужно уменье.

— Вот, вот!

Он стал, скрестив руки, как раз на том месте, где перекрещивались тропинки. «Если он не уйдет отсюда, то зайца мне не видать. Сейчас я ему скажу, чтобы отошел», — думал я, но ничего не говорил и продолжал сидеть на своем месте.

— А дождя все нет, дождя все нет, — сказал он.

— Корсика-то сегодня, видели?

— Корсика... Все горит. Корсика...

— Неудачный год, Бачиччин.

— Неудачный, неудачный. Сажаешь, к примеру, бобы.

А что родится?

— Что родится?

— Что родится? Ничего.

— Плохие семена вам продали, Бачиччин.

— И семена плохие, и год плохой. Восемь кустов артишоков.

— Черт возьми!

— И скажите, сколько у меня осталось?

— Сколько?

— Все погибли.

— Черт возьми!

Из дома вышла Костанцина, дочь Бачиччина Блаженного. Ей можно было дать лет шестнадцать. Лицо ее напоминало формой оливку, глаза, рот, ноздри — оливки поменьше. И груди у нее тоже, наверно, были как оливки. Вся она была

складная, точеная, как статуэтка, и дикая, как горная козочка. За плечами — косички, на ногах длинные шерстяные чулки.

— Костанцина! — позвал я.

— О!

Однако она не подошла, боялась спугнуть зайца.

— Не лает, видно, еще не подняла, — сказал Блаженный. Мы прислушались.

— Не лает, можешь еще посидеть, — сказал Бачиччин и пошел прочь.

Костанцина присела рядом со мной. Бачиччин Блаженный отправился на свой голый участок и начал подстригать тощие плети виноградных лоз. Время от времени он прерывал это занятие и подходил к нам поговорить.

— Ну, Танчина, что новенького на Колла Белла? — спросил я.

Девушка начала добросовестно рассказывать:

— Вчера ночью я видела зайчат, там, наверху. Они скакали под луной и делали так: «ги! ги!» Вчера за дубом гриб родился. Ядовитый, красный с белыми крапинками. Я его убила камнем. А еще вчера в полдень змея по тропинке спустилась большая, желтая. Она живет вот там, в кустарнике. Не бросай в нее камнями, она хорошая.

— Танчина, а тебе нравится жить на Колла Белла?

— По вечерам — нет. В четыре поднимается туман, и города уже не видно. И еще ночью слышно, как филин воет.

— А ты боишься его, филина?

— Нет. Я боюсь бомб и аэропланов.

Подошел Бачиччин.

— Ну, а война? Как там война?

— Война уже давно кончилась, Бачиччин.

— Так. Значит, все, что у нас делается, — вместо войны. А я вот не верю, чтобы она кончилась. Сколько раз это говорили, столько она и начиналась, не так, так этак. Непонятно говорю?

— Нет, все понятно говорите.

— Где тебе больше нравится, Танчина, на Колла Белла или в городе? — спросил я.

— В городе есть тир, — ответила она, — там трамваи, люди толкаются, кино, мороженое, пляж с зонтиками.

— Эта еще не так в город рвется, — вмешался Бачиччин. — А вот другая как повадилась туда ходить, так и не вернулась.

— Где же она сейчас?

— М-м...

— М-м... Хотя бы дождь пошел.

— Да, да. Дождик бы. Корсика-то сегодня утром. Непонятно говорю?

— Нет, понятно говорите.

Вдалеке послышался собачий лай.

— Собака зайца подняла, — сказал я.

Потоптавшись, Блаженный встал на самой тропинке и скрестил руки.

— Гонит, хорошо гонит, — сказал он. — Вот у меня была собака, звали ее Чилилла. Три дня могла зайца гнать. Раз подняла одного на вершине, в лесу, и прямо на меня вывела, в двух метрах, прямехонько на мушку. Я дулетом — раз, два. Промах.

— Все гладко никогда не бывает.

— Не бывает. Ну ладно, погнала она его дальше. Два часа гоняла...

Раздались два выстрела, и через некоторое время снова послышался собачий лай, который стал постепенно приближаться к нам.

— ...А через два часа, — продолжал Бачиччин, — опять подвела мне косоного, точно как в первый раз. А я опять возьми да и промахнись, пес его дери!

В этот момент на тропинке появился стрелой летящий заяц. Подскакав чуть ли не к самым ногам Бачиччина, он метнулся в сторону и исчез в кустах. Я даже не успел прицелиться.

— А, черт! — крикнул я.

— Что такое? — спросил Блаженный.

— Ничего, — сказал я.

Даже Костанцина ничего не видала, потому что ушла домой.

— Ну, хорошо, — снова начал Блаженный, — погнала она его в третий раз. И до тех пор гоняла, пока я его не подшиб. Вот это собака!

— Где же она теперь?

— Сбежала.



— Да, все гладко никогда не бывает.

Ругаясь на чем свет стоит, на тропинку вышел отец. За ним, тяжело дыша, шла собака.

— Ну вот на волосок! — сказал отец. — И ведь как отсюда — вот сюда. Такой зверюга — во! Видели вы его?

— Где там! — ответил Блаженный.

Я закинул за плечо ружье, и мы стали спускаться.

БРАТЬЯ БАНЬЯСКО

Я не живу дома месяцами, иногда даже годами. Но когда бы я ни возвратился, дом всегда на прежнем месте, на вершине холма, покрыт все той же побуревшей от времени штукатуркой, по которой его можно узнать издали, и все так же, словно дымом, окружен густой оливковой рощей. Дом этот

старинный. Повсюду сводчатые арки, похожие на мосты, на стенах масонские знаки, нарисованные еще моими стариками, чтобы отпугивать священников. А в доме — мой брат. Правда, он тоже вечно колесит по свету, но домой наведывается чаще, чем я, поэтому, возвращаясь, я обязательно его застаю. Входя в дом, брат первым делом оглядывается по сторонам, и, убедившись, что его брюки для верховой езды, охотничья куртка, бумажейная фуфайка целы и висят на прежнем месте, берет первую попавшуюся трубку и, не заботясь о том, тянет она или нет, принимается курить.

— А! — говорит он при моем появлении, и, хотя мы годами не видимся, незаметно, чтобы он особенно ждал моего приезда.

— Алло! — отвечаю я.

И это вовсе не значит, что мы питаем друг к другу неприязнь. Повстречайся мы где-нибудь в другом городе, мы очень обрадовались бы и, во всяком случае, хлопнули бы друг друга по плечу и воскликнули: «Скажи на милость! Нет, подумать только!» Просто наш дом не такой, как все, у нас в доме испокон веков именно так принято себя вести.

Итак, оба мы, засунув руки в карманы, молча проходим по комнатам, испытывая какую-то неловкость, пока вдруг брат не начнет говорить, как бы продолжая только что прерванный разговор.

— Вчера ночью, — говорит он, — сын Джачинты чуть было не поплатился шкурой.

— Давно бы тебе пора его пристрелить, — отвечаю я, даже если понятия не имею, о чем идет речь.

Однако нам еще захочется расспросить друг друга, из каких краев мы возвратились, чем занимаемся, хорошо ли зарабатываем, обзавелись ли женами, народили ли детей. Но время для таких вопросов еще не наступило, ибо заняться таким разговором сейчас — значит нарушить традицию.

— Ты знаешь, что в пятницу ночью наша очередь пускать воду из Глубокого колодца? — говорит брат.

— Да, в пятницу ночью, — соглашаюсь я, хотя ничего подобного не помню, а возможно, даже никогда и не знал об этом.

— И ты думаешь, она нам так и достается каждую пятницу, наша вода? — говорит он. — Если не стоять там и не

караулить, они ее непременно пускают себе. Вот вчера ночью иду я туда часов уже около одиннадцати, гляжу: бежит один с мотыгой. Подхожу, а вода пущена на землю этой Джачинты.

— Надо было тебе его пристрелить, — говорю я, уже закипая злобой.

Месяцами я не вспоминал, что существует проблема воды из Глубокого колодца, через неделю я уеду и снова забуду о ней, но вот сейчас я полон злобы из-за воды, которую крали у нас в течение всех прошедших месяцев и будут красть в течение всех будущих.

Тем временем я брожу по лестницам и комнатам в сопровождении брата, который посасывает свою трубку. Мы бредем по лестницам и комнатам, где по стенам развешаны старинные и современные ружья, старые пороховницы, охотничьи рога и головы оленей, и на лестницах и в комнатах, на стенах которых вместо распятий видны масонские знаки, пахнет затхлостью и трухой. Брат рассказывает о том, что крадут у нас батраки, об урожаях, падающих из года в год, о чужих козах, которые пасутся на наших лугах, о наших лесах, куда ходят по дрова жители всей долины. А я хожу, вытаскиваю из шкафов охотничьи куртки, краги, фуфайки с глубокими карманами для патронов, расположенными вокруг пояса, снимаю помятое городское платье и гляжусь в зеркала, облаченный в кожу и бумазею.

Скоро мы с двустволками за плечами уже спускаемся по тропинке посмотреть, не удастся ли подстрелить влет или подкараулить какую-нибудь дичь. Но не успеваем мы сделать и ста шагов, как на нас обрушивается целый дождь камешков. Они пущены очень сильно, как видно, из рогатки. Однако мы не оборачиваемся, делаем вид, будто ничего не заметили, и шагаем дальше, не спуская глаз с густой стены виноградников, окаймляющих дорогу. Из-за серых от сульфата листьев показывается мальчишечья физиономия. Физиономия совсем круглая, красная и так густо усыпана веснушками, облепившими нос и скулы, что напоминает персик, изъеденный тлей.

— Черт бы их драл, они даже детей на нас натравливают, — говорю я и начинаю ругать мальчишку.

Тот снова высовывается, показывает нам язык и пускается наутек. Юркнув в калитку на виноградник, брат кидается



за ним вдогонку. Он бежит вдоль шпалер винограда, не разбирая дороги. Я не отстаю от него. Наконец мы догоняем мальчишку. Брат вцепляется ему в волосы, я хватаю его за уши. Я понимаю, что ему больно, но продолжаю дергать, и чем больнее ему, тем больше я злюсь. Мы кричим:

— Вот это тебе, а это за твоего отца, за то, что он подослал тебя!

Мальчишка ревет, кусает меня за палец и удирает. В глубине зеленого коридора показывается черная женская фигура. Мальчишка подбегает к ней и прячет голову ей в передник. Женщина грозит нам кулаком и кричит:

— Подлецы! Нашли кого обижать — ребенка! Как были насильниками, так и остались. Но погодите, нарветесь еще. Разочтутся с вами, разочтутся, будьте спокойны!

Но мы уже идем своей дорогой и только пожимаем плечами: не отвечать же на ругань женщины.

Идем и встречаем двух типов, которые бредут, согнувшись вдвое под тяжестью больших вязанок дров.

— Эй, вы! — кричим мы и останавливаем их. — Где дрова взяли?

— Где нашли, там и взяли, — говорят они и уже собираются идти дальше.

— А нашли в нашем лесу! Сейчас вот заставим вас отнести их назад, а потом вздернем вас на каком-нибудь дереве.

Те кладут груз на каменный барьерчик, окружающий соседний участок, поднимают потные лица и смотрят на нас из-под своих капюшонов, сшитых из мешковины и спускающихся им на самые плечи.

— Откуда нам знать, где тут ваше и где не ваше? Мы не знаем, кто вы.

И в самом деле, они как будто не похожи на местных жителей. Возможно, это просто безработные, которые подрядились нарубить дров. Ну что же, тем больше оснований объяснить им, кто мы такие.

— Мы Баньяско. Никогда не слыхали?

— Ни о ком мы здесь ничего не знаем. А что до дров, то мы их нарубили в коммунальном лесу.

— В коммунальном лесу это запрещено. Сейчас мы позвоним полицию и скажем, чтобы вас упрятали за решетку.

— А! Теперь мы знаем, кто вы такие! — выпаливает вдруг один из них. — Кто же вас не знает? Недаром говорят, что вы готовы как угодно насолить бедняку! Но так и знайте, сколько веревочке ни виться, а кончику быть.

— Какому это кончику? — начинаю было я, но потом мы решаем не связываться с ними и уходим, по очереди посылая им проклятия.

Где-нибудь в другом месте мы с братом запросто заговариваем с кондукторами в трамваях, с продавцами газет, даем прикурить любому, кто бы ни попросил, и сами прикуриваем у первого встречного. Здесь же все не так, здесь мы ходим не

иначе, как с двустволкой за плечами, и повсюду, где бы мы ни появились, сейчас же начинается свара.

Мы проходим мимо остерии, где обосновалась секция коммунистов. Перед входом в остерию щит, на нем вырезки из газет, припиленные кнопками объявления. Среди них мы замечаем стишки, в которых говорится, что господа всегда остаются господами, и те, что творили беззакония прежде, — братья тех, что творят их сейчас. Слово «братья» подчеркнуто, и эта черта говорит о том, что авторы вкладывают в это слово двойной смысл и что стишок — против нас. На том же листке мы пишем: «Подлые лжецы», — и подписываемся: «Микеле Баньяско. Джакомо Баньяско». По пути мы заходим в столовую, где обедают люди, работающие далеко от дома, и, сидя за столом, покрытым холодной клеенкой, едим суп, ковыряем ногтями ломкий мякиш серого хлеба. Наш сосед по столу заговаривает о последних газетных новостях, и мы тоже говорим:

— Есть еще на свете насильники. Но придет день, и все изменится к лучшему.

Да, черт возьми, изменится, только не у нас и не теперь. Что можно сделать на земле, которая не родит, с работниками, которые крадут, с батраками, которые спят на работе, с людьми, которые плюют нам вслед, потому что мы не хотим сами обрабатывать наши поля и, как они говорят, годимся только на то, чтобы эксплуатировать других?

Мы доходим до того места, над которым частенько пролетают дикие голуби, и выбираем себе убежища, где можно укрыться и подстеречь их. Но через минуту нам уже надоедает сидеть не двигаясь. Тогда брат показывает мне на домик, в котором живут две сестры, и свистом вызывает одну из них, свою любовницу. Та выходит. У нее необъятная грудь и волосатые ноги.

— Скажи своей сестре Аделине, чтобы тоже вышла, видишь, я не один, со мной брат Микеле, — говорит он ей.

Девушка возвращается в дом, а я начинаю приставать к брату:

— Она красивая? Ну, скажи, красивая?

Но брат не отвечает на мой вопрос.

— Толстая, — говорит он. — Зато всегда согласна.

На пороге показываются обе девушки. Моя и в самом деле невероятно толста и к тому же огромного роста. Но на



один вечер, да еще такой, как сегодня, — сойдет. Сперва они начинают ломаться, говорят, что если попадутся кому-нибудь на глаза с нами, то на них ополчатся все жители долины, но мы говорим, чтобы они не валяли дурака, ведем их на то место, где собирались стеречь голубей, и расходимся по своим тайничкам. Брату даже удастся несколько раз выстрелить: он уже привык, потому что частенько берет эту девицу с собой на охоту.

Не успел я как следует заняться со своей Аделиной, как в меня снова запускают камнем, который больно ударяет меня в шею. Оглянувшись, я вижу все того же веснушчатого мальчишку. Он удирает, но теперь мне совершенно не хочется за ним гоняться, и я только кричу ему вслед ругательства.

Наконец девушки говорят, что им надо уходить, что им нужно успеть получить благословение.

— Ну и катитесь, и не путайтесь больше у нас под ногами, — говорим мы.

Потом брат рассказывает мне, что обе девицы самые последние шлюхи и что они боятся, как бы местные парни, увидев их с нами, не разозлились и не перестали к ним ходить.

— Шлюхи! — кричу я навстречу ветру, но в душе мне неприятно, что с нами соглашаются идти только такие вот последние шлюхи.

На паперти церкви Сан Козино-е-Дамиано толпятся люди, ожидающие благословения. При нашем приближении они расступаются и кидают на нас недобрые взгляды. Даже священник косо поглядывает на нас, потому что уже три поколения Баньяско ни разу не прослушали ни одной мессы.

Мы идем дальше, и вдруг слышим, как около нас что-то падает.

— Мальчишка! — кричим мы и уже готовы броситься за ним вдогонку.

Но, оказывается, это сорвалась с ветки подгнившая мушмула. И мы снова шагаем по дороге, поддавая ногой камушки.

ХОЗЯЙСКИЙ ГЛАЗ

— Хозяйский глаз, — сказал отец, указывая пальцем на свой глаз — слезящийся глаз старика, без ресниц, с морщинистыми веками, круглый, как глаз птицы, — от хозяйского глаза скотина в теле.

— Угу, — отозвался сын, по-прежнему сидя на краю стола из неоструганных досок в тени огромного фигового дерева.

— Так вот, — снова заговорил отец, все еще держа палец у глаза, — сходи на полосу и посмотри, как жнут.

Сын сидел, глубоко засунув руки в карманы. Слабый ветерок легонько вздувал у него на спине рубашку и шевелил короткие рукава.

— Иду, — сказал он, не двигаясь с места.

Старик глядел на сына, клонившегося под грузом своей апатии, как тростник под ветром, и с каждой минутой им все больше овладевало бешенство. Он таскал на себе мешки со склада, мешал навоз, кричал и приказывал, осыпал ругательствами работников, гнувших спину на его земле, покри-

кивал на скулившего цепного пса, которого одолевала мошкара. А его сын часами не двигался с места и сидел, не вынимая рук из карманов, уставившись в землю и сложив губы трубочкой, будто вот-вот засвистит: ясно было, что он не одобряет такой траты сил.

— Хозяйский глаз, — сказал старик.

— Иду, — ответил сын и не спеша пошел по тропинке.

Он шел между рядами виноградных лоз, руки в карманах, шаркая подошвами. Отец стоял под фиговым деревом, широко расставив ноги, заложив за спину тяжелые кулаки, и смотрел ему вслед. Несколько раз его так и подмывало крикнуть что-нибудь сыну, но он промолчал и снова принялся перемешивать навоз.

Сын шел, любуясь яркоцветной долиной и прислушиваясь к гудению шершней в кронах фруктовых деревьев. Каждый раз, возвращаясь к себе в деревню после изнурительных, скучных месяцев, проведенных в городах, он словно впервые окунался в этот воздух, в торжественное молчание своей земли, и она отзывалась у него в душе, как забытый голос детства и в то же время как немой упрек совести. Каждый раз, возвращаясь на свою землю, он ждал чуда: «Вот на этот раз вернусь, и все будет не так, все обретет смысл — и полосы темной и светлой зелени по долине, моей долине, и всегда одинаковые движения работающих на полях людей, и каждый выросший в мое отсутствие кустик, каждая ветка. И меня, как моего отца, захватит яростное упорство этой земли, так захватит, что я уже никогда не смогу от нее оторваться».

Под пшеницей, с трудом пробившейся сквозь каменистую почву, было несколько



полос, сбегавших по крутому косогору, — желтый прямоугольник среди серых порослей полыни, по обе стороны которого вверх и вниз стояли, словно стражи, два черных кипариса. На поле виднелись люди, сверкали серпы. Желтый цвет мало-помалу исчезал, будто стертый резинкой, и на месте его проступало серое. Хозяйский сын с травинкой в зубах карабкался напрямик по голому склону косогора. Крестьяне, работавшие на полосе, конечно, уже заметили, что он поднимается к ним, и теперь обсуждали его появление. Он знал, что эти люди думали о нем: старик, мол, бешеный, а сын у него недоумок.

— День добрый, — сказал У Пе, когда хозяйский сын подошел поближе.

— День добрый, — ответил хозяйский сын.

— День добрый, — сказали остальные.

И хозяйский сын ответил:

— День добрый.

Теперь все, что они могли сказать друг другу, было сказано. Засунув руки в карманы, хозяйский сын сел у края стерни.

— День добрый, — донесся сверху еще один голос. Голос принадлежал Франческине, подбиравшей колосья на полосе, лежавшей выше по склону.

Он еще раз сказал:

— День добрый.

Мужчины жали молча. У Пе — живые мощи, обтянутые желтой сморщенной кожей, У Ке — мужчина средних лет, приземистый и волосатый, и Нанин — тощий рыжий парень в майке, бурой от пота: под ней видна была полоса голой спины, которая открывалась при каждом ударе серпа и потом вновь закрывалась. Старая Джирумина собирала колосья, присев на землю, словно большая черная наседка. С полосы, лежавшей выше по склону, слышался голос Франческины: она пела песенку, которую недавно передавали по радио. Каждый раз, как она наклонялась, из-под юбки у нее сверкали голые икры и белые впадины под коленками.

Хозяйскому сыну было стыдно стоять здесь на страже, как эти кипарисы, и бездельничать, когда другие работают. «Вот сейчас, — подумал он, — я попрошу, чтобы мне дали на минутку серп, и попробую сам...» Но вместо этого он

продолжал молча стоять и смотреть в землю, щетинившуюся острыми желтыми комлями низко сжатой соломой. Нет, он, пожалуй, и не сумеет справиться с серпом, только выставит себя на посмеище. Подбирать сжатые колосья — вот эта женская работа у него бы, наверное, получилась. Он наклонился, подобрал два колоса и бросил их в подол черного передника старой Джирумыны.

— Вы поаккуратней, не очень топчите, где я еще не собирала, — сказала старуха.

Хозяйский сын отошел, снова сел у края стерни на косогоре и стал грызть соломинку.

— Лучше урожай, чем в прошлом году? — спросил он.

— Хуже, — отозвался У Ке. — Каждый год хуже.

— В феврале были заморозки, — сказал У Пе. — Помните, какие заморозки были в феврале?

— Да, — подтвердил хозяйский сын.

Он ровно ничего не помнил.

— А в марте, — вмешалась старая Джирумина, — сильный град выпал. Помните, в марте?

— Да, здоровый был град, — согласился хозяйский сын, по-прежнему притворяясь, будто все помнит.

— А мне больше всего запомнилась засуха, — сказал Нанин. — В апреле. Помните, какая была засуха?

— Весь апрель, — сказал хозяйский сын.

Он ничего не помнил.

Крестьяне завели бесконечный разговор о дождях, о заморозках, о засухе, но все это совершенно не трогало хозяйского сына, начисто оторванного от крестьянских дел. Хозяйский глаз! Да, он только глаз, и больше ничего. Но к чему этот глаз, оторванный от всего остального? Он даже видеть и то не может. Будь здесь сейчас его отец, он бы их разнес в пух и в прах, он бы непременно нашел, что они работают из рук вон плохо, что они еле поворачиваются, что они просто губят урожай. Да, здесь, на этих полосках, чувствовалось, что крики и ругань его отца прямо необходимы: так при виде стреляющего человека невольно чувствуешь физическую потребность услышать звук выстрела. Но он, сын, никогда не стал бы кричать на людей, и люди это знали, потому и продолжали работать спустя рукава. И все-таки они предпочитали иметь дело не с ним, а с его отцом. Пусть отец выжимает из них все соки, пусть он за-

ставляет их растить зерно на этих каменистых кручах, годных только на то, чтобы пасти на них коз, но он такой же, как они, он один из них, его отец. А сын — нет, он чужак, чужак, который кормится их трудом. И он знал, что его презирают, а может быть, даже ненавидят.

Теперь они вернулись к разговору, прерванному его приходом. Речь шла о какой-то женщине из долины.

— Все говорили, что она со священником, — начала старая Джирумина.

— Да, да, — подхватил У Пе. — Священник так ей и сказал: «Если придешь, получишь две лиры».

— Две лиры? — спросил Нанин.

— Две лиры, — подтвердил У Пе.

— Тогдашних две лиры, — уточнил У Ке.

— А сколько это, если на теперешние деньги? — спросил Нанин.

— Порядочно, — отозвался У Ке.

— Вот чертовка! — воскликнул Нанин.

Всех развеселила история с этой женщиной. Даже хозяйский сын улыбнулся, хотя почти ничего из нее не понял и не представлял себе, какие любовные истории могут быть у этих костлявых, усатых, вечно одетых в черное женщин.

Вот и Франческа станет такой. Сейчас она собирала колосья на полосе, лежавшей выше по склону, и пела песенку, которую слышала по радио, и каждый раз, как она наклонялась, у нее задиралась юбка, открывая голые ноги, белые под коленками.

— Франческа! — крикнул ей Нанин. — А ты бы пошла со священником за две лиры?

Теперь Франческа стояла, выпрямившись во весь рост, прижимая к груди снопок колосьев.

— За две тысячи? — крикнула она.

— Вот чертовка! Говорит, за две тысячи! — растерянно пробормотал Нанин.

— Мне что священники, что городские, ни с кем не пойду! — крикнула Франческа.

— Военного подавай, так, что ли? — закричал ей У Пе.

— И с военным не пойду, — ответила она и, наклонившись, снова принялась собирать колосья.

— А красивые у нее ноги, у Франческины, — заметил Нанин, глядя на девушку.

Остальные подняли головы и согласились:

— Да, ничего, прямые.

Хозяйский сын тоже взглянул, как будто не смотрел на них раньше, и вслед за всеми кивнул головой. Хотя ему совсем не нравились ее ноги, грубые, мускулистые и волосатые.

— Когда тебя в армию заберут, Нанин? — спросила Джирумина.

— Черт их знает! Зависит от того, будут брать белоблестников или нет, — ответил Нанин. — Если война не кончится, меня тоже, наверно, возьмут и не поглядят, что у меня с легкими не в порядке.

— А верно, что Америка тоже теперь воюет? — спросил У Пе у хозяйского сына.

— Америка, — пробормотал хозяйский сын. Вот сейчас, пожалуй, ему бы удалось кое-что сказать. — Америка и Япония, — сказал он, помолчав. А что он мог еще сказать?

— А кто сильнее: Америка или Япония?

— И та и другая, обе сильные, — ответил хозяйский сын.

— И Англия сильная?

— И она тоже.

— А Россия?

— И Россия тоже сильная.

— А Германия?

— Германия тоже.

— Ну, а мы?

— Эта война скоро не кончится, — сказал хозяйский сын. — Долгая будет война.

— А вот в ту войну, — заговорил У Пе, — в лесу была пещера, и там прятались дезертиры. — И он показал куда-то вверх, на верхушки сосен.

— Если война скоро не кончится, — заметил Нанин, — то, помяните мое слово, нам тоже придется в пещерах прятаться.

— Да... — протянул У Пе. — Кто ее знает, как она еще кончится...

— Да все они одинаково кончаются, — сказал У Пе, — все войны: у кого ничего не было — ничего и не будет.

— Да, об этом и говорить нечего, — согласились остальные.

Покусывая кончик соломинки, хозяйский сын полез вверх по стерне к Франческине. Когда она наклонялась, собирая



сжатые колосья, он смотрел на ее белые под коленками ноги. Может быть, с ней ему будет легче? Может, даже удастся поухаживать за ней?

— Тебе когда-нибудь приходилось бывать в городе, Франческа? — спросил он.

Это был самый глупый способ завести разговор.

— Бывает, в воскресенье вечером спускаюсь. Если есть ярмарка — иду на ярмарку, а нет — в кино.

Она перестала работать. Это было совсем не то, чего он хотел. Вот бы отец увидал! Вместо того чтобы следить за работниками, он отрывает женщин от дела своими разговорами.

— Нравится тебе в городе?

— Нравится-то нравится. Только вот возвращаешься вечером назад — как будто и не была там. В понедельник опять все начинается сначала. Словом, у кого ничего не было — ничего и не будет.

— Да... — пробормотал он, покусывая соломинку.

Нужно было оставить ее в покое, иначе она никогда не примется за работу. Он повернулся и начал спускаться в долину.

На нижней полосе хлеб уже почти весь убрали. Нанин увязывал в парусину вещи, собираясь снести их вниз. В той стороне, куда опустилось солнце, у линии горизонта, протянувшейся выше холмов, море стало окрашиваться в фиолетовые тона. Хозяйский сын посмотрел на свою землю — сплошь камни да колючее жнивье — и понял, что всегда будет здесь безнадежно-одиноким чужаком.

ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ

День 10 июня 1940 года выдался пасмурный. В такие дни ровным счетом ничего не хочется. Но утром мы все-таки отправились на пляж, я и мой приятель, по имени Джерри Остеро. Все знали, что днем будет говорить Муссолини, но никто еще не мог сказать определенно, вступим мы в войну или нет. На пляже почти все зонтики были сложены. Мы прогуливались по берегу и обменивались догадками и суждениями, обрывая разговор на полужае и надолго замолкая.

Немного прояснилось, и мы отправились прогуляться на москоне*, мы двое и одна белобрысая длинношеяя девица, которая по идее должна была флиртовать с Остеро, но на самом деле не флиртовала. Девица была ревностной фашисткой и обычно, слушая наши речи, только лениво поднимала на нас глаза и принимала важный и немного оскорбленный вид, как будто все, что мы говорили, даже не заслуживало возражений. Но в тот день она выглядела неуверенной и беззащитной, потому что не сегодня-завтра должна была уехать, а ей этого не хотелось. Ее отец, человек слабонервный, хотел перевезти семью подальше от фронта, прежде чем вспыхнет война, и уже в сентябре прошлого года снял дом в одном небольшом городке в Эмилии. В то утро, катаясь на москоне, мы говорили главным образом о том, что было бы очень хорошо, если бы мы не вступили в войну: живи себе спокойно, купайся. Девушка сидела, склонив подбородок голову на длинной шее, зажав руки между коленями, и молчала. Однако под конец даже она согласилась с нами.

— Да... М-да... хорошо бы... — сказала она и через ми-

* Москоне — легкое суденышко на двух поплавках, наподобие водяного велосипеда.

нута, желая отогнать эти мысли, добавила: — Ладно, будем надеяться, что и на этот раз — это только ложная тревога.

Нам встретила медуза, плывшая на поверхности моря. Остеро направил москоне прямо на медузу, рассчитывая, что она внезапно появится у самых ног девушки, и та испугается. Но шутка не удалась. Девушка не заметила медузы, а потом стала спрашивать:

— Ой, что? Ой, где?

Тогда Остеро продемонстрировал, как он умеет запросто обращаться с медузами. Он втащил ее веслом на борт и перевернул брюхом вверх. Девушка взвизгнула, но скорее для виду, и Остеро толкнул медузу в воду.

Когда мы уже выходили с пляжа, Джерри догнал меня и с гордым видом сообщил:

— Я ее поцеловал.

Он вошел в ее кабинку и потребовал поцелуй на прощанье. Она не хотела, но после недолгой борьбы ему все же удалось поцеловать ее в губы.

— Теперь самое главное сделано, — сказал Остеро.

Они также решили, что летом будут писать друг другу. Я его поздравил. Джерри был человек непосредственный и в возбуждении несколько раз изо всей силы больно хлопнул меня по спине.

Когда мы снова встретились, было около шести вечера, и мы уже вступили в войну. Стояла такая же пасмурная погода, море было серое. К станции направлялась колонна солдат. С приморского бульвара им захлопали. Никто из солдат не поднял головы.

Джерри пришел с братом, офицером, который приехал в отпуск и сейчас был в штатском — в элегантном летнем костюме. Он пошутил насчет того, как ему повезло: получил отпуск как раз в день объявления войны. Филиберто Остеро, брат Джерри, был очень высокого роста, тощий и все время немного клонился вперед, как тростинка. С его бесцветного лица не сходила саркастическая улыбка. Мы уселись на балюстраду рядом с железнодорожными путями, и он принялся рассказывать нам о том, как глупо построены некоторые наши укрепления на границе и какие ошибки допускает командование в дислокации артиллерии. Спускался вечер. Хрупкий силуэт молодого офицера, выгнутый, словно полумесяц, с зажатой между пальцами дымящейся сига-

ретой, которую он так ни разу и не поднес к губам, резко выделялся на фоне блестящей паутины железнодорожных путей и туманного моря. Мимо нас то и дело проходили составы с пушками и войсками, направлявшиеся к границе. Филиберто не мог решить, что делать: то ли отказаться от отпуска и немедленно отправиться в свою часть (куда его толкало главным образом желание проверить, оправдываются или нет его ехидные предсказания насчет наших тактических планов), то ли съездить в Мерано к своей подружке. Поэтому он спорил с братом о том, за сколько часов можно добраться до Мерано на машине. Он опасался, как бы война не кончилась прежде, чем он вернется из отпуска: это было бы очень забавно, но могло повредить его карьере. Потом он встал и решил сходить поиграть в казино. В зависимости от того, как ему повезет, он и решит, что ему делать. Он именно так и сказал: «Смотря сколько выиграю». Ему и в самом деле всегда чертовски везло. И он ушел со своей саркастической улыбкой на тонких губах, с улыбкой, которая и по сей день встает у меня в памяти, когда я вспоминаю о нем, убитом в сражении при Мармарике.

На следующий день утром была объявлена первая воздушная тревога. Над городом пролетел французский самолет. Все смотрели на него, задрав носы к небу. Ночью снова тревога. Рядом с казино упала и разорвалась бомба. За игорными столами началась паника, женщинам стало дурно. Повсюду была темнота, потому что электроцентраль выключила ток во всем городе. Только над зелеными столами продолжали светить питавшиеся от внутренней установки одинокие лампочки под тяжелыми абажурами, которые закалялись от взрывной волны.

Назавтра стало известно, что никто не погиб, кроме маленького мальчика из старого города, который в темноте угодил в лохань с кипятком и умер. Но эта бомба неожиданно разбудила и наэлектризовала весь город, и, как всегда бывает, всеобщее возбуждение вылилось в охоту за мифическими шпионами. В городе только и говорили, что об окнах, в которых во время тревог через равные промежутки времени загорается и гаснет свет, о таинственных людях, зажигающих огни на морском берегу, и, наконец, о каких-то неуловимых тенях, появляющихся за городом и с помощью карманных фонариков подающих сигналы самолетам.

Мы с Остеро пошли взглянуть, что наделала бомба. Осыпался угол у одного из домов. Не бомба, а бомбочка. Безделица. Возле дома толпились люди, обсуждавшие событие. Во всем, что случилось, не было пока ничего невероятного или непредвиденного. В дом попала бомба — и все. Мы еще не почувствовали войны и даже не представляли себе, что это за штука.

Однако я никак не мог забыть о гибели ребенка, упавшего в кипяток. Это был несчастный случай, ничего больше. Мальчик находился в двух шагах от матери и просто наткнулся в темноте на лохань с водой. Но все это в конце концов вышло из-за войны, именно она с идиотской неизбежностью предопределила это случайное несчастье, хотя в этом несчастье и нельзя было прямо обвинить ни руку, выключившую рубильник на электроцентрали, ни летчика невидимого самолета, прожужжавшего где-то высоко в небе, ни офицера, указавшего ему цель, ни Муссолини, решившего начать войну.

По городу из конца в конец непрерывно двигались военные грузовики, направлявшиеся на фронт, и гражданские машины с привязанной на крышах домашней утварью, которые теснились к самым тротуарам. Вернувшись домой, я застал родителей взволнованными приказом о немедленной эвакуации населения из деревень приальпийских долин. В последние дни моя мать только и делала, что сравнивала нынешнюю войну с прошлой, стараясь показать, что в сегодняшней нет ничего, что заставляло когда-то трепетать семьи, что сейчас нет того смятения чувств, какое переживали люди в прошлую войну, что даже сами слова, такие, как «фронт», «окопы», звучат теперь странно и непривычно. Она вспомнила великое переселение беженцев-венецианцев в семнадцатом году: тогда у всех было совсем другое настроение, а вот теперешняя «эвакуация» звучит неоправданно, она навязана холодным распоряжением начальства.

Отец говорил о войне только самые несуразные вещи. Всю первую четверть века он прожил в Америке, а переехав в Европу, так и остался чужаком в своей стране и иностранцем в нашей эпохе. Сейчас даже вечно неизменные, с детских лет знакомые ему горы, служившие ареной его былых охотничьих подвигов, виделись ему не такими, какими они были на самом деле. Его главным образом занимало, есть ли

среди тех, кого коснулся приказ об эвакуации, его старые товарищи по охоте, которых у него было немало в самых глухих местечках, бедняки крестьяне, которые когда-то обращались к нему за советом, интересуясь, как бы увильнуть от уплаты налога, и алчные сутяги, чьи споры он должен был разрешать, по несколько часов добираясь пешком до их тощих полосок, чтобы выяснить, кто же имеет больше прав на воду для поливки. И он уже видел, как снова зарастают полынью заброшенные поля, как обваливаются стены, когда-то сложенные из сырого кирпича, и как из лесу уходят, напуганные артиллерийской канонадой, последние семьи кабанов, на которых он каждую осень ходил со своими собаками.

Газеты сообщали, что фашистская партия и благотворительные общества позаботились о том, чтобы создать в деревнях провинции Тоскана сеть квартир и питательные пункты для эвакуированных и обеспечить их транспортом, дабы никто не чувствовал ни в чем недостатка. В нашем городе эвакуопункт разместился в здании начальной школы. Всем записавшимся в «Джовинеццу»^{*} велели явиться в форме и нести там дежурства. Из наших школьных товарищей многих уже не было в городе, а прочим нетрудно было сделать вид, что они не получили повестки. Остеро пригласил меня испытать вместе с ним новую машину, которую собирались купить его родители, так как их старый автомобиль реквизировали в пользу армии.

— А как же сбор? — спросил я его.

— Э, у нас каникулы! Теперь они не могут нас исключить из школы.

— Но ведь это же для беженцев...

— А! Ну что мы там можем сделать? Пусть о них думают те, кто кричал: «Война, война!»

Меня же, наоборот, очень привлекало это дело с беженцами, хотя я и сам, пожалуй, не смог бы толком объяснить почему. Наверное, тут играло роль чувство моральной ответственности, которое было так сильно развито у моих родителей: у матери оно сохранилось еще с войны пятнадцатого года и касалось всей нации, причем воинственность и пацифизм странно уживались в ней; у отца же, напротив, оно

^{*} «Джовинецца» — юношеская фашистская организация.



ограничивалось только кругом знакомых ему людей и мест — тех забытых богом и людьми уголков, к которым он был привязан всей душой. И как прежде мысль об упавшем в кляток ребенке, так сейчас образ растерянной толпы, что возникал передо мной при слове «беженцы», напоминал мне о реальном и бесконечно древнем явлении, к которому и сам я в какой-то мере был причастен. Понятно, что во всем этом моя фантазия находила куда больше пищи, нежели в танках, линкорах, аэропланах и иллюстрациях в «Сигнале», то есть в той, другой стороне войны, на которую главным образом было направлено общее внимание, а порою и едкая ирония бредившего техникой Остеро.

Одетый в форму авангардиста*, я подошел к школьной лестнице, возле которой разгружались приехавшие в старом почтовом фургоне беженцы. В первую минуту, когда я увидел этих сбившихся в кучу людей, эти лохмотья, всю эту картину грязного полевого госпиталя, меня охватила тоска, словно я вдруг попал на передовую. Но потом я рассмотрел этих женщин в черных платках — обыкновенных крестьянок, которых я сто раз видел собирающими оливки

* Авангардист — член «Джовинеццы».

и пасущими коз, рассмотрел мужчин, обыкновенных, как всегда, немного замкнутых крестьян, и понял, что все-таки нахожусь в более привычном окружении. Но вместе с тем я чувствовал себя посторонним, отрезанным от них, потому что присутствие этих людей было мучительным укором мне, столь не похожему на отца. Ведь я столько раз видел, как они навьючивают мулов, ударом мотыги открывают путь воде, орошающей виноградники, и ни разу не сумел завязать с ними отношения, не подумал, что могу им чем-то помочь. И теперь они остались теми же, только были более взволнованны и совершенно поглощены своими утомительными заботами. Отцы и матери стаскивали детей с фургона, собирались семьями вокруг стариков, стоявших на ступенях, причем каждая семья старалась держаться особняком. Ну что я мог для них сделать? Нечего было и думать как-то помочь им.

Я начал подниматься по лестнице, но шел медленно, так как передо мной вели под руки старуху в черной юбке и такой же шали. Растопырив сухие, покрытые темными шишками руки, похожие на пораженные болезнью сучковатые ветви, старуха с трудом взбиралась по ступенькам. Рядом несли на руках завернутых в пожелтевшие пеленки детей, высовывавших наружу круглые, как тыквы, головы. Какую-то женщину, измученную дорогой, рвало. Она стояла, держась за лоб, окруженная родственниками, молча смотревшими на нее. Нет, я не любил этих людей.

Школьные коридоры превратились не то в биваки, не то в больничные палаты. По обе стороны вдоль стен сидели на скамейках люди с узлами и ребятами, стояли носилки с больными. Старосты групп все время пересчитывали своих, но им никак не удавалось довести это дело до конца. Там и сям в этих узких и гулких, как церковные нефы, коридорах мелькали мальчишки в форме «балиллы»*, солдаты, чиновники в просторных мундирах колониальных войск или в гражданском, но сразу же было видно, что всем заправляют здесь пять или шесть монахинь из Красного Креста,

* «Балилла» — детская фашистская организация, названная по имени одиннадцатилетнего генуэзского мальчика, который 5 декабря 1746 года дал сигнал к началу народного восстания против австрийцев, закончившегося освобождением Генуи.

издерганных и нервных, властных, как капралы. Они распоряжались и этой робкой, нерешительной толпой беженцев и теми, кто призван был организовать их и помочь им, словно командиры на параде, осуществляя какой-то только им одним известный план. Приказу о мобилизации подчинились очень немногие авангардисты, не видно было даже тех, кто всегда готов был лезть вперед. Я заметил только кое-кого из начальства: они безучастно стояли в стороне и курили. Двое авангардистов затеяли драку и едва не сшибли какую-то беженку. И у всех был такой вид, будто делать здесь совершенно нечего. Я обошел все коридоры и вышел к двери на противоположной стороне здания. Теперь я видел все и мог спокойно отправиться домой.

С этой стороны на лестнице не было ни души. Только на площадке посредине лестницы стояла прислоненная к стене корзина, а в ней сидел старик. Это была большая, сплетенная из ивовых прутьев плоская корзина с двумя ручками, из тех, какие обычно носят вдвоем. Она стояла у стены почти вертикально. Старик сидел на боковой стенке, лежащей на земле, опираясь спиной о дно корзины, маленький, скрюченный. У старика был паралич, та наиболее безобразная его форма, когда парализованные ноги стянуты в коленях и словно сложены вдвое. Его все время, не отпуская ни на мгновение, била дрожь, и от этого корзина, в которой он сидел, часто-часто стукалась о стену. Он что-то бормотал открытым беззубым ртом, уставившись перед собой. Однако в его взгляде не было безразличия, наоборот, он был полон неусыпного внимания и какой-то звериной напряженности — взгляд филина из-под козырька его низко надвинутой на лоб кепки.

Я начал спускаться с лестницы наперерез взгляду его дико вытаращенных глаз. Руки у него, как видно, не были парализованы: несоразмерно большие, еще полные силы, они сжимали короткую суковатую палку.

Я уже почти миновал его, как вдруг он затрясся еще сильнее, его бормотание стало еще прерывистее, сжатые в кулаки руки начали подниматься и опускаться, и палка забарабанила по каменным плитам лестничной площадки. Я остановился. Старик начал уставать, удары его палки делались все слабее и слабее, изо рта вырывалось только свистящее шипение. Я двинулся дальше. Тут он дернулся,

словно всхлипнул, ударил по земле палкой и снова забормотал и так затрясся, что корзина, отскочив от стены, начала падать. Если бы я не подбежал и не подхватил ее, старик непременно скатился бы с лестницы. Мне стоило усилий снова привести корзину в равновесие: она была овальная, к тому же в ней лежал тяжелый груз, который непрерывно трясся и в то же время не мог ни на миллиметр сдвинуться ни в ту, ни в другую сторону. Мне приходилось все время быть начеку и, как только корзина начинала клониться набок, одной рукой удерживать ее. Вот так я и стоял, застыв в одной позе на середине пустой лестницы, как будто тоже превратился в паралитика.

Наконец царившая в школе суета докатилась и до нашей лестницы. По ступенькам бежали две взбудораженные женщины из Красного Креста.

— Ну-ка, помоги нам, — сказали они мне. — Держи здесь Держишь? Ну, поднимай! Еще!..

Втроем мы подняли корзину со стариком и сперва втащили ее на верхнюю площадку лестницы, а потом понесли дальше, в помещение школы. При этом мы страшно спешили, как будто уже целый час только и делали, что таскали стариков, а теперь, когда дело близится к концу, я один поддаюсь усталости и начинаю лениться.

В коридоре, где было полно народу, я потерял их из виду. Как раз в это время мимо меня пробежал командир нашего взвода. Увидев, что я стою и оглядываюсь по сторонам, он задержался.

— А, это ты, — буркнул он, — нечего сказать, вовремя являешься! Иди-ка сюда, ты здесь нужен! — И, повернувшись к какому-то синьору в штатском, добавил: — Ну, господин майор, вы еще никого не нашли? Так вот вам подкрепление.

Между двумя рядами набитых соломой тюфяков, на которых расположились женщины, кормившие грудью младенцев или стаскивавшие с ног тяжелые башмаки, стоял толстенький розовощекий синьор с моноклем в глазу, с аккуратно расчесанной на пробор шевелюрой, до того рыжей, что казалось, будто он специально выкрасил волосы или щеголяет в парике. На синьоре были белые брюки, белые парусиновые ботинки с желтыми в дырочках носами, на рукаве его черного пиджака из альпага была голубая по-

вязка с надписью «Соофи»*. Это был майор Крискуоло, южанин, пенсионер, наш знакомый.

— Помилуйте, — ответил майор, — мне совершенно никого не нужно. Здесь уже все великолепно устроились. А, это ты? — сказал он, вдруг узнав меня. — Как здоровье мамы? А как профессор? Ну ладно, постой пока здесь, сейчас посмотрим.

Я встал рядом с ним. Майор курил, затягиваясь из черешневого мундштука. Он спросил, не хочу ли я сигаретку. Я отказался.

— Здесь нам абсолютно нечего делать, — заметил он, пожимая плечами.

Вокруг нас беженцы превращали школьные классы в лабиринт улочек и тупиков какой-то нищей деревни — протягивали веревки и прицепляли к ним простыни, чтобы иметь возможность раздеться, подбивали оторвавшиеся подметки, стирали и развешивали сушиться чулки, распаковывали узлы, вытаскивали из них жареную тыкву и фаршированные помидоры, блуждали между простынями, разыскивая своих, пересчитывали друг друга, теряли и снова находили свои пожитки.

Но самое главное, что отличало это людское сборище, тот основной лейтмотив, который, исчезая по временам, неизменно возникал снова и снова, то, что бросалось в глаза прежде всего, подобно тому как в первый момент, когда вы входите в зал во время приема, вам бросаются в глаза только обнаженные груди и плечи наиболее декольтированных дам, — были всевозможные калеки, зобатые идиоты, бородатые женщины, карлицы, губы и носы, изуродованные волчанкой, бессмысленные глаза больных белой горячкой. Перед нами был скрытый лик горных селений, с которого вдруг сбросили покровы, выставив на всеобщее обозрение вековые тайны крестьянских семей, обычно скрытые за стенами домов, плотно прижавшихся друг к другу, как чешуйки в еловой шишке. Сейчас эти существа, выкуренные из своих темных нор и очутившиеся среди казенной белизны комнат общественного здания, снова пытались обрести убежище и равновесие.

В одном из классов все парты были заняты стариками.

* «Соофи» — Союз отставных офицеров Италии.

Уже появился священник, вокруг которого собралась небольшая группа женщин. Священник шутил, подбадривал их, и временами даже лица этих несчастных кривились боязливой заячьей улыбкой. И все-таки чем больше сходства с деревней приобретало их временное пристанище, тем более беспомощными и растерянными они себя чувствовали.

— Ничего не скажешь, — говорил майор Крискуоло, сновавший взад и вперед и так проворно семенивший ногами, что складка на его белых брюках ни разу не сломалась, — организация хорошая. Каждый на своем месте, все предусмотрено, сейчас каждый получит по тарелке супа. Вкусный суп, я сам пробовал. Помещения просторные, хорошо проветриваются, много транспортных средств. Прибудут новые — что же! Эти уедут в Тоскану. Устраивают их недурно и кормят сносно, война продлится недолго; увидят свет, полюбуются красивыми местами, Тосканой — и вернутся восвояси.

Раздача супа — вот событие, вокруг которого вращалась сейчас вся жизнь бивака. В воздухе носились клубы пара и раздавалось звяканье ложек. Вышшие власти лагеря — величественные и нервные дамы из Красного Креста — распоряжались около дымящегося алюминиевого котла.

— Ты можешь сходить отнести несколько тарелок супа, — тихо сказал майор, обращаясь ко мне. — Надо же сделать вид, что ты тоже чем-то помогаешь.



Сестра милосердия, орудовавшая половником, наполнила подставленную мною тарелку и сказала:

— Иди прямо и направо, дойдешь до тех, кто еще ничего не получал, и отдашь первому.

Так я, скептически улыбаясь в душе, обрел дело — начал разносить суп. Я шел между двумя рядами людей, стараясь не разлить бульон и не обжечь пальцы, и мне казалось, что слабая радость, быть может вызванная моим появлением с этой тарелкой супа, тотчас же тонула во всеобщей горечи и недовольстве тем положением, в котором они очутились, и я чувствовал, что ответственность за это лежала в какой-то степени и на мне. Ведь несколько ложек горячего супа не только не смогут заглушить горечь и недовольство, но даже наоборот: когда самые элементарные потребности людей будут удовлетворены, их чувства станут еще острее.

Пройдя немного, я снова увидел старика в корзине, которая стояла у стены среди остального багажа. Старик сидел все так же, скорчившись, опираясь на палку и уставившись в пространство своими совиными глазами. Я прошел мимо, не взглянув на него, боясь снова оказаться в его власти. Я не думал, что он сможет узнать меня среди всей этой сутолоки, но не тут-то было! Сзади послышались удары палки и неистовое бормотание.

Не зная, как еще можно отпраздновать нашу новую встречу, я отдал ему тарелку супа, которую нес, хотя она предназначалась совсем другому лицу.

Не успел он протянуть руку за ложкой, как подошли дамы из попечительского совета — все в черных, сдвинутых на ухо испанских шапочках, из-под которых торчали курдюшки, и в одинаковых, словно униформа, черных платьях, не без кокетства обтягивавших их объемистые груди. Одна из них была толстая, в очках, остальные три — худые и накрашенные. Увидев старика, они защебетали:

— Ах, вот и супчик для дедушки! Ах, какой хороший супчик! Вкусный, да? Правда, ведь вкусный?

Дамы явились с намерением распределить между беженцами кое-какие детские вещички, и сейчас, глядя, как они тянут к паралитику руки с распашонками, казалось, что они хотят примерить их на старика. Из-за их спин выглядывали



беженки, как видно, невестки или дочери старика, бросающие напряженные взгляды на него, на дам и на меня.

— Эй, авангардист! Что ты делаешь? Держи ему хорошенько тарелку! — воскликнула вдруг очкастая матрона. — Ты что, заснул?

Я действительно немного задумался.

Неожиданно мне на помощь пришла одна из невесток.

— Да что вы! — вмешалась она. — Пусть сам ест. Отдайте ему тарелку, руки у него сильные, он ее сам удержит.

Фашистские дамы тотчас же заинтересовались этим.

— Ах, так он может держать сам! Ах, какой молодец дедушка! Как он хорошо держит! Вот так. Вот молодец!

Я все-таки не решился совсем передать ему тарелку, но старик, в котором то ли присутствие дам, то ли суп пробудили тоску по какому-то навсегда утраченному благу, вдруг рассердился, вырвал у меня из рук тарелку и больше уже не позволял до нее дотронуться. Теперь все мы, и я, и невестки, и дамы, не выпускавшие из рук своих распашонок и ползунков, толпились вокруг старика и тянулись к тарелке, которая плясала у него в руках, но с которой он никак не хотел расставаться. Он ел, сердито бормоча и расплескивая суп себе на грудь. И тут эти дуры не выдержали.

— О! — хором воскликнули они. — Ну, а теперь дедушка отдаст тарелку нам! Нет, нет, он молодец, он очень хорошо держит, — ой, осторожно! — но теперь он на минутку даст нам тарелку! А мы ему подержим!.. Осторожно же! Уронишь! Дай сюда, нищая свинья!

Но все их рвение только распаляло злобу старика. Под конец и тарелка, и ложка, и суп — все полетело у него из рук, перепачкав и его самого и окружающих. Мне пришлось вытирать его. Правда, вокруг суетилось множество людей, но все предпочитали распоряжаться мною. Потом пришлось нести его в уборную. И я находился там вместе с ним. Почему я не сбежал? Я ему помогал. Когда его снова водворили в корзину, со всех сторон посыпались удивленные возгласы:

— Почему же у него больше не шевелится эта рука?

— И глаз этот не открывается!

— Что с ним? Что с ним?

— Надо бы за доктором...

— За доктором? Я сбегаю! — крикнул я, срываясь с места.

Я побежал к майору. Он стоял у двери балкона, курил и любовался павлином в саду.

— Синьор Крискуоло, там со стариком одним плохо, я пойду поищу доктора.

— Хорошо, молодец, есть повод отлучиться. И возвращайся, когда захочешь — через полчаса, через три четверти часа, ведь здесь все в порядке.

Я побежал искать доктора и послал его в школу. На дворе слегка вечерело, был тот час летнего дня, когда солнце уже не палит, но песок еще горячий и вода теплее, чем воздух. Я думал о том, как мы с Остеро пытались отгородиться от всего, что связано с войной, прибегая к самым замысловатым словесным выкрутасам, которые становились под конец нашей второй натурой, своего рода панцирем. И вот сейчас, таская в уборную паралитиков, я воочию увидел ее, эту войну. Вот до чего она заставила меня докаться! Да, Остеро, на земле могут случаться такие вещи, о которых мы, ленивые поклонники Англии и всего английского, не могли даже предположить. Я пошел домой, снял форму, переоделся в гражданское платье и вернулся к беженцам.

Там я сразу почувствовал себя в своей стихии, легко и свободно. Меня переполняло желание что-то делать, я думал, что и в самом деле смогу принести какую-нибудь пользу или хотя бы побуду с людьми, дам им почувствовать, что я тоже что-то значу. Не могу сказать, чтобы мне не хотелось махнуть рукой на беженцев и вместо школы отправиться на пляж, растянуться голым на песке и поразмыслить о разных событиях, которые совершаются в мире в то время, пока я лежу тут, спокойный и праздный. Так я развлекался некоторое время, колеблясь между цинизмом и чувством долга (в те времена мне часто случалось напускать на себя эту самую раздвоенность), но потом я позволил чувству долга взять верх, не отказывая себе в то же время в удовольствии порисоваться своим цинизмом. Сейчас мне ничего так не хотелось, как встретить Остеро и сказать ему: «Знаешь, я иду развлекать паралитиков, а потом немного поиграю с чесоточными детьми. Ты не пойдешь со мной?»

Придя в школу, я сразу же явился к майору Крискуоло.

— А, вернулся! Молодец! Скоро ты управился! — сказал он. — Здесь ничего нового.

Я уже повернулся, чтобы уйти, но он окликнул меня.

— Постой-ка, — сказал он, — по-моему, ты был в форме.

— Меня облил супом тот старик... Пришлось пойти переодеться.

— А!.. Молодец!

Сейчас я готов был носить тарелки, матрацы, провожать людей в уборную. Но вместо этого носом к носу столкнулся с командиром взвода, который приставил меня к Крискуоло.

— Эй ты, в штатском! — позвал он меня. К счастью, он уже забыл, в чем я был одет раньше. — Убирайся отсюда подальше. Скоро должен прибыть инспектор из Федерации. Мы хотим, чтобы он увидел всех наших людей в порядке.

Я не знал, куда мне убираться, и начал слоняться среди беженцев, с одной стороны, боясь снова встретиться с паралитиком, а с другой — невольно думая, что из всех людей, собравшихся здесь, только с ним у меня были какие-то, пусть самые что ни на есть примитивные, но все-таки отношения. Занятый этими мыслями, я и сам не заметил, как ноги принесли меня к тому месту, где я его оставил. Старика там не оказалось. Потом я увидел группу людей,

молча смотревших вниз. Корзина теперь стояла на полу, и старик не сидел в ней, скорчившись, а лежал на дне. Женщины крестились. Он умер.

Сейчас же встал вопрос, куда его перенести, так как к приходу инспектора все должно было быть в порядке. Был открыт физический кабинет и получено разрешение поместить там покойного. Родственники подняли корзину и понесли ее по коридору. Следом шли дочери, внучки и невестки старика, некоторые плакали. Последним шел я.

У самых дверей физического кабинета нам встретилась группа молодых людей, судя по форме, больших начальников. Сняв с головы высокие фески с золочеными орлами, они заглянули в корзину и тихо воскликнули: «О!» Федеральный инспектор выступил вперед и выразил соболезнование родственникам усопшего. Потом, горестно покачивая головой, стал по очереди пожимать руки всем присутствующим. Добравшись до меня, он тоже протянул руку и сказал: — Соболезную, искренне соболезную.

Я отправился домой только под вечер и с таким чувством, будто прошло уже много-много дней. Стоило мне закрыть глаза, и я видел беженцев с заглубившимися, натруженными руками, сидящих перед тарелками супа. Это и была война. Я узнал теперь ее цвет, ее запах. Война... серый, необъятный, как море, материк, кишачий, словно потревоженный муравейник. Возврат домой значил для меня теперь то же самое, что для военного отпуск: ни на минуту не можешь забыть, что любая вещь, которую ты видишь снова, дается тебе лишь на очень недолгий срок, и она для тебя не больше, чем мираж. Вечер был ясный, на небе догорал багровый закат. Я поднимался по улице между домами и виноградными беседками. Мимо шли военные машины, туда, к горам, к прифронтовым дорогам, к границе.

Вдруг на улице началось движение, люди забегали по тротуарам, зашевелились занавески на окнах овощных лавок и парикмахерских. Отовсюду неслись возгласы:

— Да, да, это он, смотрите, вон там, это дуче, это дуче!

В открытой машине в окружении генералов сидел одетый в маршальскую форму Муссолини, направлявшийся с инспекционной поездкой на фронт. Он смотрел по сторонам и, видя, что люди только изумленно провожают его глазами, поднял руку, улыбнулся и сделал знак, приглашая

всех похлопать ему. Но машина ехала быстро и скоро скрылась из глаз.

Я едва успел разглядеть его. И больше всего меня поразила его молодость. Мальчишка, прямо мальчишка, здоровый, как бычок, со стриженным затылком и упругой загоревшей кожей. В его глазах сверкала иступленная радость. Как же, шла война, война, начатая им, он сидел в машине рядом с генералами, на нем была новенькая форма, каждый прожитый им день был заполнен сумасшедшей, лихорадочной деятельностью, а сейчас, в эти летние вечера, он стремительно проносился через города и провинции, и все узнавали его с первого взгляда. Для него это была игра, и он хотел только одного — чтобы и другие приняли в ней участие, хотел, собственно, очень немногого, поскольку и без того уже почти все согласились поиграть вместе с ним, чтобы не испортить ему праздник, а остальные, те, которые чувствовали себя взрослее его и не могли принять участие в его игре, чуть ли не терзались угрызениями совести.

АВАНГАРДИСТЫ В МЕНТОНЕ

Шел сентябрь сорокового года. Мне вот-вот должно было исполниться семнадцать. Каждый вечер после ужина я с нетерпением ждал той минуты, когда можно будет пойти прогуляться, хотя, пожалуй, весь день ничем другим и не занимался. Мне кажется, именно в это время я, сам того не сознавая, начал чувствовать вкус к жизни, ибо находился в том возрасте, когда, приобретая что-то новое, пребываешь в полной уверенности, что это для тебя не ново. Лишившись из-за войны туристов, наш город словно съежился, забившись в свою провинциальную скорлупу, и поэтому стал мне роднее, как-то по росту. Вечера стояли чудесные: затемнение казалось раздражающей модой, война — далеким и привычным ритуалом; в июне мы почувствовали ее где-то рядом, но ненадолго, всего на несколько дней, не больше; потом она как будто совсем кончилась, а скоро мы просто перестали о ней думать. Я был еще слишком молод, и мне не приходилось беспокоиться о том, что меня заберут в армию, а из-за своего характера и взглядов я чувствовал себя совершенно чуждым этой войне. Но каждый раз, когда мне

случалось размышлять о своем будущем, я не мог представить себе его иначе, чем связанным с войной, хотя в этом случае война была особая, если так можно сказать — без страха и упрека, а я сам в этой войне, не знаю даже как, менялся, становился свободным. Таким образом, я в одно и то же время познавал и пессимизм и восторженность того времени, вел беспорядочную жизнь и ходил гулять.

Я вышел на площадь и около Дома фашио* встретил нескольких учителей: они искали авангардистов, у которых имелась бы полная форма и которые могли бы явиться сюда завтра рано утром. Предполагалась поездка в Ментону, так как туда должен был прибыть легион молодых испанских фалангистов, а «Джовинецца» моего города получила приказ выслать для их встречи почетный караул (несколько месяцев назад Ментона превратилась в итальянскую пограничную станцию).

Ментона была аннексирована Италией, но пока что гражданские лица туда не допускались, и мне сейчас впервые выпадал случай съездить в этот городок. Конечно, я попросил внести в список и себя и своего школьного товарища Бьянконе, которого обязался предупредить.

С Бьянконе мы жили весьма дружно, хоть и были разными людьми; нам нравилось бывать там, где происходило что-то новое, нравилось с видом сторонних наблюдателей критически обсуждать это новое. Бьянконе, однако, гораздо больше, чем я, любил ввязываться во все затеи фашистов и нередко с удовольствием передразнивал их, смешно гримасничая и подражая их позам. Из любви к кочевой жизни он еще в прошлом году побывал в римском лагере авангардистов, откуда вернулся с нашивками командира отделения. Я бы никогда этого не сделал, потому что питал врожденную неприязнь к муштре ненавидел Рим, и клялся, что в жизни ноги моей там не будет.

А вот поездка в Ментону — это совсем другое дело: мне очень любопытно было взглянуть на этот городок, расположенный по соседству с нашим, как две капли воды похожий на наш, но ставший завоеванной территорией, опустошенной и пустынной, и сверх всего — единственным, символическим

* Дом фашио — здание комитета городской фашистской организации.

завоеванием июньской кампании. За несколько дней до этого мы видели в кино документальный фильм, показывавший сражения, которые вели наши войска на улицах Ментоны, однако мы знали, что они только делали вид, будто сражались, на самом же деле Ментону никто не завоевывал: просто после поражения французские части оставили город, а наши заняли и разграбили его.

В таком путешествии Бьянконе был идеальным товарищем: с одной стороны, он в отличие от меня был своим человеком в «Джовинецце», с другой — нас объединяли выработавшиеся за годы совместного учения в школе общие вкусы, мы разговаривали на одном жаргоне, одинаково, с презрительным любопытством относились к событиям, и совместная поездка, даже самая скучная, становилась для нас непрерывным состязанием в наблюдательности и остроумии.

Я пошел разыскивать Бьянконе.

В бильярдных, которые он обычно посещал, его не было, оставалось только идти к нему домой, и для этого надо было подняться по старому городу. Замазанные синей краской лампочки в темных аркадах отбрасывали неверный свет, которому не удавалось добраться до тротуаров и каменных лестниц, он лишь слабо отражался от намалеванных белой краской полос, которые отмечали ступени. Проходя мимо людей, сидевших в темноте на порогах своих домов или на плетеных стульчиках, я мог только догадываться об их присутствии: в тех местах, где они сидели, мрак густел, как бы становясь бархатистым, и их выдавала только негромкая и от того казавшаяся задушевной болтовня, внезапные оклики и смех да иногда смутно белеющая женская рука или пятно платья.

Наконец я вышел из темноты аркады и тут только увидел над головой небо, беззвездное, но ясно видное сквозь листву огромного рожкового дерева. В этом месте дома города уже не теснились, а рассеивались по окрестностям, куда город протягивал беспорядочные отростки улиц. Белые силуэты одноэтажных домиков на противоположном склоне, выглядывавшие из-за каменной стенки, огораживавшей садики, еле светились тоненькими полосками света, который просачивался по краям окон. Одна улица, вдоль которой тянулась

ограда из металлической сетки, спускалась по середине склона к источнику; на ней-то, в домике, скрывавшемся за увитой виноградными лозами террасой, и жил Бьянконе. Вокруг была тишина, наполненная шепотом камыша. Подойдя к дому, я свистнул.

С Бьянконе мы встретились на дороге. Он немного удивился моему предложению, потому что этим летом мы всеми правдами и неправдами старались отвертеться от «Джовинеццы» и ее упорных попыток заграбастать нас для «похода молодежи», который, по всей видимости, должен был собрать самых махровых хамов, какие только имелись в этой горластой организации. Однако теперь нам можно было не

тревожиться, так как «поход молодежи» уже заканчивался и эти испанские авангардисты приезжали именно для того, чтобы принять участие в заключительном параде, который предполагалось провести в одном из городов провинции Венето в присутствии самого Муссолини.

Бьянконе немедленно принял мой план, и мы с воодушевлением начали болтать о предстоящей поездке, о судьбе наших завоеваний и о войне. О ней мы знали только то небольшое, что коснулось наших окрестностей, на несколько дней ставших прифронтовой полосой, но и этого нам было достаточно, чтобы представить себе страны, подвергнувшиеся вражескому вторжению. В июне соседние с нами районы получили приказ о немедленной эвакуации, по улицам нашего города потянулись беженцы, волокли тележки со своим нищенским скар-



бом — поломанными матрасами, мешками с отрубями, козами или курами. Переселили их ненадолго, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы, вернувшись в родные деревни, они нашли их опустошенными. Мой отец принялся ходить по деревням с целью определить ущерб, причиненный войной. Он возвращался домой усталый и безмерно опечаленный новыми разрушениями, которые он только что измерил и оценил, но которые в глубине своей бережливой крестьянской души продолжал считать неоценимыми и невозполнимыми, как увечье, причиненное человеческому телу. Он видел сведенные виноградники, уничтоженные ради сотни жердей для лагеря, срубленные на дрова здоровые оливковые деревья, цитрусовые рощи, где после мулов, которых там привязали, остались обглоданные, погибшие без коры деревья; но, кроме этого, — и тут уж обида обращалась против самой человеческой природы, поскольку в этом случае приходилось сталкиваться не с тупым невежеством, а с затаившейся до времени убийственной жестокостью, — то и дело попадались следы вандализма в домах: в кухнях — посуда, перебитая вся, до последней чашки, в комнатах — оскверненные семейные фотографии, переломанные, изодранные в клочья постели, а те тарелки и кастрюли, которые остались целыми, были запачканы испражнениями. Невозможно представить себе, что за омерзительная злоба двигала теми, кто это делал. Слушая обо всем этом, моя мать говорила, что не узнает больше знакомого лица нашего народа; из того, что рассказывал отец, мы могли сделать только один вывод: для солдата, для завоевателя враждебная любая земля, даже своя собственная.

Случалось, что от некоторых из этих рассказов я приходил в ярость, которой предавался, оставаясь наедине с собой, содрогался в душе от безысходного бешенства. Чтобы отделаться от этого чувства, я со свойственной юности двойственностью ударялся в цинизм — уходил из дому, встречал близких приятелей, спокойно, с ясными, наглыми глазами спрашивал: «Да, слышал последнюю новость?» — и то, о чем наедине с собой я, кажется, даже не мог подумать без сердечной боли, свободно выбалтывалось в разговоре неожиданного разухабистым тоном, с подмигиванием, со смешками, почти с удовольствием и восхищением.

Именно таким образом мы негромко разговаривали

с Бьянконе, стоя на темной дороге у его дома, то понижая голос до такой степени, что почти ничего не могли расслышать, то вдруг — как это часто бывает — говоря чуть ли не в полный голос вещи куда менее безобидные. Я не мог понять, чем был для Бьянконе фашизм — то ли мучением, то ли счастливым случаем найти применение обеим сторонам своей двойственной натуры: умению приспособливаться, которое помогало ему подлаживаться под общий стиль фашистов, и критической остроте суждений, в которой так рано проявлялось наше призвание будущих оппозиционеров. Бьянконе был ниже меня ростом, но плотнее и мускулистее, с резкими, крупными чертами лица (последнее особенно бросалось в глаза, когда вы смотрели на его челюсти, скулы и чистый прямой лоб), с этим как-то не вязалась его постоянная бледность, отличавшая его от местной молодежи, особенно летом. Эта бледность объяснялась тем, что летом Бьянконе спал днем, а выходил из дому ночью. Он не любил моря, не любил проводить время на воздухе, из всех видов спорта признавал только борьбу и упражнения в гимнастическом зале. У него было характерное, не по годам взрослое лицо, и я был убежден, что замечая на нем следы тайн, в которые он проник во время своих ночных походов; и я страшно завидовал ему. Однако его лицо обладало еще одной странной особенностью — оно могло принимать выражения, характерные для Муссолини. Выпятив губу, задрав вверх подбородок, вытянув напряженную шею, так что линия затылка становилась совершенно прямой, Бьянконе вдруг застыл в воинственной позе, когда этого меньше всего ожидали. Этими неожиданными позами и лапидарными ответами он любил смущать учителей и таким образом выходить из затруднительного положения. Примечательным был также способ причесывать свои гладкие черные волосы, из которых он сооружал нечто вроде фантастического шлема или форштевня древнеримского корабля, разделенного безукоризненным пробором. Он сам придумал эту прическу и очень заботился о ней.

Мы расстались, условившись встретиться на следующее утро, в тот час, на который был назначен сбор. Бьянконе пошел заводить будильник. Я отправился домой предупредить своих и попросить, чтобы они меня разбудили.

— И что ты там не видел? — проворчал отец, который не мог понять моего интереса к пустынному городу.

У моих родителей был пропуск, и они бывали в Ментоне не реже чем раз в неделю. Дело в том, что им поручили ухаживать за садами с редкими и экзотическими растениями, являвшимися собственностью побежденных врагов. Родители возвращались с ботанизирками, полными пораженных болезнью листьев; единственное, что они могли сделать, — это удостовериться в том, что вредных насекомых становится больше, безнадзорные газоны зарастают сорняками и высыхают без поливок, — здесь требовались садовники, каждодневные работы, траты, а в обязанности моих родителей входило только оказывать посильную помощь какому-нибудь ценному экземпляру, бороться с грибком, предотвращать гибель некоторых видов растений. И вот они упорно оказывали милосердие растительному царству, в то время когда, словно скошенная трава, умирали целые народы.

Утром я вышел вовремя. Было сумрачно. «Это потому что рано, — подумал я, — и еще потому, что тучи». Около Дома фашио толкалось пока очень немного авангардистов; я знал всех этих ребят, но ни с кем из них не поддерживал дружеских отношений. В только что открывшемся баре они покупали бутерброды с ветчиной и жевали их, толпясь посреди улицы и толкая друг друга. Авангардистов становилось все больше; они один за другим подходили к дому и, видя, что еще есть время, снова отходили с кем-либо из приятелей. В большинстве своем тут находились те типы, что, пользуясь видимостью военной дисциплины, которой подчинялась «Джовинецца», расхаживали по улицам с какой-то агрессивной, пиратской развязностью, в то время как я по той же причине чувствовал себя связанным и зависимым.

Время сбора давно прошло; авангардисты, сбившись кучками, слонялись по улице, однако пока что не было видно ни автобуса, ни наших командиров, ни Бьянконе. Я уже привык к вечным опаздываниям моего друга и к тому, что он каждый раз загадочным образом ухитрялся опоздать как раз настолько, насколько задерживались офицеры или откладывалось начало церемоний, что, возможно, объяснялось его врожденной способностью ставить себя на одну доску с начальством. Тем не менее, стоя сейчас здесь, я очень боялся, что он не придет. Я подошел к группе наиболее благо-

разумных и сдержанных ребят, хотя в душе знал, что все они самые заурядные типы, такие, как, например, этот Ораци из промышленного училища, не спеша рассказывающий сейчас о конструируемых им коротковолновых радиоприемниках. Ораци мог бы быть мне прекрасным товарищем в этой поездке, если бы он не был до такой степени лишен вкуса к новому и к остроумным разговорам, которые в избытке доставляла мне дружба с Бьянконе. Я уже заранее мог сказать, что всю дорогу он не сможет говорить ни о чем, кроме своего радио. И из всего, что он увидит, его внимание привлечет лишь техника, по поводу которой он будет давать мне длиннейшие объяснения. В таком виде поездка в Ментону меня несколько не привлекала, потому что я еще испытывал столь свойственную молодым потребность иметь друга, то есть потребность почувствовать жизнь, говоря о ней с другими; иначе говоря, я был еще далек от мужской замкнутости, которая приходит вместе с любовью, приносящей нам цельность и заставляющей искать одиночества.

Неожиданно у себя за спиной я услышал голос Бьянконе. Он стоял среди авангардистов, болтал, шутил и уже настолько устоял тот шутиливый тон, что царил здесь в это утро, словно все время находился вместе с нами на площади. Как только появился Бьянконе, все сразу завертелось по-другому: на площадь выскочили офицеры и, хлопая в ладоши, закричали: «Ну, ну, живенько, что вы тут заснули?» Появился автобус, мы начали строиться в шеренгу, чтобы потом разбиться по отделениям. Бьянконе, который был командиром отделения, тотчас же приступил к своим обязанностям.

Он мигнул мне, приглашая занять место в отделении, которым командовал и которому в шутку посулил, не знаю уж, за какую провинность, сколько-то (не могу точно сказать сколько) кругов бегом. Открылось окошко цейхгауза, и заспанный солдат начал раздавать нам одному за другим карабины и остальное солдатское снаряжение. Мы сели в автобус и тронулись в путь.

Мы мчались вдоль берега моря, офицеры пытались воодушевить нас на песню, но она быстро смолкла, будто рассеявшись по дороге. Небо по-прежнему было серым, море зеленым, как бутылочное стекло. Около Вентимильи мы с любопытством глазели на измолотые взрывами дома и



фонтаны. Впервые в жизни мы видели результаты воздушно-го налета. Из черной дыры одного тоннеля высовывался знаменитый бронепоезд — подарок Гитлера Муссолини; опасаясь бомбардировок, его хранили здесь, под землей.

Мы подъехали к старой границе, проходившей через Сан-Луиджи. Чтобы заставить нас хоть немного почувствовать торжественность этого момента, центурион* Бидзантини, не спускавший с нас глаз, как бы вскользь проехался насчет того, что, мол, Италия раздвигает свои грани-

* Центурион — древнеримский офицерский чин, вновь введенный фашистами.

цы. Однако он тут же, смешавшись, умолк, ибо тогда, в начальный период войны, вопрос о наших западных границах был достаточно щекотливым и неприятным, именно для фашистов. В самом деле, несмотря на то, что наше вступление в войну осуществилось в момент падения Франции, оно привело нас не в Ниццу, а всего-навсего в скромный пограничный городишко — Ментону. Остальное, как говорили, должно будет отойти нам по мирному договору; однако надежда на триумфальное и воинственное вступление, о котором нам твердили, уже рассеялась, как дым, и теперь даже наименее сомневавшиеся начали с тревогой подумывать о том, что эта досадная оттяжка может продолжаться до бесконечности; таким образом, постепенно расчистился путь сознанию, что судьба Италии находится не в руках Муссолини, а в руках его всесильного союзника.

В Ментону мы въезжали под дождем. Он сыпал, густой и мелкий, на море без горизонта, на закрытые, запертые на все засовы виллы. Дальше, за пеленой дождя, был город, раскинувшийся на своих утесах. По блестящему асфальту приморской улицы носились военные мотоциклы. В прочерченных дождем стеклах автобуса сверкали обрывки городских картин, и за каждой из них мне открывался ждущий познания мир. В обрамленных деревьями улицах я узнавал туманные города севера, которых я никогда не видел. Ментона — это Париж? Промелькнула выполненная во флористической манере и выцветшая вывеска. Франция — прошлое? На улицах не было ни души, кроме нескольких часовых, забившихся в свои будки, да каменщиков в брезентовых капюшонах. Серая муть, эвкалипты и косые нити проводов полевого телефона.

Мы вышли из автобуса. Дождь не утихал. Мы уже думали, что сию же минуту надо строиться, но вместо этого снова сели в автобус и поехали в другое место, не знаю, что это было: какая-то реквизируемая вилла, по-видимому, потом пешком прошли под дождем порядочный кусок до дома, похожего на пустую дачу, который, впрочем, мог быть также школой или жандармской казармой. Войдя под навес, мы сняли карабины и поставили их в ряд около стены.

От нас распространялся запах мокрой одежды; я, пожалуй, был даже доволен этим, поскольку моя форма все вре-

мя сохраняла унылый, пыльный запах склада, и я надеялся, что на этот раз он выветрится. Никто не знал, когда приедут эти испанцы — поезда из Франции ходили не по расписанию; кто-нибудь из командиров отряда то и дело вбегал к нам, крича: «Стройсь! Стройся с карабинами!» Потом снова: «Разойдись!» Иногда нам начинало казаться, что никто в Ментоне никогда не слышал ни о каких испанцах, иногда — что они придут с минуты на минуту, даже по слухам, «точно в одиннадцать десять». Эти слухи держались до пяти минут двенадцатого, а потом сами собой прекратились.

Мы съели все, что захватили с собой из дому, и, переминаясь с ноги на ногу, теснились под узким навесом этой дачи-казармы, глядя, как дождь мочит унылый садик. В перерывах между построениями некоторым удавалось незаметно улизнуть и купить поблизости от дачи сигарет и оранжада. Как видно, в округе все-таки были открыты кое-какие лавочки, обслуживавшие каменщиков.

В полдень выглянуло солнышко, и дождь прекратился. Нас уже никто не мог удержать под навесом, все бросились враспынную. Тогда нам дали полчас личного времени. Мы с Бьянконе пошли отдельно от других, потому что с презрением относились и к мизерным целям, привлекавшим тех, кто искал только табачные лавочки или бильярдную, и к явно недостижимым целям тех, кто побежал разыскивать женщин. Мы шагали не спеша, поглядывая на замазанные французские вывески, на робкие признаки жизни в нескольких репатриированных семьях, главным образом лавочников, на разбитые стекла, на свежевыбеленные, бледные, как лица у выздоравливающих, фасады поврежденных домов. Мы бродили по окраинным улочкам, которые больше походили на сельские. Один каменщик, судя по выговору венецианец, сказал нам, что новая граница находится в пяти минутах ходьбы. Мы поспешно отправились в указанном направлении и скоро оказались в узенькой долинке, по которой бежал ручеек. По одну сторону ручейка стоял итальянский флаг, а по другую — французский. Итальянский солдат враждебно спросил, что нам здесь нужно, мы ответили: «Хотим посмотреть», — и стали молча смотреть на противоположный берег ручья. Там была Франция, побежденная нация, а отсюда начиналась Италия, которая всегда побеждала и будет побеждать впредь.

Когда мы, порядком опаздывая, подходили к месту сбора, нам навстречу попались несколько авангардистов. Они шли с таким видом, будто только что узнали хорошие новости.

— Прибыли, прибыли!

— Кто? Испанцы?

— Нет, паек привезли.

Оказывается, разнесся слух, что приехал грузовик с продовольствием, и все мы получим обед сухим пайком. Однако никто не знал, где находится сейчас этот грузовик: на прежнем месте сбора никого уже не было — ни офицеров, ни авангардистов. Мы гурьбой пошли бродить по городу.

На одной расковыренной, засыпанной землей площади стоял каким-то образом сохранившийся памятник — женщина в длинной юбке, склонившаяся над бегущей к ней девочкой; рядом с женщиной стоял галльский петух. Это был памятник плебисциту 1860 года. Девочка изображала Ментону, женщина — Францию. Да, здесь наш скептицизм торжествовал легкую победу: на нашей форме римские орлы, а там какая-то виньетка из хрестоматии! Весь мир состоит из идидотов, и только мы двое блещем остроумием.

Ребенком меня возили во Францию, но воспоминания об этих поездках уже совершенно выветрились из памяти. Сейчас Ментона казалась мне обыкновенным городком, грустным и однообразным. Мы гуськом шагали по улицам в надежде набрести на грузовик с нашими пайками. Поговаривали о том, что испанцы приедут только завтра и нам придется ночевать здесь. Я испытывал такое чувство, будто знаю насквозь всю Ментону и уже разочаровался в ней. Я устал от своих спутников, от нелепой смеси мальчишеской разнузданности и дисциплины, и не чаял уже, когда уеду отсюда. Мы шли между серыми забитыми зданиями в стиле либерти*. Нам не попадалось ни одной из тех мелочей (как, скажем, непривычный цвет лака на стенах около лавок или непривычной формы автомобилей), которые дают ощущение жизни, отличной от нашей, хотя и протекающей рядом, ощущение живой Франции. Вокруг нас была мертвая Франция,

* Либерти — архитектурный стиль по имени английского предпринимателя и негодянта Либерти, державшего магазин, где продавались предметы, выполненные во флористической манере, то есть с орнаментами из стилизованных цветов.

саркофаг в стиле либерти, который топтали авангардисты, горланя «На Рим!», а минареты и восточные купола какой-то гостиницы да украшенная в стиле помпейских домов вилла напоминали театральные декорации после спектакля, разрозненные, сваленные в беспорядке где попало.

Пайки привезли около пяти. К этому времени в Ментону прибыл еще отряд «Молодых фашистов флота» из N. Эти верзилы были встречены нами, как незванные гости. Вместе с моряками приехал инспектор *, и Бидзантини представил ему свои силы. Инспектор спросил, довольны ли мы пайком, и объявил нам, что мы ночуем в Ментоне. Меня это очень опечалило, а мои товарищи разразились воплями восторга.

Инспектор был молодым человеком, тосканцем. На нем была габардиновая форма цвета хаки и галифе, заправленные в желтые сапоги. По виду костюм военный, но своим покроем, тканью, из которой он был сшит, изяществом и той небрежностью, с какой его носили, он меньше всего походил на обычную армейскую форму. И я, может быть, из-за того, что форма всегда висела на мне как мешок и я лишь терпел ее, не больше, может быть, из-за моей predetermined свыше принадлежности к той части человечества, которая только терпит военную форму, а не к той, для которой форма — средство, чтобы прибавить себе весу и важности, — я почувствовал в душе ту неприязнь и легкую зависть, какую испытывают фронтовики к тыловым крысам и пижонам.

Некоторые авангардисты, жившие со мной в одном городе, сыновья мелких фашистских главарей и партийного начальства, были старыми знакомыми инспектора, и он балагурил с ними; у меня это панибратство вызывало смутное чувство неловкости, в таких случаях я предпочитал ровный, уставный тон, которого обычно придерживался. Я пошел искать Бьянконе, чтобы посудачить с ним на эту тему, вернее, найти и особо выделить вместе с ним те детали, о которых мы смогли бы побеседовать в более подходящей обстановке. Но Бьянконе поблизости не было. Он исчез.

Я нашел его только на закате, когда прогуливался по набережной под низкими пальмами с колючими стволами.

* Имеется в виду офицер из так называемого «группо рионале» — окружного комитета фашистской партии.

Мне было грустно. Медленные удары моря о прибрежные утесы вплетались в естественную деревенскую тишину, которая опоясывала пустой город с его неестественной тишиной, то и дело нарушаемой одинокими, отдающимися где-то звуками — далеким голосом трубы, песней, треском мотоцикла. Бьянконе с такой радостью бросился мне навстречу, словно мы не виделись по крайней мере год, и сразу принялся выкладывать все новости, которые ему удалось собрать. По его словам выходило, что в бакалейной лавочке он наткнулся на красивую девушку, заключенную в свое время в марсельский концлагерь, и теперь все авангардисты побежали в эту лавочку купить какую-нибудь мелочь, чтобы посмотреть на девушку; что в другом магазине можно чуть ли не даром приобрести французские сигареты; что на одной улице стоит разбитая и брошенная на произвол судьбы французская пушка.

Он был в приподнятом настроении, которое вряд ли можно было объяснить всеми этими, по сути дела, пустяковыми открытиями, и я не перестал сердиться на него за то, что он ушел без меня. Мы продолжали болтать. Разговор коснулся июньских событий и тех грабежей, свидетелями которых были, наверно, эти дома. Бьянконе небрежно заметил, что в этом нет никакого сомнения и что в городе до сих пор есть распахнутые настежь дома, куда свободно можно войти и воочию убедиться, что там все переломано и разбросано по полу. На первый взгляд могло показаться, что он говорит вообще, однако в его рассуждениях то и дело проскальзывали довольно определенные и точные подробности.

— Да ты там был, что ли? — спросил я.

Да, он там был: он и еще кое-кто из наших, бродя по городу, заходили, между прочим, в некоторые подвергшиеся разграблению дома и гостиницы.

— Жалко, что тебя с нами не было, — сказал он.

Теперь то, что он пошел без меня, казалось мне непростительным предательством с его стороны. Однако я предпочел не показывать ему своей обиды, а с живостью предложил:

— А что, если нам сходить туда вместе?..

Он ответил, что скоро ночь, там все разворочено и такая темень, что можно ноги переломать.

Когда мы все собрались в спальне, которую наспех приготовили для нас, расстелив на полу гимнастического зала матрацы, главной темой разговоров было недавнее посещение разграбленных домов. Каждый вспоминал что-нибудь из ряда вон выходящее, называл места, которые, казалось, были всем хорошо известны, такие, например, как «Бристоль» или «Зеленый дом». Сперва я было подумал, что все эти сведения являются достоянием небольшой группы наиболее предприимчивых ребят, затеявших этот поход по собственному почину, но постепенно я стал замечать, что в их разговор вмешиваются и рассуждают на ту же тему типы вроде Ораци, которые стояли в сторонке и слушали. Моя потеря казалась мне невосполнимой. Я самым идиотским образом растранижил весь сегодняшний день, даже не поняв секретов этого города, а завтра чем свет нас поднимут, построят на станции ради того, чтобы раза два скомандовать нам «на караул», потом погрузят в автобусы, и мне никогда уже не представится возможность своими глазами увидеть разграбленный город.

Проходя мимо со стопкой сложенных одеял, Бьянконе шепнул мне:

— Бергамини, Черетти и Глауко мародерничали.

Я уже заметил между матрацами какую-то возню, но не придал этому значения. Теперь же, когда Бьянконе предупредил меня, я вспомнил, что только что видел, как этот Бергамини крутил в руках теннисную ракетку. Тогда я еще мысленно спросил себя, где он ухитрился ее подцепить. Сейчас я уже не видел ракетки, но как раз в этот момент Глауко Растелли, заправляя под матрац одеяло, неосторожно сдвинул его, и я увидел пару боксерских перчаток, которые он поспешно запихал обратно.

Бьянконе был уже в постели и курил, опершись на локоть. Я сел рядом с ним на его матрац и тихо сказал:

— В хорошую компанию мы попали.

— Э, — отозвался он, — все эти прихвостни — законченные гангстеры.

— Разве мы такими были, когда учились в пятом классе?

— Э! Не те времена! — заметил Бьянконе.

В эту минуту в комнате раздалось простуженное, свистящее: «ку-ку, ку-ку», и Черетти завертелся под одеялом в во-

сторге оттого, что ему удалось наладить часы с кукушкой, которые он утащил.

— И как только он ухитрится доставить домой такую вещь? — сказал я, обращаясь к Бьянконе. — Ведь не спрячешь же под курточку часы с кукушкой.

— Да он их выбросит. На что они ему? Он их взял только для того, чтобы пошуметь.

— Только бы он не куковал всю ночь и дал нам поспать, — сказал я.

Но как раз в этот момент Черетти крикнул:

— Эй, ребята! Я их завел, теперь они каждые полчаса куковать будут.

— В море! Выбросить их в море!

Четверо или пятеро ребят, вскочив босиком с матрасов, бросились на него и принялись отнимать часы. Борьба продолжалась до тех пор, пока часы не были остановлены.

Скоро потушили свет, и мало-помалу все затихло. Мне не спалось. В соседнем зале расположились прибывшие после нас допризывники — моряки из N., от которых мы держались особняком, может быть, потому, что они были старше нас, может, из-за традиционного соперничества наших городов, но всего вероятнее потому, что мы принадлежали к разным кругам: они в некотором роде представляли портовых пролетариев, в то время как большинство наших были учащимися. Эти допризывники продолжали галдеть, ходить, дурачиться, даже когда самые шумливые из наших, минуту назад вопившие во всю глотку, умолкли, внезапно сраженные сном. Чаще всего из-за стены доносилось одно слово, которое морячки, по-видимому, где-то подцепили сегодня и теперь выкрикивали, коверкая его на свой лад, что, по всей вероятности, придавало ему какой-то, понятный им одним, комический смысл.

— Эй, буык! — ревели они.

Я думаю, это должно было означать: «Эй, бык!» Они кричали это слово, подражая мычанию этого животного, стараясь делать как можно длиннее средний гласный звук, который у них звучал, как нечто промежуточное между «у» и «ы», и как они, вероятно, думали, напоминал крик пастухов. Один из моряков, судя по всему уже лежавший на своем матрасе, выкрикивал это слово басом, после чего все остальные покатывались со смеху. Иногда казалось, что они, на-

конец, утомонились, и я мало-помалу погружался в дрему, но тут где-нибудь в дальнем углу соседней комнаты новый голос неожиданно снова выкрикивал:

— Эй, буык!

Некоторые из нас пробовали кричать им через стенку, даже грозить, на что моряки отвечали новыми взрывами воплей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из наших, кто похрабрее, пошел и вздул бы их как следует, но самые воинственные наши ребята — Черетти и его компания — преспокойно спали, как будто вокруг царила абсолютная тишина, а нас, тех, кто не мог уснуть, было немного, и мы не отличались решительностью. Бьянконе тоже был в числе спавших.

Одолеваемый мыслями о своих мародерствующих товарищах и яростью против воплей за стеной, я крутился с боку на бок под колючим солдатским одеялом. В эти минуты многие мои мысли начинали приобретать едкий оттенок аристократизма, с этих же аристократических позиций я оценивал и осуждал фашизм. В ту ночь фашизм, война и грубость моих соседей по комнате сливались для меня воедино, вызывали одинаковое омерзение, и в то же время я чувствовал, что должен подчиниться всему этому, что выхода у меня нет.

На следующее утро, стоя вместе со всеми в строю (цензурион Бидзантини проверял наши карабины), я с тем же самым чувством смотрел на этих допризывников, проходивших колонной по саду, долговязых, худых, шагавших вразвалку и не обращающих внимания на команды.

Мы пожаловались Бидзантини на их поведение этой ночью, и тут он явно хватил через край, обнаружив откровенное раздражение, которое объяснялось враждой между руководителями «Джовинеццы» нашего города и областного центра, которым являлся N., враждой, родившейся из иерархических разногласий.

— А что вы хотите, — сказал он, — вы же видите, с кем имеете дело? Да и кого еще могут прислать из N.! Разве это молодежь? Разве хоть один из них занимался когда-нибудь спортом? Только посмотрите на них — скривились, как крючки, тощие, длинные, какие-то кособокие!

Он, конечно, преувеличивал, но все же был недалек от истины. Их, бесспорно, нельзя было назвать атлетически сложенными парнями, хотя, по правде говоря, я тоже был

не атлет и поэтому несколько обиделся за них на иронию Бидзантини.

— Портовые грузчики, землекопы дохнут там у себя с голоду, — тихо пробормотал Бьянконе. — Приехали сюда, чтобы получить те несчастные гроши, которые им платят за день, и не работать...

Чем дальше я слушал Бьянконе, тем сильнее чувствовал, как бледнеют мои недавние обиды и все явственнее звучат в душе те нравственные правила, в которых я был воспитан и которые учили противостоять всем презирающим бедных и людей труда.

— И при всем том, что наш режим делает для народа... — продолжал Бидзантини.

«Для народа... — думал я. — Да народ ли эти допризывники? И каково народу, хорошо или плохо? Неужели он предан фашизму, этот народ? Народ Италии... А я, кто я?»

— ...они плюют и на «Джовинеццу» и на все!

— И я тоже! Я тоже плюю! — прошептал я Бьянконе, стоявшему рядом со мной.

— Но инспектор все это заметил, он сразу увидел, что мы привезли только учащихся, хорошо одетых, хорошо сложенных, воспитанных...

— Дерьмо, — вполголоса сказал я Бьянконе. — Вот дерьмо!

— Он сказал, что нас поставят на самом виду, в первой шеренге... перед испанцами... перед молодежью каудильо...

Колонна допризывников давно прошла. Бидзантини продолжал свою речь, а я продолжал думать о своем: возможно, мы останемся в Ментоне еще на день, в этом случае мне хотелось, чтобы Бьянконе сходил вместе со мной поглядеть на разграбленные дома.

— Как только нас отпустят, идем вместе, — шепнул я ему.

Он подмигнул мне, так как даже после команды «вольно» стоял как истукан.

Центурион продолжал кричать, излагая нам свою философию. Теперь он взялся сравнивать воспитание молодежи при Муссолини со старым воспитанием.

— ...Потому что вы выросли в атмосфере фашизма, а не знаете, что это значит. Вот окажись, например, вчера вечером здесь в Ментоне ваши прежние учителя, как бы они

разоухались! «Да бже мой! Они веь дети! Как же можно заставлять их ночевать не дома? Слыханное ли дело? Тут даже кровати нет! А кто будет отвечать? А что скажут их родители? Ах! Ах!» Для нас, фашистов, все — раз, два, и готово! Никаких трудностей! Напролом! Римское воспитание. Как в Спарте! Нет кроватей? Спи на полу. Все солдаты, черт побери! Напра-во!

Словом, наш центурион показывал себя сейчас тем, кем был — наивным простаком, хуже любого из нас: перед бандой наглых сорванцов, истинных висельников, которые не могли дожидаться той минуты, когда можно будет броситься грабить город, он расчувствовался, как добрая бабушка, и из-за чего? Из-за того, что заставил нас пережить захватывающее приключение — переночевать одну ночь не дома!

Бьянконе знал об одной вилле, расположенной неподалеку, вилле, куда он еще не заглядывал, но где, по словам тех, кто там побывал, довольно много интересного. В саду распевали птички, в бассейн по капле стекала вода. Сероватые листья большой агавы были исцарапаны во всех направлениях именами, названиями деревьев, полков, вырезанными штыками. Мы обошли вокруг виллы, она оказалась наглухо заколоченной, однако, зайдя на одну террасу, усыпанную осколками битого стекла, мы обнаружили дверь, сорванную с петель, и вошли в гостиную, где стояли сдвинутые со своих мест и засыпанные мелкими фарфоровыми осколками кресло и софа. Первые грабители, роясь в шкафчиках в поисках серебра, отшвыривали в сторону фарфоровые сервизы, они выдергивали из-под мебели ковры, опрокидывая столы и стулья, которые валялись сейчас вокруг в хаотическом беспорядке, словно после землетрясения. Мы проходили по комнатам и коридорам, темным, если на окнах сохранились ставни, и залитым солнцем, если они были распахнуты или сорваны с петель, и на каждом шагу натыкались на всевозможные предметы, лежавшие где попало или раскиданные по полу и растоптанные сапогами, — трубки, женские чулки, подушки, игральные карты, электрический провод, журналы, люстры. Ничто не ускользало от взгляда Бьянконе, он отмечал самые незначительные детали и мгновенно связывал одно с другим; поднимая с полу ножку от разбитой рюмки или лоскут оторванной от мебели обивки, он наклонялся с таким видом, будто мы находимся



в оранжерее и он показывает мне цветы; после этого он легким, точным движением, как сыщик, осматривающий место преступления, клал каждый предмет на прежнее место.

По мраморной лестнице, заляпанной грязными следами, мы поднялись на второй этаж и оказались в комнатах, сплошь заваленных тюлем и газом.

Когда-то это были тюлевые пологи и балдахины, висевшие, как видно, над каждой кроватью. Те, что ворвались сюда первыми, сорвали их и разодрали на куски. Сейчас весь этот тюль с оборками и воланами пышной, волнистой мантией покрывал полы, кровати и комоды. Эта картина очень нравилась Бьянконе, он расхаживал по комнатам, осторожно, двумя пальцами убирая с дороги воздушные полотнища.

В одной из спален мы услышали какую-то возню. Похоже было, будто какое-то большое животное копошилось под тюлевым покрывалом.

— Кто идет?

Это был Дуччо, авангардист из нашего отделения, мальчишка лет тринадцати, маленький, толстый и красномордый.

— Ох, и барахла тут!.. — сказал он с подавленным вздохом, продолжая рассеянно рыться в комоде.

Он вытаскивал из ящиков все, что попадало под руку, ненужное бросал на пол, а то, что казалось ему подходящим: подвязки, носки, галстуки, щетки, полотенца, баночку с бриллиантином, пихал за пазуху. Делал он это с таким усердием, что куртка его надулась на груди круглым как мяч горбом, а он все продолжал заталкивать туда шарфы, перчатки, подтяжки. Он весь раздулся, стал грудастым, как голубь, но, судя по всему, не собирался прекращать свое занятие.

Мы больше не обращали на него внимания: до нас отчетливо донеслись звуки, похожие на удары молотка, гулко раздававшиеся где-то над нами.

— Что это? — спросили мы.

— Да ничего, — ответил Дуччо. — Это Форнацца.

Мы пошли на шум и, поднявшись на следующий этаж, оказались в некоем подобии сводчатого коридора, где авангардист Форнацца, мальчишка примерно такого же роста, как Дуччо, но только худой и чернявый, с копной вьющихся волос на голове, орудуя молотком и отверткой, отламывал что-то от старинного шкафа.

— Что ты делаешь? — спросили мы.

— Мне вот эти штучки нужны, — ответил он и показал нам металлические розетки. — Две я уже отломал...

Мы предоставили обоим заниматься своим делом и снова пошли бродить по дому. Забравшись на чердак, мы через слуховое окно вылезли на маленькую площадку, укрепленную под коньком крыши. Под нами лежал сад, за ним — зеленая зона, опоясывавшая Ментону, оливковые рощи и в самой глубине — море. На площадке лежало несколько промокших от дождя, свалявшихся подушек. Мы разложили их около высокой радиоантенны, развалились на солнышке и закурили, наслаждаясь покоем.

Небо было чистое, проползая над антенной, белые ленты облаков казались развевающимися по ветру флагами. Снизу долетали усиленные тишиной пустынных улиц редкие голо-

са, которые мы сразу узнавали. Вот это Черетти, который вышел на промысел, а это чем-то рассерженный Глауко. Сквозь перильца, ограждавшие площадку, мы наблюдали за авангардистами и молодыми фашистами, рыскавшими по городу: небольшая группа, горланя, сворачивала за угол; в окне одного дома показались двое неведомо как очутившихся там авангардистов, — высунувшись наружу, они пронзительно свистели; в узком просвете между деревьями появилась выходившая из бара оживленная компания наших офицеров, толпившихся вокруг инспектора. Дальше виднелось ослепительно блестящее под солнцем море.

— А почему бы нам не искупаться?

— Пошли?

— Пошли.

Мы сбежали вниз и двинулись по дороге, ведущей к морю. За парапетом приморской улицы, на узкой полосе усыпанного камнями песчаного пляжа, обедала группа полуголых каменщиков, они сидели на самом солнцепеке, передавая из рук в руки оплетенную бутылку.

Мы разделились и растянулись на песке. У Бьянконе была удивительно белая кожа, на которой ясно выделялись многочисленные родинки; по сравнению с ним я казался черным и худым. Пляж был грязный: его совсем завалили водоросли всех видов — колючие, похожие на бурые шары и на мокрые серые бороды. Чтобы увильнуть от купанья, Бьянконе посмотрел на небе облачко, которое будто бы должно было закрыть солнце, но я, вскочив, бросился в воду, и ему ничего не оставалось, как последовать за мной. Солнце действительно скрылось, и стало немного грустно плыть по белесой, как рыбье брюхо, воде, смотреть на булыжную стену дамбы, нависшую над нами, и на молчаливую Ментону. На гребне мола показался солдат с винтовкой и в каске и стал кричать нам, что здесь запретная зона и что мы должны вернуться на берег. Мы поплыли обратно, вытерлись, оделись и пошли за своим пайком.

Нам не хотелось терять послеобеденные часы на хождение по редким пригородным виллам, до которых к тому же было не так уж близко, и мы предпочли осмотреть городские дома, где на каждой лестничной площадке открывался свой, особый мир, за каждым порогом — тайна чьей-нибудь жизни. Двери квартир были выломаны, на полу в каждой

комнате валялись вещи, вытряхнутые из ящиков комодов теми, кто искал там деньги или драгоценности. Порывшись в этих грудях разорванной одежды, безделушек, грязной бумаги, можно было даже сейчас найти кое-что ценное. И вот наши товарищи принялись методически обшаривать каждый дом, без зазрения совести забирая себе все хорошее, что там еще оставалось. Мы встречали их на лестницах, в коридорах, иногда даже ходили вместе с ними. Надо сказать, что никто из них, пожалуй, ни разу не наклонился, чтобы порыться в какой-нибудь куче, как это на наших глазах делал сегодня утром Дуччо. Найдя какую-нибудь интересную или броскую вещицу, они хватали ее и принимались восторженно орать до тех пор, пока не подбегали другие. После этого они бросали найденный предмет, потому что его неудобно было таскать с собой или потому что находилось что-нибудь более интересное.

— А вы что нашли? — спрашивали они нас.

Я цедил сквозь зубы свое неизменное: «Ничего», обуреваемый, с одной стороны, желанием порисоваться тем, что противостою всем остальным, а с другой — по-детски стыдясь того, что не такой, как все.

Зато Бьянконе каждый раз пускался в длиннейшие объяснения.

— Что? — переспрашивал он. — О, вы еще увидите! Нам известно такое место!.. Знаете, там, за поворотом? Ну, видели полуразрушенный дом? Вот если обойти его сзади и подняться по пожарной лестнице... Что там есть? А вы сходите и узнаете.

Правда, ему не так уж часто удавалось поймать кого-нибудь на удочку, потому что все знали его как мастера «разыгрывать», однако благодаря таким шуточкам он сохранил вид человека, знающего, что к чему. Охотничий азарт охватил всех без исключения. Когда я встретил сияющего и возбужденного Ораци, который заставил меня пощупать его карманы, мне стало ясно, что нас — меня и Бьянконе — не поймет ни один из авангардистов. Но нас было двое, и уж мы-то друг друга понимали. Именно это нас всегда и связывало.

— Да ты пощупай как следует! Знаешь, что у меня там? — говорил Ораци.

— Бутылки.

— Радиолампы! Филипс! Я себе новый приемник сделаю.

— Желаю успеха!

— Ни пуха ни пера!

Переходя из дома в дом, мы добрались до бедных кварталов, застроенных старыми домами. Лестницы здесь были узкие, комнаты до того ободранные, что казалось, будто их уже давным-давно, много лет назад разграбили и оставили пустовать и пропитываться зловонием, которое нес ветер, дувший с моря. В раковине валялись грязные тарелки, стояли сальные, закопченные кастрюли, только потому, наверно, и сохранившиеся в целости и неприкосновенности.

Я вошел в этот дом вместе с группой других авангардистов и тут вдруг заметил, что среди нас нет Бьянконе.

— Вы не видели Бьянконе? Куда он пошел? — спросил я.

— Как куда? — ответили мне. — Его с нами и не было!

К нам совсем недавно присоединилась другая ватага ребят — эти группы то и дело распадались и сливались с другими, и сейчас я не мог вспомнить, когда отбился от той компании, где был Бьянконе, и пошел в другую сторону.

Я вышел на лестницу и позвал:

— Бьянконе!

Потом повернул в какой-то коридор и снова крикнул:

— Бьянконе!

Мне показалось, что до меня откуда-то донеслись голоса, но я не разобрал откуда. Открыв наудачу одну дверь, я оказался в мастерской какого-то кустика. В углу стоял столярный верстак, а посреди комнаты — низкий верстачок не то столяра-краснодеревщика, не то резчика по дереву. На полу валялись стружки, окурки, желтели опилки, словно еще две минуты назад здесь работали. По всей комнате были разбросаны сотни обломков инструментов и всевозможных предметов, сделанных этим кустиком, — рамок, шкатулок, спилок от стульев и бесчисленное количество ручек для зонтов.

День клонился к вечеру. Посреди комнаты висел абажур без лампы с противовесом в виде груши. Комната слабо освещалась лучами заката, проникавшими сквозь низкое окошко. Я рассматривал стоявших в ряд на стеллаже кукол, предназначенных, должно быть, для стрельбы в цель или для театра марионеток. Лица этих кукол были только слегка намечены, но по ним уже угадывалась врожденная склон-

ность мастера к гротеску и карикатуре, некоторые из них были раскрашены, другие стояли неоконченными. Лишь две или три из этих голов были отломаны и разделили участь вещей, находившихся в комнате; остальные торчали на своих шеях, кривя в бессмысленной улыбке деревянные губы и вылупив круглые глаза. Мне даже показалось, что иные из них покачиваются из стороны в сторону на столбиках, изображавших шеи, может быть, от сквозняка, может быть, потому, что я очень стремительно вошел в комнату.

А что, если здесь только что кто-то был и нарочно качнул их? Я открыл следующую дверь. Тут стояла кровать, нетронутая люлька, распахнутый настежь, совершенно пустой шкаф. Я пошел дальше. В последней комнате весь пол был засыпан бумагами — письмами, открытками, фотографиями. Бросилась в глаза фотография новобрачных: он — солдат, она — блондинка. Я присел на корточки и взял одно письмо. «*Ma chérie*» *. Это была ее комната. Стоя на одном колене, я, несмотря на сгущающиеся сумерки, принялся разбирать это письмо, прочитал один лист, стал искать второй. В этот момент в дверь вломилась ватага молодых фашистов из Н. Моряки тяжело дышали и рвались вперед, словно ищейки. Они сгрудились вокруг меня.

— Что тут? Что ты нашел?

— Ничего, ровным счетом ничего, — пробормотал я.

Порывшись в этом ворохе бумаги, разбросав его ногами, они, все так же сопя и отдуваясь, выскочили из комнаты.

Стало так темно, что я больше не мог прочитать ни слова. В окно врывался шум моря, такой отчетливый, словно оно было здесь, в доме. Я вышел на улицу. Смеркалось. Я направился к месту сбора. Вместе со мной возвращались некоторые из наших; их куртки оттопыривались горбами, у каждого в руках были кое-как завернутые пакеты с вещами, которые не влезали за пазуху.

— А ты? Ты что взял? — спрашивали они.

Местом сбора был павильон, в котором когда-то размещался английский клуб, а теперь был Домом фашио. В освещенных люстрами коридорах словно открылась ярмарка.

* Моя любимая (франц.).

Каждый, не боясь начальства, выставил напоказ и похвлялся своими приобретениями, придумывал, как бы спрятать их от посторонних глаз при возвращении в Италию. Бергамини запрятал свою теннисную ракетку в брюки, которые теперь неестественно оттопыривались сзади; Черетти обмотался велосипедными камерами, поверх натянул фуфайку и стал похож на Мациста *. Среди них я увидел и Бьянконе. В руках у него были женские чулки, которые он вытаскивал из целлофановых пакетиков и, разматывая в воздухе, показывал товарищам.

— Сколько же их у тебя? — спрашивали его.

— Шесть пар.

— И все шелковые?

— А как же!

— Ничего находочка! А кому ты их отдашь? Ты их подарить?

— Подарю? Ну нет! Я за них целый месяц буду бесплатно ходить к женщинам!

Увы, даже Бьянконе! Теперь я был одинок. Многие ругались вслух, ведь они проходили по тому самому месту, черт знает сколько раз и все впустую, а вот Бьянконе каким-то образом посчастливилось отыскать там эти чулки.

— Вы думаете, только чулки? — говорил он. — А вот этот шотландский шарф? А черешневая трубка?

Да, Бьянконе был виртуоз, он бил наверняка: где ни копнет, обязательно обнаружит сокровище.

Я подошел поздравить его и, наверно, сделал это вполне искренне. По правде говоря, я был дураком, что ничего не взял. Ведь сейчас эти вещи никому не принадлежали. Бьянконе подмигнул мне и показал истинные свои находки, которыми действительно дорожил и не хотел показывать другим: медальон с изображением Даниель Дарье, книгу Леона Блюма и пьегабаффи **. Вот, надо шутя уметь делать некоторые вещи, как Бьянконе, мне же этого не дано. Даже инспектор забавлялся, осматривая добычу авангардистов, он ощупывал куртки, заставлял вынимать из-под них самые раз-

* Мацист — популярный в начале столетия борец, много снимавшийся в кино.

** Пьегабаффи — особый вид папилюток для усов, надеваемых на ночь.



личные предметы. Сопровождавший его Бидзантини одобрительно смеялся, очень довольный нами. Потом он созвал нас, чтобы дать кое-какие распоряжения; приказа строиться не было, мы просто сгрудились вокруг него, возбужденные царившей повсюду атмосферой лихорадочного веселья, все в куртках, топорщившихся, как костюмы ряженных на карнавале.

— Наших испанских друзей, — сказал Бидзантини, — ожидают сегодня вечером, в половине десятого. Сбор без четверти девять — приведем себя в порядок, получим оружие. Что до этих вещей, то, я думаю, мы сумеем их спрятать, в автобусе или на себе, и никто нам ничего не скажет. Инспектор заверил меня, что очень доволен вами. Мальчики, не забывайте, что это завоеванный город и что мы победители. Все, что здесь есть, — наше, и никто не смеет нам ничего сказать. Итак, у нас еще час с четвертью, можете еще немного походить, поискать то, что вам нужно, но без криков, без скандалов, так же, как до сих пор. Я вам вот что скажу, — добавил он, повысив голос, — если какой-нибудь юноша, из тех, кто находится здесь сегодня, ничего с собой не унесет, он просто остолон! Да-с, синьоры, остолон, и мне стыдно будет пожать ему руку!

Его последние слова встретили гулом одобрения. Я ликова-
вал. Я — единственный, единственный из всех, ничего не

взял, я — единственный ничего не возьму, я — единственный вернусь домой с пустыми руками. Нет, я был не менее предпримчив и ловок, чем другие. Я вел себя мужественно, почти героически. И радоваться сейчас надо мне, мне, а не им!

Бидзантини еще продолжал ораторствовать, давая нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу авангардистам свои бесполезные советы. Я стоял около двери. В замке торчал ключ, ключ от нашего пристанища здесь, с большим жетоном, на котором стоял номер и были выбиты слова: «New club» *. Я вынул его. Вот что я возьму. Я унесу на память этот ключ, ключ от Дома фашио. Я опустил его в карман. Он будет моей добычей.

Наступили последние часы нашего пребывания в Ментоне. Я в одиночестве отправился к морю. Уже совсем стемнело. Из домов доносились крики авангардистов. Меня одолевали грустные мысли. Я направился к скамейке и тут увидел, что на ней сидит парень в морской форме. Я узнал желто-красные ленточки молодых фашистов: это был новобранец из N. Я опустил на скамейку, он не шевельнулся и продолжал сидеть, уронив голову на грудь.

— Слушай, — начал я, еще не зная, что скажу ему. — Чего же ты не ходишь со всеми по домам?

Даже не повернув головы, он тихо сказал:

— Тошно мне.

— Так ты что же, ничего не взял? — спросил я.

Он повторил:

— Тошно мне.

— Нет, ты мне все-таки скажи: ты ничего не взял, потому что не нашел или потому что не хочешь?

— Тошно мне, — снова сказал он, поднялся и пошел прочь, между зубчатыми теньями пальм, широко шагая и болтая руками. Неожиданно он заорал, не запел, а именно заорал во всю глотку:

— Жить и жить! Покуда молод ты-ы!

Пьян он был, что ли?

Я снова сел на скамейку, вытащил из кармана ключ и принялся его рассматривать. Мне хотелось приписать ему какое-нибудь символическое значение. «New club», потом Дом фашио, а теперь он у меня в руках. Что все это может

* Новый клуб (англ.).



предвещать? Мне захотелось, чтобы это был очень нужный ключ, чтобы он имел какое-нибудь огромное значение, чтобы те, что заняли сейчас этот дом, узнав о его пропаже, стали бы рвать на себе волосы, чтобы без него они не смогли запереть комнату с какой-нибудь бесценной, хранимой в тайне добычей или с документами, от которых зависела бы их личная судьба.

Я встал и пошел к Дому фашио.

В коридорах толкалось несколько авангардистов, заворачивавших и прятавших добытое барахло; командиры пересчитывали карабины и уточняли расположение отделений. Бьянконе тоже был среди них. Притворяясь скучающим, я ходил по коридорам, на ходу рассеянно проводя рукой по стенам и дверям, насвистывая веселый мотив. Когда рука оказывалась рядом с каким-нибудь ключом, я быстро выдергивал его из замочной скважины и прятал за пазуху куртки. В коридор выходило множество дверей, и почти в каждой из них снаружи торчал ключ с бронзовой биркой, на которой стоял номер. Скоро моя куртка была битком набита, а вокруг не осталось ни одного ключа. На меня никто не обратил внимания. Я вышел на улицу.

На пороге я встретился с теми, кто возвращался после очередного похода.

— Ну, что ты повезешь домой? — спрашивали они меня.

— Я? Ничего...

Но, заметив улыбку, мелькнувшую на моем лице, они многозначительно подмигивали.

— Ну да! Знаем мы это ничего!..

Я зашел в сад. У меня теперь было два десятка ключей. При каждом шаге они звенели, как железный лом.

«Ну, теперь у меня есть добыча», — думал я.

— Эй, ты, что это у тебя за пазухой? — спросил меня проходивший мимо авангардист. — Звенишь, как корова колокольчиками!

Я поспешно свернул в боковую аллею. В саду было несколько навесов и увитых диким виноградом беседок; в одну из них я незаметно проскользнул. Теперь я начал отдавать себе отчет в том, что наделал. Ведь мой непонятный поступок могли так или иначе обнаружить и даже, может быть, уже обнаружили. Что, если кому-нибудь из наших офицеров или начальников потребовалось запереть что-нибудь в одной из этих полупустых комнат? А если не начальники, а мои же товарищи — сейчас или позже, в автобусе или в Италии — заставят меня показать то, что я прячу под курткой? Ведь всем сразу станет ясно, что все эти ключи с номерами и надписью «New club» украдены из Дома фашио. А с какой целью? Чем я смогу оправдать свой поступок? Очевидно, что все назовут его позорным, расценят как бунт или саботаж. У меня за спиной «New club» грозно сверкал всеми своими окнами, освещенными и зашторенными, еле пропускавшими голубоватые отсветы. Я саботажник, враг фашизма на завоеванной им земле.

Я побежал в глубь сада. Впереди блеснула вода: на газоне возвышался окруженный искусственными скалами бассейн с торчащей посередине трубой. Я стал вытаскивать из-за пазухи ключи и бросать их один за другим в воду, стараясь, чтобы они падали без всплесков. Со дна бассейна клубами стала подниматься муть, гася лунные блики. Когда утонул последний ключ, в воде мелькнула светлая тень: наверно, какая-нибудь старая золотая рыбка приплыла узнать, что тут случилось.

Я поднялся на ноги. Неужели я трус? Сунув руки в карманы, я нащупал еще один ключ — тот, который я взял пер-

вым и который так и остался у меня в кармане. Я снова почувствовал себя в опасности и снова был счастлив. Мои товарищи возвращались к месту сбора, и я пошел вместе с ними.

Поезд с испанцами подошел через час после того, как нас выстроили на станционном перроне. Бидзантини рявкнул:

— На караул!

Под перронным навесом слабо светились огоньки затемненных ламп. Молодые фалангисты построились на этом освещенном участке, а мы стояли немного дальше, в самом конце перрона. Испанцы были все как на подбор — высокие, крепкие, с приплюснутыми, как у боксеров, физиономиями, в красных надвинутых на один глаз беретах, в черных свитерах с закатанными по локоть рукавами, с маленькими, прикрепленными к поясу ранцами. Ветер, налетавший короткими, как автоматные очереди, порывами, раскачивал лампы, мы, стоя навтыжку и держа перед собой карабины, замерли перед парнями каудильо. Ветер порой доносил до нас обрывки маршевой, ритмичной мелодии; с самой первой минуты своего прибытия они непрерывно пели что-то вроде: «Аро... аро... аро...» Потом раздалась какая-то короткая команда, и они начали строиться, вытягивая вперед руку, чтобы установить правильный интервал. До нас донесся гул их голосов, переключка: чей-то голос невнятно выкрикивал имена:

— Себастьян... Пабло, Винсенте...

После этого они строем направились к ожидавшим их автобусам и уехали, так ни разу и не взглянув в нашу сторону.

Перед отъездом мы, окруженные всяким барахлом, как контрабандисты, прошли перед Бидзантини. Проверая, не слишком ли обращает на себя внимание наш вид, он осматривал нас одного за другим, после чего громким шлепком по раздувшейся куртке или пинком в зад направлял к автобусу. Я тоже прошел мимо него. В своей пустой куртке я казался стройным и подтянутым. Я шел, смотря прямо в глаза Бидзантини. Взглянув на меня, он стал серьезным и ничего не сказал, однако со следующим авангардистом уже опять шутил и балагурил.

Автобус снова мчался по берегу моря. Мы все устали и сидели молча. Темноту то и дело разрывали фары шедших навстречу автоколонн. Дома, стоявшие на берегу, еле виднелись во мраке, море было пустынное, отливающее металлическим блеском, угрожающее. Шла война, и все мы ей подчинялись. Я уже знал, что теперь она будет распоряжаться нашими жизнями. Моей жизнью. Но как, я не знал.

НОЧЬ ДРУЖИННИКА ПВО

Я был не слишком развитым мальчиком. В свои шестнадцать лет я во многом отставал от сверстников. Потом, летом сорокового года, я вдруг написал комедию в трех действиях, влюбился и научился ездить на велосипеде. Однако я еще ни одной ночи не провел вне дома до того, как пришло распоряжение во время каникул всем ученикам лицей раз в неделю являться на дежурство в дружину ПВО.

В наши обязанности входило охранять школьные здания в случае воздушных налетов. Налетов, однако, пока что не было, и вся эта затея с дружинами ПВО казалась такой же формальностью, как и многое другое. Для меня же это было новым и веселым занятием. Стоял сентябрь, почти никого из моих школьных товарищей не было в городе — кто еще жил на даче, кто пропадал на охоте, а некоторые, невесты куда заброшенные войной еще в июне, так и не вернулись обратно. В городе были только я и Бьянконе. Я целыми днями слонялся по улицам и умирал от скуки, он целыми ночами пропадал неизвестно где и, по-видимому, развлекался так, что дальше некуда. В каждую смену назначалось двое дежурных. Конечно, я и Бьянконе сразу решили, что запишемся в одну смену, что он сводит меня во все места, какие только знает, и вообще обещали друг другу бог знает что. Нам назначили объект — начальную школу — и время дежурства — в ночь с пятницы на субботу. Комната с двумя раскладушками и телефоном служила нам кордегардией. Мы должны были находиться в полной готовности в случае тревоги. Кроме того, мы могли делать обходы, то есть выходить на улицу и гулять сколько душе угодно, но только по очереди, потому что в любую минуту нам могли позвонить по телефону и устроить проверку. Мы, конечно, сразу

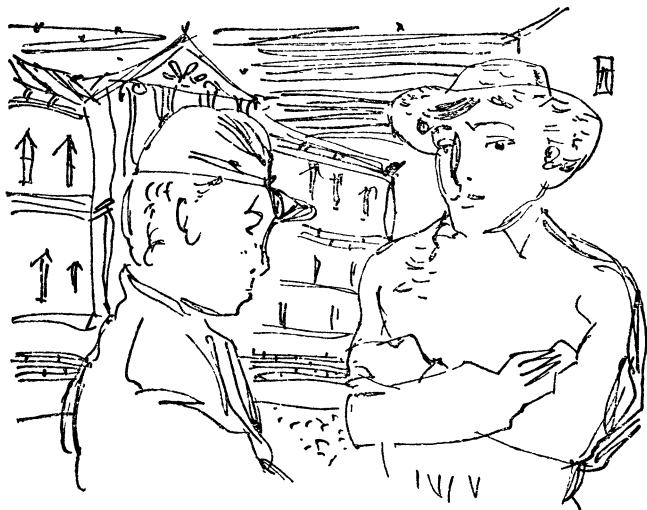
же подумали, что уж как-нибудь договоримся с начальником дружины и сможем уходить вместе и что телефон потребуются нам главным образом для того, чтобы в шутку звонить знакомым и будить их ни свет ни заря.

Но хотя мы только и знали, что твердили друг другу: «Сделаем то-то и то-то! Вот увидишь, как будет весело!», хотя уже задолго до пятницы запланировали и учили, можно сказать, буквально все, — я ожидал от этой ночи чего-то еще, о чем не сумел бы рассказать словами, какого-то нового, неведомого мне пока откровения, откровения ночи. Бьянконе же, наоборот, все казалось привычно-веселым, известным наперед. Я делал вид, что и для меня все обстоит так же, а между тем каждое замышляемое нами предприятие мне казалось окруженным неведомым, незримым океаном ночи, бурлившим в моем воображении.

В пятницу после ужина я вышел из дому. На дворе был вечер, пока что такой же, как всегда. Я нес под мышкой пижаму и наволочку, которую мне велели надеть на казенную подушку перед тем, как я лягу спать. Кроме того, я захватил с собой иллюстрированный журнал: ведь среди наших многочисленных дел мы наверняка выберем время, что-бы почитать.

Школа помещалась в большом каменном доме с железной крышей. Дом был расположен немного неудачно — первый этаж находился выше уровня улицы и соединялся с ней тремя длинными лестницами. Школу строили уже во время диктатуры, однако по стилю она не имела ничего общего с чванливой архитектурой той эпохи: она дышала казенной простотой, которую патриархальные фашисты нашей провинции старались сохранить где только возможно. Даже барельеф на фронтоне, изображавший Балиллу и маленькую итальянку, которые сидели по обе стороны надписи: «Коммунальная школа», был насквозь пронизан назидательным духом девятнадцатого века.

Ночь была безлунной. Стены школьного здания смутно белели в темноте. Мы с Бьянконе условились, что встретимся здесь, но он, конечно, опаздывал. Выше по склону холма располагались виллы и поля. Оттуда ясно доносилось стрекотание кузнечиков и кваканье лягушек. Я больше не испытывал того пылкого, нетерпеливого чувства, которое толкало меня сюда. Сейчас, блуждая возле школы, один, с пижа-



мой, наволочкой и иллюстрированным журналом в руках, я чувствовал себя непривычно и неудобно. Я стоял и ждал. Вдруг за самой спиной у меня вспыхнул огонь. Я отскочил в сторону: иллюстрированный журнал, который я держал под мышкой, был охвачен пламенем. Я бросил его на землю и, прежде чем успел испугаться, понял, что это все шуточки Бьянконе. Он стоял у стены, еще держа в руке коробку спичек, с которой незаметно подкрался ко мне. Он не смеялся. У него, как всегда, был деловой и невозмутимый вид.

— Простите, синьор дружинник, — сказал он, — вам не кажется, что поблизости что-то горит?

— Задница твоя горит! — в сердцах огрызнулся я и затоптал полыхавший журнал. — Тоже придумал шутку!

— Это не шутка. Это проверка. Дружинника ПВО, дорогой мой, на каждом шагу подстерегает опасность, нужно быть готовым ко всему. Но я вижу, что службу ты выполняешь неплохо. Молодец! Ну, будь здоров! Теперь я могу спокойно идти по своим делам.

Я сказал ему, чтобы он поменьше дурачился, потому что нам пора уже подняться в нашу кордегардию хотя бы для того, чтобы оставить вещи.

Но двери школы были заперты. Сколько мы ни жали

кнопку, до нас доносились только отдаленные трели звонка, а наш стук будил лишь эхо в пустых коридорах.

— Да там никого нет. Сторожиха в деревне, — проговорил у нас за спиной чей-то голос. Как видно, мы всех перебудили своим стуком.

Оглянувшись, мы увидели стену, а за ней, между черными стеблями фасоли, силуэт мужчины с лейкой, в которой, как мы догадались по запаху, была навозная жижа. Это был огородник, использовавший ночное время, чтобы удобрить грядки, не беспокоя соседей вонью.

— Но должны же мы войти. Мы — ПВО!

— Кто?

— ПВО!

Тоненькая полоска света, пробивавшаяся в окне ближайшего домика, мгновенно погасла. Бьянконе толкнул меня локтем, довольный, что получил подтверждение нашей власти.

— Видишь, что это значит? — тихо сказал он мне. — Мы — ПВО!

— Сторожиха сейчас в деревне, тревоги боится, — продолжала сверху зловонная тень. — Но это недалеко. Поднимитесь по этой улице и на самом верху увидите одноэтажный домик. Крикните: «Биджин!», и она сейчас же выйдет.

— Спасибо.

— Не за что. Э... раз уж вы из ПВО... Вот такой синий фонарик можно держать или это запрещено?

— Да, да, — важно ответили мы. — Он немножко светловат, но ничего, можете его оставить.

Тут Бьянконе наклонился ко мне и шепнул:

— Чувствуешь, какая вонь? Сказать ему?

— Что?

— Что это запрещено. Привлекает вражеские самолеты.

— Да иди ты... Пошли!

И мы двинулись вверх по вымощенной булыжником улице, ведущей в деревню.

Из редких домов тянулись к дороге чуть видные полоски синего света и доносились приглушенные звуки — голоса, позвякивание тарелок, детский плач. И у них и у нас была ночь. Ночь на улице была изнанкой ночи, царившей в домах, а мы — незнакомыми шагами за окном, песенкой, которую насвистывает прохожий и к которой жители домов, еще не

успевшие заснуть, прислушиваются до тех пор, пока она не замрет вдали.

В окнах домика сторожихи горел свет. Бьянконе, желая сразу показать нашу власть, крикнул:

— Эй, свет! Погасите свет!

Но на этот раз свет не погас. Тогда мы крикнули:

— Биджин! Биджин!

— Кто там?

— Ключ! Нам нужен ключ от школы!

— Да кто вы такие?

— Мы из ПВО! Свет там погасите!

Распахнулись ставни, и теперь ничем уже не заслоненный свет залил весь квадрат окна. Перед нами во всей красе предстала кухня с развешанными по стенам медными и эмалированными кастрюльками и сама Биджин. В руках у нее была половина помидора и нож, с которого стекали капли красного сока.

— Покая от вас нет! — сказала она и захлопнула ставни.

Сразу стало темно, и мы словно ослепли.

Скоро из-под низкого увитого виноградом навеса показалась Биджин, мрачная женщина с высоким шиньоном, придававшим ей внушительный вид. Не выходя из-под беседки, она разложила на плетеном камышовом барьерчике разрезанные помидоры и принялась их солить. Каждое ее движение было таким уверенным и точным, что можно было подумать, будто она видит в темноте.

К нам она отнеслась с недоверием, а может быть, ей просто не хотелось уходить со двора.

— Вы и вправду из ПВО? — спросила она.

— Ну конечно! Смотрите, у нас даже пижамы с собой, — ответил Бьянконе с таким видом, словно это был самый логичный ответ на ее вопрос. Он даже развернул сверток, который держал под мышкой, извлек из него цветные полосатые штаны и приложил их к себе, как будто желая показать, что они как раз его размера.

Сторожиха, по-видимому, ничего не смогла сказать против предъявления столь странных документов, и только заметила:

— Что же учитель Бэлльуомо сам-то не пришел?

Бэлльуомо, молодому учителю начальных классов, поручили следить за этими дежурствами в школе.

— Почему? — не задумываясь, ответил Бьянконе. — Потому что мы здесь. Он нас и послал сюда.

Наконец сторожиха покончила со своими помидорами и вытерла о передник руки. Мы наперебой убеждали ее не утруждать себя и просто отдать нам ключ. Куда там! Она непременно хотела идти с нами и лично все нам показать.

— Фонарик у вас есть? — спросила она.

— Нет. Мы и так видим в темноте, мы из ПВО.

— Ну все равно. У меня свой есть, — сказала сторожиха.

Она вытащила из кармана своего широкого передника жестяной фонарик, направила пучок света себе под ноги и только после этого двинулась в путь, ощупывая им, словно палкой, то место, куда собиралась ступить.

Следуя за медлительной сторожихой, мы некоторое время молча шагали по булыжной мостовой, круто спускавшейся вниз между каменными заборчиками, отделявшими огороды и виноградники.

— Что-то ты мне не говорил, — заметил я, — что поведешь меня ночевать в деревню.

Вместо ответа Бьянконе вдруг исчез.

— Куда это он девался, приятель-то твой? — спросила сторожиха, обводя кругом своим фонариком.

— Откуда я знаю?

Бьянконе появился так же внезапно, как и исчез. Он спрыгнул с забора чуть ли не на спину сторожихи. В руках он держал две кисти винограда.

— На, держи! — сказал он, бросая мне одну из них.

— Хорошенькое дело! — заметила сторожиха. — Увидел бы хозяин, пристрелил бы на месте.

Так вот кто, оказывается, ворует по ночам фрукты! Вот кого отец грозил угостить зарядом соли! Вот кого тщетно пыталось представить себе мое детское воображение, воображение мальчика, ни разу в жизни не совершившего ничего противозаконного. Ночная вольность, о которой я мечтал, впервые предстала передо мной в этом знакомом с детских лет образе.

— Хорошенькое дело! — повторила сторожиха.

— Раскудаhtалась! — заметил Бьянконе, повернувшись ко мне. — Ну что ты теперь скажешь?

В безлунном небе носились едва различимые мягкие тени летучих мышей. Вокруг фонарика сторожихи вились тем-

ные ночные бабочки. Жаба, перебиравшаяся через дорогу, попала в круг света и, ослепленная, замерла на месте.

— Эй, осторожно, раздавишь! — крикнул Бьянконе сторожике.

Но жаба уже скрылась, проскользнув у нее между ног.

Мы дошли до края деревни. Внизу смутно угадывалось море городских крыш.

«Вот сейчас она вскочит на метлу и полетит в город», — подумал я.

Но вместо этого сторожика подвела нас к школе и отперла дверь.

Не зажигая света, она повела нас по коридорам и лестницам. Луч ее фонарика освещал одну за другой двери классов и развешанные на стенах учебные таблицы. Сторожика оглядывалась по сторонам, и с лица у нее не сходило опасливое выражение, словно она боялась оставить на наше попечение все эти предметы и сами комнаты, где она с таким трудом поддерживает чистоту и порядок.

Проведя нас по каким-то лестницам, она, наконец, открыла отведенную нам комнату и исчезла. Пока мы вступали во владение своими апартаментами, она все шаркала по коридорам, и мы все время слышали ее бормотание, доносившееся то с одного, то с другого этажа.

— Что она там делает? Запирает все на ключ? — не выдержал Бьянконе. — Или она собирается продежурить тут вместе с нами всю ночь?

Вдруг мы услышали, как внизу скрипнула ржавыми петлями наружная дверь. Потом громко щелкнул замок.

— Ушла?

— А ключ? Ключа-то она не оставила! И заперла нас! Вот ведьма!

Мы спустились на первый этаж и стали осматривать окна, но те, на которых не было решеток, находились высоко над землей, и хотя мы вполне смогли бы спрыгнуть вниз, но вряд ли сумели бы залезть обратно.

Тогда мы бросились к телефону в надежде отыскать этого Бэлльуомо, у которого должен был находиться запасной ключ. Мы разбудили его мать, но самого Бэлльуомо дома не оказалось. В других школах, где тоже кто-то должен был дежурить, никто не отвечал. В «Джовинецце», в фашистском комитете — никого. Мы перебудили и перетревожили полго-

рода и, наконец, совершенно случайно обнаружили учителя в одном кафе, куда мы позвонили, чтобы узнать, можно ли по телефону делать ставки в партиях бочchette*.

— А, да, да, я сию минуту приду, — заверил нас этот несчастный.

В ожидании его прихода мы стали бродить по школе, заглядывали в классы, в спортивный зал. Но нигде не нашли ничего интересного и даже не смогли зажечь свет, потому что почти ни на одном окне не было маскировочных штор. Мы вернулись в свою комнату и, растянувшись на койках, принялись читать и курить. Тут только мы вспомнили, что так ничего и не сказали Бэлльуомо о ключе.

В иллюстрированном журнале, наполовину сожженном Бьянконе, было множество фотографий заснятых с птичьего полета английских городов, на которые гроздьями сыпались авиабомбы. Мы еще не знали, что это значит, и продолжали рассеянно переворачивать страницы, пока не наткнулись на подробную историю румынского короля Карола, помещенную в связи с тем, что как раз на этих днях в Румынии произошел государственный переворот и старого короля заменили новым. Статья, которую я читал вслух, показалась нам очень занимательной, наверное потому, что до этих пор мы просто не читали газетных статей о придворных интригах и политике. В статье, между прочим, рассказывалась история госпожи Люпеску, которую мы время от времени комментировали взрывами смеха и восторженными возгласами, не столько по поводу самой истории, сколько по поводу имени «Люпеску», в котором было что-то пушистое, звериное и полное таинственного мрака.

— Люпеску! Люпеску! — вопили мы, подскакивая на койках.

— Люпеску! — кричал я в гулком коридоре и, высываясь из окон, смотрел на черную мантию ночи, в которую мне пока еще не удалось завернуться.

Бьянконе отыскал где-то два противогаза.

— Это для нас!

Конечно, мы тотчас же постарались натянуть их. Дышать в противогазах было трудно, маски неприятно пахли резиной и складом. Однако они уже давно не были для нас

* Бочchette — механический бильярд.

диковинкой. Еще в начальной школе нас заставляли вызубривать, как молитвы, правила пользования противогазом и толковывали, что с его помощью можно без труда защититься в случае применения противником удушливых газов. Нам даже внушали, что газовые атаки — вещь более чем вероятная. Вот так, в масках, делавших наши головы похожими на головы гигантских муравьев (нам как-то показывали их под микроскопом), мы бродили по школьным коридорам, почти ничего не видя перед собой и издавая какое-то нечленораздельное мычание. Потом мы отыскивали старые стальные каски, сохранившиеся с войны пятнадцатого года, пожарные топоры и фонарики с синими линзами. Теперь мы стали настоящими «пэвэошниками», экипированными на славу. В полном боевом снаряжении мы шествовали парадным шагом по коридорам, сами себе подпевая в темпе марша: «Пэ-вэ-о! Пэ-вэ-о!» Но из-под наших масок доносился только какой-то нечленораздельный вой: «Э-э-о! Э-э-о!»

Вдруг Бьянконе обмотался оконной шторой и промычал, извиваясь всем телом:

— У-э-у!

— У! У! — ответил я, подняв над головой топор и подражая боевому кличу индейцев.

Бьянконе отрицательно покачал головой.

— У-э-у! — снова замычал он, стараясь придать своему голосу сладострастное выражение.

— А! — догадался я и, восторженно заорав: — Люпеску! Люпеску! — принялся вместе с Бьянконе изображать противоздушный вариант походов румынского короля и его любовницы.

Внизу зазвонил колокольчик. Это был Бэллуомо. Сделав друг другу знак молчать, мы бесшумно спустились на первый этаж и забрались в один из классов. Бэллуомо продолжал звонить, потом начал стучать. Окна на первом этаже, которые мы отворили, изучая возможность спуститься на землю, так и остались незакрытыми. Я высунулся из одного, Бьянконе из другого, оба, разумеется, в противогазах, в касках и противоипритных перчатках. Бьянконе держал в руках топор, я вооружился пожарным брандспойтом. Бэллуомо был совсем еще молодой человек небольшого роста, белобрысый, запакованный в узенькую форму командира роты «Джовинеццы» — легкий китель и сапоги. Устав

звонить и видя, что в школе по-прежнему темно и не наблюдается никаких признаков жизни, Бэлльуомо решил уйти. Но тут Бьянконе три раза стукнул топором по подоконнику. Бэлльуомо обернулся на шум и, увидев какую-то тень, выглядывающую из окна, крикнул:

— Эй! Это ты, Бьянконе?

Мы молчали. Тогда он зажег фонарик, направил его на подоконник и невольно ойкнул. Фонарик осветил противогазную маску и топор.

— Эй! Что это у тебя там? Ты что, с ума сошел?

В ту же минуту послышалось бульканье, и на тротуар хлынула струя воды. Это я присоединил к крану пожарный шланг.

Привлеченные всей этой суетой, прохожие стали останавливаться и тоже глядеть на окна. Бэлльуомо быстро перевел свой фонарик на мое окно, и хотя я тотчас же отпрянул назад, он все-таки успел заметить мою маску и руки в перчатках. Тогда он снова направил пучок света на окно, из которого только что высывался Бьянконе, но там уже никого не было. Вокруг Бэлльуомо собралась небольшая толпа. Слышались возгласы:

— Что это? Что там такое? Газы? Газы?

Сказать, что все это, по всей вероятности, балсвство, Белльуомо не решался: ему казалось, что это подрвет его авторитет. Кроме того, будучи человеком, что называется, «от сих до сих» и совершенно лишенным чувства юмора, он и сам толком не понимал, что все это значит.

— Смотри-ка! Вон там, выше! — воскликнул вдруг один из прохожих, указывая наверх, где в окне четвертого этажа показалось молчаливое привидение в противогазе.

Бэлльуомо попробовал было достать его лучом своего фонарика, но привидение тотчас исчезло.

— Эй вы, идиоты! Спускайтесь вниз!

В ответ появилось новое привидение, теперь уже на пятом этаже.

— Что же это все-таки за штука? — спросили из толпы. — Неужели в школе газ?

— Какой газ? — откликнулся Бэлльуомо. — Ничего там нет.

Между тем мы продолжали выглядывать то из одного, то из другого окна.

— Может быть, это маневры? — интересовались прохожие.

— Да нет. Это не маневры и вообще ничего. Не толпитесь, проходите.

Прохожие разошлись. Мы тоже уже потешились вволю. И Бэлльуомо, наконец, догадался отпереть дверь своим ключом.

Этого Бэлльуомо никто из учеников в грош не ставил, хотя надо сказать, что он был в общем неплохой парень, во всяком случае слишком забывчивый и равнодушный, чтобы быть мстительным.

Войдя в школу, он сразу же принялся распекал нас.

— О, что вы тут делали? Вы же форменные дураки! Все, что вы тут вытворяли, достойно законченных идиотов! — запел он своим жалобным голосом, устало и словно нехотя выговаривая ругательства.

Но мы уже видели, что даже та мизерная доля гнева, которая было затеплилась в нем, с катастрофической быстротой испаряется, потому что в его голове все немедленно начинало уменьшаться и сглаживаться. Его нисколько не задело то, что мы подвергли публичному осмеянию и его авторитет и наши собственные обязанности, он смотрел на нас с тем усталым отвращением, которое всегда испытывает к ученикам учитель, неспособный поддержать дисциплину. Поэтому, добавив еще несколько жалобных упреков, он стал торжественно вручать нам то самое снаряжение, которым мы уже завладели по собственной инициативе, и объяснять наши обязанности. Он повел нас на чердак и показал стоявшие там ящики с песком, предназначенным для того, чтобы засыпать и нейтрализовать очаги пожара.

Как видно, снова уверовав в незыблемость своего авторитета, он приободрился и, передавая нам ключ от школы, приказал ни под каким видом не покидать вверенный нам объект.

— Да, да, синьор, конечно, синьор, все будет выполнено... А теперь давайте спустимся вниз и все вместе отправимся к женщинам, — глядя на учителя невинными глазами, сказал Бьянконе.

Бэлльуомо открыл рот, наморщил лоб, втянул голову в плечи и, бормоча что-то себе под нос, вышел из комнаты. Он опять был мрачен и несчастлив.

Вскоре мы тоже ушли. Было уже за полночь. Улицу по-прежнему заливал теплый мрак — ни одной звезды, ни одного порыва ветерка. На улицах почти не встречалось прохожих. На площади под мигающим светофором виднелся силуэт низенького человека, и вспыхивала красная точка горячей сигареты. Человек стоял, засунув руки в карманы и широко расставив ноги. По этой позе Бьянконе и узнал его. Это был его приятель Палладьяни, заядлый гуляка и любитель шататься по ночам. Бьянконе принялся насвистывать песенку, которая, как видно, имела для них особый смысл. Палладьяни, словно охваченный внезапным приступом веселья, подхватил мотив и пропел куплет до конца. Мы подошли к нему. Бьянконе вздумалось «подстрелить» у приятеля сигарету, но тот сказал, что сигарет у него нет, а потом даже ухитрился сам «подстрелить» сигарету у Бьянконе. При свете зажженной спички я рассмотрел его лицо — бледное лицо преждевременно состарившегося юноши.

Он сказал, что поджидает некую Кетти, как оказалось, хорошо знакомую Бьянконе. Эту Кетти пригласили на вечеринку в одну загородную виллу, и теперь она должна была вернуться.

— Если только не зацепится там, — пропел Палладьяни на мотив какого-то фокстрота и неожиданно засмеялся.

Потом он поведал нам, как, встретив некую Лори с некоей Розеллой, он сказал им... и произнес какую-то двусмысленную фразу, которой я не понял, но которую Бьянконе сразу оценил по достоинству и одобрил. Вслед за этим Палладьяни спросил нас:

— А вы знаете новую штуку, специально для затемнения?

Мы сказали, что нет. Тогда он принялся объяснять и так нас раззадорил, что мы загорелись желанием тотчас же осуществить ее на практике. Однако у Палладьяни вдруг появились какие-то таинственные дела, он распрощался с нами и ушел, напевая песенку.

Среди шуток, придуманных в связи с объявленным в городе затемнением, были, например, такие: скажем, двое быстро идут по улице с зажженными сигаретами в руках. Заметив идущего им навстречу одинокого прохожего, они, продолжая идти бок о бок, отводят сигареты один влево, другой вправо и держат их на высоте лица. Прохожий, видя две светящиеся точки, далеко отстоящие друг от друга, конеч-

но, думает, что может пройти между ними, но вместо этого со всего размаха натыкается на двух людей и чувствует себя круглым идиотом. Кроме того, можно сделать наоборот — двигаться далеко друг от друга, по обе стороны тротуара, а сигареты держать почти рядом. В этом случае прохожий натолкнется на одного из идущих и, пробормотав: «Простите», бросится в другую сторону, где нос к носу столкнется со вторым.

За этой игрой мы провели блаженные полчаса, пока нам попадались подходящие прохожие. Кое-кто из одураченных бормотал извинения, остальные цедили сквозь зубы ругательства или норовили затеять ссору, но мы быстренько сматывались. Что касается меня, то я каждый раз волновался: в любом прохожем мне чудилась одна из тех загадочных личностей, что обычно шляются по ночному городу — какой-нибудь подозрительный забулдыга или головорез. Но нам все попадались или страдающие бессонницей интеллигенты, которые прогуливали охотничьих собак, или бледные, словно тени, игроки, возвращающиеся домой после азартной игры, или рабочие с газового завода, занятые в ночной смене. Один раз мы едва не подшутили над двумя карабинерами. Они неприязненно посмотрели на нас.

— Ну как, все спокойно? — нагло спросил Бьянконе, в то время как я старался оттащить его за рукав.

— Что? Что вам надо? — рывкнули карабинеры.

— Мы из ПВО, дежурные, — невозмутимо ответил Бьянконе. — Говорю: все в порядке?

— А? А, да, да, все в порядке.

Не слишком уверенно откозыряв нам, они двинулись дальше.

Мы все время мечтали повстречаться с какой-нибудь женщиной, идущей в одиночку, но, как на грех, нам не попалось ни одной, если не считать пожилой проститутки, над которой, однако, нам так и не удалось подшутить, потому что она стремилась не разойтись с нами, а, наоборот, столкнуться. Чтобы рассмотреть ее, мы зажгли спичку, которую, впрочем, тотчас же задули. Перекинувшись с женщиной несколькими словами, мы отпустили ее на все четыре стороны.

Ясно, что эти шутки удались бы гораздо больше не на широких улицах, а в темных переулках, ступенями спускающихся к старому городу. Но там, в этих переулках, и

без того было полно увлекательных вещей: крошечная тьма, странные контуры аркад и перил, прижавшиеся друг к другу незнакомые дома, наконец, сама ночь. Поэтому мы прекратили свои шутки с сигаретами.

Уже из разговора с Палладьяни я понял, что Бьянконе был вовсе не таким глубоким знатоком ночной жизни, как я предполагал. Каждый раз, когда Палладьяни называл какое-нибудь имя, он всегда поспешнее, чем надо, восклицал: «Да! Постой... нет... Хотя да, это действительно она!...», изо всех сил стараясь показать, что он в курсе дела. И он, конечно, был в курсе... более или менее. Однако по сравнению с великолепной осведомленностью, которую проявил Палладьяни, его знания казались поверхностными, и в них на каждом шагу чувствовались пробелы. Когда я смотрел вслед удаляющемуся Палладьяни, мне даже стало немного жалко, что он уходит, и я подумал, что вот он, именно он, а не Бьянконе, мог бы ввести меня в самую гущу этого мира. Теперь я критически присматривался к каждому движению Бьянконе, желая или утвердиться в своей прежней слепой вере или окончательно ее потерять.

Конечно, я был разочарован нашей ночной прогулкой. Во всяком случае, мои впечатления были прямо противоположны тем, что я ожидал. Мы брели по бедной узкой улочке. Вокруг ни души. В домах не светилось ни одного окна. И все-таки мы чувствовали рядом с собой множество жизней. Окна, беспорядочно разбросанные по темным стенам, были или распахнуты настежь, или немного прикрыты, и за каждым из них слышалось тихое дыхание, иногда приглушенный храп. Тикали будильники. Капала вода в умывальниках. Мы шли по улице среди привычных домашних звуков, слышали голоса сотен домов, звучавшие разом. Даже воздух, застывший в безветрии, был таким же тяжким, как в комнатах наполненных сонным человеческим дыханием.

Присутствие посторонних спящих людей, естественно, рождает в душе каждого порядочного человека какое-то бережное чувство, и мы против воли испытывали робость. Тяжелое прерывистое дыхание, неровное и слитное, тиканье будильников, бедность домов рождали мысль о том, что покой этих утомленных людей случаен и непрочен. Видневшиеся повсюду знаки войны — синие лампочки, бревна, сложенные на случай, если придется подпирать стены, груды меш-

ков с песком, стрелки с надписью «Бомбоубежище» и даже само наше присутствие здесь — все казалось угрозой, нависшей над спящими обитателями домов. Мы стали разговаривать вполголоса, и у нас как-то пропала всякая охота шуметь и разыгрывать из себя врагов порядка, ни с кем и ни с чем не желающих считаться. В нас победило другое чувство — чувство солидарности с людьми, спавшими за этими стенами; мы как будто узнали какую-то их тайну, внушившую нам уважение.

Улица кончалась лестницей, огражденной железными перилами. Внизу, освещенная смутным светом луны, лежала пустая площадь. На ней виднелись сваленные в кучу козлы и рыночные лотки. Со всех сторон к площади амфитеатром спускались старые дома, наполненные сном и людским дыханием.

С одной из улиц, выходящих на площадь, донесся топот тяжелых башмаков и песня. Пели вразброд, вялыми, бесцветными голосами. Вниз по улице спускался взвод фашистов-ополченцев, немолодых людей, старавшихся держать равнение. Их бегом догоняла другая группа. Все были в черных рубашках, видневшихся из-под серо-зеленой армейской формы, с ружьями и болтающимися за спиной ранцами. Они пели разухабистую песенку, но так неуверенно и робко, будто, расхрабрившись под покровом ночи, освободившей их от обязанности соблюдать хотя бы видимость дисциплины, через силу старались щегольнуть своим удалством лихих наемников, которым закон не писан и каждый встречный — враг.

В этот тихий час их появление на площади принесло с собой дыхание насилия. У меня мурашки побежали по коже, словно я вдруг свалился в пучину гражданской войны, той войны, что всегда тлела под пеплом и время от времени вырывалась наружу яростными языками пламени.

— Ну и банда!. — сказал Бьянконе.

Мы остановились у перил и смотрели, как они уходят с пустой площади, громыхавшей у них под ногами.

— Откуда они идут? Слушай, откуда они идут? Что там такое, там, наверху? — спросил я в полной уверенности, что они вырвались невесть из какого борделя, хотя на самом деле это, скорее всего, был взвод, который возвращался домой, сменившись с одного из никому не нужных кара-

улов где-то в горах или проделав очередной учебный марш-бросок.

— Там, наверху? Ах, там? Там, должно быть... — замямлил Бьянконе, снова выдавая свою недостаточную осведомленность. — Да ну их, идем лучше со мной. Я знаю, куда тебя сводить.

Появление фашистов разорвало захватившую нас атмосферу мирного покоя. Мы снова стали напряженными, взвинченными, снова вспыхнули желанием что-то делать, выкинуть что-нибудь неожиданное.

Мы спустились на площадь.

— Ну, куда теперь? — спросил я.

— А! К Люпеску! — ответил Бьянконе.

— Люпеску! — заорал я, но тут же замолчал и посторожился, чтобы пропустить на лестницу сутулого мужчину без пиджака, с коротко стриженной седой шевелюрой. Опираясь огромной мозолистой рукой о перила, мужчина стал подниматься по лестнице. Не останавливаясь и не глядя нам в глаза, он вдруг проговорил громким низким голосом:

— Пролетарии...

Бьянконе начал было бормотать в ответ, что нечего тут выпендриваться, что мы тоже работаем, только по-своему, но в этот момент старик так же громко, только еще более низким голосом закончил:

— ...всех стран, соединяйтесь!

Мы с Бьянконе застыли на месте.

— Слышал?

— Да.

— Он коммунист?

— А ты что, оглох? «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ясно, коммунист!

— А может, просто пьяный какой-нибудь?

— Какой пьяный? Видел, как он шел? Даже ни разу не покачнулся. Нет, это коммунист! Их тут полно в старом городе!

— Пойдем поговорим с ним!

— Давай! Бежим, догоним его!

Мы повернулись и побежали вверх по лестнице.

— А что мы ему скажем?

— Ну, сперва убедим его, что нас нечего опасаться. А потом пусть объяснит, что значит эта фраза.

Но старика уже и след простыл. От лестницы отходило несколько переулков, мы наудачу бросились в один из них, потом в другой — старик исчез. Непонятно было, куда он мог убраться так быстро, но найти его нам так и не удалось.

Мы просто лопались от любопытства и от неистового желания закусить удила и выкинуть что-нибудь неслыханное и запретное. Русло, по которому легче всего было устремиться нашему смутному возбуждению, была эротика. И мы направились к дому некоей Мери-Мери.

Эта Мери-Мери жила на самой окраине, между тесно сгрудившимися домишками старого города и огородами, на втором этаже длинного низкого дома, весь первый этаж которого занимали конюшни извозчиков. Вымощенная булыжником улица, вынырнув из-под темной арки, подходила к дому Мери-Мери и, миновав его, тянулась вдоль железной сетчатой ограды, за которой простирался пустынный склон, заваленный горами мусора и всевозможных отбросов.

Мы с Бьянконе подошли к дому и остановились под освещенным окном, задернутым плотной занавеской. Бьянконе два раза свистнул, потом позвал:

— Мери-Мери!

Занавеска приподнялась, и в окошке показался белый силуэт женщины — обрамленное черными волосами длинное лицо, плечи и руки.

— Что нужно? Кто вы?

— Люпеску, — тихо сказал я Бьянконе. — Ну скажи, вылитая Люпеску.

Стараясь встать так, чтобы на него падал тусклый свет ближайшего фонаря, он ответил:

— Это я, узнаешь меня? Да ну, помнишь, я был у тебя на прошлой неделе? Я тут с другом. Откроешь нам?

— Нет. Не могу.

Занавеска опустилась.

Бьянконе разок свистнул, потом снова позвал:

— Мери-Мери! Эй, Мери-Мери!

Никто не ответил. Тогда он принялся дубасить кулаками в дверь и кричать:

— Открой, черт возьми! Что такое? Почему не можешь?

Женщина снова появилась в окне. Теперь во рту у нее дымилась сигарета.

— Я не одна. Приходите через час.

Мы еще немного постояли под окном, прислушиваясь, и, убедившись, что у нее действительно находится мужчина, пошли бродить по городу.

Теперь мы шли по улице, отделявшей старый город от нового и тесно застроенной дряхлыми домишками, которым владельцы пытались придать сомнительный лоск и выдать за современные городские постройки.

— Вот хорошая улица, — говорил Бьянконе.

Навстречу нам двигалась какая-то тень. Тень оказалась лысым человечком в сандалиях. Несмотря на ночную свежесть, на нем не было ничего, кроме легких брюк и майки да еще узенького темного шарфа, обмотанного вокруг шеи.

— Эй, мальчики, — тихо сказал он, вытаращив на нас круглые глаза с густыми черными ресницами, — хотите побаловаться? Не желаете зайти к Пьерине? А? Если хотите, дам адресок...

— Нет, нет, — ответили мы, — у нас уже назначено свидание.

— А какая девочка Пьерина! У! Конфетка! Ну как? — дыша нам в лицо, говорил человечек, поводя своими бесноватыми глазами.

Тут мы заметили еще одну фигуру, двигавшуюся по середине улицы. Это была девушка, хромая, некрасивая, подстриженная под мальчика, в вязаной кофточке, называемой «пікі». Девушка остановилась поодаль от нас. Отделавшись от лысого человечка, мы подошли к ней. Девушка протянула нам листок бумаги и пропищала:

— Кто из вас синьор Бьянконе?

Бьянконе взял записку. При свете фонаря мы прочитали выведенные крупным, немного ученическим почерком слова: «Сладость любви, знаешь ли ты ее? Вито Палладьяни».

И содержание этого письма, и то, как оно было передано, — все было исполнено таинственности, но стиль Палладьяни нельзя было не узнать.

— Где сейчас Палладьяни? — спросили мы.

Девушка криво улыбнулась.

— Пойдемте, провожу.

Войдя вслед за ней в темное парадное, мы поднялись по узкой крутой лестнице без площадок. Девушка особым образом постучала в одну из дверей. Дверь открылась. Мы вошли в комнату, оклеенную цветастыми обоями. В кресле сидела

накрашенная старуха, в углу стоял граммофон с трубой. Хромая девушка толкнула боковую дверь и ввела нас в следующую комнату, полную людей и табачного дыма. Люди толпились вокруг стола, за которым шла карточная игра. Ни один из них не обернулся, когда мы вошли. Комната была со всех сторон плотно закупорена, и в ней плавал такой густой дым, что почти ничего нельзя было разглядеть. Было очень жарко, и все находившиеся в комнате обливались потом. Среди людей, сгрудившихся вокруг стола и следивших за игрой, были и женщины — некрасивые и немолодые. На одной из них был только бюстгальтер и юбка. Между тем хромая девушка открыла еще одну дверь и позвала нас в третью комнату, представлявшую собой нечто вроде японской гостиной.

— Где же все-таки Палладьяни? — спросили мы.

— Сейчас придет, — ответила девушка и вышла, оставив нас одних.

Не успели мы как следует оглядеться, как влетел Палладьяни. В руках у него была кипа сложенных простыней, и он, как видно, очень торопился.

— Дорогие мои! Дорогие мои, что у вас слышно? — как всегда весело, кричал он.

Он был без пиджака и в ярком галстуке бабочкой — я хорошо помнил, что когда мы встретили его на улице, этого галстука на нем не было.

— Вы уже видели Долорес? — продолжал он. — Как? Вы не знаете Долорес? Ай-я-яй! — И он выскочил из комнаты, не выпуская из рук свои простыни.

— Что тут за секреты у этого Палладьяни? — спросил я у Бьянконе. — Ты можешь мне объяснить?

Бьянконе пожал плечами.

Вошла какая-то женщина, с виду еще вполне подходящая, с увядшим, густо напудренным лицом.

— А, это вы Долорес? — спросил Бьянконе.

— Иди ты... — ответила она и вышла через другую дверь.

— Ладно, подождем.

Немного погодя снова вошел Палладьяни. Он уселся между нами на диван, угостил сигаретами, хлопнул каждого из нас по коленке и воскликнул:

— Ах, дорогие мои! Долорес! Вот с ней вы действительно позабавитесь!

— А сколько это стоит? — спросил Бьянконе, который не позволил увлечь себя этими восторгами.

— Как — сколько? А сколько вы дали синьоре, когда вошли? Да, да, той, что сидит при входе. Как, ничего? Здесь платят вперед, этой синьоре...

Он развел руками, словно говоря: «Ничего не попишешь, так здесь принято».

— Ну, сколько же все-таки?

Состроив презрительную гримасу, Палладьяни назвал цифру.

— И советую вам — в конверте, так деликатнее, понимаете? — добавил он.

— Тогда мы сейчас же пойдем, — воскликнул Бьянконе, — сию же минуту пойдем и заплатим!..

— Да нет, — возразил Палладьяни, — теперь уже это неважно, заплатите потом...

— Нет, лучше уж сразу, — сказал Бьянконе, и не успел я оглянуться, как он уже протащил меня через игорный зал, потом через прихожую и, наконец, вытолкнул на лестницу.

— С ума спятил! — пробурчал он, когда мы сбегали вниз. — Бежим отсюда, пока не поздно. Мери-Мери обойдется нам вдвое дешевле.

На улице мы снова столкнулись с человеком в майке.

— Ну, вы от Пьерины, да? — спросил он нас.

— Нет, мы у нее не были, — ответили мы, не останавливаясь.

Мы снова подошли к дому Мери-Мери. На этот раз, услышав, что мы ее зовем, она спустилась на улицу и прикрыла за собой дверь. Я хорошо рассмотрел ее. Это была высокая, худая женщина с лошадиной физиономией и отвислой грудью. Она ни разу не взглянула нам в лицо, ее прищуренные глаза неподвижно смотрели из-под завитого чуба куда-то мимо нас, в пустоту.

— Ну,пустишь нас? — говорил ей Бьянконе.

— Нет. Поздно, я уже сплю.

— Да ты что? Мы прождали тебя всю ночь...

— Ну и что же? Я устала.

— Мы — на пять минуток, Мери-Мери.

— Нет, вы вдвоем. Вдвоем я вас не пущу.

— На пять минут! Вдвоем — пять минут...

— Вот что, — вмешался я, — давай я подожду. А? Вот здесь на улице.

— Ладно, — согласился Бьянконе. — Сперва я поднимусь, а потом он. Идет? — сказал он женщине и, обернувшись ко мне, добавил: — Подожди здесь, я четверть часа, не больше. Я выйду, а ты пойдешь.

Он толкнул ее в дом и вошел сам.

Я побрел к морю. Нужно было пересечь весь город. По главной улице двигалась колонна военных грузовиков. Как раз в ту минуту, когда я дошел до улицы, колонна остановилась. В молочном свете фонарей появились фигуры солдат. Они соскакивали на землю, разминали затекшие руки и ноги, сонно озирая темный чужой город.

Вдруг раздалась команда двигаться. Водители снова взялись за руль, солдаты попрыгали в машины и исчезли в темноте крытых кузовов. Воздух распилило хрипкое ворчание моторов. Колонна тронулась с места, стерлась, превратилась в мелькание слепящего света и тьмы и вдруг скрылась, словно ее никогда и не было.

Я подошел к порту. Море было неразличимо черным, о нем напоминал только глухой плеск воды у липкой стены мола и древний запах. Ленивая волна точила скалы. Перед тюрьмой ходила стража с ружьями. Я взошел на мол и, выбрав местечко, где не очень дуло, сел на камень. Передо мной, поблескивая неяркими огоньками, лежал город. Мне хотелось спать и ничего не нравилось. Ночь не принимала меня. День тоже не сулил ничего хорошего. Что мне оставалось? Я мечтал затеряться в ночи, вверить ей, ее мраку, ее буйствам, душу и тело, но теперь я понял: все, чем она меня привлекала, — это всего-навсего молчаливое отчаянное отрицание дня. Сейчас меня не привлекала даже эта Люпеску с окраинной улочки. Она была просто волосатой, костлявой бабой, а дом ее — вонючей дырой. Мне захотелось, чтобы то особенное, что бродит, зреет в ночи, вырвалось из этих домов, из-под этих крыш, из этой немой тюрьмы, чтобы оно пробудилось и привело за собой совсем особенный новый день. «Да, — подумал я, — только по-настоящему великие дни сменяются великими ночами».

Бригада рыбаков, нагруженных веслами и сетями, направлялась к баркасам, привязанным в конце мола. Их громкие голоса гулко раздавались в тишине. На рассвете

они уже будут в открытом море. Снарядив лодки, они отчалили и растворились в темной воде, а их голоса еще долго доносились откуда-то из середины моря.

От вида этих людей, которые должны просыпаться и вставать затемно, а потом грести в предрассветном холоде, от зрелища этого унылого отъезда у меня еще больше стали слипаться глаза и по спине забегали мурашки. Я раскинул руки и протяжно зевнул, содрогаясь всем телом. И в ту же секунду, словно вырвавшись у меня из груди, раздался протяжный вой сирены. Объявили тревогу.

Тут я вспомнил о школе, которую мы бросили на произвол судьбы, и побежал к городу. В то время мы еще не знали, что такое настоящий страх. Пробегая по улицам, я видел только едва заметные признаки того, что все люди внезапно разом проснулись: в домах слышались голоса, за шторами вспыхивал и тотчас же гас свет, на порогах бомбоубежищ стояли полуодетые горожане и, задрав голову, смотрели в небо. Ключ от школы был у меня. Я отпер дверь, вошел и, как мне было велено, начал обходить классы и отворять окна. Распахнув очередное окно, я услышал жужжание: в небе летел начиненный бомбами самолет — порождение и владыка этого нелепого ночного мира. Я высунулся из окна, мне хотелось увидеть его, но еще больше хотелось представить себе человека, сидящего в кабине среди черной пустоты и прокладывающего курс к намеченной цели. Самолет пролетел. Небо опять стало пустынным и безмолвным. Я вернулся в нашу комнату, сел на койку и принялся листать иллюстрированный журнал. Перед глазами у меня замелькали вспоротые бомбами английские города, освещенные очередями трассирующих пуль. Я разделся и лег. Завыла сирена. Объявили отбой.

Вскоре пришел Бьянконе — свежий, аккуратно причесанный, болтливый, словно для него вечер только начался. Он сообщил мне, что тревога прервала его любовные утехы на самом интересном месте, и принялся описывать невероятные сцены с полуголыми женщинами, бегущими спасаться в убежище. Мы еще довольно долго курили и разговаривали, он — сидя на своей койке, я — растянувшись на своей. Наконец он тоже улегся. Мы пожелали друг другу доброго утра и приятных сновидений. Светало.

Но теперь мне никак не удавалось заснуть, и я долго еще

крутился на своей кровати. Сейчас отец наверняка уже встал, сопя, затянул свои краги, надел охотничью куртку с карманами, набитыми всякой всячиной. Мне казалось, что я слышу, как он ходит по темному, погруженному в сон дому, будит собаку, утихомиривает ее, ведет с ней разговоры. Как он разогревает на газе завтрак для собаки и для себя, как они вместе едят, сидя в холодной кухне. После этого он достает две корзины, одну — на ремнях — закидывает за плечи, другую надевает на руку и широкими шагами выходит из дому. На шее у него, как всегда, кашне, под которым прячется белая козлиная борода.

Для деревенских молочниц его гулкие шаги, сопровождаемые позвякиванием собачьего ошейника, его непрерывный кашель и харканье заменяли звонок будильника. Да и все, кто жил вдоль дороги, по которой он обычно ходил, услышав сквозь сон эти звуки, уже знали, что пора вставать. Он появлялся на своей усадьбе с первыми лучами солнца. Будил крестьян и, прежде чем они приступали к работе, успевал обойти все полосы, проверить, что уже сделано и что предстоит сделать, после чего начинал кричать и ругаться, наполняя своим голосом всю долину. Чем сильнее старость брала над ним верх, тем больше его ссора со всем миром сводилась к тому, что он старался вставать чем свет, быть на ногах раньше всех в деревне и непрерывно нападать на каждого, кто только попадался под руку: и на собственных детей, и на друзей, и на врагов, объявляя их всех сборищем никчемных лодырей. И, может быть, единственными счастливыми минутами были для него те, когда он на заре проходил со своей собакой по знакомым улицам, откашливаясь и наблюдая, как мало-помалу из серого сумрака рождаются яркие полосы виноградников, мелькающие между ветвями олив, и узнавая один за другим голоса утренних пичужек.

Мысленно провожая отца до самой деревни, я задремал, и он никогда не узнал, что ни разу в жизни я не был так близок к нему, как в то утро.

Из цикла „ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ“



СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ БЛИЗОРУКОГО

Амилькаре Карруга был еще молод, достаточно обеспечен, не слишком привередлив и без излишних умственных запросов. Казалось, ничто не мешало ему наслаждаться жизнью. И все-таки он стал замечать, что с некоторых пор эта самая жизнь понемножку теряет для него свой аромат. Началось с пустяков, таких, например, как привычка, идя по улице, разглядывать женщин. Раньше он всегда провожал их жадными взглядами, а теперь, если даже ненароком и поднимал на них глаза, то ни одна не производила на него прежнего впечатления. Ему казалось, что женщина проносится мимо, как ветер, и он равнодушно опускал глаза. Раньше его приводили в восторг новые города (ему частенько приходилось разъезжать по торговым делам), теперь они только действовали ему на нервы, приводили в замешательство и утомляли. Будучи холостяком, он обычно все вечера проводил в кино и получал удовольствие от любого фильма. Тому, кто каждый день ходит в кино, в конце концов начинает казаться, что он смотрит один бесконечный фильм — он узнает всех актеров, даже тех, которые заняты в эпизодических ролях или снимаются в массовках, и уже одно это — возможность каждый раз узнавать знакомые лица — достаточное развлечение. И что же? Теперь и в кино ему казалось, что все лица стали туманными, плоскими, неразличимыми, смотреть на них стало скучно.

Наконец он понял: он стал близоруким. Окулист выписал ему очки. И с того дня, как он их надел, жизнь его совершенно преобразилась, стала в сто раз богаче и интереснее, чем раньше.

Он надевал очки, и уже одно это каждый раз превращалось для него в волнующее событие. Стоял он, скажем, на остановке, дожидаясь трамвая, и ему было грустно, что все

вокруг — и люди и предметы — безлико, заурядно, изнурено своей обыденностью, что он вынужден блуждать в этом размытом, расплывчатом мире, где все еле намечено, не имеет ни определенной формы, ни ясного цвета. Подходил трамвай, он надевал очки, чтобы посмотреть, какой это номер, и все менялось. Все контуры приобретали четкость, на самых обычных предметах — даже на трамвайной мачте — появлялось множество мельчайших подробностей; на лицах, незнакомых лицах, вдруг вырисовывались родимые пятнышки, точки небритой бороды, прыщики, оттенки выражений, о которых минуту назад он даже не подозревал. Теперь он мог сказать, из какой материи сделана одежда у того или другого прохожего, он называл про себя все эти ткани, и от него не могли укрыться потерянные обшлага. Смотреть значило теперь получать удовольствие, развлекаться. Не разглядывать то или это, а просто смотреть. И Амилькаре Карруга забывал о том, что хотел посмотреть номер трамвая, они уходили один за другим, потом он спохватывался и вскакивал в первый попавшийся. Он видел теперь слишком много вещей, и это было все равно, как если бы он вовсе ничего не видел. И ему приходилось мало-помалу привыкать к этому, заново учиться отличать вещи, на которые бесполезно смотреть, от вещей, на которые необходимо обратить внимание.

Что же касается женщин, встречавшихся ему на улице и уже давно превратившихся для него в бестелесные расплывчатые тени, то теперь он отчетливо видел каждую выпуклость, каждую впадинку на их теле, видел, как эти выпуклости и впадинки движутся и играют у них под платьями, любовался свежестью кожи, сдержанной теплотой их взглядов, и ему казалось, что он не просто видит всех этих женщин, но в полном смысле слова обладает ими. Случалось, что он шел без очков (чтобы не утомляться понапрасну, он носил их не все время, а лишь в тех случаях, когда нужно было посмотреть вдаль), и вдруг впереди на тротуаре возникало яркое пятно платья. Машинально, заученным движением Амилькаре выхватывал из кармана очки и мгновенно водружал их на нос. За эту безудержную жажду острых ощущений нередко приходилось расплачиваться: оказывалось, что навстречу идет старуха. Скоро Амилькаре Карруга стал осторожнее. Впрочем, иногда, оценив цвет платья и походку идущей навстречу женщины, он решал, что она слишком скромна и за-

урядна, что незачем обращать на нее внимание, и не вынимал очков. Когда же она подходила вплотную, он вдруг обнаруживал в ней нечто такое, что сразу привлекало его, что-то властное и неуловимое. Ему казалось, будто он перехватил ее быстрый, выжидательный взгляд, может быть, она уже давно, с той самой минуты, как его заметила, не отрывала от него этого взгляда, а он ничего не видел. Но было уже поздно. Она скрывалась за углом, садилась в автобус, оказывалась на другой стороне улицы под прикрытием вспыхнувшего красным глазом светофора, и он навсегда терял надежду когда-нибудь узнать ее. Так, поминутно прибегая к помощи очков, он мало-помалу осваивал жизнь.

Но очки открыли ему и другое, дотоле совершенно неизвестное царство — царство ночи. Ночной город, до сих пор всегда окутанный бесформенными облаками мрака, испещренный разноцветными пятнами света, теперь наполнился ясно очерченными деталями, стал отчетливым, объемным. Фонари обрели резкие границы, неоновые рекламы, прежде тонувшие в туманном сиянии, сейчас четко скандировали каждую букву. Однако главная прелесть ночи заключалась в том, что все предметы сохраняли тот ореол неопределенности, которую стекла очков бесследно отнимали у них при свете дня. Иногда у Амилькаре даже возникало желание вынуть очки, и лишь спустя некоторое время он спохватывался и вспоминал, что уже давно надел их. Ночью ощущение полноты никогда не компенсировало ту неудовлетворенность, которая заставляла его снова и снова без усталости вкапываться в глубокие рыхлые пласты ночного мрака. Он поднимал глаза, и высоко над улицей, над домами, раздробленными желтыми окнами, которые обретали, наконец, прямоугольную форму, открывалось звездное небо, и он вдруг обнаруживал, что звезды вовсе не похожи на припечатанные к небосводу бесформенные пятна, вроде раздавленных яиц, а скорее напоминают собой разделенные бесконечными пространствами крошечные дырочки, из которых выглядывают ослепительные иглочки света.

Эти новые неустанные мысли о том, каков же на самом деле окружающий его мир, переплетались у него с мыслями о том, каков же теперь он сам; и причиной этих мыслей были очки. Амилькаре Карруга не привык обращать на себя слишком много внимания, однако, как это сплошь и рядом слу-

чается со скромными людьми, был до чрезвычайности подвержен к своему привычному образу жизни. Сейчас он перешел из категории людей без очков в категорию людей в очках. На первый взгляд это пустяк, в действительности же — скачок, громадная перемена. Ведь, как там ни говорить, а если, к примеру, кто-то малознакомый старается описать вас, он прежде всего скажет: «Ну да этот, в очках!» Таким образом выходит, что второстепенная особенность, которая еще пятнадцать дней назад у тебя начисто отсутствовала, вдруг становится главным твоим атрибутом, оказывается твоей сущностью. Это можно, если хотите, назвать глупостью, но тем не менее Амилькаре несколько удручало, что он так внезапно стал «человеком в очках». Но главное было не в этом. Главным была мысль, что и ты сам и все, что к тебе относится, — чистейшая случайность, подверженная любым изменениям, что ты мог бы быть совсем другим, и это ни для кого бы ничего не значило. И стоит таким сомнениям закрасться тебе в душу, стоит ступить на эту дорожку, и она прямехонько приведет тебя к мысли о том, что вообще безразлично, существуешь ты на свете или нет. А отсюда один шаг до отчаяния. Поэтому Амилькаре, когда ему пришлось выбирать оправу для своих очков, инстинктивно остановился на самой тоненькой, почти совсем незаметной, представлявшей собой пару тонких серебряных планок, к которым снизу были прикреплены голые стекла, соединенные таким же тоненьким мостиком, который опирался на переносицу. Некоторое время все было терпимо. Потом он вдруг заметил, что совсем не так уж счастлив. Если ему случилось невзначай взглянуть в зеркало и увидеть там себя в очках, он испытывал живейшую антипатию к своей физиономии, как будто это была физиономия некоего субъекта, с которым у него никогда не было ничего общего. И как ни странно, именно из-за того, что он носил такие скромные, легкие, почти женские очки, он больше чем кто-либо был похож на «человека в очках», на одного из тех, кто всю жизнь носит очки и до того сросся с ними, что их теперь просто не замечает. Эти очки стали частью его физиономии, слились с ней, и чем дальше, тем больше стиралась естественная разница между тем, что было его лицом — пусть самым заурядным, но все-таки лицом! — и тем, что являлось посторонним телом, изделием промышленности.

Он не любил их, и они не замедлили упасть и разбиться. Он купил новые. На этот раз его выбор был прямо противоположным: он заказал очки в черной пластмассовой оправе, которая окружала стекла бордюром толщиной в два пальца и заканчивалась толстыми шарнирами, торчавшими над скулами, как шоры у лошади. От шарниров отходили еще более массивные дуги, такие громоздкие, что уши отгибались под их тяжестью. Это были не очки, а что-то вроде полумаски, скрывавшей половину его лица. Но за ними он чувствовал себя самым собой. Теперь ни у кого не возникало сомнений, что он — одно, а очки — нечто совершенно другое, существующее само по себе, теперь было ясно, что только случай заставляет его носить очки и что без очков он совсем другой человек. И он снова стал счастлив, настолько, насколько позволяла его натура.

Примерно в это время Амилькаре Карруга пришлось отправиться по делам в город В. В этом городе он родился, там прошла его юность, но вот уже десять лет как он переехал в другое место и с тех пор навещался в родной город лишь случайно, все реже и реже, а в последние годы и вовсе ни разу туда не заглядывал. Кому не известно, как это бывает? Оторвешься от места, где прожил много лет, а потом, оказавшись там после долгого перерыва, чувствуешь себя растерянным, словно попал в чужой город. И тут ты замечаешь, что эти тротуары, эти люди, эти разговоры в кафе либо должны быть для тебя всем, либо не смогут уже стать для тебя ничем: нужно жить ими изо дня в день, а иначе, оторвавшись, ты уже не сумеешь вернуться к ним, и даже мысль о том, чтобы после долгого перерыва вновь войти в прежнюю жизнь, становится упреком совести, и ты отгоняешь ее. Словом, Амилькаре Карруга перестал искать случая побывать в В., когда же такие случаи все-таки представлялись, он первое время без малейшего огорчения упускал их, а под конец стал просто избегать. Кроме того, с некоторых пор его антипатия к родному городу объяснялась, помимо описанного выше душевного состояния, еще и той неприязнью ко всему на свете, которую он впоследствии связывал со своей все возрастающей близорукостью. Зато теперь, после того как очки совершенно изменили его настроение, он обеими руками ухватился за предложение съездить в В. и немедленно отправился в путь.

Сейчас В. предстал перед ним совсем не таким, каким казался во время его предыдущих поездок. И не только из-за тех перемен, которые произошли в самом городе. Город, конечно, очень изменился — там и тут встречались новостройки; магазины, кафе, кинотеатры стали теперь совсем другими, подросла новая, какая-то непонятная молодежь, а уличное движение увеличилось по крайней мере вдвое. Но все это новое только подчеркивало и делало более заметным старое. Словом, Амилькаре Карруга впервые удалось увидеть город теми глазами, какими он глядел на него еще в детстве, как будто он уехал отсюда только вчера. В очках он видел бесконечное множество незначительных подробностей, например, какую-нибудь решетку или окно, вернее, теперь он сознавал, что видит их, что сам выбирает их среди всех прочих предметов, в то время как раньше он просто скользил по ним взглядом. А о лицах и говорить нечего: вот знакомый газетчик, вот адвокат, одни постарели, другие и так и сяк. В В. у Амилькаре Карруга не осталось никого из родных, и круг его друзей тоже давно уже распался, зато знакомых у него здесь было великое множество. Впрочем, в таком маленьком городишке, каким был В. в те времена, когда там жил Амилькаре, просто не могло быть иначе: там все знали друг друга хотя бы в лицо. Сейчас население В. увеличилось, потому что сюда, как и во все прочие центры привилегированного севера, стекались переселенцы с юга, и большинство лиц, встречавшихся Амилькаре, были ему незнакомы. Но именно поэтому ему было особенно приятно с первого взгляда отличать старожилов и, глядя на них, вспоминать разные случаи, прозвища, отношения, связывавшие этих людей.

В. принадлежал к числу тех провинциальных городков, где в обычае по вечерам прогуливаться по главной улице. Этот обычай существовал еще в те времена, когда там жил Амилькаре, и сохранился в неприкосновенности и по сегодняшний день. Как часто бывает в таких случаях, из двух тротуаров один был забит фланирующей публикой, а другой почти свободен. В свое время Амилькаре с друзьями из какого-то чувства противоречия всегда ходил по менее людной стороне, подмигивая и кивая оттуда девушкам на противоположном тротуаре и перекидываясь с ними шутками. Сейчас Амилькаре чувствовал себя точно так же, как тогда, даже,



может быть, еще более возбужденным: он принялся расхаживать по своему тротуару, разглядывая проходящих мимо людей. На этот раз, встречая знакомых, он не испытывал прежней неловкости, наоборот, эти встречи развлекали его, и он каждый раз спешил поздороваться первым. Кое с кем он был бы не прочь остановиться и поболтать, но главная улица В. была устроена таким образом, что об этом нечего было и думать. Тротуары были узки, толпа напирала сзади и не давала остановиться, а уличное движение усилилось настолько, что теперь уже нельзя было, как в былое время, разгуливать чуть ли не посредине мостовой и переходить улицу где вздумается. Иными словами, он не мог двигаться свободно и должен был либо уж следовать по течению, которое несло его вперед то слишком быстро, то очень медленно, либо с трудом продираться сквозь толпу, так что, встретив знакомое лицо, он едва успевал кивнуть, прежде чем это лицо исчезало, и иногда он даже не был уверен, что видел его.

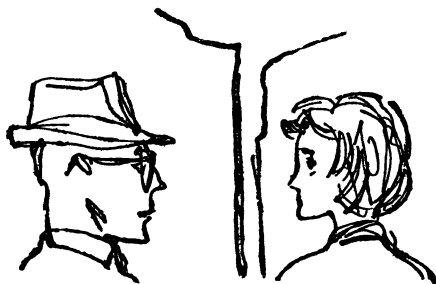
Вот он почти нос к носу столкнулся с Коррадо Страцца, своим школьным товарищем и постоянным партнером по бильярду. Амилькаре улыбнулся ему и приветственно махнул рукой. Коррадо Страцца посмотрел на него долгим отсутствующим взглядом, отвел глаза и, не остановившись, прошел мимо. Неужели он не узнал его? Правда, времени прошло немало, но Амилькаре Карруга хорошо знал, что почти не переменился с тех пор. За это время он делал все возможное, чтобы не растолстеть и не облысеть, а лицо его едва ли могло измениться до неузнаваемости. А вот учитель Каванна. Амилькаре с самым почтительным видом отвесил ему легкий поклон. Учитель сперва машинально ответил на приветствие, потом остановился и растерянно посмотрел

по сторонам, будто надеясь увидеть кого-то еще. И это учитель Каванна! Тот самый, который славился своей способностью на всю жизнь запоминать лица, единственный в городе учитель, помнивший не только физиономии всех своих многочисленных учеников, их имена и фамилии, но даже все их отметки за каждую четверть! Наконец нашелся человек, который поздоровался с Амилькаре. Им оказался Чиччо Корба, тренер их футбольной команды. Однако, поздоровавшись, он вдруг растерянно заморгал глазами и принялся насвистывать с видом человека, который вдруг заметил, что по ошибке ответил на приветствие постороннего лица, адресованное кому-то другому.

Амилькаре понял, что его никто не узнает. Очки, позволившие ему видеть окружающий мир, эти очки в громоздкой черной оправе, сделали его невидимым. В самом деле, кому может прийти в голову, что за этим подобием маски скрывается Амилькаре Карруга, уже давным-давно не живущий в В.? Разве кто-нибудь ждал его здесь? И не успел он мысленно прийти к этому заключению, как показалась Иза Мария Бьетти. Она была с подругой и шла ему навстречу, разглядывая витрины. В следующую секунду Амилькаре подошел к ней вплотную. Он готов был уже сказать ей: «Иза Мария», но у него перехватило дыхание, а Иза Мария Бьетти, задев его локтем, сказала, обращаясь к подруге: «Теперь как раз так и носят...» — и прошла мимо.

Даже Иза Мария Бьетти не узнала его. И тут он вдруг понял, что приехал сюда только ради Изы Марии Бьетти, что только ради Изы Марии Бьетти решил навсегда поки-

нуть В. и столько лет жил вдали от него, что все, все, что случалось в его жизни, и вообще все на свете было только ради Изы Марии Бьетти. И вот он, наконец, снова увидел ее, их взгляды встретились, и Иза Мария Бьетти его не узнала. Он был до того взволнован этой встречей, что даже не заметил, изменилась она или нет, пополнела ли, постаре-



ла ли, осталась ли такой же привлекательной, как прежде, стала ли менее привлекательной или, наоборот, еще привлекательнее. Он увидел только, что это была Иза Мария Бьетти и что Иза Мария Бьетти его заметила.

Он дошел до того места, дальше которого гуляющие обычно не заходили. Здесь у кафе, где продавали мороженое, или немного дальше, у стоявшего особняком киоска, людской поток поворачивал и тек обратно, только на этот раз уже по другой стороне тротуара. Амилькаре Карруга тоже повернул и пошел назад. Он снял очки. В ту же минуту мир снова расплылся, стал туманным и пресным, и сколько Амилькаре ни всматривался в этот туман, сколько ни таращил глаза, ему ничего не удалось из него выудить. Не то чтобы он совсем никого не видел и не мог узнать, нет. В тех местах, где было посветлее, он почти узнавал то одно, то другое лицо, но каждый раз его не оставляло сомнение: действительно ли это тот человек, за которого он его принимает. Кто-то из идущих ему навстречу кивнул головой, возможно здоровались именно с ним, но Амилькаре не разобрал, кто этот прохожий. Вот прошли еще двое и тоже поздоровались. Он машинально ответил, хотя понятия не имел, кто они такие. Кто-то с другого тротуара крикнул ему:

— Привет, Карру!

По голосу это мог быть некий Стельви. Амилькаре с удовлетворением отметил, что его все-таки узнают, что кое-кто еще помнит его. Однако удовлетворение было относительным, потому что он даже не видел, кто эти люди, и ни одного из них не мог узнать. В памяти у него всплывали разные лица, заслоняли друг друга, путались, но это не трогало его: ведь, по совести говоря, все эти люди были ему безразличны.

— Добрый вечер! — повторял он время от времени, когда замечал, что кто-то кивает ему.

Вот этот, который только что поздоровался, должно быть, Беллинтузи... или Карретти, а может быть, Страцца. Если это был Страцца, то с ним можно было бы немного поболтать. Но Амилькаре уже ответил ему, и ответил чересчур поспешно, а потому, подумав, решил, что будет гораздо естественнее ограничиться обычным приветствием, каким обмениваются на ходу.

Однако Амилькаре неспроста все время оглядывался

по сторонам: он старался, конечно, снова увидеть Изу Марию Бьетти. Иза Мария Бьетти была в красном пальто, поэтому он мог заметить ее еще издали. Некоторое время он шел за одним таким пальто, пока, перегнав его, не убедился, что это не она. А тем временем навстречу ему попались еще два красных пальто. В этом году многие носили красные демисезонные пальто. Например, первой, кого он встретил в таком пальто, оказалась Джиджина из табачной лавочки. Поэтому, когда какая-то женщина в красном пальто первой поздоровалась с ним, он сразу решил, что это Джиджина, и ответил ей с ледяной вежливостью. Но уже в следующую минуту его охватило сомнение. Что, если это была вовсе не Джиджина из табачной лавочки, а Иза Мария Бьетти? Хотя, с другой стороны, разве можно спутать с Джиджиной Изу Марию Бьетти? Наконец, Амилькаре повернулся и быстро пошел назад, желая убедиться в том, что не ошибся. И почти тотчас же встретил Джиджину. На этот раз это была, бесспорно, она. Но если Джиджина уже шла обратно, то как же она успела так скоро дойти до конца улицы и снова очутиться здесь? Или она повернула раньше? Теперь он совершенно ничего не понимал. Если с ним поздоровалась Иза Мария, если именно ей он ответил с такой ледяной вежливостью, то и его поездка сюда, и его ожидание, и все прожитые им годы были бесполезной тратой времени. Амилькаре ходил взад и вперед по своему тротуару, то надевал очки, то снова снимал их, то здоровался со всеми своими знакомыми, то лишь отвечал на приветствия туманных, безликих теней.

С противоположной стороны, за тем местом, где гуляющие поворачивали обратно, улица еще немного шла по городу, потом внезапно выходила из него, становилась неширокой

аллеей, пролежавшей между двумя рядами деревьев, спускалась в ров и разветвлялась на несколько тропинок, которые, поплутав в кустарнике, терялись в полях. Когда-то по вечерам сюда приходили те, у кого была девушка, и те, кто был одинок. Первые шли



сюда, чтобы погулять, и ходили под ручку, вторые — чтобы стать еще более одинокими, посидеть на скамейке и послушать пение кузнечиков. Амилькаре Карруга вышел из толпы гуляющих и двинулся дальше по улице. Город разросся и в эту сторону, но не слишком. Все было как прежде — скамейки, ров, кузнечики. Амилькаре Карруга присел на скамейку. Из всего пейзажа ночь оставила только длинные полосы черной тени. Здесь уже было все равно, в очках ты или без очков. Амилькаре Карруга сидел и думал, что радость, которую принесли ему очки, наверно, последняя в его жизни, да и она уже кончилась.

СЛУЧАЙ С ПАССАЖИРОМ

Федерико В., житель одного из городов северной Италии, любил римлянку Чинцию У. Каждый раз, как только ему позволяли дела, он садился в поезд и ехал в столицу. Давно уже привыкнув экономить каждую минуту и в работе и в удовольствиях, он всегда путешествовал ночью, последним поездом, которым в будние, непраздничные дни мало кто ездил. Благодаря этому он почти всегда имел возможность лечь на диванчик и спать всю дорогу.

Дни, которые Федерико проводил у себя в городе, были заполнены нервным ожиданием, как у транзитного пассажира, который в промежутке между двумя поездами бежит по своим делам, но при этом постоянно держит в памяти железнодорожное расписание. Зато когда наступал, наконец, день отъезда, когда все дела были уже сделаны и он с дорожным саквояжем направлялся на станцию, в эти минуты все его существо пронизывало чувство глубокого умиротворения, которое нисколько не нарушалось спешкой и боязнью опоздать на поезд. Казалось, будто вся эта станционная суетня (вернее, теперь, в этот поздний час, уже последние ее конвульсии) вместе с ним успокаивается и входит в нормальную колею. Все здесь словно затем и существовало, чтобы угрожать ему, чтобы, подобно упругим резиновым дорожкам на полу станционного зала, придавать стремительную легкость его шагам, и даже всяческие препятствия — очередь у единственного открытого окошка билетной кассы, когда до отправления поезда остались считанные минуты, категориче-

ский отказ кассирши разменять крупную бумажку, отсутствие мелочи в газетном киоске, — даже они, казалось, существовали исключительно для того, чтобы доставить ему удовольствие смело броситься им навстречу и преодолеть их.

Нет, он совсем не хотел, чтобы каждый встречный заметил его настроение — он был человеком сдержанным и вовсе не стремился как-то выделяться среди этих многочисленных прибывающих и отъезжающих пассажиров, каждый из которых, подобно ему, был в пальто и с дорожным чемоданчиком в руках, — и все-таки он чувствовал, что его как будто несет на гребне волны: ведь он мчался к Чинции.

Федерико шел, опустив руку в карман пальто и играя лежавшим там телефонным жетоном. Завтра утром, выскочив из поезда на римском вокзале Термини, он с этим жетоном в руке тотчас же побежит к ближайшему автомату, наберет номер и скажет: «Дорогая, знаешь, я приехал...» И он сжимал в руке этот жетон, словно величайшую в мире драгоценность, единственный вещественный залог того, что ожидает его по приезде.

Дорога стоила немалых денег, а Федерико был небогат. Если имелись свободные купе в мягком вагоне второго класса, он покупал билет во второй класс. Вернее, он всегда покупал билет во второй класс, а если оказывалось, что вагон полон, разрешал себе перейти в первый и платил контролеру разницу в цене. Поступая таким образом, он наслаждался созна-



нием своей экономности (ибо если ему и приходилось платить за место в первом классе, то делал он это не сразу, а в два приема, и не по доброй воле, а в силу необходимости, и поэтому чувствовал себя менее удрученным), с удовольствием отмечал, что может извлекать кое-какую пользу из своего житейского опыта, и радовался ощущению полной свободы, возможности поступать и думать, как ему заблагорассудится.

Как это иногда случается с людьми, чья жизнь во многом зависит от других и тратится на мелкие житейские дела, Федерико постоянно стремился к внутренней сосредоточенности и все время пытался как-то защититься от всего, что нарушало это состояние. И действительно, ему достаточно было самой малости — комнаты в гостинице, отдельного купе в вагоне, — чтобы весь окружающий мир пришел в полную гармонию с его душевным состоянием. Ему сразу же начинало казаться, что все создано специально для него, что железные дороги, опутавшие полуостров, построены только затем, чтобы с триумфом доставить его к Чинции.

В тот вечер даже вагон второго класса был почти пуст. Все складывалось как нельзя более благоприятно. Зная по опыту, что опаздывающие пассажиры, прыгающие в поезд в последнюю минуту, обычно проскакивают мимо первых купе, Федерико В. остановил свой выбор на одном из них, совершенно пустом, расположенном не над самыми колесами, но и не слишком далеко от выхода. Охрана места, необходимого для того, чтобы иметь возможность прилечь и соснуть в дороге, производится незаметными психологическими средствами. Федерико знал эти средства и применял их все без исключения.

Так, например, войдя в купе, он задергивал дверные занавески. На первый взгляд это действие может показаться совершенно излишним, однако целью и тут является психологическое воздействие. Перед задернутой занавеской пассажир почти всегда испытывает какую-то невольную робость, и если находится хоть одно открытое купе, то он предпочитает устроиться в нем, даже если там уже сидят двое или трое пассажиров. Свой саквояж, пальто, газеты Федерико раскладывал с таким расчетом, чтобы они заняли все места напротив и рядом с ним. Это еще один незамысловатый прием, правда, прием запрещенный и как будто совершенно бесполезный, но тем не менее иногда приносящий пользу. При этом

Федерико вовсе не стремился создать впечатление, будто все места заняты: подобная уловка шла бы вразрез с его гражданской совестью, его искренней натурой. Ему только хотелось придать купе такой вид, чтобы при беглом взгляде оно казалось загроможденным и непривлекательным, не больше.

Но вот, наконец, Федерико уселся на свое место и облегченно вздохнул. Он по опыту знал, что стоит ему очутиться в такой обстановке, где каждая вещь не может не стоять на своем месте, в обстановке, которая всегда одинакова, безлика, лишена всяких неожиданностей, и он сразу же станет спокойным, уверенным в себе, и мысли его потекут легко и свободно. Вся его жизнь проходила среди сумятицы, и царивший сейчас вокруг бесстрастный, равнодушный порядок как нельзя лучше отвечал его внутреннему возбуждению.

Но это продолжалось одно мгновение (если он ехал вторым классом; в вагоне первого класса такое состояние длилось целую минуту). Тотчас же ему становилось не по себе. Бросалась в глаза грязь в купе, выцветший и во многих местах потертый плюш, повсюду чудилась пыль, удручали жиденькие занавески на дверях и неудобный допотопный вагон. Все это наводило на него грусть, он брезгливо морщился при мысли, что придется спать не раздеваясь, не в своей постели, что все, к чему ни прикоснешься, чужое, подозрительное. Но он тут же вспоминал, ради чего пустился в путь, и его охватывал прежний подъем, он опять взлетал ввысь, словно подхваченный океанской волной или буйным порывом ветра, снова чувствовал себя легко и радостно. Стоило ему, закрыв глаз или нащупав в кармане телефонный жетон, ощутить в себе это чувство, как сразу же исчезало окружавшее его убожество, и он оставался наедине с тем счастьем, что ждало его в конце путешествия.

И все-таки ему чего-то не хватало. Чего бы теперь? А, вот! По перрону под гулким сводом разносится густой бас:

— Подушки!

Федерико вскакивает, опускает окно, высовывает руку с двумя монетами по сто лир и кричит:

— Сюда одну!

Для Федерико голос этого человека, развозившего подушки, всегда служил сигналом к отправлению. Человек проходил под окнами за минуту до отхода поезда, толкая перед собой стоявшие на тележке козлы с подушками. Это был высокий

худой старик с белыми усами, с огромными руками и длинными толстыми пальцами. Глядя на эти руки, невольно думалось, что им можно довериться. Он был весь в черном — в черной фуражке военного образца, в черной форме, в черной шинели и в черном шарфе, туго обмотанном вокруг шеи — ни дать ни взять типаж времен короля Умберто, не то старый полковник, не то просто ретивый сержант-квартирьер. Впрочем, сейчас, когда он, взяв тощую подушку двумя пальцами, протягивал ее Федерико, будто вручая ему письмо или намереваясь опустить это письмо в окошко, его скорее можно было принять за почтальона или за старого курьера. Итак, подушка перешла в руки Федерико. Квадратная, плоская, она и в самом деле была похожа на конверт, а для большего сходства на ней имелись даже многочисленные печати. Да это и было письмо, очередное письмо к Чинции, одно из тех, которые он отправлял каждый вечер, только сейчас вместо листа бумаги с патетическими излияниями отбывал сам Федерико, посланный по незримым путям ночной почты рукой одетого по-зимнему старика почтальона. Для Федерико, которому завтра предстояло обучиться среди темпераментных жителей средней Италии, старик был последним воплощением сдержанного, рассудочного севера.

И все-таки то, что он держал в руках, было прежде всего подушкой, то есть предметом мягким (хотя достаточно плотным и плоским), белым (невзирая на покрывавшие его печати), стерилизованным в автоклаве; в ней, как в иероглифе, который скрывает в себе целое понятие, заключена была мысль о постели, об удовольствии понежиться, о самом интимном. И Федерико уже предвкушал то ощущение свежести, которое даст ему ночью этот белоснежный остров, окруженный со всех сторон щетинистым плюшем сомнительной чистоты. Даже больше того, этот маленький квадратик уюта и неги сулил ему и другие радости, другую интимность, иные наслаждения, те, ради которых-то он и отправился в эту поездку. Собственно, уже в том, что он сидел сейчас в вагоне, что взял напрокат подушку, заключалась радость — радость перехода в другую сферу, где царила Чинция, в тесный и беспредельный мир, ограниченный ее сомкнутыми в объятии мягкими руками.

Поезд ласково, любовно тронул его с места, побежал мимо столбов, поддерживающих навес, изогнувшись, просколь-



знул по железным прогалинам стрелок и ринулся в темноту, гонимый тем же порывом, что до сих пор жил в груди Федерико. И, будто почувствовав, что под стук колес бегущего поезда легче освободиться от томившей его напряженности, Федерико принялся вторить ему, напевая про себя песенку, навеянную этим торопливым перестуком: «J'ai deux amours... Mon pays et Paris... Paris toujours...» *

В купе вошел пассажир. Федерико умолк.

— Свободно? — спросил вошедший и сел.

Федерико мгновенно сообразил, насколько выгодно для него это вторжение. В самом деле, если тебе хочется вздремнуть в дороге, то самое лучшее для тебя — это если в купе устроятся двое. Ты ложишься по одну сторону, твой сосед — по другую, и теперь уже никто не посмеет тебя потревожить. Если же половина купе остается свободной, то в ту минуту, когда ты меньше всего этого ожидаешь, к тебе врывается целая семья, человек шесть, да еще с ребятами, едущая до самых Сиракуз, и тебе волей-неволей приходится сесть. Поэтому Фе-

* У меня есть две любимые... Моя страна и Париж... Париж всегда... (фр.).

Федерико отлично знал, что если вагон, в который садишься, не слишком полон, то самое разумное — не искать совершенно свободное купе, а занимать то, в котором уже сидит один пассажир. Однако сам он никогда так не поступал, не желая отказываться даже от самого незначительного шанса путешествовать в полном одиночестве. Если же вопреки его желанию рядом с ним оказывался попутчик, то он всегда мог утешиться, что и в этой ситуации есть свои выгоды.

Точно так же он поступил и теперь.

— Вы до Рима? — спросил он у вновь прибывшего, спросил главным образом для того, чтобы иметь возможность добавить: «Вот и прекрасно! Тогда давайте задернем занавеску, потушим свет и никого больше не впустим».

Однако тот ответил:

— Нет. До Генуи.

С одной стороны, это было замечательно: пассажир выйдет в Генуе и снова оставит Федерико в одиночестве, но, с другой стороны, человек, которому предстоит провести в дороге всего несколько часов, едва ли захочет лечь спать. Скорее всего он просидит все это время и не позволит потушить свет. А это значит, что на промежуточных станциях к ним в купе может набиться уйма народу. Таким образом путешествие в обществе другого пассажира лишалось даже относительной выгоды и сулило Федерико одни только неудобства.

Однако он не стал долго раздумывать над этим. Его всегда выручало умение начисто изгонять из головы мысли о том, что могло причинить ему беспокойство, или о вещах бесполезных. Так и сейчас, он просто зачеркнул этого человека, сидевшего напротив него, зачеркнул до такой степени, что тот превратился в тень, в серое пятно в углу. Развернутые газеты, которые они держали перед собой, помогали им отгородиться друг от друга. Федерико почувствовал себя свободным и снова понесся на крыльях своей любви. «*Paris toujours...*»^{*} В самом деле, ну кому может прийти в голову, что из этого убогого мира суетящихся людей, гонимых необходимостью и покорностью, он летит в объятия женщины, и не просто какой-то там женщины, а Чинции У.? И чтобы дать новую пищу своей гордости, чтобы лишний раз со злорадной жестокостью внезапно разбогатевшего человека сравнить свое счастье с се-

^{*} Париж всегда...

реньким существованием других, Федерико захотел хорошенько рассмотреть своего попутчика, на которого он до сих пор ни разу не поднял глаз.

Незнакомец, однако, вовсе не казался унылым или угнетенным. Это был еще молодой человек, плотный, упитанный, с довольным, волевым лицом; он читал спортивную газету, и на скамейке рядом с ним стоял большой, туго набитый саквояж. Словом, его можно было принять за представителя какой-нибудь фирмы или за коммерческого ревизора. На какое-то мгновение Федерико В. куснула зависть, которую он всегда испытывал к людям, имеющим более деловой и цветущий вид, чем он сам. Но это было секундное чувство, и он тотчас же отогнал его, подумав про себя: «Этот разъезжает ради какого-нибудь листового железа или патентованной краски, а я...» И ему опять захотелось запеть, дать выход своей бездумной, бьющей через край радости. «*Je voyage en amour!*» * — мысленно начал он на тот же мотив, который, как ему казалось, прекрасно сочетался со стуком колес, и тут же на ходу подбирая к нему такие слова, которые привели бы в ярость этого коммивояжера, если бы тот смог их услышать. «*Je voyage en volupté!*» ** — продолжал он, вкладывая как можно больше чувства во все взлеты и падения мелодии. «*Je voyage toujours... l'hiver et l'été...*» *** — Голос, звучавший в нем, становился все возбужденнее и жарче. «*L'hiver et l'été!*» **** — Тут его губы, как видно, сами собой сложились в улыбку, яснее слов говорившую о полном душевном благополучии. И как раз в этот момент он заметил, что коммивояжер пристально наблюдает за ним.

Он тотчас же постарался придать лицу холодное выражение и уткнулся в газету, даже самому себе не желая признаться в том, что за секунду до этого пребывал в таком ребячливом расположении духа. Ребячливом? Да нет, почему же? Никакой ребячливости тут нет. Просто он ехал в хорошем настроении, радуясь тому, что едет, но это была радость зрелого мужчины, познавшего в жизни и дурное и хорошее, мужчины, который теперь готовился заслуженно насладиться этим последним. Со спокойным и невозмутимым

* Я еду к любви!

** Я еду к наслаждению!

*** Я езжу всегда... зимой и летом...

**** Зимой и летом!

видом перелистывал он иллюстрированные журналы: перед ним мелькали разрозненные картины сумбурной, лихорадочной жизни, а он старался отыскать в них что-нибудь созвучное своим чувствам. Однако скоро он заметил, что журналы нисколько его не интересуют: в них оставила след лишь внешняя, и без того всем видимая, сторона жизни. Его нетерпеливые порывы витали в более высоких сферах. «L'hiver et... l'été!» Настало время укладываться спать.

Неожиданно он сделал приятное открытие — его попутчик заснул, заснул сидя, даже не переменив положения и не свернув газеты, которая лежала теперь у него на коленях. К людям, способным уснуть сидя, Федерико относился, как к выходцам из другого мира, он им даже не завидовал. Сам он засыпал в поезде, только проделав сложную процедуру, выполнив разработанный до мелочей ритуал, но, может быть, именно в этом и заключалась для него своеобразная прелесть его поездок.

В первую очередь надо было переодеть брюки — снять хорошие (чтобы не приезжать измятым и неряшливым) и надеть старенькие. Переодевание совершалось в туалете, но раньше, для облегчения этого процесса, надлежало переобуться — сменить ботинки на домашние туфли. Федерико вытащил из сакvojа предназначенные для спанья брюки, пакет с тапочками, снял ботинки, надел тапочки, убрал ботинки под скамейку и отправился в уборную переодевать брюки. «Je voyage toujours!»* Вернувшись, тщательно уложил в сетку хорошие брюки, стараясь при этом, чтобы не помялась складка. «Тра-ля-ля-ля-ля!» В головах, с того края скамьи, что был ближе к проходу, положил подушку. Подушку следовало класть именно с этого края, а не у окна, так как гораздо лучше прежде услышать, как у тебя над головой отдергивается дверная занавеска, чем, открыв глаза, вдруг оказаться ослепленным бьющим из коридора светом. «Du voyage, je sais tout!»** На другом конце скамьи, в ногах расстелил газету, ибо всегда спал не разуваясь, в тапочках. На крючок в головах повесил пиджак, переложил в карманы пиджака портмоне и кошелек с деньгами, потому что, если оставить их в карманах брюк, то к утру они больно

* Я езжу всегда!

** О путешествии я знаю все!

надавят ноги. Железнодорожный билет, наоборот, переложил в брюки, в часовой кармашек на поясе. «Je sais bien voyager...» * Чтобы не помять хороший джемпер, снял его и надел старенький. Что касается рубашки, то ее надлежало сменить завтра. Коммивояжер, который проснулся, когда Федерико вернулся в купе, смотрел на всю эту процедуру такими глазами, будто никак не мог догадаться, что все это значит. «Jusqu'à top atout...» ** Федерико снял галстук, повесил его, вынул косточки из воротничка и положил их в карман пиджака вместе с деньгами. «...j'arrive avec le train!..» *** Отстегнул подтяжки (как все мужчины, верные законам подлинной, не показной элегантности, он носил подтяжки), снял подвязки и расстегнул верхнюю пуговицу на брюках, чтобы они не врезались в живот. «Тра-ля-ля-ля-ля!» Поверх джемпера вместо пиджака надел пальто, предварительно вынув из кармана ключи, но оставив там драгоценный телефонный жетон (с таким же непреодолимым фетишизмом ребенок кладет с собой в постель любимую игрушку), затем застегнул пальто на все пуговицы и поднял воротник. Соблюдая известную осторожность, он мог проспать в нем целую ночь, и после этого на пальто не оставалось ни единой складочки. «Maintenant voilà...» **** Если спишь в поезде, то, проснувшись, обязательно обнаружишь, что волосы у тебя стоят дыбом, а за окном уже твоя станция, и некогда даже подумать о расческе. Поэтому Федерико натянул на голову берет. «Je suis prêt alors!» ***** В пальто, надетом без пиджака и потому висевшем на нем, как сутана священника, он, балансируя, прошел по купе, задернул дверные занавески, подтянул их до отказа и запер, накинув ременные петельки на металлические головки. Потом кивнул своему попутчику, как бы спрашивая у него разрешения погасить свет. Коммивояжер спал. Федерико щелкнул выключателем, в синей полутьме, которую разливала по купе ночная лампочка, направился к окну, чтобы задернуть шторы, вернее только прикрыть их, оставив посередине шелку (он любил, когда по утрам в комнату заглядывают лучи солнца). Оставалась последняя опе-

* Я умею путешествовать...

** К своей любви...

*** ...я приезжаю на поезде!..

**** Ну вот...

***** Вот я и готов!

рация — завести часы... А теперь можно укладываться. Резким движением он бросился на диванчик, повернулся на бок и свернулся калачиком. Вот уже пальто расправлено, руки в карманах, жетон зажат в ладони, ноги (конечно, в тапочках) — на газете, нос уткнут в подушку, а берет надвинут на глаза. Настало время, когда он мог усилием воли ослабить лихорадочное внутреннее напряжение и заснуть.

Внезапное вторжение контролера (который обычно резко открывал дверь, уверенным движением одной руки расстегивал занавеску, а другую поднимал к выключателю, чтобы зажечь свет) было предусмотрено. Федерико предпочитал улечься спать, не дожидаясь его появления. Если контролер входил раньше, чем он успевал заснуть, — хорошо, в противном случае появление такой обычной, заурядной фигуры, как контролер, прерывало его сон не больше чем на несколько секунд. Так оказавшийся в деревне горожанин, внезапно разбуженный криком ночной птицы, переворачивается на другой бок и преспокойно засыпает снова, будто его и не будили. Билет у Федерико всегда был наготове, в часовой кармашке брюк, поэтому он, не поднимаясь и почти не открывая глаз, сразу же доставал его, протягивал контролеру и лежал так с протянутой рукой до тех пор, пока не получал его обратно, после чего снова запихивал билет в кармашек и немедленно засыпал, убежденный, что вставать и закрывать занавески вовсе не его дело: ведь это свело бы на нет все его старания удобно устроиться на диванчике. Сегодня контролер застал его бодрствующим, но проверка билетов длилась дольше, чем обычно, так как его попутчик долго копался спросонья, разыскивая билет. «Да, у него явно нет моей тренировки», — подумал Федерико и, воспользовавшись этим обстоятельством, немедленно придумал новые слова к своей песенке с единственной целью лишней раз доказать свое превосходство над попутчиком. «Je voyage l'amour...» * Счастливая мысль употребить глагол «voyager» как переходный наполнила его чувством радостного удовлетворения, какое всегда приносит с собой даже самая пустячная поэтическая находка. Он был счастлив, что наконец-то нашел форму, которая лучше всего выражает его настроение. «Je voyage

* Я путешествую любовь...

amour! Je voyage liberté! Jour et nuit je cours... par les chemins-de-fer...» *

Купе снова погрузилось в темноту. Поезд жадно проглатывал километры своего незримого пути. Чего еще оставалось желать Федерико? От такого блаженного состояния до сна — один короткий шаг. И Федерико мгновенно заснул, словно провалился в колодец, полный мягкого пуха. Он спал всего пять или шесть минут, потом неожиданно проснулся от жары и почувствовал, что весь в поту. Стояла поздняя осень, и вагоны уже отапливались, а он, помня о том, как ему пришлось дрогнуть во время предыдущей поездки, решил лечь спать в пальто. Федерико встал, снял пальто, затем снова лег и укрылся им, как одеялом, оставив, однако, открытыми плечи и грудь и постаравшись разложить его так, чтобы оно не измялось. После этого он перевернулся на другой бок и тут почувствовал, как от пота по всему телу у него начинается расползаться зуд. Расстегнув рубашку, он почесал грудь, потом ногу. Стало неудобно лежать, одежда давила тело, и мысли его невольно приняли новое направление. Он стал думать о том, как хорошо освободиться от всякой одежды, лежать нагишом у моря, плавать, бегать... Но лучше всего очутиться в объятиях Чинции, потому что это высшее блаженство на земле. Он задремал и в полусне не мог отличить реальных неудобств от того прекрасного, что рисовалось в его мечтах. Все смешалось для него: он нежился среди своих неприятных ощущений, потому что они предвещали ему и чуть ли не таили в себе самое высокое блаженство. Наконец он заснул.

Станционные громкоговорители, которые то и дело будили его, совсем не такое уж страшное зло, как многие предполагают. Плохо ли, проснувшись, тотчас же узнать, где ты находишься? Ведь это дает возможность испытать два различных, но одинаково приятных чувства — проснувшись ближе к цели, чем ты предполагал, думаешь: «Как долго я спал! Так, пожалуй, и сам не заметишь, как доедешь»; а оказавшись дальше от цели, ты можешь сказать себе: «Что ж, у меня еще есть время, можно спать и ни о чем не беспокоиться». Именно эта последняя возможность и представи-

* Я путешествую любовью! Я путешествую свободой! Днем и ночью я мчусь... по железной дороге...

лась сейчас Федерико. Коммивояжер находился на прежнем месте, только теперь он лежал, растянувшись на диванчике, и слегка похрапывал. Федерико все еще изнывал от жары. Он встал и полусонный принялся шарить вокруг, стараясь на ощупь найти регулятор электроотопления. Регулятор оказался на противоположной стенке, как раз над головой у его соседа по купе. Балансируя на одной ноге (как раз в этот момент у него с ноги соскочила тапочка), Федерико потянулся к рукоятке и яростно повернул ее до отказа в ту сторону, где, как он знал, было написано «минимум». В эту секунду сосед, как видно, открыл глаза, увидел занесенную над его головой руку, икнул, забулькал, втягивая слюну, и снова провалился в небытие. Федерико бросился на свое ложе. Регулятор зажужжал, зажег красную лампочку, словно пытаясь что-то объяснить или завязать разговор. Федерико нетерпеливо ждал, когда в купе посвежеет. Он снова встал, капельку приспустил окно, потом, поскольку поезд шел очень быстро и в щель стала врываться сильная струя холодного ветра, снова поднял раму и перевел ручку регулятора на отметку «автоматическая регулировка». Уткнувшись лицом в ласковую подушку, он некоторое время прислушивался к жужжанию регулятора, похожему на таинственный голос другой планеты. А поезд бежал и бежал по земле, побеждая необозримое пространство, и во всей вселенной только один человек — Федерико — спешил сейчас к Чинции У.

В следующий раз его разбудил крик продавца кофе на станции Генуя-Главная. Коммивояжер исчез. Федерико старательно заделал брешь в крепостной стене занавесок и стал со страхом прислушиваться, ловя каждый стук шагов, доносившийся из коридора, каждый звук отодвигаемой двери. Нет, в купе никто не вошел. Однако на станции Генуя-Бриньоле чья-то рука пробралась между занавесками, пытаясь отстегнуть их, но потерпела неудачу. Вслед за этим под занавеску ползком пробралась человеческая фигура. Очутившись в купе, фигура крикнула на диалекте:

— Входите! Здесь пусто!

В ответ из коридора донесся топот тяжелых башмаков, хриплые голоса, и в темное купе ввалилось четверо альпийских стрелков. Сперва солдаты чуть было не уселись прямо на Федерико, потом наклонились над ним, словно над каким-то диковинным зверем.

— Ба! Кто это такой? Кто это здесь?

Федерико рывком приподнялся на локте и перешел в наступление.

— Слушайте, неужели вы не могли найти другое купе? — спросил он.

— Нету, все забито, — хором ответили они. — Но вы не беспокойтесь, мы все тут усядемся, а вы лежите себе.

Федерико показалось, будто солдаты оробели, на самом же деле они так привыкли к грубому обращению, что просто не обратили внимания на его резкий тон. Они расположились на свободном диване и принялись галдеть.

— Далеко едете? — спросил Федерико, смягчившись после того, как вновь очутился на своей подушке.

Нет, они выходили на одной из ближайших остановок.

— А вы? Докуда вы направляетесь?

— В Рим.

— Мадонна! До самого Рима!

В их тоне звучало неподдельное изумление и сострадание к нему. Но Федерико лишь горделиво усмехнулся в душе. Поезд трогается.

— Вы можете погасить свет? — громко говорит Федерико.

Они гасят свет и остаются в темноте — безликие, громоздкие, шумные, тесно прижавшиеся друг к другу плечами. Один из них приподнимает шторку и смотрит в окно. За стеклом — ясная ночь. Со своего места Федерико видит только небо и проносящиеся время от времени фонари маленьких станций, которые, на секунду ослепляя его, гонят по потолку быстрые тени. Солдаты — простые, неотесанные крестьяне, сейчас они едут домой на побывку. Погасив свет, они продолжают разговаривать так же громко, как раньше, пересыпая свою речь ругательствами и подкрепляя ее дружескими шлепками и тумаками. Только двое из них, тот, что спит, и тот, что, не переставая, кашляет, не участвуют в разговоре. Солдаты говорят на бесцветном глухом диалекте. Время от времени Федерико схватывает несколько слов и догадывается, о чем идет речь. О казарме и борделях. Странно, но он почему-то не испытывал ненависти к этим солдатам. Сейчас он с ними, чуть ли не один из них, старается уподобиться им, чтобы, вспомнив об этом завтра, рядом с Чинцией У., еще острее ощутить головокружительную перемену в своей судьбе. Однако при этом ему вовсе не хотелось доказать им свое пре-

восходство, как тому неизвестному попутчику, что вышел в Генуе. Сейчас он смутно чувствовал свою общность с ними; это они, сами того не зная, даровали ему право ехать к Чинции; среди людей, от которых Чинция так далека, особенно отчетливо чувствуешь, как счастлив тот, кому она принадлежит, и какое счастье, что она принадлежит тебе.

Теперь Федерико почувствовал, что отлежал руку. Он поднял ее, потряс ею перед собой. Руку продолжало колоть тысячами иголок. Потом эти щекочущие уколы превратились в боль, боль — в ленивое блаженство, и он принялся снова крутить в воздухе сладко ноющей рукой. Четверо стрелков уставились на него, открыв рот от удивления.

— Чего это с ним? Может, привиделось что? Скажите, ради бога, что это вы делаете?

Потом они с мальчишеской непосредственностью начали поддразнивать друг друга, а Федерико между тем, стараясь восстановить кровообращение в ноге, спустил ее с диванчика и принялся сильно стучать пяткой об пол.

Так среди криков и галдежа, временами забываясь в полудреме, он провел не меньше часа. И все-таки он не чувствовал к солдатам никакой вражды. Возможно, сейчас он вообще не мог чувствовать вражды ни к одному живому существу. Может быть, он просто подобрел. Он не возненавидел их даже после того, как, подъезжая к своей станции, они вышли из купе, не задернув за собой занавеску и оставив открытой дверь в тамбур. Он встал, снова забаррикадировался и опять с радостью почувствовал себя в одиночестве, не испытывая, однако, ни к кому ни обиды, ни злобы.

Теперь у него стали мерзнуть ноги. Он заправил брюки в носки, но теплее не стало. Тогда он подоткнул под ноги полы пальто. Стали мерзнуть живот и грудь. Он перевел регулятор почти до отметки «максимум» и уткнулся в пальто, притворяясь, будто не замечает, как оно мнется, и не приподнимаясь даже тогда, когда чувствовал под собой неудобные складки. Сейчас он готов был отказаться от всех своих правил, лишь бы немедленно вернуть утерянное ощущение блаженства. Сознание своей доброты к ближнему побуждало его быть добрым и к самому себе и в этом всепрощении обрести желанный сон.

Сон его был неглубок и прерывист, он часто просыпался. Очередное появление контролера можно было отличить сразу:

уверенность, с какой он отстегивал дверные занавески, насколько не походила на те робкие попытки, которые принимали ночные пассажиры, входившие на промежуточных станциях и терявшиеся перед длинным рядом наглухо зашторенных купе. С таким же профессиональным умением, только более неожиданно и мрачно, появлялся полицейский, который мгновенно направлял в лицо спящего луч своего фонарика, долго вглядывался, гасил свет и молча уходил, оставляя за собой струю холодного воздуха, наводившего на мысль о тюрьме.

Потом на одной из погруженных во мрак станций в купе вошел мужчина. Федерико заметил его уже после того, как он устроился в уголке. По запаху сырости, исходившему от пальто незнакомца, Федерико догадался, что на улице дождь. Когда он проснулся в следующий раз, мужчина уже исчез, выйдя на какой-то невидимой станции. От его пребывания в купе не осталось ничего, кроме слабого запаха промокшей одежды и какой-то затхлости — следов его тяжелого дыхания. Федерико опять стало холодно. Он передвинул регулятор на «максимум» и опустил руку под сиденье, чтобы проверить, не становится ли там теплее. Нет, там было по-прежнему холодно. Он пошарил рукой под всей скамейкой. Нет, по всей вероятности, отопление выключили. Он снова надел пальто, потом снял его, отыскал свой хороший джемпер, снял старый, надел хороший, поверх натянул старый, влез в пальто, снова улегся на диванчике и, свернувшись калачиком, попробовал еще раз вызвать в душе ощущение полного благополучия, которое в свое время так легко привело за собой сон, но никак не мог вспомнить, о чем тогда думалось. А к тому времени, когда на память ему пришла его песенка, им уже овладела дрема, и знакомый мотив торжественно баякал его во сне.

Первый утранный луч, проникший в щелки между шторами, слился с криками: «Горячий кофе!» и «Газеты!», которые доносились с перрона какой-то станции, может быть, одной из последних в Тоскане, а может быть, и одной из первых в Лации. Дождь перестал. За не просохшими еще стеклами похвалялось своим пренебрежением к наступающей осени совсем уже южное небо. Желание выпить чего-нибудь горячего и инстинкт горожанина, привыкшего каждое утро начинать с просмотра газет, словно кольнули Федерико, и он едва



не бросился к окну, чтобы купить себе кофе, или газеты, или даже и то и другое вместе. Но в конце концов ему все же удалось убедить себя в том, что он еще спит и ничего не слышит, удалось так хорошо, что он не пошевелился даже после того, как в купе ворвалось сразу несколько пассажиров — жителей Чивитавеккии, которые всегда ездят утренними поездами в Рим. И потому на рассвете, когда сон слаще всего, он почти не просыпался.

Когда он проснулся по-настоящему, его сразу ослепил свет, бьющий из незавешенного окна. На противоположном диванчике вплотную сидело несколько человек. В первую секунду Федерико даже показалось, что их гораздо больше, чем могло там уместиться, на самом же деле лишним был только ребенок, сидевший на коленях у женщины. Один мужчина, воспользовавшись тем, что Федерико спал, поджав ноги, устроился на свободном краешке его скамейки. Мужчины были непохожи друг на друга, но во всех лицах было что-то неуловимо чиновниче. Единственным исключением был офицер военно-воздушных сил, одетый в форму, украшенную многочисленными нашивками. Даже на лицах женщин можно было прочесть, что они едут навестить родственников, которые служат чиновниками в министерстве, или, может быть, даже сами едут в такое-то министерство по своим или по чужим делам. И все пассажиры (некоторые поднимая

глаза от газеты «Иль темпо») уставились на Федерико, лежащего на высоте их колен, и принялись наблюдать, как это бесформенное, укутанное в пальто, безногое, словно тюлень, взъерошенное существо в берете, съехавшем на затылок, поднимает голову с измазанной слюной подушки, потирает щеку, на которой отпечатались складки сбившейся наволочки, садится, неуклюже, по-тюленьи потягивается, разминает ноги, потом старается всунуть их в тапочки, которые почему-то все время надеваются не на ту ногу, расстегивает пальто, почесывает себя где-то между двумя джемперами и помятой рубашкой, окидывает их еще не совсем осмысленным взглядом заспанных глаз и улыбается.

За окном плыла широкая равнина Романьи. Некоторое время Федерико сидел неподвижно, положив руки на колени и не переставая улыбаться, потом повернулся к пассажиру, сидевшему напротив, и жестом попросил разрешения. Взять у него с колен газету. Проглядывая заголовки, он, как всегда, почувствовал, что находится вдали от дома. С олимпийским спокойствием взглянул он на мелькавшие за окном арки акведука, отдал владельцу газету, встал и полез в саквояж за несессером.

На вокзале Термини Федерико первым соскочил на платформу, свежий как роза. В руке он сжимал телефонный жетон. Серые телефоны в нишах между опорами навеса, казалось, только его и ждали. Он опустил жетон, набрал номер и с бьющимся сердцем стал слушать долгие гудки. Там, далеко, они превращались в настойчивый звонок. Но вот до него донесся голос Чинции, еще благоухающий сном, трепетный и обволакивающий теплотою: «Алло». С этой секунды он уже жил напряжением их дней, дней, которые они проведут вдвоем в лихорадочной битве с убегающими часами. Он знал, что ему никогда не удастся рассказать ей о том, какой была для него эта ночь, которая, подобно всякой ночи, безраздельно отданной любви, бесследно исчезала, гонимая неумолимой ясностью дня.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ СУПРУГОВ

Артуро Массолари работал в ночную смену, которая кончается в шесть утра. От завода до дому было не близко. Летом, в хорошую погоду, он проделывал этот путь на вело-

сипеде, зимой и в дождливую пору добирался на трамвае. Он приходил домой иногда без четверти, иногда ровно в семь, то есть или немножко раньше, или немножко позже, чем начинал звонить будильник его жены Элиде.

Часто звонок будильника и шаги мужа, входившего в квартиру, сливались в сознании Элиде, разом вторгаясь в ее сон, сладкий утренний сон, который она старалась продлить еще на несколько секунд, зарывшись лицом в подушку. Потом, пересилив себя, она вскакивала с постели, не глядя, совала руки в рукава халатика и, не откинув со лба спутанных волос, выходила на кухню, где Артуро вытаскивал из сумки, с которой всегда ходил на работу, и ставил на раковину пустой судок и термос. Он уже успевал зажечь газ и поставить кофе. Перехватив его взгляд, Элиде спохватывалась, приглаживала рукой волосы и старалась раскрыть пошире слипающиеся глаза, словно стыдясь, что, приходя домой, муж каждый раз застает ее такой растрепанной и заспанной. Когда муж и жена спят вместе, тогда другое дело: утром они вместе стряхивают с себя остатки сна, они равны.

Впрочем, иногда она просыпала, и тогда он сам входил в комнату с чашкой кофе и тормошил ее за минуту до того, как начинал звенеть будильник. В этом случае все было несравненно естественнее: недовольная гримаса — так не хочется просыпаться! — приобретала оттенок ленивой нежности, обнаженные руки, в сладком потягивании закинута за голову, под конец падали ему на плечи и обвивались вокруг шеи. Они обнимались. Артуро не успел еще снять свою непромокаемую куртку, и, прижимаясь к ней, Элиде сразу узнавала, какая на дворе погода: если куртка была влажной, значит на улице туман или дождь, если очень холодная — идет снег. Но она все равно спрашивала: «Как на дворе?», и он, как всегда немного ворчливо, немного иронически, принимался добросовестно докладывать обо всех неприятностях, которые с ним случились. Он начинал обычно с конца, говорил о том, как долго ехал на велосипеде, какая была погода, когда он вышел с фабрики, о том, что еще накануне вечером она была совсем другая, рассказывал о разных неурядицах на работе, о том, какие слухи ходят в цехе, и так далее.

По утрам в доме всегда бывало свежо, но Элиде все же сбрасывала сорочку и, поеживаясь, начинала умываться. Следом за ней в ванную неторопливо входил Артуро, тоже

раздевался до пояса и не спеша принимался смывать с себя заводскую пыль и машинное масло. В эти минуты, когда они, полуголые и немного продрогшие, стояли рядом возле умывальника, то и дело задевая друг друга локтями, передавая из рук в руки мыло, зубную пасту и продолжая разговор, в эти минуты они чувствовали себя еще ближе, и порой даже такая обычная штука, как потереть друг другу спину, вызывала у них прилив нежности, и они оказывались друг у друга в объятиях.



Но вдруг Элиде с криком «Боже! Как поздно!» выскакивала из ванной, натягивала пояс, юбку, все второпях, стоя, через минуту уже причесывалась, быстро проводя щеткой по волосам, зажав в зубах заколки и мельком поглядывая в зеркальную дверцу шкафа. Следом входил Артуро с зажженной сигаретой, становился в сторонке, смотрел на жену, курил, и казалось, будто ему неловко за то, что он стоит тут без дела и ничем не может помочь. Собравшись, Элиде надевала в коридоре пальто, они целовались на прощанье, она открывала дверь, и вот уже было слышно, как она сбегает по лестнице.

Артуро оставался один. Он прислушивался к цоканью ее каблучков по ступенькам, а когда оно замолкало внизу, продолжал мысленно следовать за ней дальше, пробегал вместе с ней по двору, под воротами, по тротуару до самой трамвайной остановки. Трамвай он слышал хорошо — как он скрежещет, останавливается, слышал металлическое постукивание подножки под каждым пассажиром. «Вот она села», — думал он и видел жену, стиснутую в толпе рабочих и работниц в вагоне «одиннадцатого», который всегда отвозил ее на фабрику.

Он гасил окурок, закрывал ставни, чтобы в комнате стало темно, и ложился в постель.

Постель была в том виде, как ее оставила Элиде, но с его стороны она была почти не смятой, словно ее только что постелили. Он поудобнее устраивался на своей половине, потом протягивал к нагретому женой местечку сперва одну ногу, затем другую и так понемножку перебирался совсем на половину Элиде, в теплую ямку, еще сохранившую форму ее тела, зарывался лицом в ее подушку и, вдыхая запах ее волос, засыпал.

Вечером, незадолго до возвращения Элиде, Артуро вставал и принимался топтаться по комнатам: зажигал плитку, ставил что-нибудь варить. В эти часы до ужина он всегда делал кое-что по-дому — стелил постель, подметал немного пол, даже замачивал белье, отложенное в стирку. Потом Элиде находила, что все сделано не так, как надо, но, по правде говоря, он и не слишком старался: все, что он делал, было своего рода ритуалом, помогавшим ему поджидать жену. Выполняя его, он словно бы шел встретить ее, оставаясь в четырех стенах. Тем временем на улице зажигались огни, и Элиде ходила по магазинам среди необычной для такого часа толчеи, оживлявшей те кварталы, где столько женщин вынуждены делать покупки по вечерам.

Наконец с лестницы доносились ее шаги, совсем не такие, как утром, медленные и тяжелые, потому что Элиде поднималась усталая после рабочего дня и с полной сумкой. Артуро выходил на площадку, брал у нее из рук сумку и, переговариваясь, они вместе входили в квартиру. Не снимая пальто, она сразу же опускалась на стул в кухне, а он вынимал из сумки продукты. Потом она говорила: «Ну, надо подниматься да за дело приниматься», — вставала со стула, снимала пальто и переодевалась в домашнее платье. Они начинали готовить еду — ужин на двоих, закуску, которую он брал на завод и съедал во время перерыва в час ночи, завтрак, который она должна была взять с собой на фабрику завтра утром, и какое-нибудь второе для него, чтобы завтра, проснувшись, он мог поесть, не возясь на кухне.

Она то хлопотала у плиты, то садилась на плетеный стул и говорила ему, что надо делать. Он же, чувствуя себя отдохнувшим, старался вовсю и даже порывался делать все без ее помощи. Однако чем дальше, тем он становился рас-

сеянное, одолеваемый совсем другими мыслями. В такие минуты они иногда готовы были поссориться, наговорить обидных слов; ей хотелось, чтобы он был внимательнее, делал все как следует или чтобы он был с ней поласковее, посидел бы рядом, утешил бы ее немного. Он же после недолгого воодушевления, вызванного ее приходом, мысленно был уже далеко от дома и больше думал о том, как бы побыстрее управиться, потому что скоро должен был уйти.

Но вот стол накрыт, все приготовлено и стоит под рукой, чтобы уже ни за чем больше не вставать, и тут им обоим вдруг становится невыносимо грустно: так мало осталось побыть вдвоем! И им уже не до еды, и хочется отложить ложку и просто посидеть, взявшись за руки.

Однако Артуро, даже не допив кофе, шел к велосипеду, посмотреть, все ли в порядке. Они обнимались. И Артуро казалось, что только сейчас он по-настоящему ощутил, какая она мягкая и теплая, его жена. Но велосипедная рама была у него на плече, и он уже осторожно спускался с лестницы.

Элиде мыла посуду, прибирала в доме, не пропуская ни одного закоулка и покачивая головой, когда натыкалась на мужнино хозяйничанье. Сейчас он едет по темным улицам между редкими фонарями и, может быть, уже миновал газовый завод. Элиде ложилась в постель, гасила свет. Свернувшись на своей половине, она шарила ногой по той части кровати, где должен был спать муж, стараясь нащупать тепло, оставшееся от его тела, но каждый раз замечала, что там, где лежала она, было теплее, а это значило, что Артуро тоже спал на ее половине. И ее захватывала нежность к нему.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Синьора Стефания Р. впервые в жизни возвращалась домой в шесть часов утра.

Машина остановилась не около ее дома, а немного не доезжая, на углу. Она сама попросила Форнеро выпустить ее тут: ей не хотелось, чтобы привратница увидела, как она, пользуясь отлучкой мужа, является домой на заре да еще в сопровождении молодого человека. Едва заглушив мотор, Форнеро сделал было попытку обнять ее за плечи. Но Сте-

фания отстранилась от него, словно здесь, рядом с домом, все стало по-другому. С неожиданной поспешностью она выскочила из машины, наклонилась к окошку и, сделав Форнеро знак трогаться и поскорее уезжать, быстрыми маленькими шажками побежала по тротуару, пряча лицо в поднятый воротник пальто. Значит, она изменила мужу?



Парадное, однако, оказалось запертым. Этого Стефания Р. не ожидала. Ключа она не захватила. Собственно, она потому и не ночевала дома, что не захватила ключа. Все дело было именно в этом. Правда, если бы она сумела попасть домой пораньше с вечера, она бы любым способом добилась, чтобы ей открыли; конечно, она должна была раньше вспомнить, что ушла без ключа. Так нет же, все вышло так, как будто она нарочно все подстроила! Вчера она ушла еще засветло и не взяла ключа, надеясь к ужину быть дома, но вместо этого поддалась на уговоры подруг, с которыми не виделась уже бог знает сколько времени, и этих молодых людей, их приятелей, и сперва пошла с ними поужинать, а потом вместе со всей компанией отправилась выпить и потанцевать сперва к одному, потом к другому. А в два часа ночи, понятно, было уже поздно думать о каких-то ключах. И все это потому, что она капельку влюбилась в этого мальчика Форнеро. Влюбилась? Капельку влюбилась. В этих делах все нужно видеть таким, как оно есть на самом деле, ни больше, ни меньше. Она провела с ним ночь, это верно. И тем не менее «провела ночь» — слишком сильное выражение, даже, можно сказать, совершенно неподходящее в этом случае. Просто она вместе с этим юношей дожидалась того часа, когда открывают парадную дверь. Только и всего. Она полагала, что ее отпирают в шесть часов утра, и, как только время подошло к шести, поспешила вернуться домой. Правда, не только поэтому. Во-первых, ей не хотелось, чтобы прислуга, которая обычно приходила к ним около семи, догадалась, что хозяйка не ночевала дома. А кроме того, как раз сегодня должен вернуться муж.

И вот она оказалась перед запертой дверью, одна, на пус-

тсой улице, залитой в этот ранний утренний час таким прозрачным светом, каким он не бывает ни днем, ни вечером. Рано утром всегда кажется, будто смотришь на все через увеличительное стекло. Стефанию Р. охватила растерянность. Ей захотелось очутиться спящей в своей постели, спящей уже много часов тем глубоким сном, каким она всегда спала по утрам, захотелось, чтобы рядом был муж, захотелось даже почувствовать себя под его защитой. Но это длилось одно мгновение, может быть, и того меньше. Может быть, она только ожидала, что ее охватит растерянность, а на самом деле не испытала ничего похожего. Ей было досадно, что привратница до сих пор не открыла дверь, даже очень досадно. Но в этом утреннем воздухе, в том, что она в такой час оказалась одна на пустынной улице, во всем этом было нечто такое, что приятно волновало кровь. Она нисколько не жалела, что отослала Форнеро: с ним она бы немного нервничала. Сейчас, оставшись одна, она тоже испытывала трепет, но совсем иной: что-то в этом роде она ощущала в ранней юности, только теперь все было совершенно иначе.

Если говорить честно, она ни капельки не раскаивается в том, что провела ночь вне дома. Нет, совесть ее была спокойна. Но почему? Потому ли, что решительный шаг был уже сделан, что она, наконец, пренебрегла своими супружескими обязанностями, или потому, что она устояла, что вопреки всему сохранила верность мужу? Стефания спрашивала себя, спрашивала и не находила ответа. И от этой неопределенности, от неуверенности в том, как же все-таки обстоит дело, и от утреннего холодка ее охватывал легкий озноб. В конце концов как ей считать: изменила она мужу или нет? Спрятав руки в рукава своего длинного пальто, Стефания несколько раз прошла перед подъездом. Она вышла замуж года два назад, и ей еще ни разу не приходило в голову изменить мужу. Правда, с тех пор как она стала женой, в ее жизнь вошло какое-то смутное, похожее на ожидание чувство, ей как бы все время казалось, будто чего-то не хватает. Это чувство было чем-то вроде продолжения ее девичьих ожиданий, словно она не стала еще совсем взрослой или, во всяком случае, осталась менее взрослой, чем муж, и сейчас ей следует, наконец, догнать его, стать равной ему в глазах всего света. Так чего же она ждала? Измены? И было ли изменой ее приключение с Форнеро?

Она увидела, как в баре, расположенном на другой стороне улицы, через два дома от ее подъезда, подняли жалюзи, и вдруг почувствовала, что ей просто необходимо выпить чашку горячего кофе, именно сейчас, сию минуту. Она направилась к бару. Нет, Форнеро еще совсем мальчик. Разве о нем можно думать всерьез? Они всю ночь прокатались в его машине, колесили по холму, ездили по набережным, потом смотрели, как всходит солнце, под конец остались без бензина, и им пришлось самим толкать машину и будить хозяина бензоколонки. Словом, в эту ночь они вели себя, как школьники. Правда, три или четыре раза Форнеро попытался предпринять кое-что посерьезнее, а один раз даже подвез ее к своему дому и ни за что не хотел ехать дальше, упрямо повторяя: «Перестань выдумывать, идем ко мне». Она не пошла. Правильно ли она сделала? А что будет потом? Нет, сейчас она не хотела думать об этом. Всю ночь она не сомкнула глаз, и ей хотелось спать. Вернее, в том необычном состоянии, в каком находилась Стефания, она еще не чувствовала, что хочет спать, но если бы она очутилась в кровати, то заснула бы, едва прикоснувшись к подушке. На грифельной доске в кухне она написала бы прислуге, чтобы ее не будили, и заснула. А потом, позднее, может быть, приехал бы муж и разбудил бы ее. Любит ли она еще своего мужа? Конечно, любит. А что будет потом? Об этом она сейчас предпочитала не думать. Сейчас она капельку влюбилась в этого Форнеро. Совсем капельку. Но когда же откроют это проклятое парадное?

В баре все стулья были еще сложены в углу, пол засыпан опилками, за стойкой суетился бармен. Стефания вошла. Она не испытывала ни малейшего смущения из-за того, что явилась сюда в такое необычное время. Кому какое дело до нее? Может быть, она недавно встала, или едет на станцию, или только что с поезда? А кроме того, кому она обязана давать отчет? Она почувствовала, как от этой мысли ей стало приятно.

— Черный кофе, двойной и погорячее, — сказала она официанту.

Стефания проговорила это непринужденным тоном уверенного в себе человека, будто она уже сто лет знает и этого официанта и этот бар, где на самом деле не бывала ни разу в жизни.

— Слушаюсь, синьора, один момент, сейчас нагреется машинка, и ваш кофе будет готов, — отозвался бармен и прибавил: — Здесь по утрам приходится больше думать о том, чтобы самому согреться, чем о том, чтобы согреть машинку.

— Бррр! — отозвалась Стефания, улыбнувшись и забываясь поглужбе в воротник своего пальто.

В баре находился еще один человек, посетитель, стоявший в стороне и смотревший на улицу через витринное стекло. Стефания заметила его только после того, как он повернулся на ее шутливое «бррр!», и тотчас же, будто присутствие сразу двух мужчин вдруг снова пробудило в ней застенчивость, внимательно посмотрела на себя в зеркальную дверь, ведущую в заднее помещение бара. Нет, глядя на нее, нельзя было догадаться, что она прогуляла всю ночь напролет. Она была только немного бледнее, чем обычно. Стефания вытащила из сумочки пудреницу, несколько раз провела по лицу пуховкой.

Мужчина подошел к стойке. На нем было темное пальто, белое шелковое кашне и синий костюм.

— В такую рань, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — все, кто не спит, делятся на две категории: те, кто еще, и те, кто уже.

Стефания чуть заметно улыбнулась. Она не взглянула на него, тем более что уже успела достаточно хорошо его рассмотреть. У него было выразительное и в то же время немного пошловатое лицо, характерное для той категории мужчин, которые так усердно прощают свои и чужие грехи, что задолго до старости впадают в состояние, находящееся где-то между мудростью и слабоумием.

— ...И когда в такое время вдруг встречаешь хорошенькую женщину, то, сказав ей: «Доброе утро!»... — Он вытащил изо рта сигарету и поклонился Стефании.

— Доброе утро! — ответила она немного иронически, но без лишней резкости.

— ...невольнo задаешь себе вопрос: «Еще? Уже? Уже или еще?» Вечная загадка!

— Что? — спросила Стефания с видом человека, который все понял, но просто не хочет поддерживать игру.

Мужчина бесцеремонно рассматривал ее, однако ей было

совершенно безразлично, даже если бы он понял, что она из тех, кто «еще».

— А вы? — лукаво спросила она.

Она уже поняла, что этот синьор просто болтливый ночной гуляка и что не признать его полуночником с первого взгляда значит смертельно обидеть его.

— Я? Еще! Всегда еще! — ответил он, потом вдруг на минуту задумался. — А почему? Не догадываетесь? — улыбаясь ей, он теперь уже подшучивал над самим собой. Потом опять остановился, проглатывая что-то, словно у него все время набегала слюна. — Дневной свет гонит меня в мою нору, как нетопыря, — сказал он рассеянно, как будто повторяя слова затверженной роли.

— Вот ваше молоко, а это кофе для синьоры, — сказал бармен.

Мужчина подул на стакан и принялся медленно, маленькими глоточками отхлебывать из него.

— Вкусно? — спросила Стефания.

— Мерзость! — отозвался он и добавил: — Говорят, обезвреживающее средство, своего рода противоядие. Но мне-то теперь уже никакие средства не помогут. Если меня укусит ядовитая змея, то плохо придется не мне, а ей.

— Ну, пока вы здоровы... — пробормотала Стефания.

Уж не слишком ли он разошелся?

— Для меня есть одно противоядие, и если вы хотите, чтобы я вам сказал...

Да, пожалуй, так он дойдет бог знает до чего.

— Сколько с меня? — спросила Стефания, обратившись к официанту.

— ...это женщина, которую я ищу всю свою жизнь... — продолжал гуляка.

Стефания вышла взглянуть, не открыли ли парадное. Она прошла несколько шагов по направлению к дому. Нет, все еще закрыто. Тем временем мужчина в пальто тоже вышел из бара с явным намерением увязаться за ней. Стефания повернула назад и снова вошла в бар. Мужчина, не ожидавший этого, в нерешительности остановился, двинулся было следом за ней, но потом, словно примирившись со своей неудачей, прошел мимо дверей и, покашливая, поплелся своей дорогой.

— У вас есть сигареты? — спросила Стефания бармена.

Еще идя по улице, она мечтала о том, что, как только придет домой, сразу закурит. У нее не осталось ни одной сигареты, а табачные киоски были еще закрыты.

Бармен вынул пачку сигарет. Стефания спрятала ее в сумочку и расплатилась.

Она снова вышла и остановилась у дверей бара. В эту минуту у самых ее ног стремительно проскочила собака на поводке, тащившая за собой охотника с ружьем, патронташем и ягдташем.

— Фу, Фризетт, куш! Ложись! — воскликнул охотник и, заглянув в бар, громко добавил: — Кофе!

— Ох, какой красивый! — заметила Стефания, поглаживая собаку. — Это сеттер?

— Бретонский спаньель, — ответил охотник. — Сука.

Охотник был очень молод и немного резковат, скорее всего от робости, а не от чего-либо другого.

— И сколько же ему, то есть ей, лет?

— Скорее будет десять месяцев. Фу, Фризетт! Умница!

— Значит, за куропатками? — заметил хозяин, когда они вошли в бар.

— Да нет, так, больше, чтобы натаскать собаку... — ответил охотник.

— И далеко вы? — спросила Стефания.

Охотник назвал местечко совсем недалеко от города.

— На машине — два шага, — добавил он. — К десяти уже буду дома. Надо еще на работу поспеть...

— А там красиво, — сказала Стефания.

Ей почему-то хотелось продолжать разговор, хотя говорить, собственно, было не о чем.

— Да, есть там одна долинка, открытая, чистая, ни деревца, сплошь один бурьян. По утрам даже тумана не бывает, все видно как на ладони... Все дело за собакой — поднимет перо...

— Вот если бы мне работать с десяти! — перебил его бармен. — Я бы, наверно, никогда раньше чем без четверти не вставал.

— Э! Знаете, я тоже иногда не прочь поспать, — отозвался охотник. — Но как вспомнишь: один, на приволье, пока все еще спят... не знаю... Каждый раз так и тянет. Своего рода страсть.

Стефания ясно видела, что юноша только делает вид, буд-

то оправдывается, а в глубине души неимоверно гордится собою, жгуче ненавидит этот спящий вокруг город и упрямо желает чувствовать себя не таким, как все.

— Вы уж не обижайтесь, но для меня вы, охотники, все равно что сумасшедшие, — сказал бармен. — И причина тут одна: не могу понять, как можно по доброй воле вскакивать ни свет ни заря.

— А я их понимаю, — вмешалась Стефания.

— Ну... кто его знает! — возразил охотник. — Такая же страсть, как все прочие.

Теперь он во все глаза смотрел на Стефанию, и казалось, что та убежденность, с какой он начал этот разговор об охоте, теперь рухнула, что присутствие Стефании заставило его усомниться в истинности своих убеждений, навело на мысль, что, пожалуй, счастье вовсе не там, где он его искал.

— Нет, правда, — продолжала Стефания, — я это понимаю! В такое утро, как сейчас...

Некоторое время охотник стоял молча, с видом человека, которому хочется поговорить, но он не знает, что сказать.

— В такую погоду, когда сухо и не жарко, собака лучше всего работает... — произнес он наконец.

Он уже допил кофе и расплатился. Собака тянула его к выходу, но он все не решался уйти. Под конец он неловко пробормотал:

— А если так, то почему бы вам не отправиться туда, синьора?

Стефания улыбнулась.

— Вы хотите сказать: в другой раз, когда мы опять вот так же встретимся, мы это устроим, да?

Охотник промышчал что-то, потоптался еще немного, оглядываясь по сторонам и стараясь найти какую-нибудь новую зацепку, чтобы продолжить разговор, потом нерешительно проговорил:

— Ну ладно, я пошел. До свиданья.

Стефания и бармен пожелали охотнику всего хорошего, и он позволил, наконец, собаке вытащить себя на улицу.

В бар вошел рабочий, немолодой человек с веселым лицом, заказал стопку виноградной.

— За здоровье всех, кто рано встает, — сказал он, поднимая стакан, — а в первую очередь за прекрасных синьор.

— Ваше здоровье, — вежливо сказала Стефания.



— Рано утречком чувствуешь себя хозяином жизни, — сказал рабочий.

— А по вечерам нет? — спросила Стефания.

— Вечером хочется спать, — сказал он. — И ни о чем не думается. А если начнешь думать — беда...

— А мне вот по утрам так и лезут в голову разные случаи, один за другим, — заметил бармен.

— А почему? Потому что перед работой требуется хорошая пробежка. Вот я, например, езжу на завод на велосипеде с моторчиком. Едешь, а в лицо тебе холодный ветер...

— Ветер отгоняет мысли, — заметила Стефания.

— Вот, вот, синьора меня понимает, — подхватил рабочий. — А если понимает, то должна выпить со мной рюмочку.

— Спасибо, я не пью, право.

— Нет, утром обязательно требуется рюмочка. Две рюмки виноградной, хозяин!

— Да нет же, я серьезно не пью. Выпейте лучше вы за мое здоровье, мне будет приятнее.

— Что, совсем не пьете?

— Ну, иногда, вечером...

— Вот видите! В этом ваша ошибка.

— Мы их столько делаем, ошибок, что...

— Ну что с вами делать, за ваше здоровье, — сказал рабочий и опрокинул сперва одну рюмку, потом другую. — Один и один — два, — заметил он. — Вот смотрите, сейчас я вам объясню...

Стефания стояла одна среди этих мужчин, непохожих друг на друга, разговаривала с ними. Она была спокойна, уверена в себе, не испытывала ни малейшего смущения. Это было нечто новое, чего она не знала до сегодняшнего утра.

Она вышла из бара, чтобы еще раз взглянуть, не открыли ли парадное. Следом за ней вышел рабочий, уселся на свой велосипед с моторчиком, натянул перчатки,

— А вам не холодно? — спросила Стефания.

Рабочий похлопал себя по груди, и Стефания услышала громкий шелест газет.

— У меня броня, — сказал он и, переходя на диалект, добавил: — Прощайте, синьора!

Стефания ответила ему тоже на диалекте, и он уехал.

И тут Стефания вдруг поняла, что случилось нечто такое, что уже никогда не позволит ей вернуться назад, к прошлому. Побыв одна среди этих мужчин, поговорив с этим гулякой, с этим охотником, с этим рабочим, она вдруг стала совсем другой. Она провела с ними все утро одна, она держалась с ними, как равная, и это значило, что наступило ее совершеннолетие, то совершеннолетие, о котором она мечтала. А о Форнеро она ни разу даже не вспомнила.

Парадное было открыто. Стефания Р. быстро перебежала улицу и юркнула в дом. Привратница ее не заметила.

СЛУЧАЙ С ПОЭТОМ

Островок обрывался в море крутыми скалистыми склонами. Поверху он весь зарос низким густым кустарником, которого не могла убить близость моря. В небе летали чайки. Это был крошечный островок почти у самого побережья, пустынный и дикий. На шлюпке его без труда можно объехать за полчаса и даже не на шлюпке, а на такой вот резиновой лодочке, в какой плывут сейчас двое — мужчина, спокойно гребуший коротким веслом, и женщина, которая, растянувшись на дне, подставляет тело горячему солнцу. Когда они подплыли к острову, мужчина перестал грести и прислушался.

— Что ты слушаешь? — спросила она.

— Тишину, — сказал он. — На островах такая тишина, что ее слышно.

Действительно, тишина всегда оплетена тончайшей сетью едва уловимых звуков. И тишина этого острова была совсем не похожа на тишину окружавшего его неподвижного моря: она была наполнена шелестом ветвей, щебетом птиц и неожиданным форканьем крыльев. Внизу, у подножия скал, тихое в эти дни море лучилось ослепительной голубизной. Его прозрачные воды до самого дна были пронизаны солнцем.

Кое-где в скалистой стене зияли провалы, ведущие в полузатопленные водой пещеры. Их-то и хотели осмотреть мужчина и женщина, сидевшие в резиновой лодке, которая плыла сейчас вдоль берега, лениво подгоняемая веслом.

Островок лежал у самого южного побережья, пока еще редко посещаемого туристами. Узнелли и Делия — так звали эту пару — приехали сюда с севера в надежде попутаться и отдохнуть на свободе. Узнелли был довольно известным поэтом; Делия Н. — очаровательной женщиной. Делия была большой почитательницей юга, больше того, она страстно, поистине фанатично любила его. Лежа сейчас в лодке, она непрестанно восхищалась всем, что видела вокруг, и в то же время как будто спорила с Узнелли, который был в этих краях впервые и, как ей казалось, не совсем разделял ее восторг.

— Подожди еще, — говорил он, — подожди.

— Да чего ждать? — восклицала она. — Чего же тебе еще надо? Что может быть прекраснее этого?

Однако Узнелли и по натуре и по привычке, свойственной подлинным поэтам, был недоверчив к чувствам и словам,



уже усвоенным другими, он больше склонен был искать и находить скрытую, непризнанную красоту, нежели восхищаться явным и бесспорным; потому нервы его были все время напряжены. Быть счастливым значило для него вечно прислушиваться, тревожно ожидая чего-то, жить затаив дыхание. С тех пор как он полюбил Делию, его осторожное, сдержанное отношение к миру оказалось в опасности, он ясно видел это и все-таки не хотел отказываться ни от самого себя, ни от счастья, открывающегося перед ним. Сейчас он все время ожидал чего-то, как будто и ликующая, как песня, голубизна воды, и приглушенный пепельно-серый тон зелени на берегу, и рыбий плавник, внезапно рассекавший воду именно в том месте, где гладь моря казалась особенно неподвижной, — словом, каждая ступень совершенства, которой достигает здесь природа, есть только преддверие новой, более высокой ступени, за которой следует еще более высокая, и так до тех пор, пока небо и земля не разомкнутся по незримой линии горизонта, словно створки ракушки, и в просвете не блеснет иная планета или новое слово.

Лодка вошла в пещеру. У входа стены ее широко раздвигались, образуя большое изумрудно-зеленое озеро, над которым нависал высокий массивный свод. Дальше пещера суживалась и переходила в темный тесный тоннель. Узнелли, подгребая веслом, заставил лодку повернуться вокруг оси, чтобы полюбоваться причудливой игрой света. Снаружи, за изломанным полукружием свода, все сияло ослепительными красками, казавшимися еще ярче по сравнению с полумраком пещеры. Зеркальное море отбрасывало вверх прямые снопы света, и от этого становились заметнее мягкие тени, уходившие в глубину. Светлые блики и кружевные отсветы, переливаясь и скользя по скалистым стенам и своду пещеры, делали их такими же зыбкими, как вода, плескавшаяся внизу.

— Здесь постигаешь богов, — сказала женщина.

— Хм, — отозвался Узнелли.

Он нервничал. Его мысль, привыкшая претворять чувства в слова, сейчас словно онемела — в ней не шевелилось ни единого звука.

Мало-помалу они освоились в полутьме. Обогнув риф — скалистый горб, слегка выступавший из воды, — лодка поплыла в глубь пещеры среди редких бликов, которые вспыхивали и гасли при каждом ударе весла. Эти блики были един-

ственными светлыми точками в сгустившейся тьме. Лопастя весла то и дело задевали за неровные стены. Делия, сидевшая лицом к выходу, видела широко открытый голубой глаз неба, все время меняющий свои очертания.

— Ой, краб! Большой! Вон там! — вдруг закричала она, приподнимаясь в лодке.

— ...ра-аб!.. а-а-а! — загремело эхо.

— Эхо! — радостно воскликнула Делия и, подняв лицо к темному своду, стала кричать все, что приходило на память, — слова молитв, строчки стихов.

— И ты тоже! Ты тоже покричи! Загадай желание и крикни о нем! — сказала она Узнелли.

— О-о-о! — воскликнул Узнелли. — Э-э-эй! Эхо-о!

Лодка все чаще задевала за стены. Стало еще темнее.

— Мне страшно. Вдруг там какие-нибудь звери...

— Пройдем еще немного.

Узнелли заметил, что его, как глубоководную рыбу, убегающую от светлой воды, тянет все дальше и дальше в темноту.

— Мне страшно. Вернемся! — настойчиво повторила Делия.

По совести говоря, ему тоже не доставляло удовольствия любоваться ужасами. Он повернул лодку и стал грести обратно. Они вернулись туда, где стены пещеры раздвигались, и море опять становилось кобальтовым.

— А есть здесь осьминоги? — спросила Делия.

— Мы бы их видели. Вода прозрачная.

— Тогда я искупаюсь.

Она скользнула за борт лодки, оттолкнулась и поплыла по этому подземному озеру. Иногда ее тело казалось совсем белым, словно свет стирал с него все краски; временами оно становилось голубоватым, как прикрывавшая его вода.

Узнелли перестал грести. Он по-прежнему жил затаив дыхание. Для него любить Делию значило всегда быть таким, как сейчас, на зеркальной глади пещерного озера, — значило чувствовать себя в мире, лишенном слов. Потому-то среди его стихов не было ни одного о любви. Ни одного.

— Подгреби ко мне! — крикнула Делия.

Держась на воде, она сняла узкую полоску ткани, которая прикрывала ей грудь, и бросила ее в лодку.

— Подожди...

Она быстро расстегнула другую полоску материи, ту, что обтягивала бедра, и передала ее Узнелли.

Теперь она была совсем голая. Светлые, нетронутые загаром пятна у нее на груди и полосы вокруг бедер сейчас были почти незаметны, потому что все ее тело излучало голубоватое сияние, как тело медузы. Делия плыла на боку, лениво, словно нехотя. Над водой виднелось только ее лицо — неподвижное и почти ироническое, как лицо статуи, — да время от времени показывались округлое плечо и мягкая линия закинутой вперед руки. Другая рука ласковыми движениями заслоняла и открывала упругие, напрягшиеся на кончиках холмики высокой груди. Ноги, еле заметно шевелившие воду, были вытянуты, делая гладким и ровным живот, на котором выделялись впадинка пупка, темневшая, как легкий след на песке, и темная звезда, похожая на живое существо, рожденное в пучине моря. Солнечные лучи, отражаясь в воде, обволакивали женщину светящимся ореолом, который и прикрывал ее наготу и еще больше подчеркивал ее.

Но вот Делия остановилась. Она уже не плыла, а словно танцевала, полускрытая водой. Улыбаясь ему, вытянув по воде руки, она покачивалась на поверхности в такт их мягким движениям или вдруг высоко подгибала коленку, и тогда из воды, будто серебряная рыбка, выскакивала на мгновение ее маленькая ступня. Сидя в лодке, Узнелли весь превратился в зрение. Он понимал, что далеко не всякому дано наяву увидеть то, чем сейчас одарила его жизнь, как не всякому дано любоваться ослепительной глубиной солнца. Там, в этой солнечной глубине, царило молчание. И все, что он видел в эти мгновения, тоже нельзя было воплотить ни в слова, ни, быть может, даже в воспоминания.

Теперь Делия плыла к выходу из пещеры. Она плыла на спине, отдав свое ничем не прикрытое тело солнечным лучам и легонько взмахивая руками, плыла навстречу открытому морю, и с каждой минутой голубая лазурь, простиравшаяся под ней, становилась все яснее и лучезарнее.

— Осторожно! Оденься! С моря идут баркасы!

Делия уже выплыла из пещеры и держалась теперь у крайних утесов. Она перевернулась, сразу скрывшись под водой, протянула руку, и Узнелли передал ей крошечные лоскутки материи, составлявшие ее одежду. Не выходя из воды, она оделась и влезла в лодку.

Приближавшиеся баркасы принадлежали рыбакам, тем несчастным, что весь сезон промышляют у этих берегов, живя под открытым небом и находя убежище под утесами. Некоторых из них Узнелли знал в лицо. Он стал грести навстречу баркасу. На веслах сидел молодой мужчина в низко надвинутой на лоб белой матросской шапочке, почти закрывавшей его сощуренные глаза. Мужчина был мрачен — у него боле-ли зубы. Он с ожесточением загребал веслами, словно эти усилия могли заглушить боль. Рыбак был отцом пятерых детей и задавлен беспросветной нуждой. На корме, у руля, сидел старик. Широкие потрепанные поля соломенной мексиканской шляпы окружали светлым и словно обгрызенным ореолом его исхудавшее лицо с круглыми глазами, которые по привычке, не мигая, смотрели вперед. Когда-то они смотрели так из хвастливого удальства, теперь же это была только привычная гримаса пьяницы. Старик сидел, полуоткрыв рот, над которым пушились висащие и еще совсем черные усы, и чистил ножом только что пойманную кефаль.

— Хороший улов? — крикнула Делия.

— Ничего себе, — отозвались рыбаки. — Иной раз и за год столько не выловишь.

Делия нравилось разговаривать с местными жителями. Узнелли, напротив, не любил этого. «Перед ними я чувствую себя так, будто у меня совесть нечиста», — говорил он, пожимая плечами и сразу становясь замкнутым.

Теперь резиновая лодка шла бок о бок с баркасом. Совсем рядом поднимался его борт, покрытый выцветшей, испещренной частой паутиной трещинок и кое-где начинавшей лупиться краской, и двигалось вверх и вниз весло, привязанное к уключине обрывком веревки и жалобно скрипевшее каждый раз, когда задевало за стершийся край борта. Из-под узкой скамейки торчал ржавый четырехпалый якорь, он запутался в плетеных ивовых вершах, сплошь заросших сухими бородами красноватой морской травы, неведомо с каких пор забившейся между прутьями. Поверх груды окрашенных танином сетей, унизанных по краям круглыми ломтиками пробковых поплавков, сверкая колючими доспехами то тускло-серой, то ослепительно-голубой чешуи, трепыхались рыбы. Они судорожно разевали рты и шевелили жабрами, под которыми алели кровавые треугольнички.

Узнелли по-прежнему молчал. Но угнетенность, которую

он испытывал сейчас, столкнувшись с миром людей, была прямо противоположна той, которую совсем недавно внушало ему величие природы. Тогда он не мог найти ни единого слова, теперь же слова спешили к нему толпами, захлестывали его, — слова, которыми он мог бы описать каждую бородавку, каждый волосок на худом небритом лице старика, каждую чешуйку серебряной кефали.

На берегу лежал еще один баркас, он был уже перевернут вверх килем и поставлен на козлы. Из-под него виднелись голые ноги спавших в тени мужчин, тех, кто рыбачил ночью. Поодаль женщина, безликая, вся в черном, пристраивала котелок над кучкой горящих водорослей, от которых тянулся в небо длинный хвост дыма. Здесь, в этой мелкой бухте, берег был каменистый и серый. Там и сям между камнями мелькали блеклые пятна выцветших детских фартушков. Самые маленькие играли под присмотром старших сестер, то и дело бегавших жаловаться на своих подопечных. Ребята постарше и попроворнее, в одних коротеньких трусиках, перекроенных из старых отцовских штанов, бегали взад



и вперед между скалами и кромкой воды. Дальше, за камнями, начинался ровный песчаный пляж, белый и совершенно безлюдный. С одной стороны он спускался в море, с другой — терялся в редких зарослях тростника и поросших травой полянах. По песчаному пляжу у самой воды шел по-праздничному одетый юноша с узелком, привязанным к палке, которую он нес на плече. Юноша был весь в черном, даже шляпа на нем была черная. Он шагал, взрывая тяжелыми ботинками сыпучую корочку песка. Судя по всему, это был крестьянин или пастух из горной деревни, который спустился к морю за какими-нибудь покупками и выбрал дорогу вдоль берега, обдуваемого прохладным бризом. По насыпи торчали телеграфные столбы, сквозные заборчики, бежали ниточки железнодорожных путей, которые скрывались в тоннеле, неожиданно возникали далеко впереди, снова прятались и вновь появлялись, похожие на неровные стежки, сделанные неумелой рукой. Над железнодорожным полотном стояли черно-белые оградительные столбы шоссе, над ним, карабкаясь по склону, простирались низкорослые оливковые рощи, а дальше начинались пастбища и вздымались голые кручи гор, лишь кое-где поросшие кустарником. Между двумя отрогами, вклинившись в узкую расселину, тянулась кверху деревенька — громоздящиеся друг на друга домики, разделенные мощеными ступенчатыми улицами с желобами посередине, устроенными для того, чтобы по ним стекал и уносился вниз навоз, оставленный мулами. На пороге каждого дома сидело по несколько женщин, старых и старящихся, на каменных заборах сидели в ряд мужчины, старые и молодые, все в белых рубашках. Посреди ступенчатых улиц играли ребятишки, тут же на улице, положив щеку на ступеньку, спали несколько мальчиков постарше: здесь было прохладнее, чем в душных и вонючих домах. И все это было облеплено мухами, которые ползали повсюду и тучами летали в воздухе, и каждая стена, каждый газетный колпак над очагом были испещрены черными точками. И Узелли приходили в голову все новые и новые слова. Они жались друг к другу, налезали одно на другое, заполняли промежутки между строчками, наконец, слились в одно целое, сплелись в сплошной перепутанный клубок, в котором не осталось ни единого белого просвета, в сплошной черный клубок слов, непроницаемый и отчаянный, как вопль.

Из цикла „ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ“



ОБЛАКО СМОГА

Это был тот период в моей жизни, когда ничто на свете ни имело для меня никакого значения. Как раз тогда я и приехал, чтобы устроиться в этом городе. Впрочем, устроиться — не то слово. У меня не было ни малейшего желания устраиваться; напротив, мне хотелось, чтобы вокруг меня все оставалось зыбким и непостоянным. Мне казалось, что только это поможет мне сохранить внутреннее равновесие, так сказать внутреннюю устроенность, хотя, по правде говоря, я понятия не имел, в чем она состоит, эта внутренняя устроенность. Поэтому-то, использовав целую цепочку рекомендаций и получив предложение занять место редактора в периодическом журнале «Проблемы очистки воздуха», я переехал в этот город и стал искать квартиру.

Кому не известно, что когда ты только что сошел с поезда и очутился в незнакомом городе, то для тебя он весь в пристанционном районе. Ты кружишь и кружишь, и тебе все время попадаются улицы одна мрачнее и непригляднее другой, ты неизменно оказываешься среди каких-то мастерских, складов, кабачков с цинковыми стойками, грузовиков, извергающих тебе в лицо клубы ядовитого дыма, ты перекладываешь чемодан из одной руки в другую и чувствуешь, что белье противно прилипает к спине, что потные руки отекли и не сгибаются, ты взвинчен, ты нервничаешь, и все, что проходит у тебя перед глазами, тоже взвинчено и изломано. Вот на такой-то улице я и приискал себе подходящую меблированную комнату. Я шел, то и дело останавливаясь, чтобы переложить чемодан в другую руку, и вдруг увидел на притолоке одного из подъездов две грозди болтающихся на веревочках картонных прямоугольников, вырезанных из обувных коробок, с печатями в углу и коряво написанными объявлениями о сдаче комнат. Я вошел в подворотню. На каждой лестнице, на каждом этаже сдавалось по несколь-

ку комнат. Выбрав лестницу «В», я поднялся на второй этаж и позвонил.

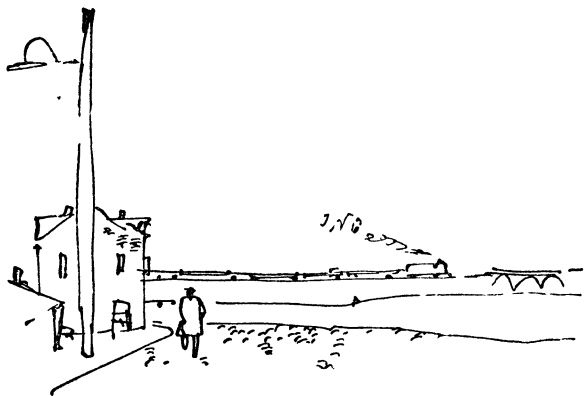
Комната была самая обыкновенная, немного темноватая, потому что ее единственное окно выходило во двор. Собственно, это было не окно, а дверь, которая вела на огражденную ржавыми перилами галерею, тянувшуюся вокруг двора, так что комната была совершенно изолирована от остальной квартиры. Однако чтобы попасть в нее, надо было пройти через несколько дверей, которые всегда были заперты на ключ. Хозяйка, синьорина Маргарити, была глуха и имела все основания опасаться воров. Ванна отсутствовала. Уборная, представлявшая собой дощатую будочку, помещалась на галерее. В комнате стоял умывальник, над которым торчал водопроводный кран. Что до горячей воды, то она не была подведена. Впрочем, чего же еще я мог искать? Плата меня устраивала, потому что комната дороже была бы мне не по карману, а дешевле я, пожалуй, и не нашел бы, да, кроме того, разве не должно все быть настолько зыбким и непостоянным, чтобы я сам все время чувствовал это?



— Да, да, я согласен, — сказал я синьорине Маргарити, которая, решив, что я спрашиваю ее, как быть, если похолодает, указала на печку. Теперь я уже увидел все, что нужно, и мог оставить свой чемодан и уйти. Но прежде чем выйти, я подошел к умывальнику и повернул кран. Еще на станции я мечтал вымыть руки, однако сейчас мне лень было открывать чемодан и доставать мыло, и я решил только слегка сполоснуть их.

— О, что же вы мне не сказали? Я вам сию минуту принесу полотенце! — воскликнула синьорина Маргарити.

Она выбежала из комнаты и, вернувшись с хорошо выглаженным полотенцем, повесила его на спинку стула. Чтобы освежиться, я смочил немного лицо и, чувствуя себя та-

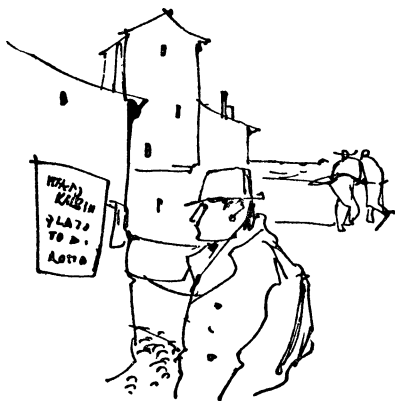


ким же грязным, как прежде, стал вытираться полотенцем. И тут, наконец, хозяйка поняла, что я снимаю комнату.

— А, так вы согласны! Значит, снимаете? Вот и хорошо! Пожалуйста, переодевайтесь, распаковывайте чемодан, располагайтесь как дома, вот тут вешалка, дайте мне пальто!

Пальто я не снял, потому что собирался сразу же уйти. У меня оставалась последняя забота — сказать хозяйке, что мне нужен книжный шкаф, поскольку вскоре должен был прийти ящик с моими книгами, той скромной библиотечкой, которую мне удалось собрать, несмотря на свою беспорядочную жизнь. После долгих усилий мне, наконец, удалось объяснить глухой, чего я хочу. Поняв, в чем дело, она повела меня в свои комнаты, показала маленькую этажерку, на которой лежали ее рабочие коробки, шкатулочки с катушками, выкройки и образцы вышивок, и объяснила, что может освободить ее и перенести в мою комнату. Я вышел на улицу.

Ежемесячник «Проблемы очистки воздуха» был органом одной частной компании. В редакцию этого журнала мне и предстояло сейчас явиться, чтобы ознакомиться со своими обязанностями. Новая работа, другой город... Будь я немного помоложе или большим оптимистом, все это доставило бы мне удовольствие, вызвало прилив бодрости. Но сейчас, сейчас я мог видеть только окружавшие меня серость и убо-



жество и забиться в них еще глубже — не потому, что я примирился с ними, нет, скорее потому, что это мне нравилось, нравилось еще раз убедиться в том, что жизнь и не может быть иной. Я доходил до того, что, выбирая дорогу, старался идти самыми захолустными, узенькими, безымянными переулками, хотя иной раз было бы гораздо проще пройти большими улицами с роскошными витринами и прекрасными кафе. Но мне

всегда жаль было покидать прохожих с изможденными лицами, убогие фасады дешевеньких закусочных, затхлые конуры лавчонок, не слышать звуков, обычных на узеньких улицах, — грохота трамваев, визга тормозящих грузовиков и шипенья паяльников, доносившегося из уютящихся во дворах мастерских. Мне жаль было расставаться со всем этим, потому что усталость и скрежет, окружавшие меня, не позволяли мне обращать слишком много внимания на усталость и скрежет, которые я носил в себе.

Но чтобы добраться по указанному адресу, мне все же пришлось в какой-то момент вступить в другой, аристократический, утопающий в зелени район, застроенный старинными особняками, район, где на тихих улицах почти не было машин и где главные магистрали были настолько широки, что транспорт на них не скапливался и двигался почти бесшумно. Наступала осень. Некоторые деревья уже стояли позолоченными. Теперь вдоль тротуаров бежали не стены домов, а литые решетки оград, за которыми виднелись ряды кустов, клумбы, усыпанные гравием аллеи, окружавшие нарядные дома с лепными украшениями — нечто среднее между дворцами и загородными виллами. И здесь я тоже чувствовал себя не на месте, но теперь уже потому, что вокруг меня не было предметов, в которых бы я, как прежде, мог узнать себя или по которым смог бы угадать будущее. Не то чтобы я верил в приметы, нет, но для впечатлительного человека, оказавшегося в незнакомом месте, любая вещь, попавшаяся

на глаза, — всегда что-то значит и в каком-то смысле при-
мета.

Поэтому-то, наверное, я и был немного сбит с толку, когда, войдя в помещение компании, нашел вовсе не то, что ожидал. Передо мной были гостинные фамильного дворца с трюмо, консолями, мраморными каминами, коврами и штофными обоями (правда, надо сказать, что мебель в них была самая современная, вполне подходящая для учреждения двадцатого века, да и освещены они были вполне современными лампами дневного света). Мне сразу же стало как-то неловко, что я снял такую убогую, темную комнатку. Это чувство стало еще сильнее, когда меня провели в кабинет главы компании, инженера Корда, который немедленно принял меня и встретил с преувеличенной сердечностью, как равного не только по общественному и служебному положению — что уже само по себе было для меня невыносимо, — но и по опыту и знанию тех проблем, которыми занималась компания и журнал «Проблемы очистки воздуха». И хотя, если говорить откровенно, я смотрел на свою службу в этом журнале как на случайное, временное занятие, за которое берешься только потому, что нужно что-то делать, и о котором говоришь, подмигивая, я все же вынужден был делать вид, будто всю жизнь мечтал работать именно в этом журнале.

Инженер Корда был мужчина лет пятидесяти, с молодым лицом и черными усами, то есть принадлежал к тому поколению, которое, несмотря ни на что, навсегда сохранило молоджавый вид и черные усы и с которым у меня никогда не было ничего общего. Все в нем — и манера говорить, и внешний вид (на нем был безукоризненный серый костюм и ослепительной белизны рубашка), и жесты (он подчеркивал слова движением сигареты, зажатой между двумя пальцами) — свидетельствовало о том, что он человек энергичный, обходительный, неунывающий и свободный от предрассудков. Он показал выпущенные без меня номера «Проблем очистки воздуха», подготовленные им (он был главным редактором журнала) совместно с заведующим отделом печати доктором Авандеро (мне его представили позже, и он оказался одним из тех субъектов, которые говорят так, словно читают речь, заранее отпечатанную на машинке). Номеров было немного, все тоненькие, и чувствовалось, что делали их дилетанты. Воспользовавшись своими скромными сведениями о том, как



выпускаются журналы, я осторожно и, само собой разумеется, не критикуя уже сделанную работу, стал объяснять ему, каким, на мой взгляд, должен быть журнал и какие бы я предложил технические усовершенствования. Я решил взять тот же тон, каким говорил он, тон человека практического, уверенного в том, что он может принести пользу, и с удовлетворением заметил, что мы начинаем понимать друг друга. С удовлетворением, потому что, чем больше я притворялся деятельным оптимистом, тем больше думал о той нищей комнатушке, которую я только что снял, об убогих улицах, о том назойливом, разъедающем душу чувстве, которое я носил в себе, о моем полнейшем равнодушии ко всему на свете, и мне казалось, что мы только играем в авторитет, что на глазах у инженера Корда и доктора Авандеро я превращаю в бесформенную кучу пыли их деловитость знатоков техники

и промышленности, а они даже не замечают этого, и Корда в полном восхищении соглашается с каждым моим словом.

— Великолепно! Значит, вы с завтрашнего дня. Непременно. Договорились. А пока... — говорил мне Корда, — пока, чтобы ввести вас в курс дела...

Чтобы ввести меня в курс дела, он хотел дать мне на прочтение протокол их последнего конгресса.

— Вот. — Он подвел меня к одному из шкафов, в котором высились стопы отпечатанных на стеклографе докладов. — Видите? Возьмите, пожалуйста, вот этот, затем вот этот, а этот у вас уже есть? Вот так, посчитайте, все ли здесь? — говорил он, вытаскивая нужные тетради и складывая их на столе.

И тут я увидел, что с каждой из них взлетает облачко пыли, и на каждой от самого легкого прикосновения пальцев остаются следы. Инженер тоже заметил это. Теперь, перед тем как взять очередную тетрадь, он легонько дул на нее и старался незаметно встряхнуть, делая вид, будто это выходит у него нечаянно и он не догадывается, что листы запылены. Он внимательно следил за тем, чтобы ненароком не коснуться пальцем первой страницы какого-нибудь доклада, но стоило ему задеть ее кончиком ногтя, и на листе появлялась изломанная белая полоска, благодаря которой сразу было видно, что бумага совсем серая от покрывающего ее тончайшего слоя пыли. И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, кончики пальцев у него, видимо, становились грязными. Чувствуя это, он все время пытался их обтереть, то подгибая к ладони, то вытирая большим пальцем и в результате пачкая пылью всю руку. Тогда он машинально опускал ее, словно желая вытереть о свои серые фланелевые брюки, но вовремя спохватывался и снова брался за доклады. Так мы передавали друг другу эти доклады, растопырив пальцы и стараясь брать бумаги за самые краешки, будто это были листья крапивы, и при этом не переставали улыбаться, радостно соглашаться друг с другом, снова улыбаться и наперебой восклицать:

— О да, очень интересный конгресс! О, какая благородная деятельность!

Однако я заметил, что инженер все больше чувствует себя не в своей тарелке. Он был уже не так уверен в себе, как

раньше, и не мог выдержать моего торжествующего взгляда, торжествующего и в то же время отчаянного, потому что все получалось именно так, как я думал.

Заснул я поздно. Комната, казавшаяся совсем тихой, ночью наполнялась всевозможными звуками, которые я мало-помалу научился распознавать. Временами до меня доносился искаженный динамиком голос, отдававший какие-то неразборчивые распоряжения. Задремав, я тотчас же просыпался с мыслью, что еду в поезде, потому что интонацией и тембром этот голос не отличался от выкриков станционных громкоговорителей, долетающих ночью до слуха дремлющих пассажиров. Я начал прислушиваться, и в конце концов мне удалось разобрать некоторые слова.

— Два раза равиоли * под соусом... — гремел динамик. — Один биштекс... Одну вырезку...

Комната помещалась как раз над кухней пивного бара «Урбано Раттаци», где можно было получить горячее блюдо даже после полуночи. Приняв заказ, официанты прямо от стойки через микрофон передавали его поварам. Часто в комнату врывался приглушенный гомон из бара, иногда слышалось нестройное пение какой-нибудь компании. А вообще это было неплохое заведение, не слишком дешевое и не посещаемое разным сбродом. Редко когда случалось, чтобы кто-нибудь из посетителей, напившись, устроил среди ночи дебош и начал ронять на пол столики с посудой. Долетавшие до меня сквозь сон голоса, голоса чужой бессонной жизни, казались приглушенными, бесцветными, лишенными живых интонаций, словно доносились из тумана, а гнусавый голос динамика был полон безропотной тоски.

— На гарнир жареный картофель!.. Будут когда-нибудь готовы равиоли?..

Около половины третьего бар «Урбано Раттаци» опускал гофрированные жалюзи. Из кухонной двери выходили официанты; подняв воротники пальто, надетых поверх форменных тирольских курток, они, переговариваясь, проходили по двору. Около трех двор наполнялся железным грохотом — это подсобные рабочие выволакивали с кухни пустые тяже-

* Равиоли — итальянское блюдо, похожее на русские пельмени.

лые бидоны из-под пива; они катили их, наклонив на ребро, складывали, со звоном ударяя друг о друга, а потом принимались их мыть. Этот народ терпеть не мог тишины. Они, несомненно, получали почасовую плату, поэтому работали с прохладцей, насистывая, и битых два часа неистово гремели гулками цинковыми чудовищами. Около шести утра во двор въезжал грузовик пивоваренного завода, привозил полные бидоны и забирал пустые. К этому времени в зале «Урбанато Раттаци» уже жужжали электрополотеры: начинался новый день.

В минуты тишины, глубокой ночью из погруженных во мрак комнат синьорины Маргарити вдруг вырывалось частое-частое бормотание, прерываемое смешками, вопросы и ответы, произносимые одним и тем же пронзительным женским фальцетом. Думая, глухая все произносила вслух: она не умела различать эти два действия и потому в любой час дня или даже проснувшись среди ночи принималась разговаривать сама с собой и, одолеваемая своими мыслями, воспоминаниями, угрызениями, разыгрывала целые диалоги между разными собеседниками. К счастью, все это она говорила с таким пылом, что ничего невозможного было разобрать, и, однако, нельзя было избавиться от неприятного чувства, будто ты подслушиваешь чужие секреты.

Иногда, неожиданно заходя в кухню, чтобы попросить горячей воды для бритья (стука она не слышала, поэтому я должен был попасть ей на глаза, чтобы она меня заметила), я видел, как она разговаривает перед зеркалом со своим отражением, улыбается ему, строит гримасы или же рассказывает себе какие-то истории, сидя на стуле и вперив взгляд в пустоту. В этом случае она тотчас же спохватывалась и говорила: «Понимаете, вот разговорила с котом...», или: «Ах, извините, не заметила вас: я молилась...» (она была очень набожной); но чаще всего она просто не отдавала себе отчета в том, что ее слышат.

Многие ее тирады действительно были обращены к коту. Она умудрялась разговаривать с ним часами. Иногда по вечерам она усаживалась у окна и, поджидая, когда он вернется домой после своих скитаний по балконам, крышам и чердакам, не переставая, звала: «Кис, кис, кис... киска, киска, киска...» «Киска» была тощим диким котом с грязно-черной шерстью, которая после каждой его прогулки становилась

пепельно-серой, словно он собирал на себя пыль и копоть со всего квартала. Завидев меня издали, он стремглав бросался прочь и прятался под какую-нибудь мебель, как будто я по крайней мере собираюсь отколотить его, на самом же деле я на него даже не смотрел. Зато он, как видно, частенько пользовался моим отсутствием, чтобы забираться ко мне в комнату. Воротничок и манишка свежевыстиранной белой рубашки, которую хозяйка раскладывала на мраморной крышке комода, вечно были испещрены черными кошачьими следами. Я начинал кричать и ругаться, но вскоре замолкал, так как глухая все равно меня не слышала, и, захватив рубашку, нес ее на половину хозяйки, чтобы она своими глазами увидела постигшее меня несчастье. Она сокрушенно всплескивала руками, бросалась искать кота, чтобы примерно наказать его, и принималась мне объяснять, что, по всей вероятности, в тот момент, когда она входила ко мне, чтобы положить рубашку, кот незаметно прошмыгнул следом и она закрыла его в комнате, а потом он захотел выйти, увидел, что дверь заперта, и со злости прыгнул на комод.

У меня было всего три рубашки, и мне то и дело приходилось отдавать их в стирку. Не знаю почему, то ли жизнь, которую я вел, была слишком неустроенной, то ли в редакции, где я работал, надо было убирать получше, но только к середине дня рубашка на мне оказывалась совершенно грязной. К тому же я частенько должен был отправляться в редакцию с кошачьими следами на воротничке.

Нередко я находил эти следы даже на подушке. Видно, кот опять оказывался запертым в комнате, потому что прошмыгнул за синьориной Маргарити, которая приходила по вечерам, чтобы «перетрусить и застлатъ» мою постель.

Впрочем, стоило ли удивляться тому, что кот был такой грязный? Ведь достаточно было положить руку на балконные перила, как на ней отпечатывалась черная полоса. Каждый раз, когда я возвращался домой, повозившись предварительно с ключами у четырех внутренних и всяких замков и дважды просунув пальцы между планками жалюзи, чтобы открыть и снова закрыть свою дверь, руки у меня оказывались до такой степени грязными, что, очутившись наконец, в комнате, я должен был двигаться с поднятыми руками, чтобы чего-нибудь не запачкать, и прежде всего направлялся к умывальнику.

Вымыв и вытерев руки, я сразу чувствовал огромное облегчение, как будто вновь обрел их после долгого перерыва, и принимался трогать и переставлять те немногие предметы, которые меня окружали. Надо сказать, что синьорина Маргарити держала комнату в относительной чистоте. Что до пыли, то она вытирала ее каждый день, но когда мне случилось прикоснуться к такому месту, до которого она не могла дотянуться (она была очень маленького роста, с короткими ручками), все пальцы у меня оказывались покрытыми пушистым слоем пыли, и я волей-неволей должен был сразу же мыть руки.

Хуже всего было с книгами. Я аккуратно разложил их на этажерке синьорины Маргарити и только благодаря им чувствовал себя в этой комнате в какой-то степени дома. Работа моя оставляла мне достаточно свободного времени, и я с удовольствием проводил бы несколько часов у себя за чтением. Но, по-видимому, ни одна вещь не способна так пропитываться пылью, как книги. Если я решал взять с полки одну из них, то, прежде чем открыть, должен был со всех сторон обтереть ее тряпкой, а потом еще хорошенько постучать ею обо что-нибудь, причем каждый раз из нее вылетало целое облако пыли. Затем я снова мыл руки и только после этого ложился на кровать и принимался за чтение. Но стоило мне перевернуть несколько страниц, и я убеждался, что все мои старания пропали даром, так как пальцы мои вскоре покрывались сперва едва заметным, а потом все более толстым и густым налетом пыли, отравляя мне всякое удовольствие от чтения. Я вставал, шел к умывальнику, еще раз ополаскивал руки, но теперь уже чувствовал, что у меня пропылилась рубашка и вообще вся одежда. Мне хотелось почитать еще немного, но теперь у меня были чистые руки, мне жалко было их пачкать. И я решал уйти.

Само собой разумеется, что, выходя, я повторял все манипуляции с жалюзи, перилами, замками, и руки у меня становились еще грязнее, чем прежде; но тут я уже ничего не мог поделать и должен был терпеть до тех пор, пока не приходил на службу. Едва войдя в редакцию, я сразу же бежал в уборную и мыл руки. Однако висевшее там полотенце было все в грязных пятнах, и, прикасаясь к нему руками, я не столько вытирал их, сколько снова пачкал.

Первые дни своей службы я посвятил тому, чтобы наве-

сти порядок на отведенном мне письменном столе, который загромождала целая гора всякой всячины — каких-то рукописей, писем, папок, старых газет. Очевидно, до моего прихода на этот стол сваливали без разбору все, для чего не находилось постоянного места. Сперва я решил было совершенно освободить его от бумаг, но, начав разбираться, увидел, что среди них немало материалов, нужных для журнала и просто довольно интересных; я дал себе слово познакомиться с ними более обстоятельно. Словом, уборка моя кончилась тем, что я не только ничего не выбросил, но к старым бумагам добавил чуть ли не столько же новых. Правда, теперь все это уже не валялось бесформенной грудой, а было приведено в порядок, который я старался поддерживать. Понятно, что все давно лежавшие на столе бумаги были насквозь пропылены, и от них набирались пыли только что положенные мною кипы. Ревниво охраняя наведенный мною порядок, я приказал уборщицам ничего не трогать на моем столе, и это привело к тому, что на бумаги садился каждый день тонкий слой пыли, отчего даже новые писчие принадлежности — белые листы, конверты с грифом фирмы — меньше чем за неделю становились такими старыми и грязными, что до них противно было дотронуться.

В ящиках стола творилось то же самое. Там многие десятилетия наслаивались друг на друга пропыленные кипы бумаг, которые свидетельствовали, что мой стол имел уже немалый стаж службы в разных государственных и частных конторах. Что бы я ни делал за этим столом, через несколько минут я уже чувствовал необходимость пойти и вымыть руки.

А вот у моего коллеги, доктора Авандеро, руки — хрупкие, изящные, но вместе с тем лишенные чрезмерной нервной чувствительности — всегда оставались чистыми, выхоленными, с блестящими, белыми, ровно подрезанными ногтями.

— Но вот у вас, извините, — попробовал я как-то спросить у него, — разве у вас не бывает, что вы немного посите здесь, за столом, и руки сразу становятся... вот, полюбуйтесь, видите, какие грязные?

— По-видимому, доктор, — как всегда сокрушенно, ответил Авандеро, — вы брались за какие-нибудь вещи или бумаги, с которых недостаточно хорошо стерли пыль. Если

вы позволите, я дам вам совет. Видите ли, самое лучшее — это чтобы на столе никогда не было ни одной бумажки.

И в самом деле, на чистом, сияющем лаком столе Авандеро не было абсолютно ничего, кроме того материала, с которым он в данный момент работал, и шариковой ручки, которую он держал в руке.

— Эту привычку, — добавил он, — весьма ценит директор.

Действительно, инженер Корда как-то даже сам говорил мне, что если на столе у руководителя нет ни одной бумажки, то сразу видно, что этот руководитель никогда не запускает дел и способен быстро решить любую проблему.

Но самого Корда никогда не бывало на месте, а если он и появлялся изредка в своем кабинете, то не больше, чем на четверть часа, сразу же требовал статистические данные и графики, вычерчиваемые обычно на огромных листах бумаги, отдавал быстрые и не очень конкретные распоряжения своим подчиненным, распределял поручения, нисколько не заботясь о том, кому достанется более легкое, а кому потруднее, молниеносно диктовал стенографистке несколько писем, подписывал готовую к отправке корреспонденцию и исчезал.

А вот Авандеро, наоборот, весь день с утра до вечера просиживал в редакции с таким видом, будто трудится не покладая рук, заваливал работой и стенографисток и машинисток и при этом умудрялся делать так, что ни одна бумажка не задерживалась у него на столе больше десяти минут. Этого уж я никак не мог вынести и принялся подсматривать за ним. Вскоре я заметил, что, пролежав некоторое время у него на столе, бумаги неизменно переключивались к кому-нибудь другому и там уже оседали. А однажды я застиг его в тот момент, когда он, повертев в руках несколько писем и не зная, что с ними делать, подошел к моему столу (как раз в это время я вышел, чтобы вымыть руки), положил их среди других бумаг и прикрыл папкой. После этого, вытащив из кармана носовой платок, он обтер руки и вновь уселся перед своей шариковой ручкой, лежавшей параллельно краю девственно-чистого листа бумаги.

Я имел полную возможность войти и поставить его в глупое положение. Но мне достаточно было увидеть это, достаточно было узнать, что на самом деле все обстоит именно так.

Я входил к себе в комнату через балкон, поэтому остальная часть квартиры синьорины Маргарити оставалась для меня в полном смысле слова белым пятном. Синьорина жила одна, сдавая две соседние комнаты, выходившие во двор. Одну из них занимал я, что же касается другого жильца, то о его существовании я догадывался только по тяжелым шагам, долетавшим до меня через стену рано утром и глубокой ночью. Как я узнал, он был полицейским унтер-офицером, и днем его никогда не бывало дома. Вся остальная и, судя по всему, достаточно просторная часть квартиры оставалась в полном распоряжении синьорины Маргарити.

Несколько раз мне приходилось разыскивать ее, чтобы позвать к телефону. Звонка для нее не существовало, и в конце концов к телефону приходилось подходить мне. Но голос в трубке она слышала достаточно хорошо, и длинные разговоры с подругами по приходской общине были одним из главных ее развлечений.

— К телефону! Синьорина Маргарити! Вас просят к телефону! — кричал я ей в дверь.

Однако кричать, а тем более стучать к ней было совершенно бесполезно. Приходилось идти разыскивать ее, и во время этих блужданий по ее половине я воочию убедился в существовании длинного ряда комнат — гостиных, столовых, загроможденных старенькой претенциозной мебелью, абажурами, разными безделушками, картинками в рамках, статуэтками и календарями. Во всех этих комнатах царили идеальный порядок и чистота, они блестели натертым паркетом и сияли белоснежными чехлами на креслах. Здесь не было ни пылинки.

Где-нибудь в дальней комнате я находил, наконец, синьорину Маргарити. В вылинявшем халатике и в косынке она самозабвенно полировала паркет или протирала мебель. Я принимался неистово махать руками в сторону телефона, глухая бежала в коридор и начинала свои бесконечные разговоры, по интонации ничем не отличавшиеся от ее бесед с котом.

Я возвращался к себе в комнату, замечал где-нибудь на подставке умывальника или на абажуре слой пыли чуть не в палец толщиной, и меня охватывала страшная ярость. Эта женщина целыми днями только тем и занималась, что наводила чистоту в своих комнатах, а у меня не могла удосу-

житься хотя бы обмахнуть пыль! Повернувшись, я снова направлялся к хозяйке с твердым намерением устроить ей скандал и выразить свое возмущение если не словами, то хотя бы жестами и гримасами, и заставлял ее в кухне. В этой кухне было еще грязнее, чем у меня в комнате. На столе закапанная потертая клеенка, в буфете немые чашки, пол черный от грязи, с расшатанными кафельными плитками. И я не мог выдать ни слова, так как понимал, что эта кухня была единственным во всей квартире местом, где синьорина Маргарити действительно жила, а все остальное, все эти разукрашенные, без конца подметаемые и натираемые комнаты были чем-то вроде произведения искусства, в которое она вкладывала свои мечты о красоте; и, желая сохранить их идеальное совершенство, она обрекла себя на то, чтобы никогда в них не жить, вечно входить туда не хозяйкой, а лишь прислугой, на то, чтобы оставшиеся после уборки часы проводить в грязи и пыли.

«Проблемы очистки воздуха» выходили два раза в месяц и имели подзаголовок: «От дыма, от вредных химических выделений и продуктов сгорания». Журнал был органом КООГИПР — «Компании по очистке атмосферы городов и промышленных центров». КООГИПР был связан с родственными ассоциациями других стран, присылавшими свои бюллетени и брошюры. Нередко созывались международные конгрессы, посвященные прежде всего обсуждению острой проблемы смога.

Мне никогда не приходилось заниматься такого рода вопросами, но я знал, что выпускать столь специальный журнал не так трудно, как может показаться. Для этого, как правило, просматривают иностранные журналы, переводят некоторые статьи, к ним добавляют заметки, которые присылает своим абонентам агентство газетных вырезок, и вот уже готов информационный отдел. Кроме того, всегда находятся два-три специалиста, готовые в любой момент прислать нужную статейку, или какой-нибудь изобретатель, желающий всех оповестить о своем новом творении, который просит напечатать в виде статьи описание его нового патента. Да и компания со своей стороны, как ни мизерна ее деятельность, всегда может дать какое-нибудь сообщение о своих текущих

задачах: его нужно набирать жирным шрифтом. Если же случается какой-либо конгресс, то ему следует посвятить самое меньшее целый номер от первой до последней страницы, и еще останутся доклады и отчеты, которые можно будет постепенно сбывать с рук в нескольких ближайших номерах, если в них нечем будет заполнить три-четыре колонки.

Писать передовицу обязан был главный редактор, он же президент компании. Однако инженер Корда, вечно донельзя занятый (он был членом правления многих предприятий и компании мог отдавать только ничтожные крохи своего времени), поручил передовицу мне. Я должен был развить в ней идеи, которые он изложил мне с присущей ему ясностью и лаконизмом. Статью надлежало подготовить к его приезду. Разъезжал он много, так как его предприятия были разбросаны чуть ли не по всей стране. Но среди всех его многочисленных дел президентство в КАОГИПРе — должность почетная, но ничего, кроме почета, не приносящая — давало ему, по его словам, самое большое удовлетворение, «ибо, — пояснил он, — это битва, которую я веду из идейных соображений».

У меня, напротив, не было никаких идейных соображений, и я совершенно не хотел их иметь. Единственное, что я хотел, — это написать статью, которая бы ему понравилась, чтобы сохранить за собой это место — оно было не лучше и не хуже всякого другого — и свой образ жизни, потому что он тоже был не лучше и не хуже любого возможного образа жизни. Я был знаком с тезисами Корда («Если бы все последовали нашему примеру, атмосфера была бы уже чистей...»), с его излюбленными формулировками («Мы не утописты, пусть это каждый имеет в виду, мы деловые люди, которые...») и готовился писать именно так, как он хотел, слово в слово. А что я еще должен был написать? То, что думал, до чего дошел собственным умом? Хорошенькая бы вышла статья, уверяю вас! Какой в ней был бы оптимистический взгляд на весь этот деловой мир, мир приносящих пользу людей! Но мне достаточно было перевернуть вверх ногами свое душевное состояние (сделать это я мог без труда — ведь это было все равно, что обозлиться на себя самого), и я уже чувствовал вдохновение, необходимое для того, чтобы написать передовицу в духе моего президента.

«Сейчас мы уже стоим на пороге разрешения проблемы летучих продуктов сгорания, — писал я, — и оно наступит

(непременно наступит) — я уже видел удовлетворенную улыбку на лице инженера — тем скорее, чем более ясное понимание встретит действенный импульс, данный технике Частной Инициативой, — в этом месте инженер, по всей вероятности, взмахнет рукой, чтобы подчеркнуть высказанную мною мысль, — со стороны органов Государства, к которым уже столько раз обращались...»

Это место я прочел вслух доктору Авандеро. Пока я читал, Авандеро смотрел на меня с обычной своей бесцветно-вежливой миной, и его маленькие холеные ручки ни разу не сдвинулись с чистого листа бумаги, лежавшего в центре его письменного стола.

— Ну, что скажете? Вам не нравится?

— Нет, что вы, что вы!.. — поспешно проговорил он.

— Тогда послушайте конец: «Возражая тем, кто предрекает промышленной цивилизации самое мрачное и катастрофическое будущее, мы утверждаем, что никогда не возникнет (как, впрочем, никогда в действительности и не возникало) противоречия между свободным и закономерным расширением промышленности и требованиями необходимой для человеческого организма гигиены (читая, я несколько раз бросал взгляд на Авандеро, но он не отрывал глаз от листа бумаги) — между дымом наших трудолюбивых заводских труб и голубизной и зеленью несравненных красот нашей природы...» Ну как, по-вашему?

Некоторое время Авандеро без всякого выражения смотрел на меня, не разжимая губ.

— По-моему, — сказал он, — ваша статья, несомненно, очень хорошо выражает самую суть, скажем так, конечной цели, которую выдвигает наша компания. Действительно, всеми силами стремиться...

— Хм, — пробормотал я.

Признаться, я ожидал, что такой церемонный субъект, как мой коллега, все же не станет прибегать к подобным выкрутасам, чтобы похвалить мою статью.

Для через два, как только вернулся инженер Корда, я явился к нему и отдал передовицу. Он при мне внимательно прочитал ее, дойдя до последней строчки, аккуратно собрал листы, словно собираясь прочесть ее еще раз, но вместо этого сказал:

— Хорошо.

Подумал немного и повторил:

— Хорошо.

Еще немного помолчал и добавил:

— Вы молоды.

И, как видно, ожидая, что я стану возражать, хотя я и не думал этого делать, быстро заговорил:

— Нет, я, позвольте вам сказать, вовсе не собираюсь крикить вас. Вы молоды, полны веры, смотрите далеко вперед. Но положение, позвольте вам сказать, очень серьезно, да, да, гораздо серьезнее, чем можно заключить из вашей статьи. Будем говорить начистоту: опасность отравления атмосферы больших городов чрезвычайно велика. У нас есть анализы, положение тяжелое. И именно потому, что проблема так сложна, мы и работаем здесь над ее разрешением. Если мы ее не решим, то наши города задохнутся в облаке смога.

Он поднялся со своего места и принялся ходить взад и вперед по комнате.

— Мы не скрываем трудностей. Мы не похожи на других. — на тех, которые обязаны были бы больше всех заниматься этим, а на самом деле плюют на все. И даже хуже того — ставят нам палки в колеса.

Он остановился против меня и, понизив голос, продолжал:

— Именно потому, что вы молоды, вы, возможно, полагаете, что все с нами согласны. Нет! Наоборот! Нас очень мало. И на нас нападают со всех сторон. Да-с, молодой человек! Со всех сторон. И все-таки мы не опускаем руки. Мы во всеуслышание говорим об опасности. Действуем, наконец. Решаем проблему. Вот именно это я и хотел бы еще яснее услышать в вашей статье. Вы поняли?

Да, я отлично понял. В своем озлоблении, притворяясь, что стою на точке зрения, противоположной моей собственной, я хватил через край. Но теперь-то уж я сумею правильно распределить краски в моей статье. Передовица должна была лежать на столе у инженера через три дня. Я переписал ее с начала до конца. Две трети статьи заняла мрачная картина европейских городов, пожираемых смогом, одну треть я отвел на описание образцового города, нашего города, светлого, богатого кислородом, где разумные и целенаправленные усилия различных звеньев не разобщены, и так далее.

Чтобы легче было сосредоточиться, я писал статью дома, лежа на кровати. Луч солнца, косо спускаясь в колодец двора, пробирался через стекла в комнату, и я видел, как сквозь него проносились мириады неосязаемых пылинок. Одеяло, на котором я лежал, наверно, было сплошь пропитано ими. Мне казалось, что еще немного, и оно покроется таким же черным налетом, как планки жалюзи и перила галереи.

Доктор Авандеро, которому я дал почитать свою новую статью, отнесся к ней, как мне показалось, не так недоброжелательно, как к первой.

— Этот контраст, — сказал он, — контраст между положением в нашем городе и в других городах, который, я уверен, вы ввели по указанию президента, по-настоящему удался вам.

— Нет, нет, инженер мне ничего не говорил, это моя находка, — возразил я, невольно почувствовав себя немного уязвленным тем, что коллега не считает меня способным на самостоятельный шаг.

Реакция Корда явилась для меня неожиданностью. Он положил опечатанную на машинке рукопись на стол и покачал головой.

— Нет, мы не поняли друг друга, не поняли друг друга, — быстро сказал он и принялся засыпать меня цифрами, характеризующими объем промышленного производства в нашем городе, количество угля и нефти, сжигаемых ежедневно, число моторов внутреннего сгорания, ежедневно появляющихся на улицах. Потом он перешел к метеорологическим данным, а потом молниеносно сравнил и те и другие показатели с показателями крупнейших европейских городов. — Мы живем в огромном задымленном промышленном центре. Вы понимаете? — продолжал он. — А отсюда ясно, что смог есть также и у нас, и у нас его не меньше, чем в любом другом городе. И нелегко утверждать — как это делают конкурирующие с нами города в нашей собственной стране, — что у нас смога меньше, чем у них. Об этом вы можете совершенно недвусмысленно написать в своей статье, и не только можете, но и должны написать! Наш город относится к числу тех, где проблема загрязненности воздуха стоит острее, чем где бы то ни было, но в то же время у нас делается больше, чем где бы то ни было, для того, чтобы быть на высоте положения. В то же самое время, вы понимаете?

Я понимал и понимал также, что нам никогда не понять друг друга. Эти почерневшие фасады домов, эти мутные стекла, эти подоконники, на которые нельзя облокотиться, эти туманные пятна вместо человеческих лиц, эта мгла, которая теперь, в самый разгар осени, уже не ощущалась как влажное дыхание непогоды, а стала как бы принадлежностью, свойством самих предметов, словно каждое живое существо, каждая вещь день ото дня становились все более бесформенными, мертвели и обесцвечивались, — словом, все то, что для меня было олицетворением всеобщей нищеты, для людей вроде него служило, по-видимому, признаком богатства, превосходства и могущества и вместе с тем говорило об опасности, уничтожении и трагедии, что давало им возможность, в нерешительности топчась на месте, чувствовать себя исполненными героического величия.

Я в третий раз переписал статью. Теперь она, наконец, получилась. Только самый конец («Итак, мы находимся перед лицом проблемы, тающей в себе страшную опасность для общества. Решим ли мы ее?») вызвал у него некоторые возражения.

— Не слишком ли это неуверенно? — спросил он. — Не отнимет ли это у читателя убежденность в том, что проблема будет решена?

Проще всего было убрать вопросительный знак. «И мы ее решим». Вот так, без всяких восклицательных знаков — спокойная уверенность.

— А не покажется ли, что мы слишком уж спокойно относимся к этому вопросу? — снова возразил Корда. — Слово это самая заурядная проблема, которую можно решить административным путем?

В таком случае следовало повторить фразу дважды. Один раз с вопросительным знаком, один раз — без него. «Решим ли мы ее? Мы ее решим».

Да, но так, возможно, подумают, будто мы откладываем это решение на далекое будущее. Тогда мы попробовали поставить все в настоящем времени. «Решаем ли мы ее? Мы ее решаем». В таком виде фраза не звучала.

Всякий, кто писал что-нибудь, знает, как это бывает: переставишь одну-единственную запятую, и приходится менять слово, потом изменять конструкцию всего предложения, и вот уже все разлетается вдребезги. Мы проспорили полча-

са. Под конец я предложил поставить вопрос и ответ в разных временах. «Решим ли мы ее? Мы ее решаем». Президент был в восторге, и с этого дня его вера в мои способности ни разу не была поколеблена.

Как-то ночью меня разбудил телефон. Звонки были долгими — вызывала междугородная. Я зажег свет, было около трех. И прежде чем я решил встать, раньше чем я бросился в коридор и схватил в темноте телефонную трубку, в первое же мгновение, как только до меня сквозь сон смутно долетел телефонный звонок, я уже знал, что это Клаудия.

И вот сейчас из трубки выплескивался ее голос, словно долетавший с другой планеты, и мне казалось, будто у меня перед глазами, еще полными сна, мелькали и гасли искорки и слепящие вспышки, тотчас же снова превращавшиеся в переливы ее голоса, полного той драматической взволнованности, которую она вкладывала во все, о чем бы ни говорила, и которая теперь настигла меня даже здесь, в закоулке убогого коридора синьорины Маргарити. И вдруг я понял: никогда я не сомневался в том, что Клаудия найдет меня, больше того, только этого я и ждал все последние месяцы.

Она даже не подумала спросить, как я жил все это время, как случилось, что я оказался здесь, даже не объяснила, как ей удалось меня найти. Ей нужно было рассказать мне со всеми подробностями тьму вещей, крайне запутанных и, как все ее дела, чрезвычайно туманных и так или иначе связанных со сферами, мне совершенно неизвестными и чуждыми.

— Ты мне нужен, скоро, немедленно! Приезжай с первым поездом.

— Да, но у меня тут служба... Компания...

— А! Так ты, наверно, увидишь коммендаторе... Скажи ему...

— Да нет, пойми, я всего-навсего...

— Милый, приезжай, приезжай сейчас, хорошо?

Как объяснить ей, что я разговариваю из такого места, где все покрыто пылью, где планки жалюзи обросли шершавой черной коростой, что на моих воротничках черные кошачьи следы, что только в этом мире я и могу жить, что во всей вселенной только он подходит для меня, а тот, в котором



живет она, может показаться мне реальным только благодаря оптическому обману? Она бы меня даже слушать не стала. Она слишком привыкла смотреть на все сверху вниз и, вполне естественно, просто не заметила бы убожества, в котором запуталась моя жизнь. Да и все наши отношения, разве не были они плодом этой ее высокомерной рассеянности; она не позволяла Клаудии ясно понять, что я всегo-навсего скромный провинциальный журналист без будущего, лишенный всякого честолюбия, и заставляла ее по-прежнему относиться ко мне так, будто я принадлежал к аристо-

кратическому кругу богачей и людей искусства, в котором она все время вращалась и в котором однажды летом я был ей представлен благодаря чистой случайности, какие нередко приключаются на курортах. Да она и не хотела этого понимать, потому что в таком случае ей пришлось бы признаться себе в том, что она ошиблась. И она продолжала приписывать мне достоинства, влияние и вкусы, которых я был совершенно лишен. Однако вопрос о том, кто я на самом деле, был, в сущности говоря, мелочью, а в мелочах она не терпела опровержений.

Ее голос становился все нежнее, сердечнее — наступал тот момент, которого я, сам не признаваясь себе в этом, все время ждал, потому что только такие порывы чувства смели все, что нас разделяет, и как бы оставляли нас наедине друг с другом; в такие минуты нам обоим было все равно, кто мы. Однако едва мы успели пробормотать друг другу несколько нежных слов, как сзади, за стеклянной дверью, зажегся свет и послышался глухой кашель. Эта застекленная дверь, возле которой висел телефон, вела к моему соседу, полицейскому унтер-офицеру. Моментадно понизив голос, я договорил прерванную фразу, но теперь, когда я знал, что меня слушают, естественная сдержанность заставляла меня выбирать менее пылкие выражения, и, наконец, я дошел до того, что стал бормотать какие-то холодные, невнятные фра-

зы. Свет за стеклянной дверью погас, но тут начались упреки на другом конце провода:

— Что ты такое говоришь? Говори громче! И это все, что ты хотел мне сказать?

— Но я же не один...

— Как? С кем же ты?

— Да нет, послушай, здесь, понимаешь, я разбудил соседей, сейчас поздно...

Теперь она сердилась. Не таких объяснений ждала она от меня; ей хотелось, чтобы я откликнулся иначе, более горячо, так, чтобы вдруг улетучилось, как дым, разделявшее нас расстояние. Но все мои ответы были осторожными, жалобными, заискивающими.

— Нет, послушай, Клаудия, не надо так, я тебя уверяю, умоляю тебя, Клаудия, я...

В комнате унтер-офицера снова зажегся свет. Мои любовные признания превратились в нытье, я что-то бормотал, почти прижав микрофон к губам.

Во дворе кухонные рабочие катали пустые бидоны из-под пива. Из темных комнат синьорины Маргарити доносилось невнятное бормотание, прерываемое короткими взрывами смеха, словно у нее были гости.

Унтер-офицер разразился проклятиями на своем южном диалекте. Я стоял босиком на кафельном полу коридора, а с другого конца провода страстный голос Клаудии тянулся ко мне, и я в своем бессвязном лепете пытался броситься ей навстречу, но каждый раз, едва только нам удавалось перекинуть друг к другу шаткий мостик, он тут же разлетался вдребезги, и слова любви, раздавленные грубым напором обстоятельств, дробились одно за другим, превращаясь в мертвую пыль недомолвок.

С этих пор телефон стал звонить в любой час дня и ночи, и в темный коридор рыжим пламенем, испещренным черными провалами пауз, врвался голос Клаудии. Он врвался слепым прыжком леопарда, который не знает, что перед ним ловушка, и потом следующим прыжком уже выскакивает на свободу, даже не заметив предательской западни. Зато я, мечущийся между нежностью и болью, радостью и злостью, я-то видел, как он смешивается с окружающей мерзостью и за-

пустением, как смешивается с ревом громкоговорителя в баре «Урбано Раттаци», выкрикивающего: «Один раз рэвиоли в бульоне», с грязными тарелками синьорины Маргарити в раковине умывальника, и мне казалось, что все это вот-вот замарает и ее самое. Но нет, она уносились прочь по незримым проходам, так ничего и не заметив, и я снова и снова оказывался один на один с пустотой, оставшейся после ее исчезновения.

Иногда Клаудия была весела, беззаботна, смеялась, говорила что-нибудь невпопад, чтобы подшутить надо мной, и я под конец заражался ее весельем, но в этих случаях мне было еще горше видеть унылый двор и пыль, покрывавшую все вокруг, потому что я готов был поддаться искушению и признать, что жизнь может быть совсем иной.

Иногда же, наоборот, Клаудия была подавлена, охвачена какой-то лихорадочной тоской, и эта ее тоска делала еще безрадостней место, где я жил, мою работу редактора журнала «Проблемы очистки воздуха», и, не в силах освободиться от угнетенности, я жил ожиданием нового телефонного звонка, еще более трагического, ждал, что он разбудит меня в самый глухой час ночи, и когда вместо этого ее голос, долетавший до меня, оказывался неожиданно совсем другим, веселым или томным, словно она уже совсем не помнила о тоскливом отчаянии, владевшем ею накануне вечером, я, прежде чем почувствовать облегчение, еще некоторое время стоял ошеломленный и растерянный.

— Алло, ты меня хорошо слышишь? Откуда ты звонишь, из Таормины?

— Да, я здесь с друзьями. Здесь восхитительно! Приезжай сейчас... самолетом!

Клаудия звонила всегда из разных городов и каждый раз, тоскуя или радуясь жизни, обязательно требовала, чтобы я немедленно мчался к ней и разделил с ней это ее настроение. Я принимался подробнейшим образом объяснять ей, почему для меня сейчас абсолютно невыносимо двинуться в путь, но она никогда не давала мне договорить, тотчас же перескакивая на другую тему, чаще всего обрушиваясь на меня с обвинительной речью или вдруг ни с того ни с сего раздражаясь взволнованной тирадой по поводу каких-то моих выражений, которые я, сам того не заметив, употребил в разговоре и ко-

торые показались ей отвратительными или, напротив, очаровательными.

Когда время разговора кончалось и телефонистки дневной или ночной смены, подключаясь к нам, говорили: «Разъединяем», Клаудия, не задумываясь, словно мы обо всем уже договорились, бросала: «Так в котором часу ты приезжаешь?» Я, запинаясь, принимался что-то бормотать в ответ, и мы решали окончательно договориться в следующий раз, когда она мне позвонит или когда я ей позвоню. Я был уверен, что за это время у Клаудии семь раз переменятся планы, и хотя необходимость в моем немедленном приезде останется, но уже при других условиях, которые оправдают новые отсрочки. И все же в глубине души я чувствовал нечто вроде угрызений совести, так как, положив руку на сердце, не мог сказать, что у меня нет совершенно никакой возможности поехать: ведь я мог, например, попросить аванс в счет будущего месяца и под каким-нибудь благовидным предлогом получить отпуск дня на три, на четыре, но меня одолевали сомнения, и я грыз себя за свою нерешительность.

Синьорина Маргарити ровно ничего не слышала. Если, проходя по коридору, она видела меня у телефона, то молча кивала мне головой, не подозревая о тех бурях, что бушевали во мне в эту минуту. Ее жилец, наоборот, из своей комнаты слышал абсолютно все и по своей должности полицейского, должно быть, обращал внимание на малейшее мое движение. К счастью, его почти никогда не бывало дома, и порой наши телефонные разговоры становились по-настоящему свободными и непринужденными, а когда настроение Клаудии располагало к этому, между нами снова возникала та атмосфера внутренней близости, когда каждое слово звучит теплее, доверчивее и будит горячий отклик в душе. Иногда же, напротив, случалось так, что она была в самом нежном расположении духа, а я находился в осаде и мог отвечать только односложными восклицаниями, туманными фразами и недомолвками, потому что за дверью, на расстоянии одного метра от меня, торчал унтер-офицер. Однажды он даже открыл дверь, высунул в коридор свою черную усатую голову и окинул меня пронзительным взглядом. Надо сказать, что при других обстоятельствах я попросту не обратил бы внимания на этого человека, однако сейчас, когда мы, оба в пижамах, впервые столкнулись лицом к лицу среди ночи

в этой дыре, после того как я уже полчаса объяснялся в любви по междугородному телефону, а он недавно вернулся домой с дежурства, — сейчас мы, конечно, сразу же возненавидели друг друга.

В разговорах Клаудии частенько проскальзывали громкие имена, имена людей, с которыми она постоянно общалась. Я же, во-первых, ровным счетом никого не знаю, во-вторых, терпеть не могу привлекать к себе внимание. Поэтому, если мне волей-неволей все же приходилось отвечать ей, я старался не называть имен, говорил обиняками, а она, не понимая, что все это значит, выходила из себя. Кроме того, я всегда держался подальше от политики, именно потому, что не люблю выставять себя напоказ, а сейчас, когда я зависел от компании, контролируемой государством, я тем более поставил себе за правило ничего не знать ни о правых, ни о левых. Но вот как-то вечером Клаудии почему-то взбрело в голову спросить меня об известных депутатах. Нужно было что-то отвечать, отвечать сразу же, не задумываясь, а за дверью находился этот полицейский унтер-офицер.

— Первый, которого ты назвала, да, да, первый, — пробормотал я.

— Кто? Кого ты имеешь в виду?

— Да вот этого — ну, того, что потолще... нет, того, что пониже...

Одним словом, я ее любил. И был несчастлив. Но разве она могла понять мое несчастье? Есть люди, которые обрекают себя на самое серое, самое убогое существование из-за того, что пережили какое-то горе, какую-то неудачу, однако есть и другие, которые поступают так потому, что не в силах выдержать слишком большую удачу, выпавшую на их долю.

Я питался в одном из тех недорогих ресторанчиков, которые в этом городе всегда содержат выходцы из Тосканы. Их семьи связаны между собой родственными узами, а девушки, работающие в этих ресторанах официантками, — все до одной уроженки деревни, называемой Альтопашо. Они проводят здесь свою молодость, никогда не забывая об Альтопашо и держась особняком от остальных жителей города, по вечерам ходят гулять только с парнями из Альтопашо, которые работают при кухнях в тех же ресторанах или же на заводиках и



в механических мастерских, но и в этом случае держатся поближе к рестораникам, которые для них нечто вроде околиц их деревни. Эти девушки и парни женятся друг на друге, некоторые возвращаются в Альтопашо, другие оседают в городе, работают в ресторанах своих родственников и односельчан в надежде в один прекрасный день открыть собственное дело.

Известно, кто питается в таких ресторанах. За исключением случайных посетителей, меняющихся ежедневно, их заведдатеи — холостые служащие, старые девы из контор, несколько студентов и военных. Через некоторое время все уже знают друг друга, между столиками завязываются разговоры, потом организуются общие столы, и под конец у людей, которые в общем-то не поддерживают знакомства друг с другом, входит в привычку обедать вместе.

Ни один из заведдатеев никогда не упускал случая пошутить с официантками. Шутки, понятно, были самыми добродушными — тосканок спрашивали об их суженых, обменивались с ними остротами, а когда не было подходящей темы для беседы, обращались к телевидению и принимались обсуждать, кто из актеров, участвовавших в последних программах, симпатичный и кто несимпатичный.

Что до меня, то я никогда не заговаривал с официантками и обращался к ним только затем, чтобы заказать обед. А поскольку я сидел на диете, заказы мои были всегда оди-

наковы — спагетти с маслом и отварное мясо с зеленью. Я никогда не называл девушек по именам (хотя даже я в конце концов запомнил все имена) и предпочитал всем одинаково говорить «синьорина», не желая, чтобы думали, будто я с ними на короткой ноге, и вообще стремясь показать, что в этот ресторанчик я попал случайно, к завсегдатаям не принадлежу и, даже если буду еще бог знает сколько времени каждый день заходить сюда, все-таки хочу чувствовать себя прохожим, который сегодня — здесь, завтра — там. Так мне было спокойнее.

Не то чтобы эти девушки были мне неприятны, нет, напротив, и официантки и постоянные посетители этого заведения были хорошими, симпатичными людьми, и атмосфера сердечности, царившая вокруг, нравилась мне, даже больше того, без нее мне бы, наверное, чего-то не хватало, и все же я предпочитал наслаждаться ею со стороны. Я избегал вступать в разговоры с завсегдатаями ресторана, старался даже не здороваться с ними, потому что известно, к чему ведут такие знакомства. Завязать их ничего не стоит, а потом оказываешься связанным по рукам и ногам. Кто-нибудь спрашивает: «Что вы делаете сегодня вечером?», а под конец ты оказываешься вместе со всеми у телевизора или в кино. С этого вечера ты попадаешь в компанию совершенно безразличных тебе людей, ты должен рассказывать о своих делах и хочешь не хочешь слушать рассказы о чужих.

Я старался выбирать столик, за которым никого не было, разворачивал утреннюю или вечернюю газету (я покупал ее по дороге на работу, просматривал заголовки, а чтение откладывал до того времени, когда буду в ресторане) и принимался читать ее от строчки до строчки. Газета помогала мне и в тех случаях, когда не удавалось найти другого места и приходилось довольствоваться столиком, за которым уже кто-то сидел. Я углублялся в чтение, и никто не приставал ко мне с разговорами. Но вообще я старался всегда устроиться за отдельным столом и из-за этого усвоил себе привычку опаздывать к обеденному часу и приходить, когда основной массы посетителей уже не бывало в ресторане.

Правда, в этом случае тоже имелось свое неудобство — крешки. Частенько мне случалось занимать столик, который только-только освободился и был усыпан крошками. Сидя за таким столом, я избегал смотреть на него до тех пор, пока

не приходила официантка, не уносила прочь грязные тарелки и стаканы, не обмахивала скатерть и не стелила новую бумажную салфетку. Иногда это делалось наспех и между скатертью и бумажной салфеткой оставались хлебные крошки, действовавшие мне на нервы.

Выбирая время, скажем, для завтрака, лучше всего заметить час, когда официантки, думая, что все посетители уже прошли, старательно прибирают в зале, готовят столики к вечеру, после чего вся семья — и хозяева, и официантки, и повара, и кухонные рабочие — накрывают общий стол и садятся, наконец, поесть сами. В этот-то момент я обычно и входил в ресторан, говоря:

— О, я, наверно, слишком поздно, вы уже не сможете меня покормить?

— Как же так не сможем? Располагайтесь, пожалуйста, где хотите. Лиза, займись доктором.

Я усаживался за какой-нибудь из чистых столиков, один из поваров возвращался на кухню, я читал газету, спокойно ел и слушал, как за общим столом смеются, шутят и рассказывают разные истории, случившиеся в Альтопашо. Порой мне приходилось по четверть часа ждать следующего блюда, так как официантки, сидя поодаль, ели, болтая между собой. Иногда я даже решался напомнить им о себе:

— Синьорина, апельсин...

— Сию минуту! — тотчас же отзывались они. — Анна, сходи ты! Или ты, Лиза!

Но меня все это устраивало, я был доволен.

Покончив с едой и чтением, я выходил из ресторана, унося с собой свернутую в трубку газету, возвращался домой, поднимался к себе в комнату, бросал газету на кровать и мыл руки. Моего прихода уже дожидалась синьорина Маргарита. Заметив, что я пришел, она подстерегала минуту, когда я снова уходил из дому, и, едва я оказывался за дверью, входила ко мне в комнату и брала газету. Не решаясь попросить ее у меня, она уносила газету потихоньку и так же потихоньку снова клала ее на кровать до моего возвращения. Можно было подумать, что она стыдится своего желания просмотреть газету, словно считая его проявлением легкомысленного любопытства. В действительности же она читала один-единственный раздел — извещения о смерти.

Однажды, вернувшись домой, я застал ее с газетой в руках. Она страшно смутилась и решила, что должна оправдаться передо мной.

— Вы уж извините меня, — забормотала она, — я у вас иногда беру газету, смотрю, кто умер, потому что, знаете, иной раз встречаются знакомые среди усопших...

Моя идея — завтракать и обедать как можно позже — приводила к тому, что иногда, например, в те вечера, когда я ходил в кино, я и вовсе не попадал в свой ресторанчик. Немного обалдевший после фильма, я выходил на улицу, когда вокруг неоновых вывесок уже собиралась густая осенняя мгла, лишавшая город реального объема. Взглянув на часы, я говорил себе, что в маленьких ресторанчиках я, пожалуй, ничего уже для себя не найду или что теперь я все равно выбился из своего привычного графика и мне едва ли удастся снова войти в него, и решал поужинать в пивном баре «Урбано Раттаци», в нижнем этаже моего дома.

Войти с улицы в бар значило не просто перейти от тьмы к свету, войти туда значило оказаться совсем в другом мире, вступить из расплывчатого, разреженного, зыбкого мира улицы в мир прочных форм, плотных предметов, весомых объемов, сверкающих яркими красками поверхностей, в мир, где рядом с бледным пурпуром ветчины, которую резали на стойке, мелькала зелень тирольских курток официантов и горело золото пива. В зале всегда было полно народу. На улице я привык смотреть на прохожих, как на безликие тени, да и себя я представлял такой же тенью, одной из многих, скользящих мимо домов. А здесь передо мной вдруг открывалась целая вереница лиц, мужских и женских, ярких, как плоды, и каждое из них не походило на все остальные, и все были чужими. Какое-то время я еще надеялся сохранить среди них невидимость призрака, но вскоре убеждался, что и сам стал таким же, как они, обрел настолько отчетливый облик, что даже мог видеть в зеркале черные точки отросшей с утра бороды. Здесь не было убежища, негде было укрыться. Даже дым, поднимавшийся от бесчисленных сигарет и плотным облаком заволакивавший потолок, существовал сам по себе, имел свои, четко очерченные границы, свою плотность и ни сколько не изменял окружающих предметов.

Протолкавшись к стойке, возле которой всегда толпилось множество народу, я поворачивался спиной к залу, наполненному смехом и выкриками, летящими от каждого столика, садился на первый освободившийся табурет и пытался завладеть вниманием официанта, чтобы заполучить квадратную картонную тарелочку, кружку пива и меню. Заставить его выслушать меня было нелегко, и это здесь, в баре «Урбано Раттаци», за которым я наблюдал из ночи в ночь, каждый час жизни которого был мне так хорошо известен, чей гомон, в котором теперь терялся мой голос, каждый вечер пробирался ко мне в комнату, перелетая через ржавые железные перила.

— Клецки в масле, пожалуйста, — говорил я.

Наконец официант за стойкой обращал на меня внимание, наклонялся к микрофону и отчеканивал:

— Один раз клецки в масле!

Я слушал его, а в памяти у меня звучал механический крик динамика в кухне, и мне казалось, что я в одно и то же время сижу здесь, у стойки, и лежу на кровати там, наверху, в своей комнате, и я пытался мысленно раздробить, превратить в неразборчивый глухой ропот густую тучу слов, которые, сталкиваясь, перемешиваясь со звоном стаканов и звяканьем приборов, бились между веселыми компаниями пьющих и едящих людей, пытался уловить гул, преследовавший меня каждый вечер.

Сквозь отчетливые линии и краски этой стороны мира я постепенно различал его обратную сторону, единственную, где я чувствовал себя дома. А может быть, обратная сторона, изнанка, была именно здесь, среди сияющих огней и широко открытых глаз, в то время как единственной стороной, которая что-то значила, лицом всех вещей была как раз та, что скрывалась в тени? Может быть, и бар «Урбано Раттаци» существовал лишь затем, чтобы я мог слышать в темноте грохот пустых бидонов и искаженный до неузнаваемости голос, выкрикивающий: «Один раз клецки в масле!», или затем, чтобы разорвать задернувший улицу туман неоновым сиянием вывески и яркими квадратами запотевших витрин со смутно вырисовывающимися на них силуэтами людей?

Однажды утром меня разбудил телефонный звонок Клау-

дии. Однако на этот раз это был не вызов междугородной станции: Клаудия была в городе, на вокзале, она только что приехала и звала меня, так как, выходя из спального вагона, в котором ехала, потеряла один из своих многочисленных чемоданов.

Я примчался как раз в тот момент, когда она во главе целого кортежа носильщиков выходила из здания вокзала. В ее безмятежной улыбке не было и следа того волнения, которым она заразила меня всего несколько минут назад, когда звонила по телефону. Она, как всегда, была очень красива и очень элегантна. Каждый раз, встречаясь с ней, я заново поражался, словно за то время, что мы не виделись, умудрялся забыть, какая она. Сейчас она неожиданно объявила, что без ума от этого города, и одобрила мое решение поселиться здесь. Стоял свинцово-пасмурный день, а Клаудия восхищалась освещением и колоритом улиц.

Она заказала номер в одной из самых больших гостиниц. Для меня войти в холл, обратиться к портюе, потребовать, чтобы он по телефону дал знать о нашем прибытии; подняться в сопровождении грума в лифте было истинной пыткой, насилием над собой. То, что Клаудия якобы по каким-то своим делам, а на самом деле, может быть, только для того, чтобы побыть со мной, решила на несколько дней приехать в этот город, очень растрогало меня, растрогало и в то же время повергло в смущение, так как теперь еще заметнее станет бездна между ее образом жизни и моим.

Как бы там ни было, но в это хлопотливое утро я с честью сумел выпутаться из положения, справился со всеми делами и даже ухитрился забежать на службу и взять аванс в счет следующего месяца, дабы без боязни встретить те чрезвычайные события, которые готовили мне эти ближайшие несколько дней. В первую очередь надо было решить вопрос, куда возить ее обедать, — ни о роскошных ресторанах, ни о каких-либо особо примечательных заведениях я почти ничего не знал. Для начала я решил, что было бы неплохо съездить с ней на холм.

Я взял такси. Только теперь я заметил, что в этом городе каждый, кто зарабатывал больше определенной суммы, обязательно имел собственную машину (она была даже у моего коллеги Авандеро), у меня же машины не было, да к тому

же я никогда бы не научился водить ее. До сих пор я не придавал таким вещам никакого значения, но теперь мне приходилось краснеть перед Клаудией. Однако Клаудия сочла все совершенно естественным, потому что, сказала она, доверять мне машину — значит наверняка попасть в аварию. К моей величайшей обиде, она даже не скрывала, что невысоко ставит мои деловые качества и уважает меня совсем за другие достоинства, за какие именно, я так и не смог понять.

Итак, мы взяли такси. Мне попалась старенькая, разболтанная машина, которую вел старик. Я попытался выставить это в юмористическом свете, шутливо пожаловавшись на то, что жизнь неизбежно подсовывает мне одни обломки и развалины, но Клаудию ничуть не огорчал убогий вид нашего такси. Можно было подумать, что подобные вещи вовсе ее не трогают, и я не знал, что делать, — то ли облегченно вздохнуть, то ли сетовать, что теперь я совсем уже брошен на произвол судьбы.

Машина взбиралась по зеленому склону холма, огибавшего восточную часть города. День прояснился, и все вокруг было залито золотистым осенним светом. Окрестные долины тоже одевались уже в золотые цвета. Я обнял Клаудию. Если бы я сумел отдаться любви, которую она несла мне, то, может быть, мне удалось бы постичь ту зеленую и золотую жизнь, что бежала сейчас туманными образами (чтобы обнять Клаудию, я снял очки) по обе стороны дороги.

Прежде чем отправиться в трактир, я приказал старику шоферу отвезти нас к видовой площадке на вершине холма. Мы вышли из машины. Клаудия была в черной шляпе с широкими полями. Ступив на землю, она быстро повернулась на месте, и от этого движения складки ее широкой юбки разлетелись веером. Я же метался взад и вперед, то показывая ей на белесые пики Альп, выплывавшие из небесного океана (не умея отличить одну вершину от другой, я называл их наугад), то на волнистый, прихотливый рельеф холмов с разбросанными там и сям деревнями, долинами и речушками, то на лежащий внизу город, похожий на мозаику, составленную из ровных рядов матовых и поблескивающих на солнце квадратиков. Не знаю уж, что было тому причиной — шляпа и широкая юбка Клаудии или откровенная передо мной панорама, но только я вдруг

с необыкновенной остротой ощутил необъятность этой шири. Для осенней поры небо было довольно чистым и светлым, хотя и не везде воздух оставался таким прозрачным, как в зените: у подножия гор стлалась мгlistая дымка, вдоль рек клубился белый плотный туман, а выше бежали подгоняемые ветром цепочки переменчивых облаков. Мы стояли рядом, опершись о парапет. Я обнял Клаудию за талию и при виде этого разнообразия расстилавшихся передо мной пейзажей сразу же почувствовал непреодолимое желание анализировать и обозлился на себя, потому что почти ничего не знал ни о здешних местах, ни о местной природе. У Клаудии же, наоборот, поток новых впечатлений мог в любую минуту вызвать неожиданную смену настроения, бурный взрыв или просто замечания, совершенно не относящиеся к тому, что было у нее перед глазами. Именно в ту минуту я и увидел это.

— Смотри! — воскликнул я, схватив Клаудию за руку. — Видишь, там, внизу?

— Что?

— Вон там, ниже. Смотри! Двигается!

— Да что там такое? Что ты увидел?

Как объяснить ей, что это? От облаков или скоплений тумана, которые в зависимости от того, как конденсируется влага в холодных слоях воздуха, бывают то серыми, то синеватыми, то белесыми, а подчас даже черными, оно отличалось разве что особым, каким-то неопределенным цветом, то ли коричневатым, то ли буро-черным — вернее, даже не цветом, а оттенком, грязным оттенком, который, казалось, иногда сгущался по краям, иногда, в центре, пачкал все облако и изменял его плотность (этим оно также отличалось от остальных облаков), делая его тяжелым, заставляя лхнуть к самой земле, к пестрому пространству города, над которым оно медленно проползало, то затемняя какую-либо его часть, то снова открывая ее, но при этом оставляя за собой лохматый широкий след, тянувшийся, словно бесконечные грязные волокна.

— Смог! — крикнул я Клаудии. — Видишь вот это? Это облако смога!

Но она уже не слушала меня — ее вниманием завладела стайка птиц, летящая в небе.

Я же, свесив голову над парапетом, впервые в жизни смотрел со стороны на то облако, которое ежечасно окутывало меня, в котором я жил и которое жило во мне; и, глядя на него, я знал, что из всего окружавшего меня многообразного мира только оно одно имеет для меня значение.



Вечером я повел Клаудию поужинать в бар «Урбано Раттаци», так как, кроме ресторанчиков, где обеды отпускались по твердым ценам, я не знал никаких заведений и боялся попасть в такой ресторан, где пришлось бы оставить все деньги. Стоило мне прийти в бар «Урбано Раттаци» с такой женщиной, как Клаудия, как там все изменилось: все тирольские куртки разом засуетились, нам отвели хороший столик, к которому со всех концов зала устремились тележки с шоколадками, сигаретами и прочей мелочью. Я старался держаться с непринужденностью опытного кавалера, но меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что все давно уже узнали жильца, снимающего комнатку с окном во двор, и посетителя, который всегда наспех съедает свое блюдо за стойкой. Из-за этих мыслей я стал неловким, то и дело говорил глупости и очень скоро вывел Клаудию из себя. Мы начали ссориться, и довольно бурно; наши голоса тонули в общем шуме, наполнявшем бар, на нас были обращены глаза не только официантов, готовых повиноваться каждому знаку Клаудии, но и многих посетителей бара, которых очень интриговало, почему такая красивая, элегантная и властная женщина сидит в компании столь незначительного субъекта. Приглядевшись, я заметил, что окружающие отлично слышат каждую фразу, тем более что Клаудия, которой вся эта публика была более чем безразлична, вовсе не желала маскировать нашу ссору. Мне казалось, что все только того и ждут, чтобы Клаудия, окончательно рассердившись, встала и ушла, бросив меня одного, чтобы я снова стал тем безвестным, незначительным человеком, каким был всегда, человеком, который если и привлекает к себе внимание, то не больше, чем пятно сырости на стене.

Однако, как всегда у нас бывало в таких случаях, за ссорой последовало нежное примирение. Это произошло

в конце ужина, и Клаудия, зная, что я живу где-то поблизости, вдруг сказала:

— Я найду к тебе.

Откровенно говоря, я зазвал Клаудию в «Урбано Ратации» только потому, что этот бар был единственным известным мне заведением такого рода, а вовсе не потому, что он находился в моем доме. Больше того, у меня сжималось сердце при одной мысли о том, что, заглянув в подворотню, она сразу составит себе представление о доме, в котором я живу, и уповал только на ее рассеянность.

И вот она хочет подняться ко мне. Чтобы показать ей всю нелепость этой затеи, я принялся описывать в самых мрачных красках грязь и убожество моего жилища. Но, поднимаясь по лестнице и проходя по балкону, она отмечала одни только достоинства старинной и вовсе не отталкивающей на ее взгляд, архитектуры здания и ту разумность, с какой, планировались старые квартиры.

— Что ты мне наговорил? — воскликнула она, когда мы вошли в комнату. — Превосходная комната! Что тебе еще надо?

Раньше чем помочь ей снять пальто, я подошел к умывальнику, потому что, входя, как всегда, перепачкал руки. А вот она — нет. Ее руки летали, словно пушинки, между пыльной мебелью, по-прежнему оставаясь чистыми.

Скоро мою комнату наводнили необычные предметы — шляпка с вуалеткой, горжетка, бархатное платье, нижняя юбка из блестящего шелка, атласные туфельки, шелковые чулки — и каждый из этих предметов я старался сразу же повесить в шкаф или положить в ящик комода, иначе, как мне казалось, их немедленно покроет бы налет копоти.

И вот уже белая фигурка Клаудии лежит на кровати, на той самой кровати, по которой достаточно хлопнуть рукой, чтобы комнату наполнило облако пыли. Она протянула руку к этажерке, стоявшей рядом, взяла книгу...

— Осторожно, она пыльная!

Но она уже открыла ее, полистала немного и небрежно выронила из рук. Я смотрел на ее грудь, еще совсем юную, на розовые упругие соски и терзался мыслью, что на них уже осыпалась пыль, покрывавшая страницы книги. Протянув руки, я коснулся этих упругих холмиков движением, которое можно было принять за ласку, но которое в действительнос-

ти было вызвано желанием стереть ту незаметную глазу пыль, что успела слететь с бумаги.

Нет, ее кожа была бархатистой, свежей, чистой. Но я видел, как в конусе света, падавшего от лампы, танцуют мельчайшие пылинки, которые, оседая, конечно же попадают на Клаудию. И я бросился на нее и сжал в объятиях, подвижный главным образом желанием закрыть ее, защитить, спасти от пыли, принять всю эту пыль на себя.

После того как она уехала, немного разочарованная — мое общество наскучило ей, несмотря на то, что она по-прежнему упорно приписывала своим ближним блеск, который на самом деле был только отражением ее собственного блеска, — я с удвоенным рвением взялся за редакционную работу, отчасти потому, что из-за приезда Клаудии мне пришлось порядком запустить дела и нужно было наверстывать упущенное, готовя очередной номер журнала, отчасти чтобы не думать о ней, а отчасти и потому, что вопросы, освещаемые на страницах журнала «Проблемы очистки воздуха», стали для меня теперь вовсе не такими далекими и неинтересными, как раньше.

У меня еще не было передовицы, но на этот раз инженер Корда не оставил мне никаких инструкций.

— Попробуйте сами. Прошу вас! — сказал он.

Я принялся писать обычную зажигательную тираду, но мало-помалу, слово за словом я увлекся описанием облака смога, тяжело плывущего по городским крышам, такого, каким я увидел его недавно. Я описывал жизнь, окутанную этим облаком, фасады старых домов, где каждый выступ, каждая ниша покрывалась густым черным налетом, и фасады новых, современных зданий, гладкие, одноцветные прямоугольники, которые постепенно приобретают серый оттенок, словно белые воротнички конторских служащих, проработавших полдня среди пыльных бумаг. Я писал о том, что пока еще есть и, может быть, всегда будут люди, живущие за пределами облака смога. Такой человек может пройти через это облако, даже на некоторое время задержаться в самой его середине, и ни единая струйка дыма, ни единая крупинка угля не коснется его лица, не нарушит особого ритма его жизни, не испортит его красоты — красоты существа дру-

гого мира; но важно не то, что находится за пределами облака смога, а лишь то, что ютится в нем самом, в его недрах. Только погрузившись в самое сердце облака, только вдыхая по утрам мгlistый воздух наших городов (надвигающаяся зима уже заволакивала утренние улицы непроницаемой ватой тумана), только в этом случае можно до конца постичь правду и, может быть, обрести освобождение. Это было не что иное, как спор с Клаудией, я тотчас понял это и тут же разорвал статью, даже не показав ее Авандеро.

Доктора Авандеро я до сих пор не мог понять как следует. В понедельник утром я, как всегда, придя на работу, увидел там своего коллегу, но в каком виде? Загоревшего! Да, вместо знакомого лица, напоминавшего цветом отварную рыбу, перед моими глазами была красно-бурая физиономия со следами ожогов на лбу и скулах.

— Что это с тобой случилось? — спросил я. (С недавнего времени мы перешли с ним на «ты».)

— Ходил на лыжах. По первому снегу. Снег великолепный, сухой, сыпучий. Едем вместе в воскресенье?

С этого дня Авандеро избрал меня наперсником, которому поверял свою страсть к лыжам. Я не оговорился, именно наперсником, потому что в его разговорах со мной о лыжах звучало нечто большее, чем простое пристрастие к филигранной технике и ювелирной точности движений, ко всем этим креплениям и мазям, к пейзажу, превращенному в чистую белую страницу: это был спор, который он, безупречный, старательный чиновник, втайне вел со своей службой, спор, проявлявшийся в снисходительных смешках и ехидных замечаниях.

— Вот где истинная «очистка воздуха». А весь смог я оставляю вам! — говорил он и тотчас же спохватывался: — Я, конечно, шучу...

Но я понимал, что даже он, столь преданный сотрудник компании, совершенно не верит ни в нее, ни в идеи инженера Корда.

Как-то в субботу после обеда я встретил Авандеро с лыжами на плече, в шапочке с козырьком, торчавшим, словно клюв скворца. Мой коллега спешил к автобусу, который уже осаждала толпа лыжников и лыжниц.

— Остаешься в городе? — спросил он, кивнув мне с обычным своим самодовольным видом.

— Я — да. Какой смысл ехать? Завтра вечером все равно придется возвращаться на каторгу.

— А какой смысл торчать в городе, если есть возможность убраться на субботу и воскресенье? — возразил он, нахмурившись под своим козырьком, и стал суетиться около автобуса, предлагая новый способ укладывать лыжи в багажнике на крыше.

Авандеро, подобно сотням тысяч людей, всю неделю старательно выполняющих свою серенькую работу только для того, чтобы иметь возможность сбежать от нее в воскресенье, смотрел на город, как на гиблое место, как на машину для добывания средств, достаточных, чтобы скрыться на несколько часов и снова вернуться обратно. После нескольких месяцев, посвященных лыжам, для Авандеро начиналась пора загородных поездок, потом рыбалка, форель, потом подходил летний отпуск — море, горы и фотоаппарат. История его жизни, которую я, узнав его покороче, начинал уже представлять себе довольно подробно, была историей его транспортных средств. Сперва это был мотовело, потом мотопед, потом мотоцикл, сейчас малолитражка, а будущие годы приближались под знаком новых автомобилей, все более удобных и мощных.

Очередной номер «Проблем очистки воздуха» пора было уже запускать в машину, а инженер Корда все еще не проглядел корректуры. В тот день я ожидал его в редакции, но он так и не появился там и только под вечер позвонил мне по телефону, прося привезти корректуру к нему, в контору завода ВАФД, откуда он не мог отлучиться. Он даже прислал за мной свою машину с шофером.

ВАФД принадлежал к числу тех предприятий, где Корда был членом правления. Забившись в глубину огромного лимузина, с пакетом корректур на коленях, я промчался по незнакомым улицам окраины, проехал вдоль глухой стены, приветствуемый охраной завода, миновал широкие литые ворота и высадился у лестницы, ведущей в помещение дирекции.

Инженер Корда, окруженный руководителями завода, сидел за письменным столом в своем кабинете и просматривал какие-то графики или производственные планы, вычерченные на огромных, заваливших весь стол листах ватмана.

— Извините, доктор, одну минуту, — сказал он мне. — Сейчас я буду к вашим услугам.

Я смотрел на стену у него за спиной. Она была вся из стекла — гигантское окно, за которым простиралась панорама завода и дыбились в туманном вечернем сумраке неясные тени. На переднем плане выделялся силуэт цепного транспортера, поднимавшего вверх огромные бадьи чего-то серого, я думаю, чугунного порошка. Железные черпаки лезли вверх непрерывными толчками, слегка покачиваясь, и мне казалось, что кучи, выступавшие над их краями, незаметно меняют свою форму, и над ними при каждом толчке взлетают в воздух едва заметные облачка пыли, разлетающиеся повсюду и оседающие даже на огромном окне кабинета инженера Корда.

В этот момент Корда попросил зажечь свет, и на темном фоне улицы стекла мгновенно стали похожи на листы мелкой наждачной бумаги. Окна, несомненно, были покрыты тонким налетом чугунной пыли, сверкавшей сейчас, словно серебряная россыпь Млечного Пути. Тени, отпечатывающиеся на стеклах, исчезли, и от этого еще отчетливее возникли на заднем плане силуэты заводских труб, увенчанные красноватыми отблесками, а над этим багровым заревом по контрасту с ним еще чернее казались чернильные крылья дыма, закрывавшие все небо, и взлетали и кружились в неистовом вихре раскаленные крупинки угля.

Но вот Корда взялся за корректуру «Проблем очистки воздуха» и, тотчас же перенесшись в сферу иных идеалов и иных стремлений, волнующих его, как главу КООГИПРа, принялся вместе со мной и руководителями ВАФДа обсуждать статьи журнала. Сколько раз, встречаясь с ним в помещениях компании, я, поддаваясь естественному для подчиненного чувству противоречия, мысленно объявлял себя сторонником смога, его тайным агентом, пробравшимся в штаб противника, но лишь теперь я понял, насколько глупой была эта игра. Инженер Корда — вот кто истинный хозяин смога, вот кто дышит смогом на весь город, и КООГИПР — это тоже детище смога, рожденное необходимостью дать тем, кто работает для преумножения богатств хозяев смога, надежду на жизнь, в которой будет что-то, кроме смога, и в то же время прославляющее его могущество.

Корда остался доволен номером и пожелал отвезти меня домой на своей машине. Вечер был пропитан густым туманом.

ном. Шофер вел машину медленно, так как, кроме тусклых пятен редких фонарей, вокруг ничего нельзя было разглядеть. В порыве оптимизма президент смелыми штрихами рисовал город будущего, с кварталами-садами, заводами, окруженными клумбами и водоемами, снабженными устройствами, сметающими с неба дым заводских труб. Говоря все это, он то и дело указывал наружу, в начинавшуюся прямо за стеклами пустоту, словно все, что рисовалось его воображению, уже было претворено там в действительность. Я слушал его с каким-то непонятным чувством, то ли с ужасом, то ли с восхищением, — в этом человеке ловкий промышленник уживался с фантазером, и ни тот, ни другой не могли жить друг без друга.

Неожиданно мне показалось, что я узнаю знакомые места.

— Остановитесь, остановитесь здесь, я приехал, — сказал я шоферу.

Пожелав ему всего хорошего и поблагодарив, я вышел из машины. Но как только она отъехала, я заметил, что ошибся. Я вылез в совершенно незнакомом районе, а вокруг ничего не было видно.

Я по-прежнему питался в своем ресторанчике, сидя в одиночестве под прикрытием газеты. Прошло некоторое время, и я заметил еще одного посетителя, который поступал точно так же. Несколько раз, не найдя свободного места, мы в конце концов садились за один столик и отгораживались друг от друга развернутыми газетами. Мы читали разные газеты. Я всегда покупал самую влиятельную в городе газету, которую читали все. Да и зачем мне было читать другую? Чтобы кто-то сказал, что я не такой, как все, или (если бы я вдруг стал читать газету моего соседа по столу) что у меня особые политические убеждения? Я всегда держался подальше от политики и политических партий, но иногда по вечерам случалось так, что, сидя за одним столиком с этим нелюдимым посетителем, я откладывал газету, и он, протягивая к ней руку, спрашивал: «Разрешите?», а потом, указывая на свою, добавлял: «Может быть, хотите почитать эту?»

Таким образом я познакомился с его газетой, которая, если так можно выразиться, представляла собой изнанку

моей. И не столько потому, что поддерживала противоположные идеи, но также и потому, что освещала такие вопросы, которые для любой другой газеты попросту не существовали. В ней, скажем, сообщалось об увольнении служащих, о машинистах, потерявших руку при смазке зубчатых передач (помещались даже их портреты), печатались таблицы, в которых приводились данные о бюджетах рабочих семей, и так далее. Но самое главное ее отличие заключалось не в этом. Любая газета прежде всего старается блеснуть великолепным изложением материала и привлечь читателя пикантными историями, например рассказами о разводах красивых женщин, в этой же все статьи были написаны одинаковым, шаблонным языком, а заголовки всегда подчеркивали только отрицательную сторону явлений. Даже печать у этой газеты была однообразно-серой и утомительно-густой. И тут у меня мелькнула мысль: «Ба! А ведь мне нравится».

Я попробовал выразить это мнение своему собеседнику, остерегаясь, разумеется, как-то толковать отдельные статьи и высказывания (он уже пытался спрашивать, что я думаю о каком-то сообщении из Азии) и в то же время стараясь смягчить отрицательную сторону своей оценки, так как он показался мне человеком, несклонным принимать критику, а ввязываться с ним в спор у меня не было никакой охоты.

Однако вместо того, чтобы спорить, он словно продолжал мыслить вслух, и его слова сделали бесполезной и даже неуместной мою оценку газеты.

— Знаете, — сказал он, — наша газета пока что делается не так, как следовало бы. Во всяком случае, она не такая, какой я хотел бы ее видеть.

Мой собеседник был молодой человек небольшого роста, но очень пропорционально сложенный. Его темные выющиеся волосы были очень тщательно причесаны, а совсем еще мальчишеское лицо, бледное, с розовым румянцем на щеках, тонкими правильными чертами и длинными черными ресницами, отличалось сдержанно-важным, почти надменным выражением. Одевался он с чрезвычайной, даже немного изысканной аккуратностью.

— В ней еще слишком много общих мест, — продолжал он, — ей еще не хватает конкретности, особенно там, где речь идет о наших проблемах. Она еще слишком похожа на другие газеты. Ту газету, о которой я мечтаю, должны были

бы делать в основном сами читатели. Она должна стараться давать всегда научно обоснованную, точную информацию обо всем, что происходит в мире производства.

— Вы работаете техником на каком-нибудь заводе? — спросил я.

— Я кадровый рабочий.

Мы познакомились. Его звали Омар Базалуцци. Узнав, что я работаю в КООГИПРе, он заинтересовался мною и спросил у меня о некоторых данных, которые мог бы использовать в одной из своих корреспонденций. Я назвал ему кое-какие печатные материалы (так или иначе доступные всем); ему, во всяком случае, я с чистосердечной улыбкой заметил, что не открываю никаких редакционных секретов; он, вынув маленький блокнотик, аккуратно записал всю сообщенную мною библиографию.

— Я занимаюсь тем, что изучаю всевозможные статистические данные, — сказал он. — Наша организация очень отстает в этом.

Мы уже одевались, собираясь уходить. У Базалуцци было спортивное пальто элегантно покроя и берет из непромокаемой ткани.

— Очень отстает, — продолжал он, — хотя, по-моему, это основной раздел.

— А работа оставляет вам время, чтобы заниматься всем этим? — спросил я его.

— Видите ли, — сказал он (он всегда отвечал немного свысока, этаким менторским тоном), — здесь все дело в методичности. Восемь часов в день у меня забирает завод, кроме того, каждый вечер, даже по воскресеньям, обязательно бывает какое-нибудь собрание. Здесь просто нужно уметь организовать работу. Вот я создал кружки по изучению статистики для молодых рабочих нашего завода...

— И много у вас... таких, как вы?

— Мало. И чем дальше, тем становится меньше. Нас одного за другим выставляют за ворота. В один прекрасный день вы встретите здесь, — он показал на газету, — мою фотографию и под ней подпись: «Еще один уволенный. Новая жертва репрессий».

Мы шагали по холодной ночной улице. Я съезжился в своем пальто и поднял воротник. Омар Базалуцци шел спокойно, высоко подняв голову, из его тонко очерченных



губ вырывались маленькие облачка пара; часто он вынимал руку из кармана, чтобы подчеркнуть какую-нибудь свою мысль, и при этом останавливался, словно не мог идти дальше до тех пор, пока не изложит ее ясно и четко.

Я больше не слушал его. Я шел и думал, что такие, как Омар Базалуцци, не ищут случая убежать от продымлен-

ной серости, окружающей их, нет, она создает для них особые моральные ценности, диктует новые внутренние нормы поведения.

— Смог... — сказал я.

— Смог? Да, я знаю, что Корда хочет быть современным предпринимателем... мечтает очистить городской воздух. Но пусть попробует рассказать об этом своим рабочим! Уж если кто и займется очисткой воздуха, то только не он. Главное здесь — социальная структура. Если нам удастся изменить ее, то и проблема смога будет решена. И решим ее мы, а не они.

Он пригласил меня зайти вместе с ним на профсоюзную конференцию, на которую собрались представители различных предприятий города. Я сел в самом конце прокуренного зала. Омар Базалуцци занял место за столом президиума рядом с мужчинами, каждый из которых был гораздо старше его. Зал не отапливался: все сидели в пальто и шляпах.

Каждый, кто получал слово, поднимался со своего места, подходил к столу президиума и говорил, стоя около него. У всех была одна и та же манера обращаться к аудитории — безличная, лишенная выражения, все начинали выступления и связывали свои мысли одними и теми же формулами, как видно, общепотребительными. По гулу, возникавшему в зале, я догадывался, что нанесен удачный полемический удар, однако никто не спорил открыто, и каждый начинал с того, что присоединялся к выступавшим раньше. Мне казалось, что выпады многих ораторов направлены в первую очередь против Омара Базалуцци. Юноша, свободно, не-

много боком сидевший за столом президиума, вытащил из кармана кожаный кисет, короткую английскую трубку, не спеша, медленными движениями маленьких рук набил ее и принялся сосредоточенно курить, полужакрыв глаза и подперев щеку рукой.

Комнату заволакивало табачным дымом. Кто-то предложил открыть на минуту верхнюю фрамугу окна. Порывы холодного ветра разогнали дым, но зато с улицы начал заползать туман, и скоро почти совсем нельзя было разглядеть, что делается в противоположном конце зала. Со своего места в заднем ряду я, не отрываясь, глядел на маячившие передо мной неподвижные, скованные холодом спины людей, на поднятые воротники, на закутавшиеся в пальто тени за столом президиума и на огромного, словно медведь, человека, который говорил, стоя у стола; смотрел на плывущий по залу туман, обволакивавший, пронизывавший не только всех этих людей, но даже их слова, их каменное упрямство.

В феврале ко мне снова приехала Клаудия. Мы пошли позавтракать в дорогой ресторан, приютившийся в глубине парка у реки. Сидя в зале, мы смотрели на заросшие берега, на деревья, на бледное небо; весь пейзаж был полон какого-то старомодного изящества.

Мы спорили о красоте и никак не могли прийти к одному мнению.

— Люди утратили чувство красоты, — говорила Клаудия.

— Люди выдумывают красоту непрерывно, каждую минуту, — говорил я.

— Красота всегда красота, она вечна.

— Чтобы родилась красота, нужен толчок.

— Да, но греки!

— Что греки?

— Красота — это цивилизация!

— И отсюда...

— Вот и получается...

Так мы могли спорить до завтрашнего дня.

— Этот парк, эта река...

«Этот парк, эта река, — думал я, — они оттеснены в нашей жизни куда-то в сторону, могут быть разве что мимолетным утешением. Нет, старая красота не может устоять перед уродством нового».

— Этот угорь...

Посреди ресторанного зала стоял стеклянный ящик аквариума, в котором плавали большие угри.

— Смотри!

У аквариума остановилось несколько важных посетителей — богатое семейство, любители поесть: мать, отец, взрослая дочь, сын-подросток. Вместе с ними подошел метрдотель, огромный, тучный, во фраке и ослепительно белой манишке. В руках он держал сетку, похожую на детский сачок для ловли бабочек. Все семейство внимательно, без улыбки разглядывало плававших рыб. Но вот синьора подняла руку и указала на одного из угрей. Метрдотель погрузил в аквариум свой сачок, быстро подцепил выбранную рыбу, вытащил ее из воды и направился в кухню, держа перед собой, как копье, потяжелевшую сетку, в которой бился, извиваясь, обреченный угорь. Семья проводила его взглядом, потом уселась за стол и стала ждать, когда рыба вернется к ней, должным образом приготовленная.

— Жестокость...

— Цивилизация.

— Все вокруг жестоко...

Мы не стали звать такси и пошли пешком. Газоны, стволы деревьев обволакивала еле заметная влажная дымка, поднимавшаяся с реки. Здесь эта дымка была еще дыханием природы. Клаудия шла, закутавшись в меховую шубку с ниспадавшим на плечи воротником, спрятав руки в муфту, а волосы под большую пушистую шапку. Мы были лишь маленькой деталью картины, двумя силуэтами влюбленных.

— Красота...

— Твоя красота...

— К чему она? Так...

Я сказал:

— Красота вечна.

— А! Теперь ты говоришь то же, что и я?

— Нет, как раз наоборот.

— С тобой совершенно невозможно спорить.

Она отстранилась от меня, словно решив идти одна. По траве стлалась тонкая полоса тумана, и закутанный в меха силуэт Клаудии, двигавшийся передо мной по аллее, казалось, плыл над землей.

Вечером я проводил Клаудию в гостиницу. Войдя в холл, мы увидели, что он полон мужчин в смокингах и декольтированных дам. Шла карнавальная неделя, и в салоне гостиницы устраивался благотворительный бал.

— Какая прелесть! Ты пойдешь со мной? Я только схожу переоденусь в вечернее платье.

Я не создан для балов-маскарадов и чувствовал себя не в своей тарелке.

— Но мы не приглашены, — пробормотал я. — К тому же я не в черном костюме...

— Я не нуждаюсь в приглашениях. А ты мой кавалер.

Она побежала переодеваться. Я остался внизу и стоял как потерянный. В холле было полно девушек, впервые в жизни надевших вечернее платье. Готовясь переступить порог зала, они пудрились и возбужденно шушукались. Я встал в сторонку, стараясь сойти за посыльного, которого прислали сюда с пакетом.

Но вот дверь лифта распахнулась. Появилась Клаудия в длинном, ниспадавшем до пола платье, с ниткой жемчуга на розовой груди и в полумаске, поблескивавшей бриллиантами. Пришлось расстаться с ролью посыльного. Я пошел рядом с ней.

Вот зал. Мы вошли. Все глаза впились в Клаудию. Я раздобыл себе нечто вроде бумажной маски с длинным носом. Мы пошли танцевать. Когда Клаудия кружилась, все остальные пары расступались, чтобы видеть ее. Я же, почти не умея танцевать, все время старался замешаться в толпу, из-за чего наш танец очень напоминал игру в прятки. Клаудия заметила, что мне совсем не весело и что я совершенно не умею развлекаться.

Танец кончился. Направляясь к своему столику, мы столкнулись с группой беседующих мужчин.

— Ба!

Я увидел перед собой инженера Корда. Он был во фраке и в оранжевой бумажной шляпе. Мне пришлось остановиться и поздороваться с ним.

— Неужели это и вправду вы, доктор? Я смотрю и глазам не верю! — говорил он, не отрывая взгляда от Клаудии, и я понимал, что он хотел сказать: он никак не ожидал встретить меня здесь с такой женщиной, да еще в обычном моем наряде, в том самом пиджаке, в каком я хожу на работу.



Мне пришлось представить его Клаудии. Корда поцеловал ей руку и, в свою очередь, представил ей пожилых синьоров, которые стояли вместе с ним. Клаудия, как всегда рассеянная и высокомерная, пропустила их имена мимо ушей, я же, наоборот, то и дело мысленно восклицал: «Ах, черт! Подумать только, такие персоны!», потому что все это были крупные промышленники. Потом Корда представил меня:

— Доктор — редактор нашего журнала, вы знаете, «Проблемы очистки воздуха», совершенно верно, руководимого мной...

Мне было ясно, что все они немного робеют перед Клаудией и говорят глупости. Это придавало мне смелости.

Я видел, что назревает некое событие, иными словами, я не мог не заметить, что у Корда так и чешется язык пригласить Клаудию танцевать. Поэтому, сказав: «Ну что же, мы еще увидимся, не правда ли?», я сделал общий поклон и снова потащил Клаудию в отведенную для танцев часть зала.

— Да подожди, ты же не знаешь этого танца! Ты вслушайся, понимаешь, что это такое?

Я понимал только одно, что своим появлением рядом с Клаудией как-то подпортил им праздник, хотя, быть может, они и сами не сумели еще понять как; это было единственной радостью, которую доставил мне бал.

— Та-та-та!.. — напевал я, притворяясь, будто делаю па, о которых не имел ни малейшего представления, на самом



же деле лишь слегка поддерживая Клаудию за руку и стараясь не мешать ей двигаться, как она хочет.

Да и почему бы мне не повеселиться? Ведь наступил карнавал. Завывали трубы, превращая в дикую мешанину свои беспорядочные вопли; пригоршни конфетти, словно обломки штукатурки, барабанили по фракам и обнаженным плечам женщин, забываясь под декольте и за крахмальные воротнички; гирлянды

звезд из блестящей канители тянулись от люстр до самого пола, где их, сваливавшихся в комки, пинали шаркающие ноги танцующих; эти гирлянды свисали сверху, словно жилы, вытянутые из тела, словно скелеты голой арматуры, болтающиеся среди обвалившихся стен, среди общего разрушения.

— Вы приемлете этот отвратительный мир таким, как есть, поскольку вы знаете, что должны его разрушить, — сказал я Омару Базалуцци, сказал отчасти для того, чтобы его подзадорить, иначе было бы неинтересно разговаривать.

— Одну минуту, — сказал Омар, ставя обратно чашечку кофе, которую уже поднес было к губам, — мы же не говорим: чем хуже, тем лучше. Мы — за улучшение. Не реформисты, не крайние, а мы.

Я говорил о своем, он — о своем. С того дня, когда я вместе с Клаудией побывал в парке, меня преследовало желание найти новое толкование мира, которое придало бы какой-то смысл нашему серому существованию, отстояло бы утрачиваемую красоту, спасло бы ее.

— Новое лицо мира.

Рабочий открыл черную кожаную папку и вытащил из нее иллюстрированный журнал.

— Вот видите?

Это была серия фотографий. Несколько человек, принад-

лежавших, видимо, к одной из азиатских народностей, в меховых шапках и сапогах, со счастливым видом ловили рыбу. На другой фотографии те же люди были засняты в школе; учитель показывал им изображенные на простыне буквы непонятного алфавита. На следующем снимке был запечатлен праздник. У каждого на голове был бумажный дракон, и среди этих драконов двигался трактор, над которым был укреплен транспарант. На последней фотографии двое рабочих в таких же меховых шапках работали за токарным станком.

— Видите? — повторил Омар. — Вот оно — другое лицо мира.

Я посмотрел на Базалуцци.

— Вы не ходите в меховых шапках, не ловите осетров, не играете с драконами.

— Ну и что же?

— А то, что у вас нет с ними ничего общего, кроме этого, конечно, — я показал на токарный станок, — вот это у вас уже есть.

— Э, нет, у нас будет так же, как там, потому что у нас изменится сознание. Так же, как и они, мы станем иными раньше внутренне, а затем уже внешне...

Говоря это, Базалуцци продолжал листать журнал. На одной из следующих страниц были фотографии доменных печей и рабочих с очками на лбу и суровыми лицами.

— Да, тогда тоже будут трудности, — говорил он, — не надо обольщаться и думать, что не сегодня-завтра... Оно еще долго будет тяжелым, производство... Но мы сделаем хороший шаг... Такие, например, вещи, какие случаются сейчас, уже не повторяются...

Тут он снова принялся говорить о том, о чем говорил всегда, — о проблемах, изо дня в день тревоживших его душу.

Мне было ясно, что ему не так уж важно, наступит или не наступит этот день; гораздо важнее для него было верить, потому что самое основное — то, как пойдет его жизнь, — все равно не должно было измениться.

— Шероховатости, понятно, будут всегда... Рая не будет... Ведь и мы сами тоже не ангелы.

Интересно, стали бы святые жить иначе, если бы знали, что им не уготовано райское блаженство?

— Меня уволили на прошлой неделе, — заметил вдруг Омар Базалуци.

— И как же вы теперь?

— Работаю в профсоюзе. Может быть, еще до зимы там освободится постоянное место.

Ему надо было на завод ВАФД, где утром начались серьезные волнения.

— Пойдете со мной? — спросил он.

— Э! Вот туда-то как раз я и не могу показаться, я думаю, вы понимаете почему.

— Я тоже не могу туда показаться. Мое появление там скомпрометировало бы товарищей. Мы встретимся в кафе, неподалеку от завода.

Я пошел с ним. Из окна третьесортного кафе мы видели рабочих, расхोдевшихся после смены; некоторые, выходя за ворота, вели рядом велосипеды, другие набивались в трамваи. И у каждого на лице было написано только одно — желание поспать. Несколько человек, вероятно предупрежденных заранее, поодиночке заходили в кафе и тотчас же направлялись к столику, за которым сидел Омар. Скоро вокруг него собралась небольшая группа рабочих, которые, усевшись в уголке, начали разговаривать между собой.

Ничего не понимая в их делах, я стал наблюдать за рабочими, стараясь определить, чем отличаются лица тех, что бесчисленным роем высыпали сейчас за ограду завода и, без сомнения, не думали ни о чем, кроме семьи и воскресного отдыха, от тех, что задерживались с Омаром, то есть от самых упорных и ожесточенных. Но сколько я ни всматривался, мне не удавалось уловить ни малейшего различия: и у тех и у других были одинаковые лица — пожилые или преждевременно повзрослевшие, лица детей одной жизни. То, что их отличало, крылось внутри них.

Тогда я принялся всматриваться в лица и вслушиваться в слова рабочих, сидевших рядом с Омаром. Мне хотелось узнать, отличаются ли чем-нибудь люди, живущие мыслью о том, что «наступит день», от таких, для которых, как для Омара, будущего не менялось от того, наступит этот день или нет. И увидел, что их нельзя отличить друг от друга, как видно, потому, что все они принадлежали ко второй категории, даже те, кого на первый взгляд можно было отнести к первым из-за их нетерпеливости или словоохотливости.

Теперь я уже не знал, на что мне смотреть, и принялся глядеть на небо. Был один из первых дней ранней весны, и над домами городской окраины простиралось сияющее голубизной безоблачное небо. Но, приглядевшись хорошенько, я различил на нем похожие на тени разводы, как на старой пожелтевшей фотогафии. Да, небо над городом не очищалось даже в самую хорошую погоду.

Омар Базалуцци надел темные очки в огромной толстой оправе и продолжал что-то говорить окружающим его людям, подробно, обстоятельно, высокомерно и немного в нос.

Я напечатал в «Проблемах очистки воздуха» взятую из одной иностранной газеты заметку о загрязнении атмосферы радиоактивными осадками после атомных испытаний. Заметка была набрана петитом, и инженер Корда, просматривая корректуру, не обратил на нее внимания. Когда же он наткнулся на нее в свежем номере журнала, то немедленно послал за мной.

— Боже праведный, неужели же я должен проверять каждую мелочь? У меня же не сто глаз! — воскликнул он. — Как вам могло прийти в голову напечатать такую заметку? Ведь наша компания не занимается этими вопросами. Только этого нам не хватает! Да еще напечатать, не сказав мне ни слова! И на такую щекотливую тему! Теперь будут говорить, что мы занимаемся пропагандой!

Я пробормотал несколько слов в свое оправдание.

— Видите ли, здесь ведь тоже идет речь о загрязнении воздуха, вы извините, но я думал...

Я уже был на пороге, когда Корда снова окликнул меня.

— Послушайте, доктор, а вы-то сами верите в эти радиоактивные осадки? То есть что они действительно уже представляют собой такую серьезную опасность?

Мне были известны некоторые выводы конгресса ученых, и я рассказал о них. Корда слушал, кивая головой, раздосадованный.

— Подумать только, в какое ужасное время нам придется жить, дорогой доктор! — воскликнул он вдруг и сразу стал прежним, хорошо знакомым мне Корда. — Это опасность, дорогой доктор, и ее надо во что бы то ни стало из-

бежать, потому что слишком много поставлено на карту, да, дорогой мой, слишком много поставлено на карту.

Несколько минут он сидел, опустив голову, потом заговорил снова:

— Я не хочу переоценивать наши заслуги, но в своей области мы делаем то, что должны делать, мы свою лепту вносим, в своей области мы на высоте положения.

— Это, несомненно, инженер. Я убежден в этом, инженер.

Мы посмотрели друг на друга, смущенно и в то же время немного лицемеря. По сравнению с гигантской радиоактивной тучей облако смога казалось теперь совсем маленьким, не облаком, а еле заметным облачком, крошечным барашком.

Прибавив несколько общих и столь же благонамеренных фраз, я оставил кабинет инженера Корда, и на этот раз так и не сумев понять до конца, воюет ли он в действительности против облака или за него. С того дня я не допускал в заголовках никаких упоминаний об атомных взрывах или радиоактивности, но в то же время старался в каждом номере, в разделе технической информации, проталкивать кое-какие сообщения по этому вопросу. Кроме того, в некоторых статьях вместе со сведениями о процентном содержании в городском воздухе угля или нефти и об их физиологическом воздействии на организм я помещал и данные относительно районов, подвергшихся радиации. Ни Корда, ни кто-либо другой не делали мне теперь никаких замечаний, но это не столько радовало меня, сколько укрепляло во мне подозрение, что «Проблемы очистки воздуха» решительно никто не читает.

У меня уже накопилась целая папка материалов об атомной радиации, так как, просматривая газеты и выбирая наметанным глазом сообщения и статьи, которые могли пригодиться для журнала, я всегда находил что-нибудь на эту тему, вырезал и складывал отдельно. Кроме того, от агентства, присылавшего компании газетные вырезки на тему «загрязнение атмосферы», приходило все больше материалов об атомной бомбе, в то время как вырезок, где говорилось бы о смоге, становилось все меньше и меньше.

Таким образом, получалось, что мне каждый день попадали на глаза то статистические данные о страшных болезнях, то рассказы о рыбаках, застигнутых в открытом море смертоносной тучей, или о подопытных животных, родивших-

ся с двумя головами после экспериментов с ураном. Я поднимал глаза от газет и смотрел в окно. На дворе уже наступил июнь, а лета все не было. Погода стояла тяжелая. Дни были придавлены мутной мглой. В полуденные часы город окутывался каким-то апокалипсическим сиянием, а прохожие казались тенями, сфотографированными в подземном царстве после того, как души оставили их бранные тела.

Времена года словно изменили свою привычную очередность, по Европе один за другим проносились сильнейшие циклоны. Начало лета ознаменовалось грозами, несколько дней воздух был перенасыщен электричеством, потом неделями лили дожди, время от времени прерывавшиеся неожиданной жарой, которая ни с того, ни с сего сменялась поистине мартовскими холодами. Газеты отрицали, что эти атмосферные беспорядки вызваны атомными взрывами. Только отдельные, очень немногие ученые как будто склонялись к тому, чтобы признать такое влияние (впрочем, трудно было сказать, насколько им можно было верить). Зато анонимные слухи, расползавшиеся среди обывателей, которые, как известно, всегда готовы принять на веру самые невероятные вещи, упорно поддерживали именно эту версию.

Мне уже стала действовать на нервы синьорина Маргарити, которая каждое утро пускалась в дурацкие рассуждения об атомной бомбе, предупреждая меня, что и сегодня нужно захватить зонт. Но все же, открывая жалюзи и взглянув на наш свинцово-серый двор, где в неверном свете переплетались частой решеткой темные линии и квадратные пятна, я испытывал невольное желание отступить назад и спрятаться под крышу, как будто именно в этот момент с неба сыплются невидимые частицы смертоносной пыли.

Это бремя недомолвок, превращаясь в суеверие, всей своей тяжестью давило на самые обыденные разговоры о том, какая нынче погода, на те самые разговоры, которые испокон веков считались наиболее безобидными. Теперь люди избегали говорить о погоде, а уж если приходилось упомянуть о том, что идет дождь или проясняется, то об этом говорили чуть ли не со стыдом, будто чувствовали, что умалчивают о какой-то мрачной, лежащей на всех нас ответственности. Авандеро, который всю неделю жил, готовясь к воскресной поездке за город, относился к погоде с притворным

безразличием. Но мне это его безразличие казалось насквозь лицемерным, рабским.

Я сделал номер «Проблем очистки воздуха», в котором не было ни одной статьи, где не говорилось бы о радиоактивных осадках. Но и на этот раз обошлось без нотаций. Нет, я не мог сказать, что журнала никто не читает, читать читали, но вещи такого рода стали теперь привычными, и даже если бы появилось сообщение, что в скором времени придет конец роду человеческому, оно никого бы не взволновало.

Даже в еженедельниках, посвященных сугубо злободневным вопросам, стали теперь появляться статьи, от которых мороз подирал по коже. Но люди, казалось, верили только цветным фотографиям улыбающихся девиц на обложках. В одном из таких журналов появилась на обложке фотография Клаудии в купальном костюме, летящей на водных лыжах. Я пришил эту фотографию четырьмя кнопками на стену своей комнаты.

Каждый день по утрам и среди дня я направлялся в тихий район с широкими спокойными бульварами, где находилась редакция. Подходя к этому району, я иногда вспоминал тот осенний день, когда впервые пришел сюда и во всем, что попадалось мне на глаза, старался увидеть некое предзнаменование, и все казалось мне слишком светлым и чистым для моего тогдашнего настроения. Да и теперь мой взгляд искал только предзнаменования, другого я просто не в состоянии был видеть. Предзнаменования чего? Кто знает? Одно предзнаменование указывало на другое, и так до бесконечности.

Иногда мне случалось встречать там нагруженную мешками двуколку, которая тащилась по противоположной стороне улицы, влекомая мулом. Иной раз я видел эту двуколку у какого-нибудь подъезда: между оглоблями, понуро опустив голову, стоял мул, а на куче белых мешков сидела девочка.

Потом я заметил, что не одна, а множество таких тележек разъезжает по улицам этого квартала. Я не сумел бы сказать, когда я стал обращать на них внимание. Иногда на глаза попадает тьма вещей, но их как бы не замечаешь.

Они могут даже как-то поразить тебя, и все-таки ты их не заметишь, пока в один прекрасный момент тебе не придет в голову связать одну вещь с другой, и тогда сразу все приобретает смысл. При виде этих тележек у меня незаметно становилось светлее на душе: мне достаточно было встретить такую не совсем обычную штуку, как сельская двуколка, захавшая в город, забитый автомобилями, чтобы вспомнить, что в мире все-таки не все скроено на один манер.

И вот мало-помалу я начал присматриваться к этим тележкам. На вершине белой горы мешков обычно сидела девочка с косичками и читала какой-то журнальчик, потом из подворотни выходил мужчина с двумя мешками, клал их вместе с другими на тележку, поворачивал ручку тормоза, негромко кричал мулу: «Н-но-о!», тележка вместе с девочкой, которая, не слезая с кучи мешков, продолжала читать, катилась дальше, останавливалась у другого подъезда, мужчина снимал сверху несколько мешков и вместе с ними скрывался в дверях.

Немного дальше, по противоположной стороне улицы, двигалась еще одна тележка. Там в кузове сидел старичок, а по домам ходила женщина, сновавшая вверх и вниз по лестницам с огромными узлами, которые она носила на голове.

Я стал замечать, что в те дни, когда мне встречались тележки, я бывал веселее и увереннее, чем обычно, и что это всегда случалось по понедельникам — в тот день, когда по городу разъезжают тележки прачек, развозя пакеты с чистым бельем и увозя с собой узлы с грязным.

Теперь, когда я это узнал, тележки уже не ускользали от моего взгляда. Если поутру, направляясь на работу, я замечал одну из них, то не успевал я воскликнуть про себя: «Э, да ведь нынче понедельник!», как тотчас же на противоположной стороне показывалась другая, сопровождаемая таявкою собачонкой, и третья, которая скрывалась уже за горбом круто спускавшейся вниз улицы, так что видна была только груда желто-белых полосатых мешков.

Как-то после работы я сел на трамвай, который шел по другим улицам, гораздо более шумным и многолюдным. Здесь я тоже увидел, как на перекрестке внезапно задержался весь транспорт, пережидая, пока тележка, развозившая белье и лениво катившаяся на своих огромных колесах с длин-

ными спицами, не переедет улицу. Я заглянул в один из боковых переулков, там, примостившись у края тротуара, стоял мул, а мужчина в соломенной шляпе снимал с тележки пакеты с бельем.

В тот день я возвращался домой кружным путем, и по каким бы улицам я ни шел, мне все время попадались тележки прачек. Я чувствовал, что для жителей города это было вроде праздника — все были счастливы избавиться от белья, прокопченного дымом, и хоть ненадолго почувствовать на себе свежeweстиранное полотно.

В следующий понедельник мне захотелось пройти за прачками, чтобы узнать, куда они уезжают, сдав чистое белье и забрав грязное. Некоторое время я шел наудачу то за одной тележкой, то за другой, пока вдруг не понял, что все они в конце концов движутся в определенном направлении, к одним и тем же улицам. Встречаясь на этих улицах, они выстраивались в колонну, возчики степенно здоровались и перекидывались спокойными шутками. Я продолжал идти за ними, иногда надолго теряя их из виду, пока окончательно не выбился из сил. Но прежде чем вернуться восвояси, я убедился, что существует целый поселок прачек — все они были из предместья, именуемого Барка Бертулла.

Туда-то я и двинулся как-то вечером. Миновав мост через речку, я сразу оказался чуть ли не в деревне. Правда, вдоль проезжей дороги еще тянулись ряды домов, но за ними все было зелено. Никакого намека на прачечную. Там и сям на берегах каналов, перегороженных запрудами, виднелись тенистые виноградные навесы сельских кабачков. Я зашагал дальше, все время смотря по сторонам, заглядывая за решетчатые заборчики дворов, просматривая каждую тропинку. Постепенно дома исчезли, и за дорогой побежали ряды тополей, отмечавшие берега прорытых на каждом шагу каналов. А вдалеке, за тополями, я увидел луговину, словно плывущую под белыми парусами, — там висело белье.

Я пошел по тропинке. Во всю ширину раскинувшихся по обе стороны полянок, на высоте человеческого роста были натянуты веревки, и на этих веревках непрерывными рядами висели простыни и пододеяльники всего города, еще сырые и бесформенные, неотличимо одинаковые, все в мелких морщинах, которые образовывались на материи от теплых лучей солнца. Вокруг, куда ни глянь, тянулись длинные белые кори-

дору белья. (Некоторые поляны были голыми, но их тоже разлиновывали параллельные нити веревок, и от этого они казались виноградниками, лишенными лоз.)

Я бродил между полями, белевыми развешанным бельем, как вдруг меня заставил обернуться взрыв смеха. На берегу одного из каналов, у запруды, возвышался настил, и оттуда, высоко над моей головой, выглядывали красные лица прачек — молодых девушек и толстых старух в платках, там раздавался смех, звенели голоса, пестрели разноцветные платья, мелькали закатанные выше локтей рукава, прыгали груди под кофточками у молодых, в хлопьях мыльной пены ходили взад и вперед округлые руки, ловко подхватывались на согнутые локти скрученные жгуты отжатого белья. Тут и там среди вереницы женщин мужчины в соломенных шляпах выгружали из корзин белье, складывая его отдельными кучами, или наравне с прачками орудовали квадратными кусками марсельского мыла и били деревянными вальками.

Теперь я увидел все, что хотел видеть. Что мне было сказать и к чему соваться не в свое дело? Я пошел назад. По краю дороги торчали жиденькие пучки травы, и я старался ступать по ней, чтобы не запылить ботинок и быть подальше от проезжавших грузовиков. Я провожал глазами ручейки проточной воды, которые мелькали между лугами, живыми изгородями и тополями, глядел на низкие строения с вывеской: «Паровая прачечная. Прачечный кооператив Барка Бертулла», на лужайки, по которым, словно во время сбора винограда, ходили женщины с корзинами и снимали с веревок высохшее белье, на озаренную солнцем деревенскую зелень, проглядывавшую между белыми рядами простынь, и на воду, что сбежала вниз, вздуваясь голубоватыми пузырями. Это было не бог весть что, но мне, не искавшему ничего, кроме образов, которые запечатлелись бы у меня в глазах, довольно было и этого.

СОДЕРЖАНИЕ

О рассказах Итало Кальвино	5
--------------------------------------	---

Из цикла «ТРУДНЫЕ ИДИЛЛИИ»

Ловись рыбка, большая и маленькая. <i>Перевод А. Короткова</i>	15
Однажды Адам... <i>Перевод А. Короткова</i>	25
Корабль, груженный крабами. <i>Перевод А. Короткова</i>	36
Заколдованный сад. <i>Перевод Г. Брейтбурда</i>	43
Хороша игра — коротка пора. <i>Перевод А. Короткова</i>	47
По пути в штаб. <i>Перевод А. Короткова</i>	55
Последним прилетает ворон. <i>Перевод Г. Брейтбурда</i>	61
Страх на тропинке. <i>Перевод А. Короткова</i>	66
Минное поле. <i>Перевод А. Короткова</i>	73
Домашние животные в лесу. <i>Перевод А. Короткова</i>	80
Предательская деревня. <i>Перевод А. Короткова</i>	89
Ограбление кондитерской. <i>Перевод А. Короткова</i>	99
Доллары. <i>Перевод А. Короткова</i>	108
Кот и полицейский. <i>Перевод А. Короткова</i>	122
Грибы в городе. <i>Перевод А. Короткова</i>	130
Городской голубь. <i>Перевод А. Короткова</i>	134
Судок. <i>Перевод А. Короткова</i>	136
Лечение осами. <i>Перевод А. Короткова</i>	141
Лес на шоссе. <i>Перевод А. Короткова</i>	146
Свежий воздух. <i>Перевод А. Короткова</i>	150
Ядовитый кролик. <i>Перевод А. Короткова</i>	156
Путешествие с коровами. <i>Перевод А. Короткова</i>	166
Скамейка. <i>Перевод А. Короткова</i>	172
Луна и «Ньяк». <i>Перевод Г. Брейтбурда</i>	181
Курица в цехе. <i>Перевод А. Короткова</i>	187

Ночь, полная цифр. <i>Перевод А. Короткова</i> . . .	197
Никто из людей не узнал. <i>Перевод А. Короткова</i>	209
Синьора Паулатим. <i>Перевод А. Короткова</i> . . .	218

Из цикла «ТРУДНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

Перевод А. Короткова

Человек среди полыни	231
Братья Баньяско	237
Хозяйский глаз	244
Вступление в войну	251
Авангардисты в Ментоне	267
Ночь дружинника ПВО	293

Из цикла «ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ»

Перевод А. Короткова

Случай из жизни близорукого	323
Случай с пассажиром	333
Случай из жизни супругов	350
Случай из жизни молодой женщины	354
Случай с поэтом	363

Из цикла «ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ»

Перевод А. Короткова

Облако смога	373
------------------------	-----

Кальвино Итало

КОТ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ Сборник рассказов Пер. с итал.
М., «Молодая гвардия», 1964.

432 с., с илл.

И(Итал.)

Редактор *Г. Головнев*

Художник *В. Воробьев*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *Е. Василькова*

Подписано к печати 12/XII 1963 г. Бум. 60×84¹/₁₆.
Печ. л. 27(27). Уч.-пзд. л. 23,6. Тираж 200 000 экз. Заказ 1263.
Цена 1 р 09 к.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Суцеская, 21.

Гр. 09 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ